

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

1983

6

1983



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 6

Июнь, 1983 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ — Высший дар, стихи. Перевел с грузинского Михаил Синельников	3
ПАВЕЛ БОЦУ — Птицу крылья уводят..., стихи. Перевели с молдавского Кирилл Ковальджи, А. Бродский	4
СЕРГЕЙ ИВАНОВ — Из жизни Потапова, роман. Предисловие Виктора Розова	5
НИКОЛАЙ ДОРИЗО — Третья дуэль, трагедия в трех действиях	91
ГРЭМ ГРИН — Почетный консул, роман. Перевели с английского Е. Голышева и Б. Изаков	138

ПУБЛИЦИСТИКА

ЮРИЙ АЗАРОВ — Игра. Размышления о нравственном воспитании	201
---	-----

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Н. ХОХЛОВ — Пакистан: кривая независимости	221
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

УРАН ГУРАЛЬНИК — Классика наша, советская	233
СТ. РАССАДИН — Большие надежды	239

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
	256
Мэлор Стурау. Вся рать советологии.	
Татьяна Иванова. Одна земля, одна любовь.	
В. Каверин. Проза Пастернака.	
<i>Политика и наука</i>	
	264
Ю. Орфеев. Ложные метафоры и компьютер.	
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Е. Щеглова. — Михаил Панин. Матюшенко обещал молчать. Заводские истории. ✦	
А. Кацев. — Личная библиотека А. М. Горького в Москве. Описание в двух книгах. ✦	
Наталья Беккерман. — Роман Белоусов. Хвала камням. ✦	
А. Аванесов. — Советские ученые. Очерки и воспоминания. ✦	
Л. Пушкарев. — А. П. Бажова. Русско-югославянские отношения во второй половине XVIII в.	268
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

ПАВЕЛ БОЦУ

★

ПТИЦУ КРЫЛЬЯ УВОДЯТ...

С молдавского

Птицу крылья уводят
В голубой небосклон,
Твое имя нисходит,—
Что ни звук, что ни стон.

Птица ветром гонима
Мимо звездных огней,
Холодна и незрима...
Ты проходишь за ней.

Птица молнией бьется
Среди туч-облаков.
Мне гропа остается
Средь шипов и цветов.

Птица в час листопада —
Словно лист с тополей
Или изморось взгляда
От любви ничьей.

Перевел КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ.

* * *

С отпечатками звездных дождей на сетчатке
По небесному своду сошел человек,
И следы потрясений, суровы и четки,
Обозначились в складках опущенных век.

Но привал, а не отпуск, не отдых, а роздых
Ожидал его здесь, на земле, и уже
Снова грезили крылья о зябнущих звездах
И мечта, как заря, занималась в душе.

Вновь распустят созвездья подсвечников кроны,
Освещая безмерных пустот волховство.
Снова космос воздвигнет пред ним бастионы,
Но падут и они перед волей его.

А пока что он воздухом родины дышит,
Бродит в рощах, аukaет гулко сквозь мглу,
И далекое небо становится ближе,
Как дичок, приращенный к земному стволу.

Перевел А. БРОДСКИЙ.

СЕРГЕЙ ИВАНОВ

★

ИЗ ЖИЗНИ ПОТАПОВА

Роман

«Из жизни Потапова» — первый роман Сергея Иванова. Я знаю Иванова давно. Когда-то он ходил на мой семинар в Литинститут, потом я давал ему рекомендацию в Союз писателей. С тех пор, с конца 60-х годов и до настоящего времени, Иванов опубликовал двадцать книг! Преимущественно детских. Это и понятно — С. Иванов окончил педагогический институт и, видимо, любовь к детям, понимание их радостей и тревог перенеслось из классов, где он преподавал несколько лет, в литературу. И вот перед нами роман. Не детский, не для детей. С. Иванов заглянул в мир взрослых. Каким он его увидел? Как отнесся к нему? На что обратил внимание?

Нельзя в коротком вступительном слове дать роману оценку, пусть беглую и индивидуальную. Нельзя. А главное, не надо. Что за подсказки!

Ну разве что попросим читателей обратить внимание на то, что автор отважился представить нам жизнь нашей научно-технической интеллигенции, вникнуть в те непростые проблемы, которые встают перед ней, в сложности служебных и общественных взаимоотношений, существующих сегодня в научно-исследовательском институте. И хотя хитроумный автор лукаво обходит суть той научной проблемы, которой занимается институт и главный герой романа, он — системой символов и аллегорий — добивается, на мой взгляд, очень важного: воссоздания самого процесса творчества, хода мысли, приведшего героя к открытию.

Я думаю, что читателю будет интересен и герой, тот самый Потапов, по имени которого назван роман, — интересен прежде всего как человек, одержимый своим делом, работой. Как творческий человек — со всем радостным и тяжелым, что несет с собой это понятие.

Виктор РОЗОВ.

Возвращение

На небе уже было утро. Солнце сверкало, облака внизу лежали снежными мягчайшими холмами и долинами. Уходили к горизонту. Хотелось мчаться по ним и мчаться. Они сияли безжалостным манящим светом. На них больно было смотреть, но оторваться — и того больнее. Все же Потапов отвернул голову, встретился с глазами ПЗ, который тоже смотрел в иллюминатор. Взгляд у ПЗ был изучающий и как бы чуть насмешливый: мол, знаем мы вас, ангельские красоты! Прежде чем в душу пускать, вас надо проверить и перепроверить...

Потапов ничего не стал ему говорить: наговорились довольно. Опять отвернулся к иллюминатору — опять поплыли внизу нежнейшей округлости курганы, засыпанные жемчужным, чуть желтоватым снегом. Буквально душой отдыхаешь, сказал себе Потапов.

Сокращенный вариант.

На самом деле душа его еще не могла отдыхать. Она вся была сжата в комок, ее свело, словно икроножную мышцу. И должно было пройти дня три или четыре, прежде чем она сумеет вздохнуть и расслабиться. Такая уж была у него работа.

Наверное, здесь с самого начала следует сказать, что мы не будем распространяться на тот предмет, что именно принимал Потапов вместе с ПЗ (представитель заказчика — так сказали бы в обычной жизни), и какой именно был у ПЗ чин, и с каких именно испытаний они теперь возвращались. В их кругах была такая манера называть свои объекты просто приборами. Думаю, нам имеет смысл использовать это слово как термин. Да и дело с концом.

Между тем самолет начал снижаться, срезал самые первые, легчайшие слои облачной мути. Они промчались за окном неосязаемой паутиной. Затем самолет взрыл носом долину меж сверкающих холмов. Посерело, потемнело...

— Пошли в преисподнюю,— сказал ПЗ,— в плотные слои.

Некоторое время они плыли, затерявшись в облаках, словно рыба в океане. Наконец вынырнули на противоположной, нижней границе облаков. Все было здесь непролазно серым. Облака давили, словно потолок подвала. На земле лежал сероватый подтаявший снег конца зимы, снег надвигающейся оттепели. Сердце сжалось у Потапова, будто в ожидании приступа.

На самом-то деле он не знал, какими они бывают, эти приступы, просто у него существовала для себя самого такая как бы внутренняя терминология, которую он, кажется, и вслух-то никогда не произносил... Он снова прислушался к тоске, больно тронувшей его сердце. Отдыхать надо, сказал он себе, тем более отпуск за тот год не выбран, оставалось еще недели полторы.

Самолет качнуло, тряхнуло, он начал медленно и как-то особенно безнадежно падать, хватаясь огромными крыльями за края воздушной ямы. Потапов всего этого почти не замечал — он уж столько налетал за свою жизнь! Лишь отметил про себя: на посадку идем. Рядом ПЗ листал журнал «Вокруг света».

Они спустились совсем низко. Закачались, поднялись на дыбы знакомые Внуково и Юго-Запад. Коробки домов толкались, толпились так и эдак — то высокие, то продолговатые. Тут явно присутствовал какой-то свой, и не случайный, а расчисленный ритм. Впервые Потапов заметил это. Было даже по-своему красиво.

А ведь с земли — каменные джунгли. Вернее, каменный подлесок, подшерсток — одинаковость... Почему ж так получается, подумал Потапов, в чем тут фокус-то?

И догадался: эти кварталы проектировали не отдельными домами, а прямо районами... массивами... Деятели!

Сам человек промышленности, Потапов знал, конечно, что коробки ставили в свое время не от хорошей жизни. Что это выгодно, экономично, дома можно строить чуть ли не прямо на заводах... ну и так далее. Однако когда нападало на него плохое настроение, он начинал брюзжать сам с собой, хорошо, если никто не попадался под горячую руку.

От какого-то архитектора Потапов слышал такую цифру — пятьдесят лет. Столько якобы простоит эта железобетонщина... На мой век как раз хватит, подумал он не то сердито, не то грустно, хватит, и даже с избытком... И потом без всякой будто бы логики: отдохнуть надо.

Между тем наступил тот волнующий момент, когда происходит большинство катастроф,— самолет коснулся круглыми бегучими своими ногами бетона, дернулся весь и помчал по земле — казалось, еще скорее, чем по воздуху.

— Вы когда будете докладывать? — спросил ПЗ.

— Да вот приеду...

ПЗ глянул на него удивленно:

— Вы сейчас что? На работу?

Это странно было в ПЗ. Потапов не знал человека более въедливого, причем вдумчиво въедливого, а стало быть, надежного. Но как только работа кончалась, он — хоп и выключался. И зазря включаться не любил. Например, вот сейчас: они с Потаповым имеют полное право поехать домой, принять ванну, позавтракать... ну и тому подобное — как это обычно бывает после командировки. ПЗ именно так и собирался поступить.

Потапов же сей благословенной картины даже и в голове не держал. Он собирался отловить машину, которая должна его ожидать, приехать в контору, сесть за стол в своем кабинете, закурить всласть, привести в порядок бумаги, набросать конспектик того, что он собирается говорить Луговому. Потом, часов в девять, позвонить Элке — сообщить, что он приехал, и узнать, как там дела-делишки у нее и у Танюли. Потом позвонить Луговому и сказать, что хочет зайти посидеть минут сорок.

— Давай заглядывай, Сан Саныч,— скажет Луговой.— Ты когда вернулся-то?

Это он спросит с удовольствием, так сказать, со вкусом. Зная, что Потапов вернулся только что. И сразу в контору! Что Потапов самонадежнейший его кадр.

Они посидят свои минут сорок, накурят до первой синевы. Но даже сквозь эту накуренность Потапов почувствует в желудке зверский аппетит, усиленный хорошим настроением оттого, что отчет одобрен. И он отправится с Луговым в столовую, со своим, в сущности говоря, товарищем, но и начальником. И уходя они со стуком откроют фортку, чтобы, пока их нет, она выглотала никотин, что клубится и плавает по комнате.

Все это в мгновение предстало перед Потаповым как бы единой печатной схемой. И подумалось ему, что Расскажи он сейчас все это ПЗ, тот просто не поверил бы и принял Потапова за карьериста. И несомненно бы уменьшил свой высокий потенциал уважения к Потапову. А этого допускать нельзя. И значит, надо помалкивать.

Впрочем, не стоит и на ПЗ наговаривать. Работу человек любит... Кстати, работу свою многие любят. Но как, простите, любят? Как незлое времяпрепровождение между отпусками — вот в чем дело.

А я?.. А ты сидишь среди своих хитрых «приборов», в своем дыме, что выходит из них. И ничего другого не знаешь.

Ну — и хорошо это или плохо? Обычно на такие вопросы Потапов неопределенно пожимал плечами, хотя на самом-то деле в душе он был уверен, что это очень хорошо, единственно хорошо. Действительно, ведь что за горе такое — по-настоящему жить в году всего один месяц: когда в отпуск отпустят. А остальные одиннадцать ожидать его. Ужас!

Они выбрались из самолета, прошли через холодный аэродром. Тучи висели, ничем не выдавая того секрета, что над ними полыхает солнце... Прошли здание порта, как всегда набитое людьми, что твой железнодорожный вокзал. На площади, полной народа и полной машин, они почти сразу увидели свои «Волги».

— Ну я вам желаю,— сказал ПЗ.— Тогда поближе к вечерку созвонимся?..

Все было как он предполагал — и сладкая сигарета и разговор, а потом завтрак с Луговым. В конце завтрака, когда им принесли кофе, Луговой вдруг сказал:

— Ну что, хочешь две недельки свои отгулять?

Потапову было приятно, что Луговой помнит о такой мелочи. Но и сделалось чуть не по себе: предлагать подчиненным отпуска — это было как-то не в его привычках. Сразу припомнилась самолетная тоска в сердце...

— Ну так что? — спросил Луговой. — Чего ты замялся?

— Если начальство предлагает отпуск, значит, надо заказывать гроб. Я вас правильно понял?

Они были почти одногодки. Но Потапов при людях никогда не звал его на «ты». Да и с глазу на глаз это у него получалось не очень. Дело не только в том, что Луговой был начальником, — это бы он пережил, Потапов. Но Луговой был титаном. Форменным титаном — и в руководстве и в науке. Правда, титаном с человеческим сердцем, которое три года назад подстрелил инфаркт.

Луговой никогда не предлагал ему, что, мол, давай перейдем на «ты». Или наоборот — никогда ни голосом, ни словом не говорил Потапову: «Прошу меня называть на „вы“». Он лишь иногда позволял себе подтрунивать над потаповским выканьем. Например, вот сейчас.

Потапов спросил:

— Я вас правильно понял?

Луговой на это ответил:

— Ты нас неправильно понял, Сан Саныч. У меня просто есть две путевки в дом творчества. А ко мне Колев... помнишь, болгарин? Так что езжай, не сомневайся. Я тебе плохого не предложу. Писатели кругом, богема, всякие дела. Спирту с собой прихватишь...

Спирту у них на предприятии было не сказать что залейся — такого места и вообще, наверное, нет на земле. Но шутить-то по этому поводу можно было неограниченно.

— Ну если, конечно, спирту... — сказал Потапов. — А с когда путевки?

— Завтра с утра.

— Ничего себе варианты у тебя, Сергей Николаевич...

— Бери, пока дают.

Это была не угроза, но все ж предупреждение.

— Надо супруге отзвонить.

Тут он как раз вспомнил, что в его печатной схеме, так ясно вспыхнувшей сегодня в самолете, не хватает одного звена — телефонного звонка Элке... Чем же вы это объясните, гражданин Потапов? Объяснение было одно: неохота, вот он и позабыл. Потапов нахмурился: неминуемо придется дать клятвенное заверение, что прилетел десять минут назад... Он был в кабинете один. Снял телефонную трубку, посмотрел на дверь, словно хотел взглядом припереть ее от нежелательного посетителя. Трубка пропела раз и два... Наконец Элка пошла.

— Привет, Эл. Это я.

— Привет, — сказала она, изображая в голосе улыбку. — Давно приехал?

— Только что. Как там у Танюли дела?

— Не болела.

— Слушай, а мы не можем недельки на две сплавить ее к твоим? — спросил и почувствовал, что рановато он стартовал. Надо бы прежде спросить: а как ты, а как настроение?.. и тому подобное. Не спросил. Потому что не интересовался. Плохо!

— А зачем тебе Танюлю... сплавить?

— Путевки тут Лужок подкидывает. — И поспешно: — В дом творчества!

Его это не так уж чтобы вдохновляло. Но для Элки могло быть решающим стимулом: она когда-то что-то внештатно делала в одной почти центральной газете.

— С какого числа твои путевки?

На этом мирные переговоры были закончены.

Она сказала, что думает о Лужке с его горящими путевками и о нем, о Потапове, который готов любому услужить, а о жене и на волос не подумает. А у жены, между прочим, тоже могут быть планы и надежды. Ну и дальше в том же духе. Однако он уже не слушал ее — с того момента, когда она сказала про «услужить». Минуту подержал трубку на столе, потом отсоединил Элку где-то на полуслове.

Так и остался сидеть — злой, неподвижный, хотя все учебники физиологии как раз рекомендуют разгонять злость действием: якобы двигаться надо... Да пошли вы к черту-дьяволу со своим движением!

Что, однако, делать? И почему любое его предложение встречается именно таким вот образом? Я что, с любовницей еду? Я что, ее обманываю?.. Говорю: давай поедем со мной, милая. Тут он чертыхнулся.

Однако скрежещи не скрежещи, а деваться некуда — теще надо звонить. Ее все равно придется уговаривать, чтоб Таню взяла. А заодно и чтоб Элку уломала.

Не хотелось звонить — до ужаса... Кстати, чего ему так приспичил этот дом творчества? Отдохнуть надо — это точно. Но главное, что просто неловко уже перед Луговым... Чего ж ты, парень, тебе предлагают, а ты... Потапов набрал тещин телефон и, вспомнив старые-старые добрые времена, сказал:

— Здравствуйте, Антонина Ивановна! Точно, Саша... Ну, как здоровье у вас?..

Время подкатило к одиннадцати. А у него было на одиннадцать совещание, не официальное, а деловое, внутреннее, между своими. И Потапов занялся важным делом — учил уму-разуму подчиненных на основе своей последней командировки. И сам потихонечку тому же учился. В начале первого позвонил Луговой:

— Ну ты чего, Саш? Решил?

— Зайду к вам через полчаса, Сергей Николаевич.

За эти полчаса, он надеялся, теща позвонит и все будет так или иначе ясно. Позвонила, однако, Элка:

— Я повезу Танечку к маме, так что тебе придется поужинать одному.

Совершенно неясно было, почему, если человек в час дня отправляется к маме, к семи он не может вернуться домой. Ну да аллах с ней! И он положил трубку.

На кухне в половине второго

Однако не пришлось ему испытать печали и угрюмства одинокого ужина, а Элле не пришлось испытать справедливого и сладкого удовлетворения от железно рассчитанной мести. Потапов задержался в конторе и вместо положенных семи ушел в половине одиннадцатого.

«Совещательная дичь», «прозаседавшиеся» и так далее, что обычно говорится по этому поводу в фельетонной литературе, является на самом деле сущей ерундой. Совещание есть одна из важнейших форм жизни современного научно-промышленного предприятия. Кой-где это называется коллоквиумом, кой-где советом. Но в принципе все остается в тех же параметрах: «Товарищи, как вы знаете, сегодня нам предстоит решить следующие вопросы...» Садятся и решают... Говорильня? Ну, есть немного. Однако мы ведь не компьютеры — воспринимать одну сухую информацию, нам ее хоть малость нужно и эмоцией разбавить. Потапов как-то с секундомером в руках делал полусуточные замеры — хотел уличить некое совещание в болтовне (то было в пору его глубокой молодости).

И что же? От общего времени — от, кажется, трех часов — на всевозможный треп, стилистические фигуры и прочее ушло минут двадцать. Потапов, признаться, был тогда здорово удивлен столь высоким КПД. И больше к совещаниям не придирался. А со временем, пожалуй,

и полюбил их. В этом стыдно было признаваться, и потому Потапов помалкивал о таких своих бюрократических рефлексах.

Они остались — самая головка, человек десять. А все уж давным-давно ушли: смотрели себе «Спартак» по телевизору, проверяли у ребят домашние задания. А эти десять сидели и прилежно работали!

Вот тебе и преимущества руководителя! Это все пулей мелькнуло в голове у Потапова во время одной из кратких минут отдыха, а лучше сказать — затишья, какие бывают на каждом совещании. Опытный заседательщик обязательно их уловит и сумеет использовать, чтоб улыбнуться самому себе, отгоняя усталость.

Впрочем, думая так, он не жаловался на судьбу. Он любил работать. Да и спешить сегодня было некуда. Ничего, кроме Элкиной мрачности, его не ждало. По всему по этому он заседал со вкусом, а не отбывая номер. Он был, в сущности говоря, еще совершенно молод, Потапов. Ему не стукнуло и сорока. В жизни его наступила та прекрасная пора, когда сил от юности еще осталось много, а закалившаяся воля помогает быть усидчивым... У немцев есть такое слово — «шпанунг», то есть общий подъем духовных сил. Вот это самое и переживал сейчас Потапов. И втайне от себя надеялся, что так будет вечно.

Или по крайней мере очень долго...

Но сейчас, в данную минуту, когда он стоял перед дверью своей квартиры, всякие воспоминания о шпанунге начисто его покинули. Он почувствовал себя перекурившимся, усталым, главное же — ожидающим справедливых Элкиных речей. Правда, была слабенькая надежда, что Элка уже спит, она иной раз, когда очень уж разозлится на него, напихуется, ложится пораньше.

Тихо он открыл дверь, вошел в прихожую. В казенном и пыльном свете, падавшем с площадки, он увидел, что квартира пуста и темна. Потапов включил свет, стал раздеваться.

Собственно, слово «прихожая», оставшееся у него из детства, не особенно подходило для тесного загончика, где с одной стороны тебя подстерегала полупьяная вешалка, а с другой ванно-сортирная дверь, которая открывалась в самые неожиданные моменты, и человек туда буквально проваливался, как в западню.

Чаще всего этим человеком бывал Потапов, ибо телосложения он был весьма гвардейского.

Однако на этот раз он разделся вполне благополучно, потому что был старателен. И от этого успокоился. В одних носках, на цыпочках он прошел в так называемую большую комнату — она же столовая, гостиная, она же Танина игровая.

Прямо посредине стоял их походный чемодан, что называется, нескрываемых размеров и рядом еще маленький чемоданчик с дополнительными Элкиными нарядами. Оба они должны были сказать Потапову: смотри, гад такой, ты где-то и неизвестно что, а жена в это время работает, как ломовая! И никто не ценит.

Потапов улыбнулся, поднял чемоданы, примерившись, каково ему будет завтра их нести. Нормально!.. Вот чего у Элки не отнимешь — аккуратистка. Потапов мог быть уверен: ничего не забыто, все уложено в потрясающем порядке и причем быстро.

Некоторое время он постоял у двери в их спальню. Даже почти услышал, как там посапывает Элка, уставшая от нервозности... Войти, что ли? Разбудить тихонько... Но не решился. Стоял с опущенной головой... Что же у нас случилось? Неужели только то, что мы живем вместе одиннадцать лет?

Он открыл бар — медленную скрипучую крышку (Элка: «Вот! Нету мужика-то в доме!»), осмотрел свои запасы.

Как-то диковато было пить одному... Или выпить? С устатку. Под отпуск, так сказать... Он закрыл бар, свет внутри погас. Нечего в са-

мом деле! С ума сойти — пьянствовать в одиночку, за двадцать минут до полуночи.

Он отправился на кухню. Это тоже Элкино кровное: если б даже она застала его с любовницей или если б он, скажем, проиграл на бегах тринадцатую зарплату, получку и квартальную премию вместе взятые, то и в этом случае вечером, в любую полночь-за полночь, его бы ждал на кухонном столе холодный ужин.

Холодный ужин — тещина школа. Она, конечно, с тестем тоже горяшка попила. Военный человек, все у него дела да случаи — там вечеринка, там командировка...

Тут он остановил свою мысль, открутил ее на несколько метров назад. «Она с тестем тоже горяшка попила». А почему тоже? В смысле — как Элка со мной? Неужели и я сам так думаю?

Он откинул салфетку и обнаружил небольшой поднос, на котором с одной стороны лежал педантичным образом нарезанный сыр, с другой — столь же аккуратные ломтики колбасы. А посредине продолговатый огурец и небольшая помидорина — как бы восклицательным знаком... И еще блюдечко с двумя ломтями хлеба.

Потапову вдруг припомнился его самолетный завтрак. Те же подносики, блюдца, шуршащие бумажки. И все уложено с тою же равнодушной заботливостью. Назло Элкиным правилам бонтона он начал есть стоя, руками брал сыр и колбасу...

О них всегда говорили: красивая пара. Да, красивая — оба высокие. Причем Элка не казалась массивной на его фоне. Они были именно прекрасной парой. Молодой ученый, мастер спорта. И его очаровательная жена.

А что? Скажешь, она была не очаровательна? Еще как! Он просто-таки столбенел, когда ее видел. Лишь в самый первый момент Потапова царапнуло ее имя — Элла: слишком какое-то красивенькое, меццанское (но в ту пору он подобных терминов не употреблял). А после подумал: что за чушь, все имена равны!

Красота ее...

Красота. Что она с человеком делает — это уму непостижимо... Если б добавить ей к носу грамма три-четыре материала. Если б сделать разрез глаз всего на несколько миллиметров меньше. Если б цвет их был не с колдовским фиолетовым отливом, а какой-нибудь банальный, светло-голубенький там (ничтожнейшие добавки красителя!) — и все, не быть ей королевой, никогда не испытывать высшую власть над мужиками, ходить всю жизнь в добрых девках, а позднее в тетушках, что привосят твоим детям гостинцы.

Как странно, в самом деле. От какой, в сущности, чепухи зависит человеческая жизнь. Та самая, про которую столько стихов сложено и прочей «возвышенности»...

Но и красивых тоже много всякого подстерегает. Уж время твое ушло, а все она цепляется, все норовит румяна, и пудру, и тушь употреблять так, чтоб незаметно было, для чего ей это надо?..

Все молода-молода, все прекрасна, все нет тебе и двадцати пяти... Хотя этим все женщины так или иначе страдают. Но красивые, у которых красота и молодость будто бы особенно безграничны, эти и бьются о самые острые углы.

А бывает, что как Элка — замаринуются в себе, в подругах, в поклонниках, в компаниях столетней давности. И стерегут этот свой капитал. Без конца, без продыху ванны с какими-то там травами, маски клубничные... Здесь ему припомнились так называемые спортивные ветераны: мужик-здоровила, каких-то тридцать пять лет, работать бы ему как трактору, а он все за свой спорт держится, в какую-то вторую лигу лезет — лишь бы, лишь бы... Дурачье слабовольное... Так и Элка: скатилась во «вторую лигу». И сидит. И что дальше делать — неизвестно! Она ничего и не делает.

А ведь он тоже был красивый мужик... Он и сейчас недурен, Сан Саныч Потапов. И в баскетбол гонял по мастерам. Причем институт кончил не какой-нибудь — МИТХТ. Однако плюнул, остался играть. Перед распределением позвонил ему тренер:

— Ну, так куда тебя отправляют?

— В далекие края, на Арбат, — пошутил Потапов. Он был рад, что здесь ничуть ни от кого не зависел и мог диктовать свое.

Тренер молчал некоторое время, а Потапов улыбался, очень довольный собой.

— Короче говоря, так, — сказал тренер, — если хочешь играть в команде, я бы тебя взял. Условия тебе известны... Что скажешь?

Потапов намечал себе покочевряжиться, поразмышлять. Но вдруг согласился за одну минуту, на целых четыре года забросив все научные дела. Он любил игру. Вообще он был игрок по натуре... То есть так можно было бы сказать, если б это понятие — игрок по натуре — не имело застарело-отрицательного оттенка. И Потапов помалкивал об этих своих склонностях.

Четыре года... То странные были годочки, прекрасные. Тренировались тогда, конечно, не так, как сейчас. Правда, каждый день, но всего два часа — подумаешь, работа! А там, глядишь, ухитрились зарулить в пивбар... Он ушел в самый разгар своей силы, ну или около того — в общем, всего себя для спорта далеко не растратив. Но он и не был, наверно, настоящим спортсменом, Потапов. Он только был игроком с хорошими для баскетбола данными.

Другие ребята из команды тоже почти все пооканчивали вузы — кто технические, кто педы, кто еще какие-нибудь, — они все остались в спорте, при баскетболе: тренерами, администраторами, один или два заседали по центральным советам. В принципе это естественно: раз в спорте чего-то добился, приобрел какой-то вес — двигаи дальше.

Только Потапов резко сменил жизнь, пошел в эту вот самую контору, где теперь просидел уже двенадцать лет. Пошел на простого инженера за сто целковых. И всего, что он сумел здесь добиться, он добился сам — своей работой, способностями, черт побери. А добился он немалого!

Вообще-то к вопросу о способностях стоило бы вернуться. Так подумал, улыбнувшись сам себе, Потапов... Он в это время сидел над развалинами холодного ужина, тяжело положив локти на стол. Да, о способностях. Он никогда не считал, что ему очень уж много дано. Он видел, что иные могут жить куда вольготней — им дано больше, более быстрый и более неожиданный мозг, а может, и просто более тяжелый по весу — впрочем, пока еще не совсем доказано, важно, чтоб он был у тебя тяжелым или нет.

Но Потапов не завидовал таким ребятам. Как особый талант он ценил свое умение работать. Вникать и работать до победы. И он знал, вернее имел возможность заметить за эти двенадцать лет, что работяги большего добиваются. Даже не только в смысле внешних показателей успеха: премий, должностей, а в смысле того, что ты дашь человечеству... Ну, при условии, конечно, что ты соревнуешься, скажем, не с Вавиловым и что ты действительно работага... Так подумал Потапов, как бы кончая объяснение для самого себя.

Тут он заметил, что в кухне слишком накурено. Везде, где ему случалось посидеть час и более, становилось слишком накурено... Да и пора было спать.

Но прежде чем идти в ванную, он распахнул форточку — такой весной, таким мокрым снегом пахло с улицы... Спать надо, не выплусь... А и не важно — пусть не выплусь: отпуск-то уже начался! Вдруг ему послышался звон: динь-дили-дон-дили-дон... Это ни с чем нельзя было спутать — это были кремлевские часы. По радио у какого-то полуночника. Невольно он глянул на тикающий в уголке будильник — полвторого. Что такое? Значит, не по радио? Но и услышать

настоящие куранты он тоже не мог, потому что жил на другом конце Москвы, километров за двадцать от Красной площади.

Что ж это такое?.. И не знал. Чудо, что ли? Может, в новорожденном весеннем воздухе далекий звон сумел промчаться двадцать километров, чтобы потом упасть в распахнутую форточку единственного во всем микрорайоне светившегося окна.

Потапову стало удивительно хорошо. И вспомнилось то ли детство, то ли ранняя юность, когда они жили в центре, между Маяковкой и площадью Пушкина. И он, так же вот засидевшись допоздна, открывал окно или форточку, и к нему прилетали куранты, и где-то за домами слышался бессонный шум улицы Горького...

Неожиданно он подумал о Тане. Таню он не видел больше двух недель. И вот опять уезжает... Ну ничего, выберу денек, смогаюсь из этого творческого дома. Или ее с собой прихвачу...

Таня отчего-то припомнилась ему совсем маленькой, в первую весну своей жизни. Ей было лишь несколько месяцев, и врачиха сказала, что в июне или в конце мая, когда солнце достаточно разгорится, «девочке будет полезно принять несколько ультрафиолетовых ванн». Это была старая врачиха, сама она жила, быть может, последнюю свою весну. И оттого врачихины слова молодой Потапов слушал с чрезвычайным вниманием и серьезностью. Помнится, он тогда же на субботу и воскресенье притащил из лаборатории секундомер. Но по нервности не тот, какой нужно, не нормальный отмериватель секунд, а ненужно-особый, который ловил десятки и, кажется, даже сотки. Им почти никогда не пользовались. Он был опальный и оттого чуть заржавленный, как, наверное, ржавел бы скальпель в дружной компании кухонных ножей.

И вот Потапов с этим чудо-секундомером в руках ждал, когда Элка вынесет голенькую Таньку в сад, чтобы положить ее на ковер, покрытый простыней.

Они оба слегка нервничали, но были счастливы. Но при этом — как теперь понимал Потапов — из бурного моря любви уже вливались в гавань, название которой Семейные отношения... Или я что-то не то... Он аккуратно свалил пепел на край тарелки с бывшим холодным ужином...

А Таня была в ту пору удивительно вся ровненькая, не худая, не толстая. И только с перевязками на кистях и на лодыжках, какие бывают у грудных детей.

И еще она была абсолютно белобрысая. При Элкиной каштановости, при его собственных почти черных волосах это казалось странным и будило в Потапове какую-то дремучую тревогу. Хотя он знал точно, что Элка — это крепость. Да и она его любила! Как, впрочем, и он ее... А корабль их вливался в ту самую гавань...

Элка положила Танечку на ковер, и та лежала на животе с совершенно бессмысленной и счастливой мордахой среди огромных, словно бы чуть расплюснутых о пространство одуванчиков, среди облитой миллионами люкс свежей и сильной травы. И Потапов никогда не испытывал наслаждения более возвышенного и более простого, чем это... Никогда — ни раньше, ни потом.

Элка тронула его за руку, в которой колотился сорвавшийся с цепи секундомер. Да — было уже пора уносить Таню в тени.

Потапов остановил сумасшедшую стрелку — словно хотел перед кем-то оправдаться: мол, вот, не больше, чем доктор велела. И потом тихо попросил:

— Давай еще немножечко!

Элка кивнула, и так они стояли над дочерью своей эти последние короткие секунды чистейшего счастья.

Потом он сам поднял Таню, всю пригретую солнцем, и понес в комнату.

Успокоенный этим чудесным воспоминанием, Потапов тихо пошел

в ванную, заставил, а вернее попросил себя умыться, потому что от умиротворения его вдруг ужасно потянуло в сон. Потом он вернулся в большую комнату, где ему сегодня было постелено в знак презрения. Он разделся уже, что называется, вслепую, роняя штаны, пиджак и рубашку куда-то в небытие. «Я с ней обязательно повидаюсь, понимаешь?» — говорил он то ли себе, то ли Элке. Но это было уже во сне.

В такси, ранней весной

— Извини, ну а как ты собираешься ехать? Заказывать? Полдня терять?! Уж будь любезен, выйди на улицу и поймай!

«И остави долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». Жди, как же! Коли уж ты провинился, значит, Элка прокатится на тебе сполна. Впрочем, он и сам чувствовал себя виноватым.

Он вышел. Ночная романтическая оттепель обернулась туманом, который лез за шиворот и в рукава. Машины били из-под колес длинными черными очередями. А ведь Потапову к тому же приходилось стоять на самом краю тротуара... Спокойно, настроение себе я портить не позволю... И буквально в конце этой фразы он увидел, что навстречу едет абсолютно свободное такси.

— Здрасьте, шеф! Поехали?

— А куда ехать-то?

— Спросили любителя задавать вопросы, почему он отвечает вопросом на вопрос. И ответил любитель задавать вопросы: «А почему бы мне и не отвечать вопросом на вопрос?»

— Чего? — удивился таксист.

— Все нормально. Поехали, шеф,— к этому времени Потапов уже сидел в машине,— сперва в этот вот дом, а потом за город.

— Только у меня...

— Заправимся! А если не завтракал — пошли накормлю. И хватит ваньку валять, ладно? У меня сегодня отпуск начался!

Таксист засмеялся:

— Ну вы даете!

Он был шуплый восемнадцатилетний мальчишка. А Потапов сидел рядом с ним здоровый, грузный — куда ж этому парнишке с ним тягаться!

Они скоро выбрались на трассу, проехали последний светофор, нырнули под мост окружного шоссе, которое, как известно, является официальной границей нашего города. Хорошо! Дорога черной стрелой уносилась среди совершенной белизны.

— Товарищ, закурить можно?

— Курите,— и сам закурил.

Их машина гналась-гналась за улетающими километрами и никак не могла их догнать. Настроение у Потапова потихоньку разгуливалось, даже, можно сказать, разгулялось. Он искоса глянул на Элку. Лицо ее было спокойным, мирным... Между прочим, когда они бывали не одни, а на людях, у них получалось даже лучше. Как-то они придерживались друг друга, помогали в случае чего, имели пяток-десяток совместных историй для застольного рассказывания. В общем, выступали единой командой... Как раз именно это сейчас и начиналось.

Потапов осторожно взял ее за руку. Секунду она сидела, будто ничего не замечая, потом повернула к нему голову, улыбнулась, чуть прищурился глаза. Что там говорить, она была хороша! Не «еще хороша», а просто и безоговорочно хороша! И ей явно шли на пользу все эти сливочно-клубнично-меловые ванны. И Потапов ее любил!

Они свернули на плохонькую шоссейку, поплыли, переваливаясь с борта на борт. Элка, будто бы от качки, привалилась к нему, и он обнял ее за плечи. Так, в полном семейном уюте, они въехали в дом, где им предстояло отдышаться.

Писатель

Спецслужбы, надо заметить, работали тут очень неплохо. Уже через несколько минут все было готово, и Потапов, взяв в одну руку чемоданы, а в другую Элку, отправился на дачу номер двенадцать. Они все тут были рассыпаны, стояли вокруг главного корпуса, словно дошколята вокруг воспитательницы. А сама территория представляла собою кусок леса, отгороженный забором. Ну соответственно, конечно, дорожки, фонари, что стояли в обнимку с деревьями. Тот же самый лес, но уже не привилегированный, продолжался за забором... В общем, место было красивое, особенно для зимы.

Дача номер двенадцать, близнец в семье таких же дач, была задумана как жилище на одного человека. Здесь имелась небольшая летняя верандочка, кабинет для работы, гостиная и спальня. Однако в ходе эксплуатации выяснилось, что использовать помещение таким образом нерентабельно. Когда Потапов заглянул в то, что раньше было спальней, он увидел неприбранную постель, различные элементы мужской одежды, а на столе журнал «Знание — сила» и блокнот, прилежав к которому дремала ученическая шариковая ручка. На мгновение Потапову блеснула надежда, что соседом их окажется какой-нибудь тоже нормальный человек — не писатель...

Двери и стены, надо сказать, были здесь хороши — толстые: если писателям теперь и не нужна, может быть, лишняя территория, то тишина им нужна по-прежнему... Потапов толкнул дверь напротив — это был, по мысли архитектора, кабинет. Собственно, ее следовало бы сразу закрыть: из щели слышался сухой с паузами стук машинки вперемешку с запахом табака — то есть понятно, что тут было занято. Но, сказать по совести, ему захотелось глянуть, что все-таки за творческая личность там обретается. Как ни верти, а раз живет с тобой в одном домике, придется эти две недели... дружить, что ли.

Картина открылась ему довольно странная. На письменном столе двумя довольно высокими стопками лежали книги. Сверху водружена была пишущая машинка. Перед этим сооружением стоял человек лет, пожалуй, двадцати пяти. Он читал лист, вправленный в машинку, и размахивал сигаретой, чем-то напоминая дирижера. Вид у него при этом был энергичный и недовольный.

Тут он увидел Потапова и Элку, глядящую из-за мужниного плеча.

— Извините, — сказал Потапов, — немножко не разобрались, в какую дверь войти. Мы теперь будем ваши соседи.

Человек кивнул им... Так кивают абсолютно посторонним людям — ну, тем, скажем, кто оторвал для вас билет в трамвае... Не придирайся, сказал себе Потапов, он ведь работает.

Взгляд его Потапов поймал лишь на кратчайшее мгновение — когда закрывал дверь. Это был спокойный взгляд, серьезный, отчасти изучающий, отчасти недовольный. Человек рассматривал их и одновременно затягивался своей «дирижерской» сигаретой...

Потаповы расположились в комнате № 3, то есть в гостиной — просторном таком помещении, про которое Элка сказала: «Метров двадцать пять».

Вместо рояля здесь стоял хороший двуспальный диван. А у другой стены кушетка — на случай, так сказать, инцидентов. Потапов сейчас же пошутил об этом с Элкой, и она рассмеялась. Она привыкла его прощать, этого Потапова — так думал он сам. Она же думала по-иному: одиннадцать лет вместе, ребенка родили — ну не разводиться же из-за всяких его художеств... Вот так она рассуждала, словно ей предстояло еще прожить жизней пять или шесть.

Элка распаковывала чемоданы. Потапов, сев на кушетку, смотрел на нее. Так уж заведено было в их доме.

Она выгаскивала вещи и сразу их развешивала в шкафу. Ну, не-

сомненно, это были в основном ее вещи... Вдруг она поставила на стол бутылку водки, бутылку коньяка и бутылку вина. И это было, скажем по совести, чудесное и притом по-настоящему отпускное зрелище. Она повернула к нему торжествующую физиономию. «Ты гений!» — хотел он воскликнуть. И удержался. Ну невозможно же выкрикивать реплики, которые выкрикивают все начиная от детсадовцев и кончая героями телеспектаклей.

— Ну что? Гениально? — спросила Элка. До чего ж они одинаково мыслили!

— Ты просто гений, Алиса! — ритуал есть ритуал. Вдруг ему пришла странная мысль: — Слушай, давай этого писателя позовем. Все равно же надо знакомиться.

Она посмотрела на мужа таким странным взглядом. Потапов не понял его значения... Ему со мной не интересно, подумала она, и нечего тут!.. Она вынула из чемодана потаповский свитер — пушистый, итальянский, добытый в длинной очереди, — встряхнула его... А что ему, собственно, со мной: кандидат наук, замглавного, я лет десять сижу в безделье, что ему со мной?.. Не дрогнув ни одним мускулом лица, она аккуратно сложила свитер, ловко бросила его на верхнюю полку...

— Давай пригласим, если хочешь, — сказала.

— А ты не хочешь?

— Какой-то он, по-моему, не очень симпатичный. — Это был вполне объективный взгляд на мир, и Потапов ни о чем не догадался.

— Только давай ты его пригласи, — шепнул Потапов. Они стояли перед дверью в «кабинет». Из него по-прежнему слышался стук машинки. Не стук, вернее, а так себе, отдельные нервные выкрики — нерешительность дала Потаповым время прислушаться.

— Неловко как-то, — сказала Элка.

Но Потапов уже приоткрыл дверь и... спрятался. Элка осталась с писателем один на один!

И ничего — получилось. Нашла она тот оттенок голоса, в котором сквозь строгость отдаленной мелодией проступало кокетство, а вернее — просто улыбка... Как бы зимний лес в первые минуты восхода... Она никогда и никому не могла б сказать об этом странном сравнении. От нее никто ничего подобного и не ждал. А те, кто ждал, давным-давно все забыли.

Но писатель неожиданно и так мило сразу ее понял — откликнулся, улыбнулся. Прижал руку с дымящейся сигаретой к тому месту, где под серым, связанным из шерстяных веревок свитером должно было находиться его сердце:

— С удовольствием составлю вам компанию. Спасибо большое!

— Тогда на веранду приходите...

— На веранду?!

— Да ведь тепло же! — сказала Элка, как бы шутливо жуя его за как бы трусость.

— Серьезно? А я тут совсем... — он хотел было повернуть сигаретой перед виском но понял, что обожжется, и передумал.

Все было в самом деле очень здорово: снег за окнами, невидимая бесцветная капель, стол — бутылка водки, три граненых стакана и крохотные таргинки — тончайший листок копченой колбасы, тончайший листок огурца. То и другое оставалось у Элки в холодильнике! Она подумала: взять, что ли?.. А теперь вот чудесно так пригласилось!

— Прошу! — сказал Потапов, довольный произведенным эффектом.

— Давайте хоть познакомимся, — сказал писатель. — Я Сева.

На мгновение Потапов заколебался: как же, елки-палки, представиться — Сашей или «по полной программе»... все же разница в годах...

— А я Саша. А это моя супруга Элла Николаевна, — он улыбнулся.

Сева быстрым и каким-то особым взглядом окинул «прекрасную пару».

— А это что ж такое? — он взял в руки бутылку, из которой торчала длинная бледная травина зверобоя.

— Отдушка, — сказал Потапов. — Я химик, а химикам пить без отдушки не полагается.

Что за чушь? Почему химикам без отдушки пить не полагается? Потапов ляпнул и сам был не рад. Но Сева подхватил его шутку кивком головы и засмеялся — так сказать, профилактическим смехом: чтобы поскорее наступила непринужденность.

— Вообще-то я в основном потребитель, — продолжал Потапов. — А действительный специалист по отдушкам — это вот Эллочка.

Тотчас Эллка завладела разговором и начала рассказывать историю про то, что ее обязательно зовут по ассоциации «людоедка Эллочка», а у нее есть два знакомых, два, можно сказать, товарища по несчастью — Карл и Мавр. Так про одного, естественно, всегда говорят, что он украл кораллы, а про другого, что он сделал свое дело и может уйти...

— И я очень прошу вас, — сказала она, очаровательно улыбаясь, — если уж вам когда-нибудь станет совсем не вмоготу, зовите меня хотя бы не людоедка, а каннибалка Эллочка.

Это была, конечно, чисто светская туфта. Потапов слышал ее по крайней мере раз пять и каждый раз не любил. Когда он однажды в довольно резкой форме попросил объяснить, зачем Эллка непременно вылезает со своими Карлами-Маврами, она ответила, что это определенным образом очерчивает «атмосферу разговора». Понять это было невозможно, но терпеть приходилось.

Они выпили наконец — за знакомство. И еще раз — за хозяйку. Все потихоньку наладилось. Минут через двадцать Потапов заметил себя, рассказывающего о проблемах химии, и подумал, что редко когда ему бывало так интересно рассказывать. Время от времени Сева задавал Потапову спокойные и внимательные вопросы — как бы направлял его рассказ.

По новомодному обычаю к обеду здесь звонили в колокол. Они пошли гуськом по узенькой дорожке, протоптанной в пышных загородных снегах.

— А позвольте узнать, почему вы такой скрытный? — спросил вдруг Потапов.

— Скрытный? — Сева вопросительно посмотрел на Потапова. — А, понимаю! Вы такой разговорчивый, а я как бы... иностранный шпион — верно? — он усмехнулся. — В общем, я и есть почти шпион. Я стараюсь быть невидимкой. А сам рассказываю... как-то неинтересно. Вы еще убедитесь.

— Пойдемте, Сева, — попросила Эллка. Ей не хотелось портить лицо спешкой и волнением. Ей хотелось прибыть на этот первый обед в полном великолепии.

— Сейчас! — Сева кивнул, продолжая думать только о своем. — Тут, мне кажется, знаете, в чем дело? Мне жаль выпускать на волю хорошие слова, интересные фактики... Кстати, почти закономерность: если человек много и со вкусом рассказывает, значит, плохо пишет. Это особенно среди журналистов заметно.

— Вы, Сева, такой... Ну, так интересно мыслите. — начала Эллка с некоторым жеманством. — Вам, простите, пожалуйста, сколько лет?

— В июле будет тридцать три! — Сева остановился. — А что?

— Сколько?! — удивленно переспросила Эллка. Потому что они-то думали... Но Сева их понял по-своему.

— Именно! Возраст Христа! — сказал он.

В даче номер двенадцать

Уже двое суток они жили здесь. До обеда совершали подробнейшую ревизию окрестных магазинов — Элкин способ успокаивать нервы. После обеда забирались в бильярдную — потаповский способ успокаивать нервы... Кажется, ну и бездельничай себе на здоровье! Ан нет!

Все-таки это был дом творчества, да-с! А не дом отдыха. По утрам он как бы вымирал. Из открытых форточек сквозь капель слышался стук машинок. Не такой, как у них в машбюро, а медленный, как бы ленивый, на самом деле напряженный, похожий на слепую перестрелку в ночной махновской степи.

Так и Севина машинка стучала из-за глухой, обитой черным дерматином двери.

Потапов чувствовал себя все неудобнее. Представлялось, что вот бы он сидел у себя в конторе, на рабочем месте, а кто-то без конца слонялся по коридорам, курил с кем ни попадя — лишь бы со свободным. Потом шел бы со всеми наработавшимися обедать. И снова слонялся...

Потапов первым послал бы такого... дармоеда!

И хотя сам он вовсе не был дармоедом, хотя сам он отдыхал законно (причем даже не за этот год), все равно — хоть ты лопни! И когда Элка средь бела дня чего-то там слишком оживленно заговорила на веранде, Потапов довольно резко прервал ее: человек, мол, работает. И тут заметил, что ведет себя словно бедный родственник, словно виноватый перед работающим Севой... Такая вот ерунда!

Еще через день он понял, что решительно уже не может больше отдыхать. Если б это было где-нибудь в другом месте, скажем, на юге, в преферансно-загорально-выпивальной компании, там бы он это дело запросто выдюжил...

Из Севиного кабинета по-прежнему слышался махновский перестук машинки... Чего он там, интересно, сочиняет?

И однажды Потапов узнал. Случайно. Ну, или, скажем, полуслучайно... Он поссорился с Элкой — как теперь у них часто бывало, ни из-за чего, но с таким раздражением друг на друга... Был уже вечер, Потапов вышел от греха в холл, небольшое помещенье без окон, где стояли кресла, журнальный столик и телевизор. Сева все еще стучал. Но минут через десять он выглянул — наработанный, бледноватый. И тотчас вслед за ним высунулся хвост густого табачного перегара.

Он тяжело плюхнулся в кресло напротив. Потапов это и по себе замечал: работаешь башкой, а устаешь весь — как лесоруб.

— Кончено, — сказал Сева, — пойду подумаю, как на свете жить одинокому.

Это на его языке значило, что он отправляется спать.

— А ты чего здесь сидишь, Саш? Здесь же дует. Иди! — он кивнул на дверь, откуда только что вышел. — Комната свободна. — Плюс к работе он еще испытывал и неловкость, что один занимает две комнаты, а Потапов с Элкой ютятся в одной.

Первым делом Потапов распахнул окно... На столе он увидел разложенные в некоем беспорядочном порядке листки. В сущности, не собираясь подсматривать, Потапов ухватил любопытными, завидующими глазами абзац с верхней страницы... На него смотрела та самая мысль, которую он искал, может быть, целый год!

Нет, не та самая, конечно. Но все равно — его метнуло в жар и в холод, словно Иванушку-дурачка перед тем, как тот стал добрым молодцем... Это был как бы научно-популярный рассказ о пчелах. Причем для детей, потому что Сева писал, развешивая на каждой фразе фонари, гирлянды, лампочки, чтобы уж там не осталось ни одного темного места.

Потапов жадно прочитал все странички. Вытащил даже ту, что,

исписанная наполовину, торчала в машинке. И только тогда опомнился. Кстати, ничего больше интересного он для себя не нашел, кроме того первого абзаца.

Речь шла о танцах пчел. Сева рассказывал, как пчелы узнают направление на объект, расстояние и все тому подобное. А потом вдруг он и говорит: мол, если б даже пчелы были такие же умные, как люди, они бы все равно не поняли языка танцев, просто бы его не увидели. Потому что все это происходит в улье, а там темно, как и в любом доме без окон, без дверей...

А вот дальше-то он и излагал тот самый знаменитый (знаменитый для Потапова, конечно) абзац. Он говорил о пчелиных усиках, которые служат пчелам как бы носом. Оказывается, обоняние у пчел такое острое, что они могут очень точно различать очертания запаха, «выбоины» и «бугорки» на его поверхности, направление в пространстве и так далее и тому подобное. И в конце Сева писал, что, мол, при помощи своего невероятно чуткого обоняния пчелы по существу могут «видеть».

Естественно, это была всего лишь метафора. В научной книжке да и просто во взрослом каком-нибудь издании такого не сыщешь. Это он специально вернул, Сева, для общей освещенности текста.

А Потапова поразила революционность идеи: так хорошо чуется, что даже видит при помощи обоняния. Сева здесь интуитивно уловил момент того самого перехода количества в качество, о котором мы долбим со школы, однако воочию наблюдаем его довольно редко. А вернее, никогда. В этом случае знаменитый закон был прямо-таки налицо! Количество (то есть острота обоняния) получает такую величину, что совершает качественный скачок — переходит в как бы зрение!

Потапов еще раз полюбовался этой мыслью и оставил ее. Сидел с колотящимся сердцем и мокрыми, как у жулика, руками. В голове крутилось что-то очень важное, только он никак не мог это выразить словами. Машинально взял первый подвернувшийся под руку листок, набросал несколько формул — уже давно придуманных и даже, в сущности, не им... Сделал это Потапов почти автоматически, потому что много тысяч раз включал свою счетно-решающую голову и хорошо знал, что она у него не на транзисторах, а на лампах, то есть работать с ходу не может — нуждается в разогреве.

Так, старик, пока хорошо... Ну а дальше?.. Дальше была полная темень. И он не знал, куда сделать следующий шаг.

Здесь наконец пора объяснить, зачем Потапову понадобилось пчелиное обоняние. Дело в том, что когда «прибор» «раскопегаривается», из него идет дым. Дым этот крайне важно улавливать, анализировать, разлагать на составные части, еще там кое-что... Потапову для этих целей пришлось сконструировать некий улавливатель. В принципе такой был и до Потапова. И все ж он предложил нечто принципиально новое. И принципиально интересное.

Так ему казалось. И Потапов, честно сказать, был до смерти доволен своим «Носом» (так они в группе называли прибор). На самом деле, как он понял сейчас, в эту вот минуту, в этой вот комнатухе, ничего принципиально изумительного в «Носе» не наблюдалось. Он лишь был последним словом в данной области. Последним миллиметровым шагом тортилы-науки. Вот и все.

Как-то ему сказал об этом Луговой. Он затребовал материал по «Носу». И через несколько дней попросил Потапова зайти.

— Ну что, Сан Саныч, поздравляю, очень нормальная идея! — он сделал паузу. — Только это все гаражи, Сан Саныч...

— Чего?

— Ну как тебе сказать... Ты все гаражи улущаешь...

— Какие гаражи?

— Ну, гаражи своей идеи, господи! Подъездные пути наводишь, стрелку-указатель в красивый цвет красишь, зеленые насаждения... А тут где-то у тебя машина спрятана, и, по-моему, гоночная.

— С чего ты взял?

— Ну... — Луговой развел руками.— Чую правду!

— У тебя есть идея?

— Если бы...

После этого разговора Потапов, который очень серьезно относился к каждому замечанию Лугового, еще раз обшарил весь материал. И ничего не нашел — не пахло здесь принципиально новыми идеями. Да как бы и не нужны они были: «Нос» работал отлично. Заводы, где проводились испытания, отзывы присылали более чем шоколадные. Так что дальнейшие усилия в этой области были бы не чем иным, как просто рисованием змеи с ножками.

Теперь вдруг Потапов понял Лугового. «Нос» годился не только для их «прибора». И вообще — не только для того, чтоб вынюхивать. Оказывается, он мог еще и увидеть нечто! Но вот что он должен увидеть, «Нос», и каким образом?..

На следующее утро Потапов позвонил Олегу:

— Привет, дедушка! Что новенького в родной конторе?

— Да все старенькое. А у тебя?

— У меня тут, Олег Петрович, озонированный воздух плюс погода курортная. Да еще, говорят, суббота будет через пару дней.

— Ну и?..

— Ну и сочетай: погода плюс суббота. Работай головой, ты же ученый.

— Договорились. Чего с собой захватить?

— Записывай! — Потапов с удовольствием продиктовал Олегу названия статей, которые так или иначе касались проблем «Носа».

— Постой! — закричал Олег.— Да ты что? Я-то собирался...

— Что ты собирался, то мы здесь сообразим, магазины функционируют с одиннадцати до семи.

— Ясно... — Олег помолчал, оценивая обстановку.— Ясенько... Значится, не дает вам покоя писатель Гоголь: «Шинель», «Нос» и другие повести.— Это он, стало быть, острил...

Потапов попросил:

— Если что-то еще попадет из родственной сферы, ты прихвати, Олег.

— Насчет этого не знаю, Сан Саныч. Я же твою проблематику не особенно рублю.

От комментариев Потапов воздержался...

Если Сергей Николаевич Луговой был для Потапова, так сказать, старшим товарищем, то Олег был товарищем просто, ближайшим союзником по институту и не только по институту. Он, как и Потапов, имел свое подразделение. А в общепитетутской иерархии стоял на той же ступеньке, что и Потапов: был зам Генерального, то есть Лугового.

Конечно, если честно, Олег не был настоящим ученым. Он скорее был начальником, классным администратором. Его кандидатский аттестат родился на свет без диссертации, а «по совокупности работ». Впрочем, в свое время таких много было выпечено кандидатов.

Олег любил именовать себя практиком, человеком, который делает дело. В отличие, скажем, от Потапова, который якобы все витал где-то в эмпиреях.

Все это, понятно, говорилось в полупутку. Но хорошая доля полуправды здесь тоже была. Впрочем, Луговой к Олегу претензий, кажется, не имел.

Для сравнения можно сказать, что, например, Потапову шишечек от Лугового доставалось куда больше! Получалась такая как бы школьная ситуация, когда крепкого четверочника за четверку, может, и не хвалят, но уж по крайней мере не ругают. А того, кто сумел бы на пятерки учиться, за четверку могут назвать и лентяем и нестарательным.

И даже, подозревал Потапов, Луговому проще было работать именно с Олегом: пусть не хватает с неба звезд, зато уж дело свое знает туго!.. Лугового тоже можно понять. Он ведь и сам был прежде всего руководителем. Кроме головного — их института — в его деле был завязан еще как минимум десяток других институтов и, наверное, не один десяток промышленных предприятий.

Это все быстренько «просчитал» Потапов, пока шел от телефона, из главного корпуса, к себе. Он не обижался ни на Олега, ни на Лугового. Это были его друзья. А лучших или других друзей судьба ему не дала. И не даст, сказал Потапов. Он считал себя твердым рационалистом.

Более четкую и несравненно более прекрасную формулировку этой своей мысли о Луговом и Олеге Потапов услышал буквально через несколько секунд, еще, кажется, даже не успев договорить себе про твердый рационализм.

— Да будем мы к своим друзьям пристрастны, да будем думать, что они прекрасны. Терять их страшно — бог не приведи!

Это Сева произносил: чуть более возвышенно, чем требовалось, патетически, так как ему неловко было читать стихи среди бела дня. Но и скрыть своей серьезности он не мог.

Он стоял над Элкой, сидящей с книжкой в кресле, а Элка, улыбаясь со всей возможной загадочностью, смотрела на него.

— Вы чегой-то здесь делаете? — спросил Потапов, используя реплику известного когда-то фильма.

— Ты посмотри, Саш, на этого человека, на эту читательницу. На этого потребителя массовой культуры!

Элка, уже смеясь, протянула ему книжку:

— Возьми, Сева. Так тебе будет удобнее меня громить.

— Нечего тут громить, — он взял книжку. — Тебя жалеть надо. Этот... — он прочитал на обложке имя автора, — написал халтуру с перестрелками. А ты, как глупая, читаешь.

— А при чем тут эти стихи? — поинтересовался Потапов.

— Ну, чтобы она не убивала бесценное время задаром, читаю ей Беллу Ахмадулину.

Значит, это была Ахмадулина. Никогда б не подумал... Откуда у женщины такое мужское и возвышенное представление о дружбе?..

— Сева, но бывает же, — сказала Элка, несколько кокетничая, — бывает же, что человеку просто скучно? Скажем, сплин? Тебе самому, что же, не бывает скучно?

Он вдруг серьезно покачал головой:

— Я уж не скучал... знаете, сколько? Лет двадцать!.. Скучно — это когда думать не дают, а более — никогда!

И от этой неожиданной серьезности, и оттого, что Сева нечаянно сказал ей «вы», наступила неловкая пауза, а на самом деле короткое прозрение. И каждый из троих подумал про себя: какие они оба, в сущности, далекие для меня люди! Потапов первым нашелся — перевел разговор:

— А чего ж ты? Занимаешься спасением чужих душ, а свою собственную не спасаешь? Чего не работаешь-то?

— Не пишется ни фига! — ответил Сева с излишней легкостью. — Один умный человек в таких случаях говорит, что надо ждать. Ждать и мучаться, — он нахмурился. — А я жду, да чего-то не му-чаюсь!

И вдруг Потапова осенило:

— Так давай займемся коллективными мучениями.

— То есть как?

— Ты знаешь, что такое эффект читального зала?.. Приходишь в зал, ну, в Ленинку, например. Думаешь о девушках. Но при этом сел, взялся руками за уши. Все кругом работают. Полчасика так просидишь — и пошло дело!

— Хм... Звучит и заманчиво и неправдоподобно,— Сева задумался, притом совершенно серьезно. Сказал: — Впрочем, сейчас все средства хороши... Согласен! Пошли мучаться, Сан Саныч! — так впервые у него вырвалось имя, которым Потапова звали уже почти двадцать лет — со старших курсов института. Но тут Сева, видимо, и сам услышал это фамильярное Сан Саныч. Остановился, так сказать, на полувздохе. Спросил удивленно: — А ты... это... ты тоже поработать собираешься?

Элка, которая знала эти «потаповские штучки», отчужденно поднялась, взяла из рук Севы свою книжку. Теперь стало очевидно, что она выше Севы на полголовы и их пусть даже и совершенно безобидный флирт решительно никуда не годится. У Севы на миг сделалась растерянная физиономия. Элка повернулась и пошла к себе в комнату. Удивленными глазами Сева посмотрел на Потапова. Тот положил ему руку на плечо.

В Севиней «спальне» стоял еще один письменный стол. Они притащили его в «кабинет», поставили оба стола лоб в лоб, все аккуратно разложили, уселись...

— У тебя... стул удобный? — спросил Сева. И Потапов понял, что они просто побаиваются начинать. У них ведь не клеилось у обоих.

Он решил не отвечать, будто уже погрузился...

Сева открыл ручку — дешевенький «паркер» с железным колпачком.

— Сев, ты из-за меня не печатаешь? — спросил Потапов и сам услышал в голосе своем напряжение.— Ты печатай, Сев. Мне рабочий шум абсолютно...

На самом-то деле — ничего не абсолютно. Мысли как мыши: только пугни, разбегутся. И те, что были, и те, что не были. И все, так хорошо и неожиданно начатое сегодня, разладится...

— Не, Сан Саныч, мне тут надо в хозяйстве порядок навести,— он положил руку на страницы своей пчелиной рукописи.— Редактировать буду.

Редактировать... Надо же! Сам Потапов такой работой почти не занимался. Те несколько фраз в начале его статей, которые предваряли сомкнутые ряды формул, были, в общем-то, известны и даже выучены: условия такие-то, исходные данные такие-то, оборудование такое-то и такое-то, хотели доказать то-то и тэ-то... А здесь — редактирование! Вспомнилось ему где-то когда-то читанное, что Лев Толстой своей правкой приводил в отчаяние наборщиков. Так эти слова и приклеились к памяти — из-за их, наверное, полной неприменимости к его собственной жизни.

Потапов осторожно поднял глаза на Севу, тот смотрел в окно отсутствующим таким, пронзительным взглядом... Стронулось, понял Потапов и с тоской заметил, что у него самого не стронулось ни на грамм.

Ну и чего ты заволновался? Надо решить в принципе — направление, куда ехать: зачем мне этот новый «Нос»? Не для их же «прибора», верно? Для чего? Может, это вообще даже будет не в профиле моей работы. Даже не в профиле работы всего института...

Что мы вообще знаем про запахи? Бывает зловоние и бывает благовоние... Нет, не то... Или то? Что-то здесь есть... Воняет, как от

козла. Какой-то мускусный запах каких-то там муфлонов. Пахнет от лисы, от медведя... вообще пахнет от каждого зверя. Ну и к чему я это клоню? Что мне это дает? Ну, скажем, при определенной фантазии можно было бы сконструировать некий охотничий нос, такую, скажем, алюминиевую спаниельку...

Тут он прервал себя, потому что брел явно не туда. Что-то здесь правильное мелькнуло. Не в электронно-охотничьей собаке, а раньше где-то... Сева его отвлек. Они встретились взглядами. Оказывается, Сева смотрел на него. Тоже будто с завистью. Наверное, и у Севы работа не клеилась.

— Вот видишь как, Сан Саныч. Я всегда говорил, что талант запрограммирован на работу. Сел и работаешь. А я вот тупею!

— Сев, ты что-нибудь знаешь про запахи? Что-нибудь такое, необычное. Ну там... необычная роль запаха в...

И остановился. Во-первых, он не знал в чем. А во-вторых, он увидел вдруг: Сева, краснея, смотрит на него. Да ведь Потапов выдал себя! Запахи — пчелы... Опять Потапову сделалось страшно, что они отвлекутся на постороннее и он потеряет свою мысль... запах мысли... Запах мысли?! Нет, это уж бред какой-то... Он сконструировал фразу, на дыпочках провел ее мимо того хрупкого карточного домика о запахах, который начал складываться в голове, и сказал:

— Сева, я тебя очень прошу. О том, что ты подумал, мы поговорим после. Ты помнишь мой вопрос?..

Он сказал это требовательно, как по обычным жизненным меркам говорить, естественно, не имел права. Он в институте привык так требовательно прерывать людей, уверенный в своем праве и правоте.

Сева смотрел на него, и это была очень важная секунда в их отношениях... А ведь мне обидно, подумал Сева, как бы глядя на себя со стороны. То была у него давняя привычка — глядеть на себя со стороны, чуть ли не школьная... Наверное, я трус и поэтому не умею ссориться.

Он вдруг тихо запел! Потапов вздрогнул даже, невольно прищурил глаза, как делают самые глупые бабы, когда начинают вас в чем-то подозревать. А Потапов ясно в чем подозревал Севу — в сумасшествии. Но тут наконец до него дошло.

— В сиреновом дыму бульвары хороши, — пел Сева, — осенний листопад Москву запорошил. Такой наверняка шумит в лесных просторах...

Потапову сквозь удивление и еще что-то необыкновенно ясно припомнилась Светланка — давняя-давняя его любовь, забытая напроць. Она играла за слабенюкую педсборную, причем и сама была не первым номером. Так что Потапову не составило труда очаровать ее. Он даже не тратил на это лишнего времени — просто играл и играл, обдирал дохляков из педагогической мужской сборной... Ну и так далее...

Кстати, он Севке немного рассказывал об этом. Севка зачем-то сообщил, что он педагогический кончал, а Потапов тогда ему...

— Вспомнил? — спросил Сева. Потапов удивленно улыбнулся и кивнул. — Многие воспоминания прочно связаны с песнями. Известно тебе это?

— Ну... — Потапов пожал плечами.

— А Паустовский Константин Георгиевич говорит, что у него воспоминания сильно связаны с запахами. Понял? Вот что я тебе могу сказать. Хотя я ему не очень верю.

— В смысле?

— В смысле, Сан Саныч, он курил как лошадь. А у курильщиков все запахи отшиблены. Вот ты лично сам много запахов помнишь?.. Так же и я... Ну, подойдет тебе это?

— Да, — сказал Потапов. А сам уже прилаживал у себя в мозгу это новое звено информации. Так обезьяна в известном эксперимен-

те, когда ей нужно достать сквозь прутья решетки банан, хватается то за чугунный лом, то за соломинку, пока наконец глупая рука ее не схватит бамбуковое удище.

Но принцип все-таки правильный. Я хватаюсь не за ботинок, не за коробку, не за мяч, а за некий удлиненный предмет, которым можно дотянуться. Значит, принцип правильный... Стоп, сказал он себе, так как почувствовал, что мысль пошла по кругу. Стоп. Это у обезьяны принцип правильный. А у тебя?.. Доказательства есть? Только интуиция. Гдей-то здесь, гдей-то здесь она спрятана, моя «гоночная» (если пользоваться терминологией Лугового).

Сева опять углубился в свои пчелиные проблемы. И не знал, что, может быть, подарил Потапову золотой ключик... Детский сочинитель... А я всегда удивлялся, чего Танюле так нравятся эти тоненькие книжки... И как он сразу почуял, чего я хочу. Ну и Сева!

Откуда-то из другой жизни приплыл неторопливый и солидный обеденный звон.

Потапов к этому времени изрисовал три страницы разными завитушками, сквозь которые проступали лица неких близнецов — ребят энергичных, мускулистых, то ли детективов, то ли начинающих телекомментаторов.

Однако уже почти отправляясь мыть руки, Потапов на четвертом листке быстренько выписал с трех изрисованных страничек десятка четыре слов, которые сидели на тех же листах, но за оградями. Рисовальная шушера во главе с комментаторами, наверное, хотела бы их поглотить, да не могла: черта в двухмерном пространстве то же, что для нас стена. Теперь, выписанные на бумажку, слова вообще были вне опасности — полстраницы текста.

Среди них не было главного слова. Но что-то все-таки в этой компании было. Очень даже было!

Сева смотрел на него и улыбался:

— Ты, Сан Саньч, как Пушкин работаешь... Видал Пушкина рукописи?.. Ну тоже — рисунки, рисунки...

Невольно Потапов глянул на Севину рукопись. Прежде такая аккуратная, с черненькими ровными строчками — теперь она вся была в тонких татуировках Севиного «паркера»... «Приводил в отчаяние наборщиков»...

— А ты, Севка, работаешь, как Лев Толстой! — и Потапов с удовольствием выложил свою цитату.

На обеде Элка была печальна, торжественна и одинока. Классик, который сидел с ними вместе (в литературной своей жизни он сочинял международные фельетоны), сказал ей комплимент — напыщенный, но неожиданно верный:

— Элочка у нас сегодня вся словно осенний букет!

То есть, как понял Потапов, она в одинаковой степени обладала сейчас двумя качествами: картинностью и печальностью. И обоими совершенно естественно!

Сам же Потапов своим видом демонстрировал кротость и умеренное желание помириться... По опыту он знал, что такое балансирование к быстрому миру не приведет. А ему того и надо было! И потому выжидательно-грустно поглядывая на Элку, он продолжал поедать свой бифштекс со сложным гарниром. Хотя ничего сложного там не было, кроме капусты и морковки!

И вдруг на мгновенье так смешно и обидно ему стало. Господи ты боже мой, подумал он, сколько же приходится тратить всевозможной иезуитщины и макиавеллещины, чтобы выпросить у жизни своей лишний час для работы!

Дело в том, что Потапов вдруг совершенно четко понял: ему необходим сейчас семинар.

Под «семинаром» Потапов понимал обмен мнениями по какой-то

определенной проблеме в кругу себе подобных. Еще в давным-давние времена, когда Потапова вдруг шарахнуло на втором году институтской жизни в научную деятельность (гуляло по их курсу такое повальное заболевание: «Надо, парни, в аспирантуру») и Потапов записался в НСО, был там у них очень неглухой, как казалось тогдашнему Потапову, мужик — их руководитель. И он говорил, когда не клеилось:

— А ты вот давай-ка нам все расскажи по порядку. Авось мы чего тебе и подскажем... А вернее всего, сам себе подскажешь.

Эта идея стала для Потапова, так сказать, руководящей. Он столько раз произносил ее после — и сам себе и на различных совещаниях, что уже как бы стал ее автором. А покойный старичок уличить Потапова в плагиате теперь уж не мог.

Сейчас вот что ему хотелось, Потапову. После обеда сразу захотеть Севу, пойти на прогулку, подробно и толково все изложить ему про «Нос». Главное же, самому послушать себя. А может, и Сева чего произнесет.

Если серьезно, то, конечно, Потапов не надеялся на Севины под-сказки и угадки. Вернее — надеялся, нисколько не надеясь... Но точно: ему нужно было Севино внимание. И еще то волнующее чувство, что тебя действительно понимают. Что с тобой заодно! Это ведь редкость, между прочим. Куда чаще тебе говорят: «Дико интересно, старик!», а сами в этот миг мучительно соображают, какие же шесть цифр зачеркнуть в грядущем тираже «Спортлото»...

Итак, решено — семинар. Оставалось только прокачать некоторые оргвопросы. Сева опять нацеливается на свой письменный стол, но его-то мы быстренько уломаем. Элка? Кроме как о здоровом сне она сейчас ни о чем не мечтает.

Все вышло именно так, как он расчислил. Даже еще чудесней! Севу вообще не пришлось уламывать. А Элка, которая должна была рассердиться, только кивнула и глянула на Потапова как-то странно, а после пошла в дачу — даже не потребовалось ее провожать. Что-то на мгновенье царапнуло Потапова по сердцу. Но он тут же смахнул эту боль — некогда!

— Я, Сев, тебе хочу рассказать одну идею...

Они уже вышли с территории, шагали по совершенно пустому в этот дневной неурочный час поселку... За все их больше чем двухчасовое гулянье им встретились, наверное, всего трое-четверо прохожих да несколько «Жигулей». Остальное — сосны, да заборы, да нахохлившиеся, дремавшие под снегом дома.

Сева первые минуты слушал его как-то настороженно. И Потапов, излишне спеша, все старался дойти до того, что должно было бы показаться интересным неспециальному слушателю... Вдруг Сева неожиданно прервал его:

— Саш! Ты ведь мне просто свою работу рассказываешь?

— Да...

— Свою, научную, работу? — так и произнес, с расстановкой.

— Ну да!

— Слава богу! — Сева засмеялся. — Я знаешь что? Я слушаю тебя, а сам думаю: вдруг ты графоман. Ну, какой-нибудь романчик катаешь из научной жизни... Еще и про толстовские черновики откуда-то вычитал... Э-э, думаю, неспроста — попался я.

Потапов посмотрел на Севу и расхохотался — так искренне, что если и оставались у Севы какие-то подозрения, то теперь уж они совершенно улетучились... Наверное, ничто для Потапова не было менее желанно и даже так чуждо, как писание каких-то дурацких книжечек. И ничто на этом свете он не ценил так высоко, как свою работу!

Он снова стал рассказывать, а Сева слушал. Потапов и сам себя слушал. Ему нравилась логика его рассказа — логика его прибора. И нравилось спокойное, слушающее Севино лицо.

Выходные дни

Как ни длинен был мартовский день, но все же начало вечереть. Подморозило, улицы превратились в ледяные реки. Они и блестили как реки в свете первых зажженных фонарей и в свете еще не погасшего неба... Потапов и Сева теперь не шли, а скользили.

— Нам бы сейчас коньки, да, Сан Саныч? Получится настоящая Голландия.

Потапову на миг увиделась никогда не виданная им Голландия. Каналы, выстекленные льдом, и еще что-то, что было прочитано в детской повести лет тридцать назад, а теперь забылось напрочь. Видно, голландские каналы не понадобились ему с тех пор ни разу!

А на пустынных улицах, между прочим, народу стало попадаться больше — такого же скользкого, как и они с Севой. Сева отнес это за счет окончания рабочего дня. А Потапов-то знал: сейчас будет пивная.

То была редкостная пивная. Наверное, она сохранилась из бывших времен по объединенной просьбе всех киношников. А может быть, и строилась для какого-то соответствующего фильма. Так или иначе в ней присутствовала чисто киношная лакировка действительности.

Во-первых, сколько ни приходил сюда Потапов, здесь всегда было пиво. Странность? Еще бы! Во-вторых, в ней было хотя и не чисто, но как-то пристойно. Дым висел, и толпился народ, никаких тебе там «курить воспрещается» не было и в помине. И страждущий всегда мог протолкнуться к стойке — очередей как-то здесь не водилось.

И физиономии встречались изумительные! Эдакие между сорока и пятьюдесятью, самый колорит, самый расцвет. Они словно бы правда для какого-то кино картинно прожигали жизнь посредством плодово-ягодных вин, портвейнов и этого вот пива.

Пиво бочковое — вот он самый демократический напиток. От любого захудалого приборного ларька до любого коктейль-холла кружка жигулевского стоила и будет стоить не дороже тридцати копеек... Правда, в коктейль-холлах пива кружкового-бочкового не продают. А зря!

Хорошо, думал Сева. Он удивительно быстро и легко как-то пьянел всего от второй кружки... Ох, мне бы это все записать... Но где там и что там было записывать, в этой солидарной мужской толпище. Вбiraй, Севка, запоминай...

Потапов же, который не воспринимал это все так бутафорски да и бывал здесь уже, просто отдыхал после проделанной работы.

В эту минуту ему ужасно захотелось быть ни перед кем не в долгу, совершенно чистеньким, чтоб спокойно заниматься своим делом... Будь он мальчишкой, он бы просто крикнул в душе своей, что всему-всему миру дает честное слово, и все на том было бы кончено и наступила б чистота, какая случается лишь ранним утром в июне, в десятилетнем возрасте.

Но ведь он был ученый, матерый инженерище. И тотчас задача достижения чистоты, как и всякая задача, распалась на составные. Первое — он виновен перед Элкой, что худо исполняет свою роль внимательного мужа. И второе — он виновен перед Севкой, что залез в его рукопись.

Для решения первой задачи следовало сейчас же бросаться домой. Но чтобы решить вторую, нужно было оставаться здесь, никуда не спешить и под разговор выпить, возможно, еще по паре кружечек. Таким образом существовало две взаимоисключающих друг

друга задачи. Потапов предпочел решать вторую. Потому что вторая была важнее для его работы и потому еще, что первая была в общем-то неразрешима.

— Сева, я совершил преступление. Я твою рукопись прочитал.

— Представьте, Сан Саныч, я это знаю.. В качестве взломщика ты буквально никуда не годишься. Сплошные следы преступления! Но, между прочим, следов раскаяния я заметил на тебе значительно меньше. Вернее, никаких! Но я, Сан Саныч, патологически не умею ссориться.

Что ж сказать, Потапов был задет его ответом. От мальчишеской потребности просить у всех прощения ничего не осталось. Однако он сдержался.

— Сев, я виноват, прошу меня извинить... Если возможно.

— Ты меня не понял! Я не собираюсь тебя прощать, потому что я не сержусь.

— Почему? — невпопад удивился Потапов.

— Ну потому хотя бы, что ты мне нравишься и я даже надеюсь с тобой дружить.

Потапов совершенно не знал, как реагировать на неожиданные Севины слова. Открытые чувства — это было не по его ведомству. Но, к счастью, в пивной произошло событие. Явился человек с гармонью и сразу, конечно, стал центром внимания, центром всех улыбок и взглядов. Он играл, широко разводя мехи, играл слишком громко для своего вовсе негромкого, так называемого душевного голоса. ...Я шел к тебе четыре года, я три державы покорил... Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт...

Сева слушал, растерянно улыбаясь. Вот и жизнь, думал он... Гармонь забирала высоко и очень чисто. Гармонист был всего лет на десять старше Севы — в распахнутой нейлоновой куртке, в толстом свитере и сапогах. Наверное, шофер или тракторист. Явно не воевавший... Я бы никогда не решился так петь, подумал Сева, и не сумел бы никогда... Милицейский старшина, совсем молодой парень, стоял у двери, на дымном ветру и тоже слушал, вовсе не собираясь кого-то арестовывать или штрафовать. Вот о чем бы написать, подумал Сева: мужская компания, свой милиционер, свой гармонист, свои порядки. Когда же я напишу об этом?

Подожел Потапов с двумя кружками свежего. Сел рядом с Севой на подоконник. Здесь, как и в большинстве современных пивных, была «американка», или, выражаясь проще, «стоячка». Но тот, кто приходил вовремя или кому везло, мог занять один из четырех подоконников — как бы отдельный кабинет. В этом была, конечно, особая прелесть — сидеть в стоячей пивной.

Сева отхлебнул из своей кружки, отер пену с воображаемых усов:

— Хорошо сидим! А, Сан Саныч?

Вот и все. А те странные Севкины слова остались уже в прошлом. И без ответа. И в то же время ответ на них как бы состоялся.

Они допили свое пиво, ясное дело, безнадежно опоздав на ужин.

— Пора?

— А что поделаешь?..

Осторожно, сквозь благодушный народ, протолкнулись к выходу.

— Поглядывай,— сказал Потапову милиционер, который все так же стоял у дверей.— Не промахнитесь там... Студента своего побереги.

— В смысле чего?

— В смысле что на улице гололед.

И тут только Потапов заметил, что Сева-то стал веселым человеком! Но пивной хмель водянист. Пока они дошли до дому, весь он

и улетучился, вымытый весенним воздухом и некрепким, тоже «пивным» морозом.

Оказывается, приехал Олег. Вот они, кстати сказать, преимущества собственных «Жигулей» — сел и приехал. Об этом говорила Элка несколько металлическим, светским голосом — Потапов вынужден был соглашаться... Олег не то сидел, не то лежал в кресле, пузатый, бородатый, толстый. Глаза его — про такие в старых романах говорилось «уголья глаз» — перескакивали с одного говорящего на другого. Тело же при этом продолжало пребывать в полной нирване. В левой руке медленно дымилась сигарета — словно курился некий фимиам, правая рука время от времени подносила к губам, вылезавшим из бороды, чашку с кофе.

Но уж кто-кто, а Потапов-то знал, каким быстрым умеет быть этот толстый человек и каким метким умеет быть его кулак. За семь лет знакомства всякое случилось.

Элка по случаю Олегова приезда объявила Потапову негласное перемирие, а возможно, и полную амнистию. Он, чтоб не оставаться в долгу, лишь небрежно просмотрел названия привезенных Олегом книжек... Ого, а ведь Олег Петрович-то не так уж и прост. Сверх списка было еще два автореферата каких-то молодых ребят из МГУ. Однако стой, не будем искушать судьбу. От греха Потапов унес книжки в комнату и явился с колодой карт в руках. Потому что Олег плюс свободное время равняется покер. Это уж всенепременнейше.

И хватит действительно: работа, работа. Сидит мой друг, сидит Сева, вполне милый человек. Сидит Элка — проверенный и закаленный товарищ. Да и любимый, наверно...

Потапов играл довольно безалаберно, но ему немножечко везло. А при плохих игроках этого вполне хватает. Олег напротив — расчетливо играл и точно. Словно он и тут знал приемы каратэ. Элка трусила, а то вдруг взвинчивала ставку до звезд. Выигрыши и проигрыши у нее чередовались, как прикинул Потапов, примерно один к трем. Сева сразу решил, что ему не везет. Ему и правда не очень везло, но, главное, дело он понимал не особенно да и вообще был не игрок.

Минут через сорок Сева вдруг схлестнулся с Олегом. Они договоривались уже до целой горы фишек (роль которых, естественно, исполняли спички), но все продолжали доваривать в банк.

— Я бы вам посоветовал спасовать, — сказал Олег. — Хотя теперь уж, наверное, поздно. Еще десять под вас!

— Вы так сильно волнуетесь за ближнего...

— Вот уж, простите, чего никогда не делаю!

Они почему-то никак не переходили на «ты». А это в наше время, согласитесь, странно. И даже малость настораживает.

Наконец Олег сам закрыл игру — «исключительно чтоб Эллочка не скучала». Элка, однако, вовсе не скучала. Со всем своим азартом она болела за Севу. Потапов продолжал спокойно сидеть в кресле и гордился своим спокойствием. Только вдруг почувствовал, что у него губы устали от бесконечной резиновой улыбки... Во чухь-то! И усмехнулся уже по-настоящему.

— Цвет! — сказал Сева и выложил на стол пять бубен. Это была действительно сильная комбинация. Потапов даже удивился.

— Две двойки, — Олег сделал хорошую паузу, — из королей!

И рассмеялся. Потапов знал его в эти моменты и, честно говоря, не любил. Севка сидел совершенно убитый... Ну! Еще разревись тут! Он закусил губу и тотчас подумал, как это банально выглядит — сидеть с закушенной губой.

Элка припустилась к нему на ручку кресла, большая, как курица над цыпленком:

— Не расстраивайся, Севочка!

Чтобы чем-то заняться, он стал считать свой проигрыш, в сущности, конечно, мизерный... Делал это медленно и сосредоточенно, чтоб не ошибиться. И чтоб ему наконец сказали: «Да кончи ты, с ума сошел!» Но эти трое помалкивали. Вынул кошелек...

— Я бы у вас никогда не взял,— сказал Олег своим шикарным баритоном,— но примета: карточный долг — святой долг. Не возьму, потом везти не будет.

— Ну пусть бы и не везло, ну и что?

Потапову так неловко стало — Севка явно глумился! Выходило, он напрашивается, чтоб ему вернули эти его гроши. Олег великодушно не заметил этой его промашки.

— Не-ет! — сказал он медово.— Люблю выигрывать. Жить не могу, чтоб не выигрывать.

— Ну и отлично. А я люблю проигрывать.

— Опять нет,— Олег благодушно улыбался.— Вы хотели выиграть. И я хотел выиграть. Вы проиграли, причем случайно. А я выиграл, причем сознательно!

— Карты, что ли, меченые?..

Медленно проползла секунда, за ней вторая.

— Я здесь вообще-то гость,— сказал Олег очень спокойно.— Стало быть, карты не мои... Вам же могу для информации сообщить: моя беда в том, что я вижу людей насквозь.— Он улыбнулся побледневшей Элке.— Мне бы следователем быть.

— Да нет, не следователем. Рентгеновским аппаратом.

— А какая, собственно, разница?

— Существенная. Следователь — человек на работе. Рентген — машина.

Олег пристально посмотрел на Севу. Потапов хорошо знал этот взгляд.

— Чего вы добиваетесь, Всеволод... не знаю, как вас по батюшке...

— Алексеевич.

— Алексеевич,— Олег согласно кивнул. Он был потрясюще в себе уверен. Как танк. А Севка перед этим танком представлял собою цветочную клумбу. Даже, вернее, грядку с огурцами — потому что уж очень глупо он себя вел!

— Ничего я не добиваюсь... Просто... Может же человек не нравиться или как? — он повернулся к Потапову и Элке: мол, вот привязался чудак.

Олег с комической растерянностью развел руками. Но Сева и не думал униматься!

— Знаете, Олег, вот я вам сказал, и, ей-богу, на душе стало легче. Оказывается, я вас не так уж и не люблю,— Сева улыбнулся.

Господи! Вот ахинеящик!.. Но Олег уже, видимо, не реагировал на него всерьез. Просто рассмеялся, как смеются над детьми или над клоунами — понял, что Севка ему совсем не опасен.

— Я-то вот никак в толк не возьму, дорогой Всеволод Алексеевич, нравитесь вы мне или нет.

— Будьте осторожны,— Сева покачал головой.— Тот, кто не любит меня, плохой человек... Проверено!

Опять Олег вынужден был рассмеяться.

Сева будто совсем не заметил его смеха. Он так странно умел делаться серьезным в одно мгновение:

— Любовь, знаете, вообще дело не очень поддающееся объяснению. Вот моя жена. Я уж не знаю просто, как я ее люблю! Ревную, скажем, до потери всякой логики! Иной раз мечтаю: скорее бы, думаю, состариться... так устал ее любить. И все-таки храню надежду еще на одну любовь!

Тут он словно очнулся, окинул всех каким-то измученным, ка-

ким-то почти удивленным взором: «Господи! Зачем же я вам это все говорю?!»

Лишь один Олег не заметил ничего. И продолжал беседу в своем обычном легком стиле:

— А ведь это пахнет изменой, не находите, Всеволод Алексеевич?

— Это пахнет правдой,— сказала Элка. Потапов хотел посмотреть на нее и отчего-то не решился.

Наутро Сева исчез задолго до завтрака и явился с той, которую он так сильно любил. И не зря, и недаром! Она была хороша, эта женщина. Элка, почуяв и партнершу и соперницу, сразу выказала свое полное дружелюбие. То же сделала и Маша... ее звали Маша. Они еще говорили друг другу «вы», но улыбались уже на «ты».

Маша говорила тихо и в то же время звонко, а смеялась неожиданным грудным, каким-то даже цыганским смехом. Но не раскатистым — словно лишь обозначала смех.

— Слушай, потрясающая женщина! — Олег хмурил свои цыганские брови и улыбался.

А ее улыбка была очаровательна! Глаза синие не то серые — черт знает, страшно было туда заглядывать глубоко! Она улыбалась вам, словно что-то обещала. И ничего не обещала, ни йоты, кокетничать и не думала! Она просто была здесь, с вами. И это уж являлось наградой!

Обычно всякая женщина имеет какой-то недостаток: скажем, тонкие губы, или слишком тяжелую нижнюю челюсть, или какой-нибудь не такой нос, или бог его знает что еще. И всякая женщина старается свой недостаток как-то скрыть. Допустим, нос длинный, значит нужна челка, тонкие губы — намажь шире помадой, ну и тому подобное... Маша вовсе не пользовалась этими штуками. Ее внешний облик казался абсолютно естественным: обнажающая лицо — простая и рискованная! — гладкая прическа с пучком на затылке, как у балерин, и совсем легкая косметика — словно бы просто дань общепринятости.

Она одета была красиво и просто. Но Элка хорошо знала, сколько стоят эти неприметные кофточки и скромные юбки, эти чуть грубоватые свитера и якобы простые сапоги... Мы живем в глупое время, когда шмотка с хорошим «лейблом» стоит столько же, сколько драгоценность. А что ты поделаешь? Ничего!.. Так подумала Элка, и прищурилась, и улыбнулась с удовольствием. Она считала наше время временем женщин.

Сева был расслаблен и счастлив. И даже Олег почти стал ему другом.

Перед обедом они погрузились в Олеговы «Жигули» — Маша привезла из Москвы легенду, что где-то здесь затерян некий сельский ресторан: волшебная кухня, никого народу, собака, лежащая у очага... то есть все то, чего у нас сроду не водилось, а только в кинофильмах типа «Серенада Солнечной долины».

Они поехали по замороженным улицам, мимо забытых дач. «Жигуля» водило на стеклянной дороге. Но Олег еще и прибавлял этого скольжения — слишком решительно крутил баранку, заставлял мотор становиться на дыбы. И в то же время было ясно, что она его слушается, как девочка, эта самая машина. И наступило какое-то удивительно легкое, рискованное настроение.

И даже Потапов, который с младых ногтей презирал всякие там развлечения золотой молодежи, даже Потапов поддался этому настроению. И чувствовал, как рядом с ним, утопая в меховой шубе, сидит очаровательная женщина. Она улыбалась, и смотрела в окно, и иногда совсем не испуганно смеялась на особенно удачные Олеговы штуки. Она-то знала, для кого разыгрывается это родео.

Мифический ресторан, конечно, в здешней вселенной отсутствовал, и поэтому они вернулись домой — опоздавшие, шумные.

После обеда мужики уселись за преферанс. А Элка и Маша устроились в шезлонгах на солнышке, в полном безветрии.

Маша вынула необыкновенной красоты пудреницу, посмотрелась в зеркальце, из которого сейчас же выбежал солнечный заяц. Элка, ни на что, естественно, не надеясь, спросила:

— Что, трудно достать?

Маша засмеялась с заметным чувством превосходства.

— «Трудно достать?» Говорят, это вопрос века.

И Элке неприятно сделалось. Удачливой холодностью повеяло от этой красивой Маши... Некоторое время они молчали, причем Маша вовсе не чувствовала, что она сделала какую-то неловкость, она просто молчала, вполне естественно, дремала, что ли, а может, нежилась, а может, загорала. И тогда Элка заговорила сама. Но уже без прежнего желания сблизиться, а только разузнать...

На веранде, за стеклянной решетчатой стеной, Сева и Олег торжествовали победу над потаповским мизером.

— Мужики,— сказала Элка,— странный народ! — Ей было интересно, как она с Севой живет, эта самая Маша, все-таки писатель...

— Странный? — как бы переспросила Маша.— Для себя всегда формулирую так: мужчина и женщина глубоко антагонистические существа.

Элка невольно покачала головой. Она думала, наверное, как Маша, но не умела так сказать. А если бы и умела, то не имела бы смелости так сказать... «Я для себя всегда формулирую так». Надо же!

— Вы уж тут, наверное, пригляделись к моему Севке?

— Ну конечно...

— И что?

— Он...— И запнулась, потому что он и глупый и умный сразу. И эта его любовь к репликам невпопад. Хотя ей лично с ним легко.— Он, знаете, по-моему...

— Он прежде всего простак! Да-да... Уж я-то его знаю. Замечали, как он сразу влюбиться норовит?

Крючок! Элка на всякий случай сделала удивленно-дружеские глаза.

— Ну не в вас,— продолжала Маша совершенно спокойно,— так, значит, в вашего мужа. Он вообще любит людей. Любит общаться. Он на самом деле не любит алкоголь, но пьет. У него такая формулировочка: когда потеряю друзей, тогда перестану пить.

Жестко, жестко... Элка была даже шокирована явной несветскостью ее тона. Видно, и Маша что-то такое почувствовала:

— Я, знаете, так вам говорю, поскольку мы как в поезде — до первого полустанка, а там...

Какая расчетливая, подумала Элка, не так-то, видать, Севе с ней сладко. Вернее, она даже была не столько расчетливая, сколько вся какая-то математически точная, выверенная.

Элка подумала не без злорадства: таким-то как раз и изменяют, ледышкам... и правильно делают.

Но спросила, конечно, по-иному:

— А вот... Ну раз уж мы в поезде, как вы говорите... В общем, не боитесь, что он вам изменяет?... Я имею в виду — писатель, художественная натура...

И снова Маша улыбнулась с тем же неприятным превосходством:

— Нет, знаете, не боюсь! Вы мне не верите, конечно. А я говорю: даже пусть изменит! Узнает, чего они стоят, эти так называемые другие бабы.

Все что угодно, подумала Элка, не знаю, какие обстоятельства, а я бы с ней ни за что не сумела дружить... И вдруг догадалась, уверенная, что иначе и быть не может: а у нее вообще подруг нет!

Потом она уже сознательно следила за Машей, все больше убеждаясь, какая та математичка расчетливая. Она Севкой дорожила, это ясно, знала, что он талантливый. Когда Элка его похвалила, что ничего-то он не пьет, а только работает да работает без конца, Маша ответила так:

— Ну понимаете, талант вообще запрограммирован на работу.— Поразмыслила и добавила очень серьезно: — Он, конечно, очень способный... А иначе мы бы не были вместе!

Очень скоро Маша почувствовала себя вполне уверенно в их компании. Она стала бы душой общества, если б только не продолжала оставаться безукоризненно женственной. И женственно смелой. Элка при ней буквально кисла на задворках, так что Потапову стало даже обидно... Олег что-то там позволил себе по поводу искусства. А он, по крайней мере в кругу Потаповых, считался вполне знатоком.

— И это говорит мне человек,— сказала Маша,— человек, который к серой рубашке пришил желтые пуговицы!

Рубашка и пуговицы были, что называется, налицо, все их видели и раньше, но никто не замечал — кому какое дело! Теперь, уличенные в такой явной безвкусице, все засмеялись особенно старательно. И Потапов засмеялся и был сильно недоволен собой из-за этого.

— У вас чисто мужская способность убивать противника репликой! — Олег сидел прямо и даже брюхо свое сумел упрятать под могучую грудную клетку... Этого еще не хватало, подумал Потапов.

Потом они сидели в Севкином «кабинете», отданном Олегу под спальню.

— Не веришь? — говорил Олег.— А я пари держу, что она ему изменяет.

Потапову совершенно не хотелось говорить на эту тему.

— Ну спокойно, Сан Саныч! — улыбнулся Олег.— Я же не циник. Я только учусь.

Воскресные полдня прошли в той же разговорчивой праздной суете. Потом гости уехали. и они с Севкой после обеда сели работать. Причем работалось Потапову никудашно. Он снова рисовал завитушки и телевизионных дикторов... Ему все вспоминалось сегодняшнее утро. Сева в тапочках, в свитере кинулся на свою физзарядку. Маша проводила его до террасы, остановилась на солнышке, взяла из потаповской пачки сигарету.

— Вы не знаете, Саша,— и в голосе ее слышалось раздражение,— не знаете ли вы, зачем он так усиленно занимается спортом? Чтобы к шестидесяти пяти стать неестественно молодым стариком?

Потапову не нравились эти остроумные слова, не нравилось, что их говорят о беззащитном Севке, о вдвойне беззащитном Севке. Не нравилось, что их говорит Маша. И он сразу не нашелся, что ответить... По счастью, на террасу вышел Олег — тоже с сигаретой, нечесаный, как черт, небритый, неумытый. Но в другой рубахе! Он потянулся, страшно зевнул:

— Человечка бы зарезать!

И Маша рассмеялась. Так искренно и таким прелестным своим глухим колокольчиковым смехом.

В город они уехали вместе на Олеговых «Жигулях», что было, впрочем, вполне естественно.

Телефонный звонок

Ее обманули. Самым мерзким образом. Сказали, что минут на сорок, а пропали на полдня. У них, видите ли, наука. У них, видите ли, мужские дела, им, видите ли, надо пройтись... Сева-то не виноват. Что с него взять, с изобретателя детских баек. Но Потапов... Сколько же можно так к ней относиться? Элка стояла у окна перед входом

в столовую и смотрела на своего мужа и Севу, которые шли по тропинке к даче. Возвращались!

Их лица выражали ту напряженную веселость, которая всегда бывает у мужей, идущих «сдаваться».

В таких лицах нет раскаяния — как нет его и в таких душах. А только одно желание — побыстрее, побезболезненней проскочить неприятные полчаса, когда тебя будут пилить. Потом-то уже легче: можно, например, самому обидеться, выставить встречные претензии. А после этого совсем просто: обе стороны умолкают, обозначая взаимную надутость. Все, живи — не хочу. Что называется, кайф!

Но может, я зря так уж слишком-то! Ну ушел — ну и что? Ушел и пришел... Это она стала так думать сама с собой, когда сегодня утром обнаружила, что ее покинули.

Ушел, пришел... Придет ведь — значит, нормально... Ну а чего тогда, простите, жить вместе?

«Надо сохранять семью».

«Нельзя оставлять ребенка без отца».

Или еще того почище: «Надо держаться за мужика»...

Она смахнула досадливую слезу, потому что это все было правильно: и первое, и второе, и третье! Но это что ж такое? Какие уж там к богу в рай чувства, когда он такие фортели выкидывает! А ему и не нужны, Сан Санычу, твои чувства. Ему это все — дело десятое... Подурней я, например, он бы и не заметил... И вдруг она остановилась с испугом, оглянувшись на свою мысль: а ведь подурнею! Скоро!

В таком вот настроении она и пошла на обед. Одна... Уже раздевшись, уже перед самым входом... кто там, бог или сатана надоумил ее глянуть в окно... И увидела эти лица без малейшего раскаяния... Без малейшей любви — вот что главное! Как будто все их книжки, все их приборы стоят хоть одной минуты ее страдания. Думаете, вы такие интеллектуалы, да? А вы низкие, низкие люди! Нельзя так себя вести, неблагогородно...

Высокий седой старик вышел из телефонной будки:

— Извините, что задержал вас...

— Что?

— Вам ведь позвонить?

— Да, — неожиданно для себя сказала Элка. И кто опять ее подтолкнул — бог или сатана? Она набрала номер, который запомнила однажды раз и навсегда.

В кабинке было полутемно, и она оставалась почти невидимой. А ей самой был виден весь холл — от входной двери до двери в столовую... На том конце провода подняли наконец трубку. Элка ясно почувствовала, что краснеет.

— Соловьева попросите, пожалуйста.

Открылась уличная дверь, вошли Потапов и Севка, пошарили глазами по холлу и стали неторопливо раздеваться...

— Здравствуйте, Стас. Это Эля... — Она выслушала его взволнованный ответ. — Я сейчас в отъезде. Возвращаюсь через пять дней. Позвоните мне на будущей неделе, во вторник. Часа в три... — И не могла не улыбнуться: — Ну конечно можно, раз я вам разрешаю!

Этим и кончается история об отпуске. С тех пор март прошел и даже половина апреля.

Директорат

— Ну пока, Алис...

Танечка еще спит, и поэтому они переговариваются шепотом. Потапов секунду ждет, что Элка, стоящая в дверях кухни, выйдет к нему в прихожую — поцеловать на прощанье. Он уже готов уйти, уже в плаще, но шляпу еще не наделал... Элка продолжает стоять как стояла, смотрит на Потапова и улыбается. Улыбка у нее стран-

ная — безжалостная какая-то и жалобная. Как у балерины при овариях...

Господи! Что за сравнение такое дикое... Он подмигивает ей и прощается по-американски: эдак залихватски двигает подбородком вверх... Что там у нее опять стряслось?

Ладно, потом разберемся. Не хочется сейчас об этом думать. Он выходит из подъезда и попадает в утро — чудесное апрельское. С каждым разом они становятся все лучше, эти утра: и воздух уже пронизан солнцем, и почки лопнут не сегодня-завтра. Но после ночи земля еще скована приморозком, а кое-где даже сохранились застарелые черные наледи. Потому и ходят люди в пальто, в плащах и шляпах.

Это, однако, не касается молоденьких девчонок, тех, которые и по октябрьским холодам продолжают бегать в мини... Потому что им до слез жаль прятать свои красивые ножки... И весной они первыми покидают бронированные зимние наряды. Идут по улицам, сверкают — машинистки, лаборантки, старшие школьницы. Потапов никому не признавался (эге, скажут, седина в бороде, а бес в ребро), но все же он очень любил эти первые дни весеннего девчоночьего блеска. И каждый раз, каждый год отмечал его про себя.

Именно сегодня, вот прямо сейчас, Потапов встретил одну такую сверкальщицу — может быть, первую в сезоне. Она прошла, сама осознавая себя если не Юноной, то уж Юнониной дочкой наверняка, и Потапову стоило большого труда не оглянуться ей вслед.

Он не был в институте больше двадцати дней. Так совпало, что сразу после отпуска одна за другой на него обрушились две командировки: сперва на испытания, потом в НИИ, который занимался проблемой подачи топлива непосредственно в «прибор».

И завод и НИИ были много северней Москвы. Там весной пока и не пахло. И Потапову сегодня особенно приятен был назубок известный пятнадцатиминутный маршрут до конторы в это первое после возвращения утро.

Он с удовольствием думал о своем институте. О том, как сейчас его увидят, Потапова, и будут здороваться. Кто лично не знаком, просто наклонит голову эдак со значением: «Здрассс», потому что Потапов ведь начальник! А кто знаком, тот скажет: «С приездом, Сан Саныч! Все удачно?»

Дело тут вовсе не в чиновничестве. Просто он знал, что будет именно так, и радовался этому — радовался, что знает свою контору.

Да, он знал ее. Знал ребят из подсобных цехов с их обычной послеобеденной шуткой, что, мол, скорей бы домой да утром на работу. И знал Сергеича, класснейшего слесаря примерно потаповского возраста. В перерыве вокруг него обязательно собирается народишко, и Сергеич рассказывает, что вчера он по телевизору кино посмотрел исключительное — как выпил! Потапов и Сергеич всегда при встречах здоровались за руку и на «вы», из-за чего Сергеич явно имел в цеху дополнительный авторитет.

И среди техников у Потапова были друзья, Володя Орлов, например. Этот изобрел выигрышную систему в Спортлото. Он говорит: «Математически я вам докажу ее в два счета». У него ребята спрашивают: «Ну и выиграл ты что-нибудь?» А он отвечает с достоинством истинного экспериментатора: «Пока нет!»

И в машбюро у него есть друзья, вернее, подружки. Наталья Синицына, миленькая девочка с голубыми глазами и немного лисьей мордочкой. Печатает, как богиня, хотя и не произносит, наверное, половину букв русского алфавита, а это, как известно, должно бы сказываться на грамотности... Ее мужа зовут Сережа — имя, которое она не говорила бы и под пистолетом. Но звонить мужу все равно ведь надо — как без инспектирования! «Попьясите пожаыста Сিনি-

цына». А там ребята уже знают. У нас, говорят, два Синицына. Вы нам имя скажите...

И наверное, сегодня же Потапов заглянет поздороваться с кадровиком, отставным службистом Михал Михалычем, которого за огромность кличут Михал Медведичем. Он как-то поведал Потапову, что самый оптимальный срок сидения на одной работе — три года. Первый год человек делает что хочет, второй год начальство разбирается в сооруженных им авгиевых конюшнях, третий год его выгоняют. Сам Михал Медведич сидел в конторе шестнадцать лет, то есть с ее основания.

И наверное, заскочит решить какие-то неотложные вопросы главный инженер Коняев Леонид Павлович, знаменитый тем, что он, кажется, единственный старый начальник в их институте. Ему под шестьдесят. А все остальные начальники вроде Потапова, вроде Олега — молодые да ранние... таковы уж вкусы Лугового.

Впрочем, Коняев, хоть и шестидесятилетний, но вполне Сережин кадр: оптимист, теннисист, добряк, бодряк, выпить умеет. Эдакий ширококостный бывший боксер среднего веса... Потапов очень хорошо представлял себе, как Коняев каждое утро проверяет по телефону свою идеальную «сейку» — чтобы снова услышать, что она ходит секунда в секунду, день за днем... Еще один допинг хорошего настроения.

Выражается он примерно в таком стиле. Если на кого-то раздражен, то кричит хриловатым своим баритоном: «Ну ты извини, я же не пластмассовый!» Если же он уверен в себе и готов хоть сейчас в бой, он говорит: «Неужели ты думаешь, что такого уровня вопросы я не прошиваю, как земснаряд!»

Еще многие и многие люди вспыхнули в памяти Потапова и пропали... Контора родная... А вот и сам Потапов Сан Саныч, веселый, молодой начальник. Даже, вернее, самый молодой начальник. И уже заместитель Лугового — не шутки!

Молодой, а руководил он старыми. Вернее, всякими, конечно. Но немало среди этих всяких было людей, которые почти годились бы ему в отцы. И это требовало от Потапова всегда особой в себе уверенности, четкости. На него смотрели с уважением. Но не только. У многих в душе сидел чертик, который подзуживал: «Сан Саныч, он, правильно, начальник... Но с той же силой начальствовать мог бы и я!»

Или это все просто комплекс? И я сам где-то в глубине души считаю, что сижу не на месте? Интересно, у Олега это есть или нету?.. Правда, Олег меня и постарше...

Он перешел через улицу на солнечный тротуар и сразу почувствовал, что ему жарко в плаще и шляпе. А значит, жарко будет и в кабинете, который у него во все окна глядит прямо на солнце.

И еще подумал Потапов, что скоро за весною придет поздняя весна, а потом лето. И тогда уж не спасут никакие открытые окна. И чтобы добиться зимней производительности и зимнего класса, ему придется заставлять, заставлять себя... Летом бы надо в отпуск ходить. Да это, увы, трудноосуществимое дело, потому что на лето чаще всего выпадают главные испытания...

И здесь он попал в силовое поле своей конторы. Пошли улыбки, здорованья всех мастей. При народе он намеренно предъявил вахтеру пропуск, хотя тот, конечно, знал Потапова в лицо.

Зачем я руководитель? Из-за денег, что ли? Из-за полуперсональной машины? Нет, это все не те стимулы. Не окупается. Чем же тогда окупается? Где спрятаны положительные эмоции, на которые живет организм и душа? Или, может, я начальник по инерции — Луговой назначил, я и пошел... Или наоборот: я руководителем родился?

— Здравствуйте, Саша. Вернулись?

— Доброго здоровья, Михал Михалыч!

«Нос», «Нос», «Нос»! Вот что его волновало сейчас больше всего, чем он хотел, елки-палки, заниматься! А время где возьмешь, а? По вечерам он сидел на кухне.

— Алис! Ну сделай ты ящик потише, господи ты боже мой!

Раздраженно она вообще вырубала телевизор и уходила в спальню. Минут десять он сидел, борясь с раздражением и досадой, работа на ум не шла. Потом, когда мысли опять потихоньку начинали страгиваться с мертвой точки, вдруг он слышал сквозь кухонную стеклянную дверку, как Элка с особым презрительным грохотом разбирает в большой комнате диван.

Он вставал, выходил в комнату. Элка равнодушно, с поджатыми губами стелила ему постель.

— Алис... — он осторожно сзади брал ее за плечи.

— Оставь, пожалуйста!

Хорошо хоть Танечки нету. На нее вдруг напал насморк, значит, детский сад все равно не примет. Элка сочла это за подходящий повод свезти ее к бабушке.

— Слушай, Эл. Ну я должен работать или нет?

В ответ она лишь пожимала плечами.

— Ну как ты считаешь, я должен деньги зарабатывать? У меня семья!

Это было, конечно, враньем, «Нос» ему денег не прибавит. А если и прибавит, то не скоро... Да вообще он не думал в данном случае о деньгах. Ему было интересно, он как бы развлекался. Только его удовольствия совпадало с общественной пользой.

Элка ничего не отвечала ему на патетическое восклицание про семью и деньги, она лишь окончательно уходила в спальню и закрывала за собой дверь — с особым таким тщанием.

Чтобы как-то избегать этих сцен, он положил воскресный день полностью отдавать семье. Но за это разрешал себе по вечерам задерживаться в институте. Здесь среди тишины не только пустого кабинета, но и всего пустого шестизэтажного дома Потапов работал, а кругом плавали медленные табачные облака... Он шел домой и обдумывал статью, первую статью из будущей немалой серии о «Носе»... А потом, когда-то еще в далеком потом, он напишет докладную на имя тов. Лугового С. Н. с просьбой отпустить деньги на эксперимент и на специальную группу единичек так в шестьдесят. Но для этого, дядя, для этого надо очень много всего. Надо не лениться, не обращать внимания на Элкину хандру, а только думать и думать. Надо, как говорится, мышей ловить. Причем непрерывно, и наловить их не менее как целое стадо!

Но почему все-таки вечером, а не днем? Да потому, что «Нос» не был первоочередной задачей его института. Их промышленность на-сущно требовала, чтобы потаповская голова, а также еще сотни две вверенных ему голов думали над конкретными, ими самими, между прочим, придуманными, утвержденными министерством и таким образом ставшими непреложной истиной плановыми темами. А таких очень даже хватало на весь рабочий день. И простотой они отнюдь не отличались.

Однако и на том не кончались потаповские обязанности, далеко не кончались. Те десятки задач, которые, скажем, групповой инженер спихнул в свое время и думать о них забыл (уже потому, что их решения одобрил Сан Саныч), для Потапова должны были оставаться в голове, на контроле. И он продолжал следить за их дальнейшей жизнью, уже воплотившейся в металле, в хитроумнейших пластмассах, а то и в благородном серебре, а то и в платине, в золоте...

А еще ведь он являлся заместителем Лугового, и значит, должен был как-то держать весь институт — участвовать в определении проблематики, контролировать — поощрять и песочить... И еще масса вся-

ких дел. А «Нос», что ж поделаешь, оставался, так сказать, хрупкой мечтой, почти запретным занятием.

Конечно, всем давным-давно известно, что наиболее практична хорошая теория, но пойдя ж ты докажи это соответствующим товарищам. Тем, которые следят за выполнением плана!

Ко всему вышеперечисленному прибавлялось и то, что каждый раз надо было разгребать дела, накопившиеся после командировок. И Потапов их честно разгребал и старался, чтоб не стопорились дела текущие. А вечером еще мечтал — при помощи химического и математического аппарата — мечтал о «Носе».

Потапов не роптал на свою судьбу, он был ей рад. Но когда он вдруг обнаружил у себя на календаре запись, что сегодня в одиннадцать тридцать необходимо присутствовать на директорате, это вызвало у него чувство, как говорится, естественного раздражения... Какого алаха вообще! Я же не пластмассовый, как верно подметил товарищ Коняев.

Он решил позвонить Луговому... Но вовремя остановился. И набрал номер не прямой, не в кабинет, а через секретаршу. Эту Леночку знал весь институт, но мало кто знал, что она верный друг и тайный советчик Потапова. Почему оно так сложилось, даже и непонятно теперь за давностью лет. Но сложилось! И Потапов, надо сказать, дорожил этой дружбой.

— Привет,— сказал он.— Привет, Ленуля,— они были настоящие друзья, и тут не требовались пошлые комплименты.— Нужна твоя консультация.— Затем он кратко объяснил, что сегодня ему на директорате сидеть прямо-таки нож вострый. Так нельзя ли как-то закосить?.. Пауза...

— Не советую, Саш.

— Пойми, это же до обеда не расхлебашься! Да еще в дыму насидишься — вылезешь оттуда... Значит, целый день...

— Саш, я тебе не советую,— и вдруг перейдя на шепот, от которого у Потапова стало щекотно в ухе: — Он сегодня какой-то странный... Нет, не злой Он какой-то тоскливый. С утра меня позвал: дайте чашку кофе. А он же кофе с утра отродясь не пьет! Понимаешь?!

Потапову смешно стало от такой ужасно «секретарской» приемы. Но все же он не позвонил Луговому и покорно пошел на директорат — слишком верил в Ленулину способность быть инженером души их любимого начальника.

До назначенной половины двенадцатого оставалось две минуты, когда Потапов вошел в кабинет Генерального конструктора. Точность, ритуал, протокол — это Лужок соблюдал неукоснительно. Лена стояла у полуоткрытой двери.

— Комплект? — спросил Луговой.

— Астапов еще не подошел...

Олег то есть. Генеральный посмотрел на огромные, колонной, часы с полупудовым маятником, кивнул. Минута у Олега была в запасе.

И тут Потапов заметил непорядок: Луговой сидел не на обычном своем председательском месте во главе стола. И вообще даже не за столом, а сбоку где-то у раскрытого окна... Они встретились взглядами.

— Веди сегодня ты, Сан Саныч. А я здесь побуду.

Он сидел, неловко как-то склонившись набок, оперевшись рукой о коленку. Впервые, может быть, Потапов заметил, что Луговой полноват и тяжеловат. Русые с густой проседью волосы сползли на висок... Вошел Олег, сейчас же часы пробили половину двенадцатого. И сейчас же Потапов сел в председательское луговское кресло.

Олег мгновенно оценил обстановку.

Обычно они располагались так: Луговой на своем троне, справа Потапов, слева Олег — заместители. Но теперь, когда на троне расположился Потапов, Олегу как-то нелепо было бы сидеть рядом, еще

больше подчеркивая свое в какой-то степени неравное положение по сравнению с Потаповым (и так-то Потапов по правую руку сидит, а он по левую!). Поэтому Олег сделал знак, что, мол, начинай, Сан Саныч, не буду тебе мешать. И сел где-то с краю, среди рядовых. Тут не было для него унижения (видимо, он так рассудил), коли и сам Лужок сидит на отшибе. Потапов понял это, приветливо кивнул Олегу: «Привет, старик».

И потом вполне официально начал заседание.

Повестка дня, конечно, была известна и ему, и другим членам директората. Но, естественно, он еще раз кратко сформулировал первый вопрос, пометил, что хотелось бы знать дирекции, и сел — дело-то знакомое.

— Кто, товарищи, хочет высказаться?

Поднялся Иван Палыч Шилов, главный механик, плотный могучий человек лет пятидесяти. Вопрос касался производственных мастерских (так они по старой памяти называли свои цеха), а стало быть, полностью был его епархией.

— Если, товарищи, не возражаете, — начал он солидно, — то тогда я... — он посмотрел на Лугового, ожидая его согласия. Но Генеральный сидел все в той же тяжеловесной позе, словно занятый какими-то своими мыслями, словно вообще не слышал директората. Тогда механик посмотрел на Потапова, и тот после некоторой паузы кивнул.

И потек директорат своим обычным рулом. Закурили, кто-то кому-то бросил через стол спички. Выступила Нинель Егоровна, главный бухгалтер... Потапов слушал вполуха. И досадовал на себя, потому что потом придется брать у Ленули стенограмму — снова время терять. И ничего не мог с собой поделать: что ни минута тревожно поглядывал на Лугового... Села бухгалтерша, стал говорить Коняев. Рассудительным своим баритоном его перебил Олег. Они заговорили дуэтом. Лена постукала ручкой о край крохотного столика, на котором она стенографировала. Ясно, что Потапов должен был когто из двоих остановить. И он поднялся, намереваясь сделать именно это. Но посмотрел опять на Лугового...

— Сергей Николаевич! Тебе нехорошо?

Кажется, впервые он при людях назвал Генерального на «ты». И сам это заметил, и другие, конечно, заметили.

Услышав свое имя, Луговой медленно приподнялся, сел очень прямо, словно был пьян.

— А-душно здесь...

Краем глаза Потапов увидел, как Коняев торопливо ткнул папиросу в пепельницу... Луговой встал, и было такое впечатление, что сейчас он пойдет к двери. Но только качнулся и не сделал ни шагу. Олег, резко повернувшись, смотрел на него. Лена вскочила, но не решилась побежать к шефу — не положено это. Луговой вместе с галстуком потянул ворот рубахи. И вдруг резко согнулся, словно в живот ему ударила пуля. Хотел сесть на стул — промахнулся, упал на ковер.

Потапов лишь на кратчайшее мгновение не успел поддержать его. Крикнули: «Врача!»

— Сердце? — тихо спросил Потапов. Стоя на коленях, он поддерживал голову Лугового.

Глазами он ничего не увидел, а лишь почувствовал ладонями своими, как Луговой очень слабо кивнул в ответ.

Олег

Генерального увезли в просторном чаечном фургоне. Медленно, словно крадучись, огромный лимузин прошел по институтскому двору. Каждая колдобина под неосторожным колесом была опасна для раненого сердца Лугового. Медленная «скорая помощь»... Во всех

шести этажах у раскрытых окон стояли люди. Потапов смотрел, как закрываются железные ворота... Да, Сереженька! Когда теперь здесь тебя увидим?.. Рядом стоял Олег — во дворе их было лишь двое, и невольно Потапов положил руку ему на плечо.

Но вдруг почувствовал, что Олегу это неприятно. Он посмотрел в глаза своему другу. Олег спокойно и вроде изучающе ответил на его взгляд.

— Что, Сан Саныч, остались мы без Генерального?..

Отчего-то и Потапову стало неприятно. Отчего? От взгляда, от слов?.. Но он ясно почувствовал, что его руке сейчас совсем не место на Олеговом плече. И убрать было неловко!

— Ты что хотел сказать, Олег?

— После... Я к тебе через часик загляну. Ты будешь на месте?

Как хорошо, оказывается, быть заместителем, а не Генеральным. Сколько холода и сколько забот сразу обрушилось на Потапова. Он ничего еще не сделал и даже не был до конца уверен, назначат ли его на место Лугового. Просто сидел в своем кабинете, подперев щеку рукой, но уже отчетливо понял, насколько это сложно — быть не Потаповым, а Луговым.

Кажется: зам, Генеральный — одна всего ступенька. Но теперь, когда он чувствовал на плечах тяжесть всего института, всей системы институтской, ее жесточайшей завязанности в общем организме промышленности и страны, он ясно понял: нет, не одна ступенька, пропасть — вот что их разделяло!

Зазвонил телефон.

— Зайду? — спросил Олег.

— Конечно!

Что за краткость такая?.. Тут же вспомнился разговор во дворе, когда провожали «скорую». Непонятный он был. И неприятный... И тут Потапов совершенно непреложно вдруг уяснил себе, что их двое. Двое замов. С совершенно одинаковыми правами.

Формально, конечно, с одинаковыми... Для себя-то Потапов всегда знал, что именно он действительно заместитель Генерального: Олег все-таки не ученый, это и Луговой претотлично понимал.

И участок у Потапова ответственный... У Олега тоже ответственный, но у Потапова-то поответственной — это бесспорно!

А для Олега — тоже бесспорно?..

Странно, он подумал, откуда у меня вообще эти мысли. Откуда они взялись? Всего лишь один не совсем понятный взгляд, пяток мимоходом брошенных слов — и мне уже достаточно? Нелепость!

Но знал, что не ошибается. Всего полтора часа: «Привет, Олежище». Всего час назад эта рука лежала на его плече. И все-таки Потапов знал, что не ошибается.

Ему стало неприятно, словно он уличал себя в чем-то... «Привет, Олежище»... Но ведь я не ошибаюсь.

Подожди. Неужели тебе действительно так уж важно занять сейчас место Генерального? Ну, допустим, будет Олег — и что? Не хватает тебе своей работы? Сядешь в кресло Лугового, «Нос» уж тогда окончательно прости-прощай, это ясно как апельсин.

Нет, он вовсе не жаждал быть Генеральным. Скорее, он вынужден был занять место Лугового, потому что — ну не Олегу же его оставлять!

«Нос» «Носом», дела делами. А судьба всей огромной пирамиды предприятий, на самой вершине которой находится их институт, она, конечно, неизмеримо важнее! Олег неплохой мужик, отличный администратор. Своим участком руководит — справляется. Но что тут говорить, это ясно: контора не для Олега.

Значит, для тебя?

Лишь на секунду он остановился в мыслях своих и произнес как давно решенное: да, для меня, если Сережи нет, то для меня!

И так сказав, он успокоился, словно убедил в этом уже и Олега. Словно их разговор уже состоялся и закончился благополучно... Да господи боже мой! Весьма вероятно, это все чистой воды мои фантазии. Просто фантазии. Олег и не собирается, не претендует... Кстати, что-то долго он не идет...

Зазвонил телефон. Но не внутренний, а городской... Звонила Лена, секретарша Генерального.

— Ну, в общем, положили, сделали кардиограмму... — и замолчала. И Потапов молчал. Не хотелось ему каркать проклятое слово... Раз и два треснули неизвестно откуда заползшие в кабель разряды.

— Лен?..

Открылась дверь, вошел Олег, сел на один из стульев, что рядом стояли у дальней стены.

— Ленуль! Ну ты говори, елки-палки.

— В общем, подозревают.

— Инфаркт? — все же она заставила его произнести!.. Зашипело, треснуло еще два или три разряда.

— Я сегодня тогда уж не вернусь, ладно? — сказала она. Интонация была чисто дружеская. И в то же время она отпрашивалась у него, у человека, который должен был занять место Лугового.

— Конечно, Лен. До завтра...

Олег, чуть прищурившись, внимательно смотрел на него. Наверное, он понял, что Лена отпрашивается, и понял, почему она отпрашивается именно у Потапова. Олег такие штуки просчитывает элементарно... Нет, не ошибся Потапов. Будет у них разговор. А как его вести, не знал.

Сереженька ты, Сереженька! Вот тебе и второй инфаркт! Так не к месту сейчас было им с Олегом делить власть. Просто посидеть бы и помолчать... Вынуть пачку сигарет, закурить, бросить ее через стол Олегу: «Такие дела, старик!»

Нет, не выходит. На этот раз Олег сидел не в своем обычном «фирменном» кресле, в котором всегда сидел, приходя к Потапову, а далеко у стены. И дележка, которая им предстояла, была не частным делом двух наследников. Луговой выбыл месяца на три, на четыре — срок!

Может и совсем не вернуться: дела инфарктные неисповедимы!

Тянулось молчание... Да зачем ему все прямо сегодня-то понадобилось, думал Потапов. И знал, зачем. Институту необходим Генеральный. Завтра, в крайнем случае послезавтра их вызовут в министерство — Потапова и Олега. Ну и, конечно, еще Стаханова... Значит, надо иметь какую-то общую точку зрения.

Но хоть ты убей не мог Потапов говорить сейчас об этих делах. И потому как за спасение он уцепился за мысль о министерстве: в конце концов им решать-то (а там, между прочим, люди тоже понимают что к чему). И сразу успокоился. Смотрел на Олега и ждал, когда тот начнет... Ну же! Звонила Лена — справься, что там у Генерального... Как раз это самое Олег и сделал. Потапов ответил все как знал: про подозрение, про номер палаты и третий этаж.

Далее произошла пауза. Олег готовился начать главное и, видно, думал, что Потапов как-то ему поможет. Но Потапов просто ждал. И Олег, пожалуй, был этим несколько обижен.

— Ну так что, Сан Саныч, поговорим?

Потапов чуть заметно пожал плечами: мол, давай, если тебе действительно так уж нейметя.

— Мы с тобой друзья, Сан Саныч? Или уже нет?

И снова Потапов ответил ему тем же жестом. Во до каких вопросов дожили, и всего за два часа. Что твои акселераты!

— Мы с тобой друзья,— утвердительно произнес Олег.— И партнеры по общему делу. Это сейчас важнее, согласен?

Нет, не согласен! Но он сказал:

— Продолжай.

— Ты ведь знаешь, о чем я собираюсь с тобой говорить.— Олег подождал секунду, не скажет ли что-нибудь Потапов. — И ты, я полагаю, тоже думал об этом. И, между прочим, мог бы сам завести со мной этот разговор... Ну или уж по крайней мере не сидеть сейчас с лицом освищенной примадонны!

— Тебе кажется, Олежек...

— Перестань, Сан Саныч. И не делай вид, что обижаешься. Пойми: сейчас это совершенно неуместное занятие. Мы говорим о деле!

— «Обижаться», Олег, слишком кисейное слово. И, по-моему, оно мало подходит для наших отношений. Удивлен — это да. В частности, удивлен твоей поспешностью...

— Удивлен? Ну пусть будет удивлен. Не в терминах дело... А поспешность... Ты что, разве не прикидывал, кто останется во главе конторы? Даже обязательно думал! Только ты уверен, что останешься именно ты, вот тебе и не надо со мной ни встречаться, ни разговаривать.

— Решаем в конце концов не ты и не я...

— Ну правильно... Я и говорю: ты просто уверен, что останешься во главе конторы, и уверен, что министерство тебя поддержит. А я не уверен ни в том, что останусь за Генерального, ни в том, что министерство меня поддержит. Поэтому я здесь. — Олег остановился на секунду. — И просьба моя такова. Я хочу, Сан Саныч, чтобы ты, сам ты, поддержал мою кандидатуру и у Стаханова в парткоме и в министерстве. Извини, я говорю сейчас вещи, которые не приняты. Но я играю с тобой в открытую именно потому, что мы друзья. Как видишь, я этого не забыл отнюдь!

— Я тебя не совсем понимаю, Олег.

— Только не делай из меня человека, который собирается греть руки на тяжелом положении Лужка... Ты отлично знаешь, как я к нему отношусь.

Да, он знал это: почтение, полная непререкаемость авторитета. И даже время от времени: «Мы, соратники Сергея Николаевича...», хотя Олег и Луговой были как минимум одногодками...

К удивлению Потапова, сам Лужок такие высказывания не то чтобы приветствовал, но по крайней мере и активно против них не выступал. Размышляя об этом, Потапов лишь пожимал плечами: в конце концов великий человек имеет право на мелкие слабости.

— Ты отлично знаешь, как я к нему отношусь...— говорил Олег, и в этом месте Потапов кивнул.— Но сейчас Сережи нет... Нету, ясно! И для нас обоих, что ты там ни говори, это шанс... Спокойно! Брось ты, Сан Саныч, раздувать ноздри! Я как раз против того, чтобы мы занимались ловлей шансов. Мы не на бегах и не на ринге. И тем более не в темной подворотне.

Потапов мог только усмехнуться сердито и мотнуть головой.

— Я тебе скажу даже больше... Я тебе, кстати, все говорю нацистоту, это ты отмалчиваешься и хмыкаешь!.. Я тебе скажу больше: локти, зубы и вообще методы игры без правил я не применяю не из-за нашей с тобой благородной дружбы, а прежде всего из уважения к Луговому. Из-за того, что у его дела, у его института должен быть настоящий руководитель.

— И по всему по этому ты предлагаешь мне поддерживать твою кандидатуру — так, что ли?

— Да!

Признаться, Потапов просто не представлял, что ему делать. Какая-то трагикомедия... на постном масле! Он и сердился на Олега, но ему было неловко: в глаза объяснять человеку, что ты, мол, глупее, поэтому начальником должен быть я?

— Видишь ли, Олег.....

— Только прошу тебя, только ты не мучайся с идеей, что ты такой у нас удивительный ученый, а я нет. Допустим, я даже согласен. Но согласишься и ты: я лучше умею руководить людьми, чем ты... Занимайся наукой, я полностью за. «Нос» — пожалуйста «Нос». «Рот» — пожалуйста «Рот». Полный карт-бланш! А руководство — не тобой, конечно, с этим ты сам справишься — руководство оставь мне.

— Да пойми, человек! Руководим-то не обувным магазином!

— Поверь... понимаю, — сказал Олег с расстановкой.

— Не сердись... И пойми, старик...

Олег поднялся:

— Я, Сан Саныч, с некоторых пор не сержусь. Поскольку человек, как и все во Вселенной, есть явление природы.

— Что? — удивился Потапов.

— Явление природы, говорю. Как снег, как дождь, — неожиданно охотно пояснил Олег. — Ты же на дождь не станешь сердиться, что он тебя намочил... Просто надо иметь зонт! — Он уже взялся за ручку двери, как бы собираясь уходить, но не ушел, обернулся... Это был, конечно, всего лишь психологический прием. — А такой зонт против тебя я имею.

Так неудобно и неприятно стало Потапову. Он сказал не с обидой, а скорее с удивлением:

— Олежек! Да неужели ты меня пугаешь?

— Ты опять не понял, Сан Саныч. Я тебя всего лишь предупреждаю. Как товарищ товарища. Ты ведь знаешь, я уже давно не болтун. И вот говорю тебе: у меня есть против Потапова Александра Александровича мощное наступательное оружие.

— Слушай, оружейник. Ну допустим, оно у тебя даже есть. Допустим. Давай рассмотрим ситуацию чисто теоретически. Неужели ты в самом деле думаешь, что будешь руководить конторой лучше? Ведь нет же, не думаешь ты так. А между тем пять минут назад распинался в любви к институту и Лужку!

— Просто задача поставлена тобой некорректно. Абсолютной истины, как ты знаешь, не существует. Поэтому верна та идея, которую исповедуешь ты сам.

— Хреновая у тебя, родной, философия! И по этому поводу могу сказать вот что. Для здоровья всего полезнее чистая совесть! Так что береги здоровьице.

— Договорились. Только не забудь: я предупреждал.

Потапов кивнул, что, мол, двигай, милый. Все с тобой, увы, ясно.

— Стало быть?..

— Будь здоров, Олег.

Давай, работа, наваливайся! Не хотелось ему помнить об этих делах, да помнилось!

Минут пятнадцать он заставлял себя: работай, работай! Потом затянул омут... Работа, говорят, дураков любит. Только она умных дураков любит, уж поверьте. А глупым она не дается... Потапову же давалась!

Вышло, что обедать сегодня некогда. Ему принесли из буфета бутерброды и пару стаканов чая. И вынырнул он на поверхность жизни где-то в начале пятого. Достал его звонок по городскому... Естественно, за эти часы ему звонило немало народу. Он и сам звонил. Но этот звонок — Потапов знал наверное — оборвет мысли и оставит их спутанным клубком. Ищи потом кончики!

— Здравствуй, мамусь, — он сказал. — Ну как твое здоровье?

— Да ничего... — и голос обиженно оборвался. Это значило, что Потапов не звонил ей дня три или четыре.

— Ты у врача была, ма?

— Была. Причем еще позавчера.

— Ну и что врач, мам? — сказал Потапов виновато.

— Да все пока то же... — ответила она веско. И за этим «то же» он должен был прочувствовать (чисто мамино словечко)... прочувствовать, что ей уже семьдесят пять, что сердце ее по-прежнему находится в состоянии мерцательной аритмии и улучшений быть не может, что в моче обнаружены следы белка. И что отец, между прочим, хоть и храбрится, делает себе два раза в день уколы инсулина.

Потапову нечего было ответить. Потому что все это была сущая правда, та самая абсолютная истина, существование которой отрицал Олег.

Но так бесконечно влюблена в него была мать, что уже через несколько минут она забывала свои обиды на невнимательного сына.

— Ну а что у тебя, Сашенька? Как твоя командировка? Что ж ты матери никогда ничего не расскажешь!

Начиналась самая трудная часть разговора. Дело в том, что три дня назад он уже рассказывал ей о командировке, об Элке, о «Носе», о Танюле и Луговом. Но мама слушала его рассказ опять как последние новости. Раньше когда-то Потапов обижался, считал, что она невнимательна к нему, что только делает вид, а сама пропускает все мимо ушей.

На самом деле ей было интересно слушать одно и то же о нем и два, и три, и четыре раза! И Потапов, давя в себе раздражение и неловкость, рассказывал опять. И если он что-нибудь для экономии времени пропускал, она его останавливала: «А вот, кажется, тебя тут Луговой-то похвалил?»

Обычно в такие моменты Потапов дышал и раздражался.

— Ну зачем же я тебе снова рассказываю, если ты знаешь!

Она выдерживала обидчивую паузу и начинала его упрекать («Что ж, тебе с матерью и поговорить не о чем!») или, как она выражалась, спускала все на тормозах («Ладно уж тебе, сыночка, я же мать...»).

Сегодня Потапов добросовестно рассказал ей свои дела. И даже прибавил несколько побочных новостей. Он разговаривал, всем своим видом выказывая неторопливость. Он ведь был виноват перед нею.

И еще была одна причина — инфаркт Лугового (о котором он, конечно, не обмолвился ни словом). Потапов слышал, какой в самом деле старенький голос у его мамы.

И сейчас (так странно это!), по чести сказать, ему не хотелось разговаривать с мамой. Да и дел было по горло. Да и день склеился не в ту, как говорится, степь... И все же он разговаривал — со старанием, с сыновней прилежностью.

Он разговаривал как бы про запас...

Так они говорили, наверное, не меньше минут двадцати. Под конец мама сказала обычную свою фразу:

— Ну что ж. Не буду тебя задерживать...

Она всегда казалась Потапову обидной, эта фраза. Словно мама хотела ему сказать: «Отбыл номер — и на том спасибо». Обычно он отвечал ей:

— Зачем ты так говоришь, мам?..

Или, когда мог сдержаться, еще на несколько слов продлевал разговор, чтобы окончить обычным прощанием.

На этот раз он ничего не сказал ей. И тогда она сама предложила:

— Может, с отцом поговоришь немного?

— Не, мамусь, у меня тут люди...

— Ну что ж, — опять сказала она. — Не буду тебя задерживать.

Он снова сдержался. Молча подождал, пока она первая положит трубку.

Потом с досадой на себя он выкурил подряд две сигареты, делая все время несуразно глубокие затяжки, которые сейчас останутся как бы незаметны, а под конец дня отзовутся головной болью и вялостью.

Придвинул листы с расчетами и сразу понял по тупому и упрямому внутреннему протесту, что в данный момент у него ни черта не выйдет! Ладно... К счастью, имелось и другое — всяческие бумажки: на подпись, на утверждение, на отрицание. В общем, можно было заняться администрированием, «олегизированием»...

Кстати, а что же он такое против тебя затевает? Знать это было бы не худо. Не худо бы знать, раз уж они должны схлестнуться.

И так и эдак Потапов прикинул расстановку дружеских и вражеских сил в институте. Но вряд ли кто мог бы ему здесь пригодиться. Они всю жизнь выступали с Олегом единым, что называется, фронтом. Да и как могло быть иначе — два зама, приятели, преферансисты и тому подобное.

Ладно, сказал он себе, коли уж вспомнили о преферансе, попробуем решить задачу с другого конца — изнутри. Золотое правило преферанса гласит: начиная игру, не считай взятки, которые берешь, считай — которые отдаешь!

Тщательно, как только мог, он исследовал себя за последние месяцы... И не увидел грехов. Скорее наоборот: удача последнее время его прямо-таки преследовала! Ну допустим, решения он принимал с определенной — и не маленькой! — степенью риска. А зато какая экономия времени! Министерство рискованных дел не любит — верно. Да ведь и министерству хорошо, когда быстро.

В общем, уверен был в себе Потапов... Хотя, конечно, кой-что, может, и подзабыл: какие-нибудь там грешки столетней давности. Но это уж, простите, за истечением срока давности суду не подлежит. А если кто начнет копать, то... то очень уж он будет похож на обычного интригана и клеветника. Критику же от клеветы у них, слава богу, отличить умеют. И сам Стаханов прежде всего!..

Стаханов Борис Парфеныч. Покамест он секретарь парткома, в конторе будет чистота и порядок — честность и объективность.

А ничего иного Потапову и желать не надо. При таких условиях он всегда будет прав!

После работы

Вечер наступал. И вместе с ним, не очень-то согласуясь с законами метеорологии, с юга, со стороны Внукова и проспекта Вернадского, подули теплые ветры... Там и вообще, говорят, родина всех московских ветров. И там, у себя на родине, они пировали как вздувается: словно бумажных, гнали по улицам людей и наваливались невидимыми мускулистыми плечами на громады домов, надеясь их свалить, и свистели в троллейбусных проводах.

Но ближе к университету, Лужникам и Девичьему полю разбойность их пропадала, и оставалось только тепло. А до северо-западной окраины, где жил Потапов, они и вовсе доходили только слабыми струйками. Люди останавливались и говорили вслух и про себя: «Чуешь? Весной пахнет!»

Да. Вечер наступал. Москва возвращалась с работы. Она, конечно, и в этот час спешила — иначе какая же она была бы Москва. И все-таки, если приглядеться, она спешила сейчас меньше обычного — усталая, ожидающая вечера... Об этом думал писатель Всеволод Алексеевич Сергеев, который вообще никуда не спешил. Он стоял у метро «Колхозная площадь» — станции новой, но сразу пришедшейся нам ко двору. Народ шел и шел мимо... Что за глупая дурь

эти командировки, думал Сева, зачем они нам? Вот Москва, и разве хватит жизни, чтобы понять ее и описать хотя бы отчасти... Какое знакомое слово — отчасти... «О, если бы я только мог, хотя б отчасти»... Кажется: твое слово, русское, такое, как все. А вот употреблено — и навсегда. И совершенно неизвестно, когда теперь какой-нибудь писатель решится сказать его вновь, не опасаясь впасть в плагиат...

И возвращался с работы тот, с которым мы только что познакомились и который сыграет важную роль во всей этой истории и в судьбе Потапова, — человек по фамилии Стаханов.

Это была выдуманная его фамилия. Настоящей своей он почти не помнил... Шлыков не то Шлыгин. Когда его, беспризорного пятилетнего сироту, подобрал подольский детприемник, стали у Стаханова спрашивать, как зовут, он ответил неожиданно смело:

— Борька!

— А фамилия твоя как?

Отчего-то ему захотелось наврать, и победоуверенно... Отца его называли «стахановец» и хвалили, пока, после его гибели, вся их домашняя жизнь не рухнула раз и навсегда... Стахановец. И он вдруг брякнул:

— Стаханов! Вот какое фамилие!

— Ты что же, родственник?

— А уж как догадаетесь! — ответил он опять излишне бойко. Хотя и не понял тогда, про какого родственника идет речь.

Женщина, которая записывала его ответы, посмотрела на полного доктора, что сидел напротив.

— Да пусть, — тихо сказал тот.

— А отчество как запишем? — спросила женщина.

— Да хоть давай по батьке моему. Теперь Парфенычей мало.

Так он и родился второй раз на свет... И новая фамилия, как ни странно, изменила всю его жизнь. Воспитательница ему говорила в случае чего:

— Не стыдно? Вот напишу дяде Леше-то, знай!

И он тянулся...

Шел с работы Олег. Шел, засунув руки в карманы, не замечая ни весны, ни народа. Перед ним расступались. А он и этого не замечал. Он к этому привык... Но если бы он только хоть однажды заметил, как ко многому он привык, он бы, наверное, испугался. За свою бессмертную душу.

Впрочем, он никогда не думал ни о каком бессмертии. Может быть, лишь однажды, в классе девятом, что ли. А потом все времени не было... на эту дребедень.

Он всю жизнь чего-нибудь добивался. И многое сумел... И еще смогу!

Потапов в это время курил, величал себя дураком и рисовал на казенной бумаге завитушки, а из них производил рожи с очень длинными носами.

Дома в это время Элка, на ходу надевая шубку, посмотрелась последний раз в зеркало, увидела свои беспокойные ждущие глаза... «Да и черт с ним! Сам виноват».

Озерное на проводе

А министерство не дремало. Говорят, пчелиный улей никогда не спит. Наверное, министерства тоже. На следующий день после обеда пришел приказ за соответствующим числом печатей и подписей, где удостоверялось, что Потапов Александр Александрович временно назначается исполняющим обязанности Генерального конструктора.

А примерно за час перед этим в кабинете Потапова, и в кабинете Стаханова Бориса Парфеновича, и в кабинете Яшина Михаила Михайловича, начальника по кадрам, раздались звонки, которые предваряли уже отправленную с курьером бумагу.

Ну вот и все. И Потапову стало почти обидно, что победа его оказалась такой простой. А бородатый Олег Петрович выглядел тем мальчишкой, что хвалится старшим братом, которого на самом деле нет. Даже не имело смысла на него обижаться. Лежачего не бьют — это известно нам еще издревле, еще с трехлетнего возраста.

И все ж в первый и второй дни он Олегу звонить поощадал. Да и работы было выше крыши. Принимал общеинститутские дела, сдавал свои собственные. Только группа «Носа», как и прежде, оставалась в его ведении. Но тут уж... Отец идеи — никуда не денешься!

На третий день он стал вызывать к себе начальников основных подразделений, чтобы нешумно войти в курс. Собственно, можно было бы собрать всех сразу да и поговорить. Но слишком ясно помнился Луговой, вдруг грузно упавший на ковер... Директорат — это, казалось Потапову, было бы каким-то неуважением. Желанием скорее утвердить себя. А он ни к чему подобному вовсе не рвался.

За день он не успел поговорить со всеми... И с Олегом не успел. Несколько раз честно порывался ему позвонить. А потом решил: да какого черта! Ты виноват, так ты будь любезен и почешись... Лишь в конце дня, часов под восемь, он додумался: да как же Олег может позвонить теперь? Это же выйдет набиваться к начальству в гости. Уж лучше до конца дней своих гнить опальным замом!

Не думая долго Потапов набрал номер... Но, само собой, ему никто не ответил. А с чего бы это Олегу сидеть в конторе до восьми? Как говорится, не такой он человек. Ну так ладно, отложим до завтра. И с заметным облегчением положил трубку.

Дома его ждал холодный ужин и записка: «Я в театре. Таня на недельку уехала погостить с моим родителями. Вернусь поздно». С чего бы это Танечку увозить? С чего бы это поздно?

Однако он здраво рассудил, что кара заслужена. Коли сам ты без конца бросаешься в свои «рабочие загулы», так и Элка имеет право хоть раз в месяц посидеть с умным лицом на какой-нибудь там «Чио-Чио-Сан».

Похолостякуем, подумал Потапов. В холодильнике нашлась бутылочка пива. Он включил телевизор, поставил перед собой тарелку с ужином, бутылку, стакан... Что за прелесть эти теледетективчики! Про них невозможно сказать ни одного худого слова, потому что сказано уже этого целые тома.

Потапов совершенно позорно заснул и проспал любовную интригу, главную перестрелку, а потом последний выпуск «Новостей» и программу на завтра. И когда тихо скрипнула входная дверь и в квартире появилась Элка, она увидела мужа своего перед пустым мерцающим экраном телевизора.

В щекотливое положение она попала! Вроде надо бы его разбудить, но тогда неминуемо узнается, как поздно она пришла. Разбужу, она решила, не все ли теперь равно! Однако поступила по-другому. Неслышным привидением она проскользнула в спальню, разделась, расстелила постель, облачилась в ночную рубашку. Опять вошла в большую комнату:

— Ну, ты долго будешь здесь сидеть?

Потапов, который, казалось, спал так крепко, сейчас же проснулся. помотал головой, увидел Элку в ночной рубашке, невыключенный телевизор...

— Ну я даю! Сколько же времени?

— Почти два.

— Чего ж ты меня не разбудила, Алис?

— Да я сама задремала. — Она отвечала ему уже из спальни.

С полужакрытыми глазами Потапов побрел в ванную.
— Я сейчас приду, Эл, — тихо крикнул он.

Утром его разбудила ломота и головная боль. Оказалось, вчера он уснул не от несчастной бутылки пива и не от усталости. Это у него было с детства: как болезнь — сразу начинает клонить в сон.

Нос уже был заложен, и курить не хотелось даже после чашки кофе. Кое-как он проглотил бутерброд с сыром... Что за дурь — есть, когда не хочется!

— Мне с тобой надо поговорить, — сказала Элка.

— Только не теперь, Алис, — он покачал головой и сразу услышал, как в мозгах где-то запрыгал тяжелый шарик боли.

— Когда?

— Ну господи, выберем время. — Потапов взглянул на часы. — Ладно, я пошел, — и тут он подумал, что до сих пор не сказал ей о своем назначении. Все крутишься, приходишь поздно, она, естественно, недовольна. — Пока, Эл, вечером поговорим.

В конторе он первым делом попросил у Лены пару таблеток аспирина и пираминал. У Лугового всегда имелись некие лекарственные запасы, и теперь Потапов ими воспользовался по праву, так сказать, наследования болезней.

Минут тридцать он занимался неотложными, но легкими делами. Просто сидел, подписывал разные бумаженции. А Лена рассказывала их краткое содержание. По части всяких там административно-конторских тонкостей Лена была королева! Луговой даже шутил, что Ленуля вполне могла бы руководить всем их заведением... А ты, Олежек, говоришь!

И с легкой душой он набрал Олегов номер. Тем более что голова прошла... Он приготовился беседовать спокойно, дружески. Потом, один на один, надо, конечно, подпустить и упрека и железа. А сперва сразу показать общую тенденцию — мир. К тому ж их могли услышать: у Олега был параллельный телефон с отделом.

— Олег? Привет! Сан Саныч. По возможности срочно заскочи ко мне, есть?

И стал ждать, что он ответит. Ждать пришлось довольно долго.

— Поздно, — сказал Олег. — Машина крутится уже три дня. Думаю, через час все узнаешь.

Хорошо, что он был один в кабинете. Хорошо, что никто не видел его потерянную и злую физиономию. Он не нашелся что ответить и просто плюхнул трубку на рычаг. Башка тотчас опять разболелась!

Конечно, он поступил глупо. Но что же было делать? Наорать, как на зарвавшегося подчиненного? Потапов совершенно не был к этому готов. Он привык руководить учеными, а не склочниками... Нет, до чего осел! Что он, взбесился, в самом деле!.. Через час. Потапов посмотрел на огромные луговские часы. Было без четверти десять.

А что, собственно, может произойти через час? Да ни черта!

Рабочий день, однако, увядал на корню... Он вызвал Лену.

— Дай мне еще пираминалку, а?

Лена прикрыла дверь.

— Может, тебе в медпункт сходить?

— А что мне в медпункте, лучше сделают? — Потапов махнул рукой.

Лена принесла таблетку, и минут двадцать он просматривал «Вестник МГУ. Серия „Химия“» — ждал, пока пройдет голова. С большой ЭВМ он все равно был не работник.

Часы прозвонили четверть одиннадцатого. А все-таки я слежу за временем, подумал Потапов. И потом про Олега: вот саботажник, целое утро работать не дает!.. Все-таки он никак не мог всерьез обидеться на Олега.

Вошла Лена с папкой срочной почты.

— Можно, Александр Александрович? — Значит, в приемной кто-то был.

— Много там народу? — спросил Потапов.

— Коняев и Устальский.

Женя Устальский был парень, которого Потапов собирался сделать и. о. бывшего себя.

— А почты сколько?

— Три письма.

— Ладно. Пять минут — джентльменский срок, обождут. Давай сюда срочную!

По десять секунд на каждую он пробежал все три бумаги. Лена стояла с блокнотом, готовая стенографировать... Что-то царапнуло его, и он вернулся ко второй... Ну? Разучился с одного раза вникать, гриппозник!.. «Выявлены серьезные неполадки в работе соединительного узла «прибор» — дымовая труба, могущие привести к известным катастрофическим последствиям... Наблюдается утечка дыма, регистрируемая приборами типа НП («Нос приборный»». Несколькими строчками выше: «Испытания, проводившиеся под руководством Потапова А. А., которым подписан акт...» А еще выше — сразу под грифом завода, где проводились испытания: «Луговому С. Н., копия — в министерство». Зачем же это делать, подумал Потапов, что они там, с ума посходили?.. Ведь в министерстве кое-кому только дай пояснить — костей не соберешь. Да еще с такими формулировочками!.. Он посмотрел на подпись под бумагой — замдиректора Лохов. Почему Лохов, а не сам Ильин?

Он повернулся к секретарше:

— Ленуль, срочно мне директора Озерновского завода. Через сколько минут соединишь?

— Ну минут через десять...

— Тогда запускай Коняева. Женьку приму во второй половине дня. Все!

Лена взглянула на него чуть удивленно и вышла. Возник Коняев — как всегда сверкающий «сейкой», золотыми зубами, настроением и общим, так сказать, успехом. Он пришел проконсультироваться. Он любил консультироваться с начальством.

— Значит, в этом направлении нам и продолжать?

— Точно, Леонид Павлович. По-моему, так.

Этому бы для руководства, пожалуй, больше подошел Олег... А чей-то я вдруг про Олега?.. Но додумать не успел, Лена заглянула:

— Озерновский на проводе.

— Алло! — крикнул Потапов, как любой бы крикнул в трубку междугородного телефона. — Алло! Это товарищ Ильин? С вами говорит Потапов.

— Здравствуйте, Александр Александрович, — ответил ему спокойный и четкий голос, словно обладатель его сидел в соседнем кабинете. — Товарищ Ильин Иван Григорьевич в настоящее время находится на излечении. С вами говорит его заместитель, Лохов Евгений Ильич.

Да что это, все больны кругом!

— Товарищ Лохов! — по инерции продолжал кричать Потапов. — Сейчас я прочитал ваше письмо. Что вы там паникуете? К чему эти копии в министерство? Неужели мы сами не в состоянии разобраться? Хотя бы для начала! И потом, почему решили, что барахлит соединительный узел? Вы что, уже экспертизу провели?.. Ну а если просто напросто подгуляла конструкция трубы?.. Да вы что, в самом деле! Первый день на свет родились?!

— Товарищ Потапов! Во-первых, попрошу на меня не кричать! Ого!

— Во-вторых, я потому и счел необходимым обратиться непосредственно в министерство, что хочу иметь надлежащий детальный разбор происшествия. Ибо нас не устраивают методы ведения вами испытаний... И срыв был неизбежен!

Это все он проговорил удивительно легко и четко, словно читал по бумажке. Дальше, однако, его машина дала пробуксовку. Все же он разговаривал с исполняющим обязанности Генерального! И он осознал это во всей ужасающей глубине! И тотчас из него посыпалось много-много слов. Смысл их был не важен. Но важна была интонация — подчиненного, подневольного человека: мол, что нам прикажут, то мы и делаем, исключительно в целях заботы о производстве и так далее.

То есть на самом деле он говорил как-то ловчее. Но запомнить это и воспроизвести совершенно невозможно. Вся казуистика и вольтижировка исчезают в тот самый момент, когда человек закрывает рот. А впечатление остается. Своего рода феномен. И все же нет ничего более жалкого на свете, чем глупый и трусливый интриган!

Как он все же сказал-то? «Мне приказали»? Нет, красивей: «Мне рекомендовали обратиться с параллельным письмом в министерство»... Надо же, «с параллельным письмом»!

Лохов. Такой невидный мужичонка. Помнится, Потапов его поначалу принял за хозяйственника. На каком-то там банкете (верней просто посиделке по поводу не очень огромной совместной удачи) он все резвился во славу начальства...

Они тогда ездили вместе — Потапов и Олег. Оба еще, конечно, никакие не замы. И Лохов тоже не был замдиректора. Ну Ильин, растяга! Нашел кого подобрать себе в замы!

Лохов еще продолжал говорить.

— Да помолчите вы минуточку!.. Когда Иван Григорьевич выйдет? Лохов откусил хвост недоговоренного предложения...

— Иван Григорьевич?.. Дней через десять, не раньше. У него грипп и, кажется, воспаление легких.

Плохо...

— Вы проводили предварительную экспертизу?

— Сегодня как раз начинаем...

— А письмо отправили три дня назад?!

— Так ведь пока с документацией разбирались...

— Значит, документацию уже проверили? Когда же обнаружили неполадки?

— Примерно восемь дней...

— Чего ж вы молчали?! Восемь дней!

— Мы сигнализировали... — и осекся.

— К нам в институт? Кому же?!

— Мы... Олегу Петровичу...

— Ясно, Лохов. Будьте здоровы. Постарайтесь быть здоровы! Вам лично я обещаю веселую жизнь, и в самом ближайшем будущем!

Он так грохнул трубку, что, кажется, еще один грамм на сантиметр и аппарат разлетелся бы вдребезги. Голова опять болела. Да еще от проглоченного пираминала мысли выползали ватные, сонные.

Но какая до пошлости ясная образовалась вдруг картина. Лохов мечтает защититься. Даже с Потаповым говорил: «Не согласитесь ли отруководить?» Потапов отказался... Не из-за чистоплюйства, кстати, из-за времени! А вот Олег — ну что ж, пожалуй, можно... И на молчаливый вопрос Потапова — «пригодится человек...».

И пригодился!

...Да-с. Это же просто преступление, как мало мы ценим умельцев обделывать свои дела. А ведь у них своего рода тоже талант.

Не говорите: «Если б я захотел, то и я бы...» Не говорите! С кондачка умельцем обделывать дела не станешь! Здесь нужна и последо-

вательность и особая усидчивость. Умельство, как и всякое ремесло, не терпит дилетантизма. Нельзя быть немножко умельцем, а немножко честным человеком. Умельство не терпит половинчатости.

Как, впрочем, и честность...

А какой высокий кпд у этих самых умельцев! Такого и не бывает в природе — только у них!

Наш с вами кпд несравнимо ниже! Мы скитаемся по свету, сражаемся за абсолютную истину или находимся в надежде, что мы сражаемся за абсолютную истину. И нету у нас в этом сражении ни врагов, ни друзей. Мы и первейшего своего товарища должны вызвать на дуэль, если он не разделяет наших идеалов.

А ведь далеко не у всех из нас такие сознательные умы и души, чтобы, поспорив творчески, потом обняться с легким сердцем и вместе пойти на футбол. Чаше бывает как? Подрались творчески — призадумаемся и административно... На самом деле мы не ссорились, мы выясняли истину. Да пойдите там разберись!

А умельцами открыта войсину всеобъемлющая формула: сколько ты мне, столько я тебе. Вы мне селедку, я вам пластинку, вы мне путевку, я вам шапку. Ну и так далее — дело знакомое!

И ведь что они творят? Вы подумайте! Они творят добро!.. Но, естественно, только в системе «доброобмена». Плюс если вы достаточно ценный человек, то есть человек, способный производить добро, пригодное к продаже.

Если пригладеться, то можно различить их несколько категорий. Бывают умельцы поумелей. У них кпд получения добра даже превышает сто процентов. А бывают рядовые — ну, вроде Лохова, что ли. Их кпд процентов семьдесят-восемьдесят. Но тоже, конечно, баснословный!

И только одно у них плоховато. После смерти ничего не остается от них.

Ничего и нигде.

Ни на том свете, ни на этом.

Тогда в Озерном

Пожалуй, у Потапова был сейчас единственный шанс направить комиссию (а что таковая будет, он не сомневался!) в какое-то более-менее спокойное и объективное русло. Единственный: рассказать всем, что по указанию Олега Лохов молчал о неполадках восемь дней. Станет понятно, что это сговор и заговор. А причины можно даже и не выяснять...

Бесспорно, если ошибка в соединительном узле — это ошибка потаповская, его рискованного решения, и взгреют неминуемо. А письмо, кстати, сформулировано таким образом, что ошибка именно его... Между прочим, выяснение еще не начато, а выводы уже сделаны!

Ушки ваши видны, Олежек!

И с этим надо немедленно идти к Стаханову: вот такое письмо и вот такой состоялся разговор с Лоховым...

Кажется, он даже успел встать из-за стола. Его поймал включившийся переговорник.

— Сан Саныч, к вам пришли, — сказала Лена.

— А уйти не могу? — спросил он с жесткой приветливостью. — Я же, Леноч, просил: только после обеда!

— К вам Олег Петрович.

Чего это пришел он? Просить мира? Ох нет... Скорее договориться о сепаратном соглашении. Потому что его позиция вдруг оказалась похуже моей: может, удалось бы уже исправить эти неполадки, а ты, голубчик, тянул... Нет, Олег Петрович! Не видать тебе ничего сепаратного. Я, как известно, борец за абсолютную истину, искатель Грааля.

— Лена, зови!

Олег крепко прикрыл за собою дверь, потом подошел к столу, почти вплотную к Потапову.

— Разговорником интересуешься? — спросил Потапов. — Так он выключен. Секретных магнитофонов не имею.

Олег чуть покраснел.

— Тем более что магнитозапись не может быть использована в качестве вещественного доказательства. — Он сделал паузу. — Я, Сан Саныч, буду предельно краток...

— Для того, чтобы быть предельно кратким, не надо говорить, что ты будешь предельно краток.

— Брось это. И послушай. Машина запущена, помочь тебе я больше ничем не могу... Впрочем, только одним, вот этой информацией. Я сейчас разговаривал с Лоховым. И теперь время обнаружения неполадок совпадает с временем отправки письма. Так что не ставь себя в глупое положение.

Потапов ясно услышал, как у него в голове прыгает тяжелый пинг-понговый шарик... Что же ему теперь делать? Кричать на комиссии: не верьте, все подстроено? А Олег в ответ: «Врете, Потапов!» А он в ответ: «Сами вы врете!»

Но это, конечно, так, фантазии. Вернее, бред. Он проиграл. И единственное, что ему теперь оставалось, навесить Олегу с правой по челюсти. А впрочем, не было и такой возможности... Он сказал:

— Пошел вон отсюда!

— Ты начальник, я дурак. Я начальник, ты дурак... — и человек, который раньше был его товарищем, Олегом, ушел...

Снова он явился домой поздно, потому что работал как проклятый, вечером старался нагнать то, что не успел во время изорванного в клочья дня. А зачем, и сам не знал! Так или иначе, пока будет идти разбирательство, его от должности отстранят. И новый и. о. Генерального снова начнет решать те же вопросы, только на свой лад.

Часов около девяти вечера в кабинете Лугового зазвонил телефон. Элка, подумал Потапов. Прежде она имела такое обыкновение — гнать его телефонными звонками домой. Но тут же он сообразил, что это не может быть Элка. Ведь она не знала, что он сидит теперь здесь.

— Привет! — сказала Элка. — Ты что это у Лугового делаешь?

— Как что? В преферанс играю, — ответил Потапов.

— Саш, ты придешь вообще сегодня? Мне нужно с тобой поговорить!

Верно! Она ведь утром еще порывалась.

— Алик, извини. Через сорок минут буду.

— Ладно уж, — она смягчилась. — Не строй перед начальством примерного семьянина. Сереже Николаичу привет, — и положила трубку.

Напоследок он раскрыл папку с документацией испытаний. Тех самых... Впрочем, не нужна была ему и эта папка. Он помнил все, как говорится, наизусть — и по документам и по фактам.

Это было в конце марта. Они с ПЗ прилетели ранним утром и прямо с аэродрома поехали на завод. «Прибор» был прекрасен — могучий, удивительно красивый. В его приземистости, кубической угловатости, в каждой его линии чувствовался особый строгий разум, который, наверное, Потапов и называл про себя красотой. Он, в общем-то, хорошо представлял себе этот новый «прибор», когда читал описания, смотрел чертежи и эскизы. Но вживе, в натуральную величину, «прибор» оказался просто неотразим, ей-богу!

Да, он был всем хорош... Только почему-то без трубы.

Еще прежде чем Потапов успел высказать свое недоумение по этому поводу, он заметил, что над ним и ПЗ буквально вьются и роятся смежники — ребята из параллельной конторы, которые занимают-

ся именно трубами. Дирижировал этим роением, между прочим, сам директор завода товарищ Ильин.

ПЗ, большущий дока по таким вопросам, сразу сказал:

— Ну-ка давайте посмотреть документацию, товарищи! — И тотчас построил каменное лицо.

Так оно и вышло. Труба документации не соответствовала!

Не будем говорить, что дело это обычное. Однако все ж скажем: дело это встречающееся... У предприятия-изготовителя не нашлось достаточной точности приборов, и попал в необходимый для трубы сплав еще некий компонент... А может, и не попал. Приборы этого просто не знали — они были недостаточно точны. Глуповаты для столь тонкой работы.

Естественно, предприятие-изготовитель делало такой сплав не без согласия заказчика — ребят из параллельной конторы.

Вы спросите: а зачем же они давали согласие?

С планом горели! Передавать заказ было уже некогда и некому. И тогда ребята из этой несчастливой параллельной конторы посчитали новый сплав, и вышло у них: не ухудшит гипотетическая примесь качество трубы!

Теперь трубачи жаждали испытаний. Потому что, если испытания не состоятся — по их вине! — тут, ясно, костей не соберешь. И у товарища Ильина была свой резон: план по испытаниям, квартальные, тринадцатая зарплата. Какой же ты будешь руководитель, если не дашь людям всего этого!

Такова оказалась раскладка сил. Трубачи божились, что они все перепроверили сто пятьдесят раз, и предлагали дружно вникнуть в их выкладки, чтоб убедиться. Ильин (который никакой, в общем-то, личной ответственности не нес) старался держаться объективистом. Но говорил при этом: я неоднократно проверял — соответствует.

Во всей этой компании если кого-то и гильотинировали бы в случае неудачи, так это Потапова и ПЗ. И потому ПЗ сразу и четко заявил:

— Я, товарищи, своего согласия на испытания не даю и не дам. Даже не будем зря ругаться. Утверждайте на эту трубу новую документацию — тогда пожалуйста!

Но утверждение новой документации — это время! Значит, дело стоит, план горит... План всего министерства! Ну и, конечно, горят застрельщики вышеозначенного мероприятия.

Все это понимал Потапов. И он жалел план, жалел ребят-трубачей, жалел и саму трубу, которая (если б действительно она прошла испытания) могла сказаться прямой кандидаткой на Государственную премию, поскольку при серийном выпуске упрощенная технология дала бы миллионные прибыли.

Вечером в номер к Потапову пришел трубач. Он был всего лет на пять старше Потапова, тоже зам своего Генерального. Так что они могли говорить друг с другом без всяких субординационных барьеров.

Трубач принес коньяк армянского разлива и папку с выкладками.

— Специально ребят гонял в командировку? — спросил Потапов, разглядывая этикетку с тремя звездочками.

— Да никогда в жизни! — закричал трубач. — У нас же в Ереване филиалец. Ну попросил, чтоб прислали. Знал ведь, что вас уламывать придется.

— Странный ты мужик, — Потапов усмехнулся. — Неужели правда думаешь, что этим можно кого-то уломать? — и он демонстративно отставил коньяк на окно.

— Да Сашенька! — весело закричал трубач, потому что почувал: лед тронулся. — Сашенька! Ты перестань мне, ради бога, лепить чернуху, то есть, говоря интеллигентно, шить дело! Коньяк коньяком, а работа работой. Давай-ка садись поближе. Я же еще днем видел, что ты наш человек!

— Имей в виду,— по возможности железно сказал Потапов,— я ничего не обещаю.

— Да я тебе сам обещаю! — закричал трубач.— Думаешь, мне охота в могилу идти? Я в этих расчетах уверен больше, чем в своей жене!

На том художественная часть была окончена, и они засели вкалывать. И просидели так часа три.

В поисках партнеров на пульку в номер к Потапову заглянул ПЗ. Посмотрел минут пятнадцать, как Потапов все более склоняется на сторону трубача, сказал:

— Ты, Александр Александрович, будто о двух головах...

— Точно,— кивнул трубач,— он у нас мужик что надо. Умный!

— Молодые вы,— вздохнул ПЗ,— не учили вас хорошим русским поговоркам... Который свою голову очень уж стремится под топор подставить, вот о том и говорят: «Ты, паря, будто о двух головах!»

— Ну, а про тебя какая поговорка существует? — запальчиво спросил трубач.

— Про меня?.. Бинтуй места возможных ранений! Вот так! — И ПЗ ушел.

Наутро Потапов позвонил Луговому.

— А ты в этом точно уверен? — спросил Генеральный.— Точно? Ну тогда смотри сам. Письменных распоряжений я тебе никаких дать не могу. И запретить тоже не запрещаю. Сам знаешь, эти испытания нам нужны позарез. В общем, сможешь, бери на себя. Либо голова в кустах, либо...

— ...обойдусь без выговора,— досказал Потапов.

— Точно,— совершенно серьезно подтвердил Луговой.— Ну а в неофициальном плане скажу: конечно, в случае чего можешь рассчитывать на мою поддержку.

— Договорились! — сказал Потапов. Он-то уж знал, что слово Лужка — гвоздь!

В тот же день Потапов подписал заключение о пригодности всей конструкции к испытанию. Тотчас вслед за этим ПЗ честь по чести написал рапорт о несоответствии фактических параметров трубы и документации на нее, а также о своем в этой связи отказе разрешить начало испытаний. И тогда Потапов воспользовался так называемым правом второй подписи. Проще говоря, расписался за ПЗ. Как представитель Генерального заказчика.

Испытания начались. Все были довольны, и ПЗ в том числе: ему-то «прибор» нужен был больше, чем кому бы то ни было! А ответственность теперь полностью лежала на Потапове... Ну, это переживем, думал он.

Испытания и в самом деле пошли успешней некуда. Потапов и трубач недельки через полторы укатили в Москву. Весь цикл был рассчитан больше чем на месяц. Но держать двух генеральных замов столько времени на испытаниях — это очень уж, извините, дорогое удовольствие. Они и уехали. И у ПЗ были свои дела. Тем более испытания шли действительно успешно.

Вот такая история...

Что же мне делать?

Сорок минут прошли, прошли шестьдесят и семьдесят. Она ждала его, а он все не шел.

Грусть, обида и равнодушие странным образом смешались в ее душе. Она взяла было вязание и отложила, едва закончив один ряд.

Судя по всему, она была беременна. И не от Потапова! Она была беременна от человека, которого... которого она решила полюбить и полюбила.

Его звали Стас. Станислав Васильевич Соловьев. Он работал на

Смоленской площади в высотном доме, который все москвичи всегда звали и зовут теперь Министерством иностранных дел. На самом деле кроме министерства там расположилось еще десятка полтора разных организаций, так или иначе связанных с заграницей. В одной из них и работал Стас — не очень крупным, но и не очень мелким чиновником.

Его главным талантом был спокойный и приветливый нрав, который помогал Стасу Соловьеву не только в его скромной карьере, но и вообще в жизни. Он все делал своими руками — постепенно, упорно, небыстро. Говорил себе, когда погодки пробегали мимо него вверх по лестнице успеха: «А мне спешить некуда»... И при этом умел оставаться незлым.

Сам, своим горбом, он сумел поступить в институт международных отношений, сам скопил на кооператив, на «Жигули», которые, несмотря на шестой сезон и переделку мотора под семьдесят шестой бензин, были у него в очень приличном состоянии.

Станислав Васильевич не обладал выдающейся внешностью. Правда, он был высок. Остальным — хотя и медленно, хотя и по крохотной крупице — наградила его ежедневная упорная зарядка. И делая ее, Стас думал, что вот, может быть, и еще несколько часов положено на сберкнижку жизни... В общем, в свои сорок четыре он смотрелся отлично, был некоторым образом на гребне, но...

Но не совсем понятно было, зачем ему все это нужно. Некую внутреннюю пустынную своего существования он ощущал и сам. Наверное, именно по этой причине Станислав Васильевич встретил однажды Элку.

Дело было в консерватории на концерте — каком именно, теперь уж не вспомнить, — но точно, что с труднодоставаемыми билетами. Таким образом публика собралась не случайная. Каждый поглядывал на другого с любопытством, уважением и затаенным соперничеством.

Ну а верховодили всем, естественно, консерваторские старухи... Для тех, кто не знает, что собою представляют консерваторские старухи, скажем: это особый, специально выведенный вид старух, которые созданы для пребывания в Большом и Малом залах Московской консерватории, а также для гуляния в консерваторских фойе, а также для вождения в концерты одухотворенных, но несколько полноватых внучат и внучатых племянников.

Когда я, шестнадцатилетним юнцом, впервые сознательно пришел в консерваторию, я сразу заприметил их. И не полюбил. И они тоже на меня пошикивали... С годами, однако, я стал относиться к ним почтительней. Я думал, что случайно застал эту разновидность консерваторского населения и еще на моем веку вся она вымрет.

Но ничуть не бывало! Юнцы приходят и уходят, а старухи остаются. Более того, они, по-моему, достопримечательность нашего города, без них Москва в чем-то обеднела бы, как, скажем, без горбатого мостика через реку Яузу или без церкви, что стоит во Втором Обыденском переулке.

В тот вечер, о котором идет речь, старухам не надо было ни на кого шикать, потому что публика действительно собралась достойная. Старухи находились в прекрасном расположении духа и раскланивались налево и направо с завсегдатаями рангом пониже.

Элке изысканный билет достался случайно. Однако она сумела оценить его. Надела соответствующее платье, потом присела перед зеркалом, настроилась — в общем, внешне и внутренне готова была к празднику. Одинокая женщина, молодая. Выглядела она в тот вечер прекрасно! Потапов умчался в очередную командировку и должен был вернуться в Москву лишь дней через десять.

После первого отделения она гуляла в фойе партера, где висит громадная и немного нелепая картина (впрочем, принадлежащая кисти И. Е. Репина), на которой все русские композиторы изображены собравшимися вдруг в одном довольно тесном зале.

Мама рассказывала мальчику, что вот это Цезарь Кюи, а это Балакирев. А вон тот, невысокого роста, Михаил Иванович Глинка... Элка оглянулась, почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд. Улыбаясь, на нее смотрела классическая консерваторская старуха. Элка знать ее не знала, но, естественно, улыбнулась в ответ и сделала легкий полупоклон.

— Здравствуйте, моя милочка! — неожиданно и довольно громко сказала старуха. Элка, удивленная и, пожалуй, обрадованная, подошла к ней. — Ну как вам показался этот англичанин?

Всякий хоть мало-мальски опытный консерваторец знает, что надо отвечать в подобных случаях. Но Элка постаралась еще и как-то разнообразить свой ответ. И здесь ей очень мило проаккомпанировал молодой мужчина, тоже стоявший подле старухи. Впоследствии он оказался Стасом.

Так и осталось тайной, почему старуха подозвала к себе Элку: то ли спутала с кем-нибудь, то ли, может, ей приятно было провести антракт в обществе привлекательной и воспитанной молодежи (для старухи оба они, конечно же, были молодежью). То ли — но это уж совсем предзнаменование свыше! — старуха почувствовала родство их душ...

Проводив Элку до дверей квартиры, Стас попросил у нее телефон. Элка телефон дала, но сказала, что она мать шестилетней дочери, что она замужем и супругу своему изменять не собирается. Просто он сейчас в командировке, ей скучно, и они могли бы куда-нибудь вместе сходить.

Стас посмотрел на нее очарованными глазами, улыбнулся, поклонился и ушел. И Элка, глядя ему вслед, подумала, что Потапов всегда в командировке. Даже когда он будто бы дома!

За десять дней мужниного отсутствия они встретились дважды. Один раз ходили в кафе, на второй Стас решился пригласить ее к себе домой. Они просидели довольно длинный вечер при свечах, при шампанском, при тихой музыке... Конечно, Элка бывала в домах много лучше. И она, в общем, видела все эти старательные совершенства. И она — прибавь чуть-чуть интуиции плюс недоброжелательности — легко могла бы раскусить Стаса. Но к чему эти раскусывания-то? Человек ведь не конфета!

Главное здесь состояло в том, что Стас пребывал в совершенном восторге от нее. Это Элка видела по всему. Однако он продолжал вести себя корректно и мило.

И только в конце вечера, часов около одиннадцати, когда приличествовало уйти и Элка протянула ему руку, чтобы он помог ей встать из глубокого и мягкого кресла (финский гарнитур «Россарио», и притом очень тактичной расцветки!), Стас не помог ей, а, напротив, удержал.

Он взял эту руку — холеную и отлакированную, которой позавидовала бы иная королева, руку истинно женскую, но не крохотную, не руку «кошечки», а довольно крупную аристократическую, с длинными округлыми пальцами и прелестной формы ногтями.

Бог его знает откуда Элка взяла такие руки! Отец ее, прежде чем стать офицером, был слесарем на заводе «Динамо», а мать происходила из воронежских крестьян...

Стас поцеловал эти прекрасные пальцы, потом отступил к стене, выпрямился, посмотрел на Элку серьезно и чуть грустно. Она сейчас же простила ему заметную театральность и несколько вялую кожу лица. Потому что она почти наверняка знала, о чем пойдет речь, и волновалась, и легкомысленно радовалась...

— Элла Николаевна! Мы с вами едва знакомы. И к тому же...— он посмотрел ей в глаза, и она улыbnулась.— Но честное слово, произошел тот единственный случай, который... Словом, Элечка! Я в вас совершенно неприлично влюблен. И умоляю вас каким-нибудь чудом стать моею женой!.. Что вы мне ответите?

Видно, сам господь бог надоумил ее.

— Я отвечу вам завтра, Стас,— произнесла она очень серьезно. А естественное волнение еще прибавило ей искренности.— Отвезите меня, пожалуйста, домой.

Конечно, Элка его не любила! Но скажи она это сейчас, было бы испорчено впечатление от этого чудесного вечера...

Дома Элка смыла тушь и грим. И поплакала немножко. И снова сама себе твердо сказала, что нет и никогда... Да и что, в самом деле, куда? От Потапова? Они же одиннадцать лет вместе... И как же Таня... Конечно же, нет!

Назавтра он позвонил ей в нелепые для подобных объяснений двенадцать часов дня. И она сказала все, что говорят женщины в подобных случаях: и про «вы чудесный человек», и про «я была очень тронута вашими...». Ну и так далее.

— Вот, Элечка,— сказал он очень грустно, потому что исчезало то, на что второй раз он не решился бы никогда.— А ведь я знал, что вы мне скажете это... Нет, я надеялся, конечно! Но я знал...

И Элка поняла, что недооценила этого человека...

— Стас! — сказала она растерянно.— Дайте-ка, пожалуйста, свой телефон. И обещайте мне сами никогда не звонить.

— А когда позвоните вы?

— Наверное, тоже никогда.

Он продиктовал телефон, попрощался, и она положила трубку.

Приехал Потапов, побыл месяца полтора и снова уехал. Элка сходила разок в консерваторию, но ни старухи той, ни Стаса она не встретила.

Ни разу не обозначившись за две недели отсутствия, вернулся Потапов, уволок ее отдыхать по оскорбительным, в сущности, горящим путевкам Лугового. И там, и прежде в Москве, и в отсутствие его, и в присутствии Элка чувствовала себя одинокой, почти оставленной. Хотя он время от времени ходил с ней куда-нибудь: чаще в гости, реже в кино. И когда он являлся с работы в достаточной степени рано (что случалось, впрочем, не так уж часто), они, проверив, хорошо ли спит Танюля, делали то, что в «Декамероне» называют «заниматься любовью». Но Элке казалось, что они занимаются бывшей любовью.

Потом Потапов, намучившийся за день, засыпал на полуслове, а Элка лежала с открытыми глазами, слушала почти невесомое дыхание Тани и тяжелый сап Потапова. Эти два звука то соединялись, то опять разлетались в разные стороны... Я несчастлива. Но зато я спокойна, чего же мне надо еще? — думала Элка.

А грусть в ее душе все росла.

Вот так оно тянулось да тянулось. Раньше Элка не знала, что именно тянется. А теперь знала: тянется их нелюбовь. Наконец после какой-то очередной ссоры или обиды она, скорее назло Потапову, позвонила Стасу... Прямо из дома творчества. А когда вернулась в Москву, то встретила с ним раза два. «Вы хотели меня видеть — пожалуйста!» Ей, конечно, очень повезло, что Стас в нее так влюбился.

Почему же она с ним встречалась? По легкомыслию? И да и нет. Ей было хорошо оттого, что на нее без конца смотрят, и слушают с влюбленным почтением, и мечтают хотя бы руку поцеловать! Когда-то все это умел и Потапов.

Они уезжали куда-нибудь в лес, часа на два, пока у Стаса считался обед. Сидели на каких-то пеньках, ели Элкины изящные бутер-

броды, потом мчались в город. Несмотря на свою рафинированность, машину Стас водил великолепно, как хороший таксист.

Вообще в нем пропадал кто-то другой — не сделанный до последней буковки и запятой, а настоящий кто-то! Удалая езда и любовь с первого взгляда — разве не подтверждения тому?

А может, она сама начала потихоньку влюбляться в него?..

Потапов отправился в очередную командировку, Танечка была у бабушки, и Элка виделась со Стасом каждый день. Возвращаясь домой, садилась у своего любимого трельяжа, говорила себе: ну что, ну сколько же это все может продолжаться, а?.. Он все еще ни разу ее не поцеловал. И если б не любил, то, наверно, давно бы уж прекратил эти встречи. Любил! И ей надо было на что-то решаться!

Вот мне хорошо, когда я с ним встречаюсь, я чувствую себя женщиной, я чувствую, что меня любят. И если я захочу... если я смогу, так будет всегда... ну или очень долго.

В тот день он освободился около четырех — сбежал с приема у японских торгашей.

Элка села рядом. Стас тихонько тронул машину, вопросительно посмотрел на нее.

— Поедемте в лес...

Он кивнул слишком беспрекословно, и Элка поняла: у него были какие-то другие планы... Ничего!

Они выехали на окружное шоссе. Стас безжалостно нагонял и оставлял позади грузовики, «Волги», автобусы, «Жигули». В этом было нечто похожее на охоту.

— Помните этот съезд? — сказал Стас. — Не помните? Мы тут были. Очень красивый кусочек: шоссе и березняк.

Они перебрались на третьестепенную шоссейку и почти сразу попали в тишину, в безмашинье. Остановились. Деревья стояли тихо. Землю покрывала кора подсохшего к вечеру старого снега. Березы были уже белей него.

Они вылезли из машины. По этому насту пошли в белый лес, как в туман. За березами еще виднелось шоссе и темно-зеленый их «Жигуль»... Господи, подумала Элка, весна, березы, мужчина и женщина — как в плохом кино... Но подумала об этом как-то не по-настоящему. А по-настоящему ей здесь нравилось. И все волновало!

— Стас, вы все еще любите меня? — голос сорвался. Стас подошел и крепко взял ее за плечи. И было видно, какое это для него огромное событие — взять ее за плечи. — Знаете, Стас, я тоже вас, к сожалению, люблю!

Она заплакала, уткнувшись в его не то шотландское, не то норвежское кашне, и знала, что накрашенные глаза сейчас растекутся. Но говорила себе: пусть, пусть он увидит, какая ты на самом деле. И плакала еще сильнее и была уверена, что он ее не разлюбит.

«Я стала любовницей».

Ей всегда не нравилось это слово, унижительное для женщины... Так ей казалось...

Жила изо дня в день и не могла привыкнуть к своему нынешнему существованию!

И в то же время она продолжала с ним встречаться. Торопливо садилась в машину, и они сразу ехали к нему на Кутузовский. Элке было и стыдно, и хотелось ехать туда... Господи, как же хорошо — чувствовать себя женщиной, женщиной, женщиной! Положишь ногу на ногу, откинешься в кресле...

Но дальше-то как жить?

Прежде она не боялась никого... Хотя с Потаповым все равно бы, конечно, были неприятности. Но тогда Элка могла бы любому сказать: кто он? Да никто! Просто мой знакомый. И подите вы к черту.

Теперь она дрожала, что ее увидят где-нибудь случайно, что заметят в чужой машине. Наверное, она бы снова стала говорить, что это просто знакомый. Но это уже значило врать, извиваться. И она боялась — даже не того, что не сумеет. А того, что придется. Она боялась самой себя.

Когда приехал Потапов, стало совсем худо... Не дай-то бог никому попасть в ее положение! Сколько в нем страха, стыда, старения... Радость объедками, клочками, А страх всегда!

Уж не надо о том и говорить, как ее ревновал Стас. «Эля! Ну почему ты не можешь от него уйти? Ну что еще для этого надо сделать?! Почему ты сама себя обрекаешь на жизнь нечестной женщины?» Она отворачивалась и плакала.

Опять на что-то надо было решаться...

Как это «на что-то решаться», она себе говорила, разве ты не решила еще? Она приходила в отчаяние от самой себя. Но попробуй-те вы расстаться с человеком, с которым знакомы тринадцать лет и который вам одиннадцать лет муж... Да он тебе уже стал роднее матери, хотя, может, и не такой уж любимый. Ты его знаешь до последней запятой, ты к нему привыкла, у вас куча общих друзей, у вас, в конце концов, общее хозяйство... Уж не говоря про Таню... Ох, как жить-то тяжело!

Но как же ты дошла до такой ситуации?!

Дошла. Устала быть тягловой силой семьи, устала быть невидимкой. Встретила человека, который оценил... Если б Стас относился к ней хоть немного по-иному, ничего бы не было и в помине!

Но теперь она все-таки решила: со Стасом порвать! Она виновата перед Потаповым. Но ведь и он виноват перед ней. И ей было за что ему отплатить. А теперь все. Забыть. Понять, что произошла ошибка. Поправимая. Ей не так уж долго осталось быть женщиной. И все это время она будет женой Потапова!

Надо только сказать Стасу о своем решении... Она не могла! А Потапов все продолжал быть так невнимателен к ней. Он не изменял, Элка знала: у него и времени-то на это не было. Теперь, когда существовал Стас, она понимала, как невнимателен к ней Потапов.

Бог знает, какой бы у всего этого вышел конец... Вдруг случилось — она поняла, что беременна.

Сейчас же ей начало казаться, что у нее непомерно обострилось обоняние. Это она помнила отлично, когда была беременна Таней. Они отравились с Потаповым в кино. Элка села и вдруг почувствовала, как к ней начали сползаться все запахи зала. Духи, табак, через ряд сидел кто-то выпивши. От стены кто-то волнами дышал на нее чесноком. «Тебе плохо, Алик? А ну-ка пойдем отсюда...»

Сейчас ей казалось, что это ощущение пришло снова. Ей чудились запахи: масляной краски или вдруг необыкновенно кислый запах черного хлеба... На самом деле не пахло ничем, но казалось, что пахнет. Элка замирала, прислушиваясь к себе. И тогда ей начинало мерещиться, что ее будто подташнивает. Машинально она брала сигарету и торопливо, резко откладывала ее: а вдруг теперь нельзя!

Эх, не надо бы сейчас ей нервничать. Она нервничала! И ей не с кем было поделиться. Со Стасом? Но ведь она решила остаться с Потаповым... Потапову сказать? Но как же скажешь ему о чужом ребенке!.. Вот тебе и о чужом... Это для Потапова он был чужой. А для Элки такой же родной, как Таня!.. Даже маме она ничего не могла... Маме все можно. Только не это!

Она пошла к врачу. Та дала ей направление на анализ. Результат? Будет готово в тот же день.

Она сидела перед трельяжем. В среднем зеркале видела свою физиономию, по которой текли слезы. В левом — крохотную, но все же видимую морщинку, которая ползла от края глаза к виску. В правом —

выбившуюся из-под заколки прядь. Слезы сперва наполняли глаз, а потом сбегали вниз по уже проторенной дорожке.

Надо решать. Снова надо решать.

Может быть, еще ничего нет, тогда клянусь — богу ли, всему миру, своей ли совести — клянусь, что я останусь с Потаповым. Самой преданной на свете женой! Вина моя. И я искуплю ее.

Но если я беременна, тогда пусть у Тани будет братик... от Стаса должен быть мальчишка! Это уж я чувствую... Подумав так, она опять заплакала. И проревела еще немножко, выплакивая и счастье и горе.

И потом стало ей пусто на душе. Зато она могла собраться с духом и принять решение.

Первое — Танечку к маме. Второе — со Стасом пока не видаться. «Жди, я тебе позвоню». — «А что случилось?» — «Ничего. Я же сказала, что позвоню сама!» — «Элечка! Но так невозможно...» — «Возможно!» — жестко ответила Элка. И он тотчас испугался.

Теперь анализ. Надо было нести его вчера. Пусть завтра это сделает Потапов... Господи! Подлость какая пришла ей в голову!

И все равно Потапов!

А почему же не ты сама?

Потому что, если все подтвердится, вечером ей пришлось бы возвращаться домой за чемоданом — хоть за какими-то вещами. Значит, неминуемо объяснение с Потаповым. Нет, не выдержать! Хотя можно и не объясняться. Тихо уйти на следующее утро... А как проспать с Потаповым всю ночь в одной постели? Даже в одной квартире? Нет, пусть едет он. Уж столько в жизни нагрешила... Последний грех — и все. Клянусь!

Но в тот день, когда она это все решила, она струсила и убежала к Стасу. Наплевав на предосторожности, целый вечер допоздна гуляла с ним по улицам. «Элечка, да что случилось?» — «Ничего! Ты хочешь меня видеть или нет?» — «Ну Эля! Ну что ты фыркаешь, как девочка, красавец мой?..»

Она пришла домой и застала Потапова спящим перед телевизором. Решилась сказать на следующее утро, то есть сегодня — опять не вышло: он был не в себе, и какой-то востропанный, и как обычно несуетливо спешил.

И вот уже вечер. Десять минут одиннадцатого, он всё заседает! Как же, главная любовь в его жизни — это Луговой Сергей Николаевич. Намеренно она злила себя, чтобы стать хоть немножечко по сильнее.

Наконец в пол-одиннадцатого у двери коротко тренькнул звонок... Элка подумала, что и звонок этот страшно знаком ей: всегда такой короткий, быстрый — потаповский. Теперь-то он стал тяжеловатым, Сан Саныч. А в молодости был... И почувствовала, как нужна ей эта беременность... Ох! Бедный мой маленький, прости! Она открыла дверь.

— Мои извинения, Алик, ключи искать буквально уже нету сил... Что с тобой? Ты чего как с креста снятая?

— Что? Плохо выгляжу? — Элка отстранилась от его поцелуя. И одновременно отметила, что спиртным не пахнет.

— Ну, Алик...

Надо же было ему именно сегодня случиться ласковым!

— Оставь, Саша. Неужели нельзя было пораньше прийти?

— Ну, что я, в самом-то деле, в карты играл, что ли!

Он бросил пальто на вешалку, прошел в комнату.

— Ты ужинать будешь?

— Буду!

Ну, значит, после ужина, сказала себе Элка.

Он проснулся рано, как и следовало ему сегодня. Несколько секунд ослушивал всего себя, а главное — голову. Болела.

Так это было сегодня нехстати. Встал, собравшись с силами: надо!

Он был совершенно уверен, что никаких детей у них не намечается. Но одно дело здравый смысл, другое — Элка. По нервотрепкам первый чемпион. Тут единственное средство — дать ей соответствующую бумагу: «Убедилась? Вот и молодец. А теперь успокойся!»

В спальне ее уже не было. Заглянул на кухню. Элка отпаривала его пиджак. Брюки с изумительными стрелочками висели на стуле... Чегой-то с ней сегодня?.. Элка обернулась.

— А, встал... Завтракать будешь?

— Не знаю, Алис. Надо бы...

Несколько секунд он смотрел, как она отпаривает его пиджак. И именно сегодня, когда как раз идти в министерство. А что сегодня его ждет дорога в министерство — это факт.

Он вышел из дома с одним стаканом чая и с одной ложкой варенья в животе. Элка сварила ему еще пару яиц. Он попробовал было съесть одно. Посолил, отколупнул ложечкой. Нет, не лезло в глотку. Отодвинул рюмку с яйцом.

— Да ты что? — спросила Элка.

— Ну, неохота в такую рань!

Скажешь, что заболел — начнет причитать. А ему нервы сегодня надо беречь.

Собрался, оделся. Хотел чмокнуть ее на прощанье — елки-палки, ведь все-таки дело-то какое! Она сидела, запершись в ванной. Вообще будто его сторонилась.

— Пока, Алис!

— Ты анализ не забыл?

— Ну что я, сумасшедший, по-твоему? Чего ж мне туда ехать без анализа?

— Вечером, как получишь результат, сразу мне позвони.

— Эл, я же тебе сказал: ладно! Чего двадцать раз повторять?

Он мог бы, наверное, вызвать машину. Но было неловко — по такому делу. И поехал в толкучем автобусе, в битком набитом метро: по Москве уже поднялась первая волна, первое цунами спешащих на работу людей.

Надо сказать, этот день был не из лучших: пасмурный, плаксивый. За то время, пока Потапов находился под землей, погода прохудилась уже окончательно. Начался дождь, причем из тех, что может идти и час и два. А то не перестанет и к вечеру.

Потапов поднял воротник плаща, сунул руки в карманы — пошел! А что поделаешь?

Ему нужна была улица Житная — одна из самых, между прочим, старых улиц Москвы. Но где она именно, Потапов разобраться не мог... Где-то здесь... Народ, пробежавший мимо, на ходу пожимал плечами.

Наконец ему помог какой-то старик.

— Житная? Да она, товарищ, вся выломана. Вот так идите, прямо, — он махнул рукой, — там еще дома кое-какие остались... А вам что нужно-то?

— Я найду, — сказал Потапов, — спасибо.

Он хлюпал по слякоти, какая бывает только на стройке. И в то же время это была улица: шли люди, проносились автомобили. А рядом за дощатыми заборами шла неравная война машин со старыми домами. Грузовики полными кузовами утаскивали куда-то обломки. И тут же прямо по пятам за этим грохотом и разорением шел другой грохот — строительный. Домищи росли, куб на куб — квартира на квартиру, росли, этажами заполняя небо.

За стройкой начинался бесконечный блочный дом, каких три штуки поставят — готова улица. В нем Потапов и нашел свою поликлинику. Это было мрачноватое помещение, полуподвал. В мокрые, висящие под потолком окна почти не проникало света, поэтому горело электричество и еще пара громко трещащих неоновых трубок. Потапову не надо было спрашивать, кто, куда и за кем. Здесь была одна медленно шевелящаяся очередь. И каждый держал в руке то ли баночку, то ли пузырек.

Он потихоньку стал оглядывать народ. Это все сплошь были почему-то одни девчонки лет по семнадцать — двадцать. Все накрашенные — прямо поверх сонных припухших физиономий. И Потапов не заметил у них ни одной улыбки.

Еще в очереди этой стояло несколько мужиков, каких-то полинялых и тоже встревоженных. И еще один за одним стояли два неопрятных парня, довольно устарело изображавших из себя хиппи. Длинные их волосы слиплись от дождя и казались сальными.

Севке бы рассказать, подумал Потапов, пусть жизнь изучает... Он определенно разгулялся, пришел в себя после простудного вставания. Он думал теперь о ребенке, который, возможно, у них появится. В первую минуту, когда Элка ему сказала вчера, он не обрадовался. Что уж там говорить, ведь это всегда — лишние заботы, всегда как снег на голову! А сейчас он окончательно решил: пусть будет, даже хорошо... Возможно, ему не хотелось оказаться в одном лагере с этой очередью. С этими людьми, которые не умеют отвечать за свои поступки. Сделают, нагрешат, а потом стоят здесь, опустивши нос... Что ж вы, милые мои! Детей бояться — в лес не ходить!

Слушали, постановили

Едва Потапов сел за луговской стол, зазвонил телефон.

— Здравствуйтесь, Александр Александрович! Звонит...

— Здравствуйтесь, Петр Григорьевич! Начальство пока еще узнаю.

Этим несколько игривым ответом Потапов, сам того почти не осознавая, пустил пробный шар: как они там?

— Вы получили письмо из Озерного, с завода? — тон весьма и весьма.

— Если к вам пришла копия, то куда-то должен прийти и оригинал.

— Давайте-ка оставим состязания в логике. Обстановка серьезная.

Да уж, подумал Потапов, коли ты вместо девяти пришел на работу в восемь пятьдесят пять — серьезнее не бывает. Этот самый Петр Григорьевич Сомов не был непосредственным куратором их института. Но все же почти член коллегии, замначальника... Был он из тех людей, кто свято исповедует принцип: кончил дело, гуляй смело. Акцентируя при этом именно вторую часть.

— Да, обстановка серьезная, Александр Александрович. И мне поручено возглавить группу, которая должна разобраться в создавшейся ситуации.

Потапов еще раз пересмотрел всю документацию, ушло на это минут сорок. Позвонил в партком Стаханову — тот заговорил с Потаповым довольно сухо, что бывало в те моменты, когда секретарь еще не решил, как ему поступить. Что ж, и Потапов ответил тем же... На разговор ушло минут пять.

Итого до выезда оставалось еще часа полтора. И понял Потапов, никакие сейчас руководящие дела не пойдут ему в ум. Он достал папку с материалами «Носа»... А когда очнулся, было уже двадцать

минут двенадцатого, Лена входила в кабинет, говоря, что пора ехать и машина его ждет. Потапов набрал номер Стаханова, спросил бодро:

— Ну что, едем, Борис Парфеныч?

— Едем-едем,— несколько насмешливо ответил тот. Как видно, он уже разработал тактику... Хорошо, что Потапов не лез со своими соображениями. Стаханов до всего любит дойти сам, а уже после «по-советоваться с народом». И по голосу было слышно, что его позиция вовсе не антипотаповская!

Он первый спустился к машине, сел на переднее место. И теперь, Олежек, попробуй-ка по затылку угадать мое настроение.

Пропуская друг друга в двери, вышли Олег и Стаханов. Потапов пожал Стаханову руку, а Олегу кивнул, будто они сегодня уже виделись... Олег заметно волновался. И Стаханов волновался. Только у них было разное волнение. Стаханов волновался тяжеломерно, вроде как отец семейства перед экзаменом сына. В Олеге же виден был азарт рискованного игрока. Стаханов, который, естественно, знать ничего не знал, принял это за желание бороться и отстаивать. Он тихонько толкнул Олега в плечо:

— Ну так что будем делать?

— Разобраться надо...— это получилось у Олега не то чтобы злобно, но как-то холодно.

Стаханов, стреляный воробей, почувал что-то неладное. Наверное, он посмотрел на Олега, посмотрел на потаповский слишком напряженный затылок и слушающие уши. Однако ему не хотелось затевать при шофере лишних разговоров.

— Верно, Олег Петрович,— он сказал,— разобраться надо.

И так в молчании они доехали до самого министерства... Вот и все, Потапов. Пора держать ответ.

Собственно, он был совершенно готов к этому. И виноватым себя не считал! Испытания были необходимы — поэтому он их разрешил. При полной, конечно, уверенности в трубе.

Ладно... Вошли в кабинет. Поздоровались с Сомовым. И пока секретарь комиссии, инженер из сомовского подчинения, излагал известную всем суть дела, присутствующие потихоньку оглядывали друг друга. Через стол почти прямо напротив Потапова сидел ПЗ. Лицо у него было простое и чуть грубоватое. Он, как и тогда, был уверен в своей правоте. Но не кичился ею и, вернее всего, хотел помочь Потапову. Потапов был отличный работник, снимать его ни в коем случае не следовало. Но с Потаповым было трудно. И ПЗ надеялся на этой истории еще надежнее укрепить свои позиции — для будущих споров.

Имея все это в виду, он и стал говорить. Стаханов, который сидел рядом с Потаповым, слушал ПЗ, склонив голову и чуть заметно кивая.

А между прочим, речь ПЗ, когда дело касалось не разного рода перепалок, где он мог отделяться короткими репликами, уколами и усмешками, сильно теряла в своей выразительности. ПЗ то и дело довольно беспомощно вворачивал какие-то там «постольку-поскольку», «данный вопрос как таковой», «в части» (например: в части разбора этого серьезного случая) и так далее и тому подобное. А когда говоришь ты скучненько, тебя именно так скучненько и слушают. И все хитросплетения ПЗ остались для многих толчением воды в ступе. Народ чуть оживился, когда ПЗ взял последний аккорд. Впрочем, тоже довольно невнятный:

— Таким образом, товарищи, учитывая, что нам товарищ Потапов слишком хорошо известен в качестве работника ценного, давайте совершенно честно скажем, что мы на ошибках не только учимся, но и растем.

— Так вы считаете все-таки, что причина неполадок в некондиционности трубы? — спросил Сомов.

ПЗ развел руками: ну а что же, мол, еще. Все остальное соответствует документации.

— А я уверен, что труба функционирует отлично! — сказал Потапов. — И мы с вами это, кстати, видели вместе.

— Совершенно с вами согласен, Александр Александрович! — чуть ли не весело воскликнул Генеральный института трубачей, некий Панов Николай Николаевич. Своего зама, того симпатичного парня, что уламывал Потапова в заводской гостинице, Панов из осторожности не взял. И теперь он как бы защищал Потапова, на самом же деле — своего зама, а уж на действительно самом деле — себя: ведь с его, в конце концов, ведома на свет появилась такая труба!

Насколько же все-таки бывают разные люди. Панов Генеральный и Луговой Генеральный. Но если Сережа Николаич всю жизнь старается говорить дело или уж, если ошибается, что с ним, кстати, бывает, свою совершенно определенную точку зрения, то Панов этот занимался всяческими улещиваниями, остротками, которые могли бы в принципе пригодиться для любой речи. Запиши их только, запомни и валяй.

— Это есть у нас, у мужчин, — говорил, улыбаясь, Панов. — Даже когда мы влюблены, мы косимся на других женщин.

Так он начал о Потапове, который действительно любит рискнуть, залезть в «не свои дебри».

— Это мы с вами: «Заседаем значит существуем». А он человек молодой, человек действия!

И что вы думаете, ведь его слушали, шельмеца! Улыбались, подавали незлые реплики... Хотя речь его была ничуть не глубже, чем у ПЗ.

Но и на старуху бывает проруха. Слишком увлекся товарищ Панов. Сомов постучал карандашом по стакану.

— Николай Николаевич, поконкретнее...

— Я сейчас специально округляю, — сказал Панов, — чтобы как раз именно прояснить не детали, которые в конце концов... — он сделал неопределенный жест рукой, — а общую картину. Мой учитель, покойный профессор Померанцев...

Потапов (и это было, наверное, тактически довольно глупо) здесь рассмеялся. Панов повернул к нему чуть удивленное и чуть недовольное лицо.

— Померанцев да еще покойный, — сказал Потапов. — Вы все-таки как, Николай Николаевич, оцениваете ситуацию-то?

— Ну что ж, — Панов остановился, посмотрел на Потапова. Он был, в сущности, не такой уж добряк, умел защитить свой институт и не любил, когда ему становились поперек дороги. — Ну что ж, — теперь он уже обратился к Сомову. — Александр Александрович очень энергичный и молодой человек. Даже в некотором отношении слишком молодой... Впрочем, в надежности трубы я совершенно уверен. И здесь полностью разделяю точку зрения товарища Потапова. Но, с другой стороны, идеи у Потапова часто расползаются, как щенки из корзинки. И, видимо, в других узлах и блоках все же были допущены просчеты.

Это было не сказать чтобы очень веселенькое начало. ПЗ своей невнятистью как бы задал тон выступлениям. А Панов еще подпустил едкого дыму сомнений и осторожности. Так вслед за ними и другие пошли: талантливый, но молодой; в нашем деле семь раз отмерь, подумай и еще семь раз отмерь; эксперимент необходим, но не когда дело касается готового изделия... ну и так далее. В сущности, мало конкретного. Потому что пока оценивался не столько факт приостановки испытаний, сколько действия на испытаниях Потапова. А с ним ссориться никто особенно не хотел. Парень энергичный, умный. Если ты по делу, всегда поможет. Это первое, а второе: парень молодой, а уже на таком посту — мало ли куда он вырастет!

Среди этого болота неопределенности они наконец набрали всей компанией на островок перерыва. Потапов закурил, встав в угол. Почувствовал, что все же успел напсиховаться... Сигарета казалась слишком горькой. Усталые легкие уже не воспринимали дыма. Невольно он подумал, какая же, в сущности, нелепость: отдыхать от накурленного помещения с сигаретой в зубах.

Потапов оглядел холлчик, где они толпились, члены этого совещания. Еще несколько человек автоматически закурили... Значит, не один я такой умник. У окна Стаханов разговаривал с Сомовым, угощая его конфетками из железной круглой коробки. Они напряженно улыбаются и хмурились лбы. Они и на отдыхе разговаривали о делах...

Кончился перерыв. И все — народ деловой, дисциплинированный! — как бы единым вдохом вошли в относительно проветрившееся помещение сомовского кабинета. А почему бы, спрашивается, кондишн не поставить? Нет! Все на форточки надеемся, ретроградство проклятое!.. Подумав так, Потапов невольно покачал головой: понял, что он уже успокоился, уже представил себе, как во главе комиссии выезжает в Озерное, разбирается там и с Лоховым, сукиным сыном, разбирается и с товарищем Ильиным, чтоб не брал таких замов!

Не рановато ли?.. Но с другой стороны — а куда ж ему деваться, почтенному собранию? Самим, что ли, ехать, копать потаповские грехи? А вдруг да напортачишь? Ведь этих дел лучше Потапова ни одна собака не знает!

Еще выступили трое-четверо — директора институтов, но далеко не таких великих, как их контора. Словом, тоже люди без права решающего голоса... Накуренность опять обрела свою нормативную синеву. Пора вроде бы начинать подбой бабок... Чего же это Олег помалкивает? Чует, вот и помалкивает! Собрание верит Потапову. Потому что он ученый, потому что он показал себя ученым на многих испытаниях, и на многих советах, и во многих статьях. И ты это все понимаешь, Олежек. И потому помалкиваешь.

— Есть еще желающие высказаться? — спросил Сомов тем обычным тоном председательствующего, когда следующая фраза неминуемо: «Ну что ж, тогда позвольте мне...»

— Позвольте мне!

Но это был не Сомова голос. Это был голос Астапова Олега Петровича... И вот он уже поднялся, нахмурил брови и огладил бороду, как бы собирая свои мудрые мысли, как бы с порога отменяя обвинение в том, что он, наподобие Потапова, слишком молод.

— Товарищи! — Он сделал паузу, во время которой товарищи, уже благодушно настроенные на конец совещания, опять подобрались. И лица их одно за другим повернулись к Олегу. — Товарищи! Бывает на свете очевидное — невероятное. Но сейчас речь идет о невероятно очевидном! И в этой связи меня удивляют позиции некоторых из вас... — Дальше, неторопливо листая небольшой блокнот, он почти слово в слово стал цитировать выступление Панова, выступление незначительного директора и других. Это, конечно, производило впечатление. Прочитанные еще и особым голосом, цитаты с совершенной очевидностью показывали, какие мямли эти выступающие, как они просто-напросто не хотят выносить ни того, ни другого решения, что, в сущности, соответствовало истине.

— К чему приведет такая позиция? — спросил Олег, обратившись вдруг непосредственно к Панову, и тот улыбнулся с заметной растерянностью. — А к тому, что мы пошлем товарища Потапова в Озерное разбираться в этом вопросе. И пусть он себя сам высечет, как унтер-офицерская вдова. Или наоборот: пусть расскажет нам, что ни в чем не виноват... Я не хочу ничего плохого сказать против товарища Потапова, и наши отношения многим известны. Но в данном случае речь идет о слишком серьезном общем деле. Унтер-

офицерская вдова высекала себя. Но это случилось в художественной литературе. В жизни же такого... что-то я не встречал!

И неуютное шевеление прошло по собравшимся: в чем же таком Олег собирается обвинять Потапова? В нечестности, что ли?!

— Прошу понять меня правильно! — четко выговорил Олег и остановился. И стихло шевеление. — Дело не в том, что товарищ Потапов, став председателем комиссии, намеренно введет кого-то в заблуждение. Но как человек импульсивный... — тут он остановился, будто подыскивая слова. — Я говорю сейчас о некоем, так сказать, объективном субъективизме, в который невольно впадет Потапов просто потому, что он уверен в своей идее и в своей правоте!.. В конце концов, суть сейчас не в терминах. Мы рискуем делом!

Дальше он с завидной живостью нарисовал картину, как субъективный Потапов находит псевдопричину и вновь запускает испытания. И тут «прибор» на горе (и на ответственность!) всем присутствующим и еще очень многим не присутствующим распаивается. Гускнеет прекрасно блестящий корпус, перекашиваются ручки... Что же до патологических изменений внутри, то это уж... И вот новенький «прибор» либо весь приходит в негодность, либо непоправимо теряет очень многие свои системы. Кто виноват — теперь уже установить это будет практически невозможно. То есть, конечно, опять Потапов, это так. Но целым десяткам институтов придется вести работу по переделке или перепроверке (что отнюдь не легче) своих узлов и деталей. Промышленность тоже окажется в недоверии: а если да вдруг она напортичала?

Потапов знал, что не стоит, однако не выдержал и сказал очень искренним голосом расстроенной старушки:

— Это надо ж!.. Спасибо, что уберегли, Олег Петрович!

С разных сторон посыпался облегченный смешок.

— Вам кажется, я немного сгущаю краски? — поинтересовался Олег. — Верно. Я их немного сгущаю. Но не больше того, чем комиссия ЦК, когда будет заниматься нашей с вами деятельностью! Поймите же! Мы не можем без конца работать на грани фола...

— На грани чего? — не понял ПЗ.

— На грани сознательного нарушения правил — есть такое понятие в спорте... Дядя Федя из ЖЭКа ошибся: в розетку вместо вилки сунул... — он сделал чуть заметную паузу, — сунул ложку. — Послышался смех, но уже другой, одобряющий Олега. — Полетели пробки... А потом винные пробки. И дело с концом! Но ошибка руководителя есть уже не ошибка, а преступление. Ошибка же, на которую руководитель идет сознательно, ради желания поэкспериментировать, — это нечто даже большее и худшее. Оправдать ее очень трудно, понять — невозможно, — оглядел присутствующих, как бы показывая глубину пропасти, разделяющую их и Потапова. — Я не знаю, каковы будут выводы комиссии, побывавшей в Озерном, но поведение товарища Потапова в данной ситуации, как, впрочем, и во многих других — мы это знаем... Поведение товарища Потапова я бы подверг глубокому порицанию!

Последнюю фразу он произнес очень тихо. И сел, словно слившись с той аудиторией, гласом которой он как бы являлся. Наступила тишина. Жаль, что в министерствах не водятся мухи, а то б приговорка наконец-то смогла стать былью и все услышали бы, как муха пролетела.

Первым опомнился Панов. И он сказал, как бы ни к кому не обращаясь, но и зная, что стенографистки ничего не упустят:

— С некоторыми деталями выступления Астапова я не согласен. Но в принципе он очень прав!

И заговорил народишко. А что вы думаете — после такого выступления! Потапов проявил халатность, а вы все его чуть-чуть не по-

крыли. Ведь это же правильно: не положено так работать! А в особенности руководителю.

И так они создавали общий шум смущенного одобрения, как бы стараясь загладить перед неизвестно кем (перед Олегом, что ли?) вину, когда они и сами чуть не встали на рисковую потаповскую дорожку. Неужели и я бы так отшатнулся, с горечью подумал Потапов, неужели и я?.. И не мог себе ответить.

— Какое, товарищи, будем принимать решение? — произнес Сомов уже иным, сомневающимся тоном. — Желает кто еще высказаться?

Народ, однако, безмолвствовал.

И тогда поднялся Стаханов, который почти интуитивно все приберегал патрон своего выступления напоследок, приберегал по опыту многих и многих собраний, полемик и прочего. А ему, в сущности говоря, кадровому политработнику, пришлось в такого рода котелках повариться за свою жизнь, наверное, не один год чистого времени.

Он встал, такой весь аккуратный, чуть полноватый, даже, пожалуй, респектабельный — в таком отлично пошитом костюме, и в соответствующем галстуке, и в рубашечке. И штаны на нем были не узкие и не клешонные, а такие, как следует. Он как-то к слову сказал Потапову, что одевается столь тщательно и будет впредь одеваться, «потому что, дорогой Александр Александрович, имея дело с молодежью, по-другому нельзя! А у меня больше двух третей предприятия комсомольского возраста... Да вот и вы, между прочим, мою одежду тоже замечаете!» — и он засмеялся.

И только в одном выпадал он в осадок из регламента моды: он ходил в классических полуботинках-корочках, секрет пошива которых в мире давным-давно забыт, и помнят его только на фабрике «Скороход». Стаханов когда-то начинал там свою деятельность самым что ни на есть зеленым учеником слесаря. Это было лет тридцать пять назад, но и теперь изменить обуви родного предприятия он не мыслил себе ни в коем случае. Таков был его облик.

Была у Стаханова замечательная черта: свои принципы он ценил выше всех административных раскладок. Он говорил: «Этим я никогда не поступлюсь» — и тут уж его не сдвинуть. За то и уважал его институтский народ, а также очень ценил Луговой.

Сейчас Стаханов был бледен и зол. Он, как видно, ничего подобного не ожидал. И от Олега тем более. Он предполагал, что Потапов получит свой выговорешник, а потом опять займется делом... Выходило же не так.

— Я хочу в некотором смысле поприветствовать выступление Олега Петровича. — начал Стаханов ровным голосом, не прибегая ни к каким интонационным фокусам, помогающим сломить аудиторию. Он знал: его и так будут слушать. — Да, поприветствовать. Объяснение в нелюбви лучше тех воздушных поцелуев, что раздаются на некоторых наших советах и заседаниях. И все ж я хочу каким-то образом оградить Александра Александровича от этой нелюбви... Олег Петрович здесь коснулся проблем спортивной терминологии...

Кто-то хмыкнул. Стаханов подавил взглядом этого ненужного помощника, как тяжелая артиллерия давит слабую огневую точку.

— ...терминологии... Позволю себе это сделать и я. В спорте есть такое выражение «обозначить»: ну, скажем, обозначить силовой прием, обозначить активные действия, обозначить старательность на тренировке. — Он уже успокоился, сказал с утвердительной интонацией: — Вы понимаете?.. Вот и Олег Петрович в своем выступлении обозначил — во многом только обозначил — объективность. И основной запал его энергии надо было бы направить в значительно более точное русло. Когда загорается бензовоз, то присутствующие при этом событии сейчас же делятся на две неравные части. Одна бежит как можно дальше от бензовоза, что вполне естественно. Другая, она же

меньшая, бежит к бензовозу, чтобы его потушить. И я точно знаю, куда побежит Потапов. К бензовозу. То, что кое-кто здесь называет сознательной ошибкой, на самом деле есть сознательный риск.

— Вы путаете две вещи,— очень спокойно сказал Олег.— Риск риском, но ведь произошла служебная ошибка. Агрегат не функционирует!

— В одном автобусе случился пожар. А там, как вы знаете, висят объявления: при пожаре, дескать, разбейте стекло молотком. Но молотка на месте никогда нет! И тогда некто хлопнул по стеклу казенной скрипкой. И вот одни ему вроде как хотят дать медаль за находчивость, а другие — взыскать стоимость бесценного произведения культуры конца восемнадцатого века... Многие выступавшие здесь товарищи правы. Видимо, да, Потапов перешел грань допустимого риска. Ну, а что было ему делать? Подводить очень многих из тут присутствующих или все-таки попробовать? — он посмотрел на Панова, который не смел опустить глаз.— Оказалось, лучше было подвести вас. Ну что ж, как сказал наш уважаемый представитель заказчика (ПЗ быстро посмотрел на него), на ошибках не только учатся, но и растут...

Вот это класс, думал Потапов, ну и мужик... Его выступление не было беспорным. Оно заставляло сомневаться, думать.

— Теперь еще раз о речи товарища Астапова. Несомненно, он частично прав. Ибо, когда выметаешь все, выметаешь и сор. Но эти методы давненько уже устарели, и даже более чем устарели. Вы понимаете, Олег Петрович, о чем я говорю? И этим мы никогда не поступимся!

Вот так он вмазал, Стаханов. Вмазал на едином дыхании и сел. И все стало неясно, и все стало ясно! Теперь только будь объективен, взвесь все по совести и выноси решение.

— Хочет еще кто-нибудь высказаться?

Молчание.

— Тогда какие будут предложения, товарищи? Комиссии нужен председатель и зам. Остальных мы уж решим тогда в рабочем порядке.

Они прозаседали еще минут двадцать. Ни о Потапове, ни об Олеге речи не было. Председателем стал некто Краев из министерства, человек, в общем, нейтральный и дельный. Заместителем Илюшка Белов, он был зав отделом в институте-смежнике. Потапов все собирался перетянуть его к себе, да пока что-то не выходило.

Поднялись, задвигали стульями, с наслаждением раскупоривали окна. Стаханов разговаривал налево и направо. Он и сам чувствовал себя молодцом: такую речугу бахнул. И ведь явно не готовился — откуда ему было знать про Олега. Потапов и Олег остались в стороне от этого движения. Два врага, скованные одной цепью. Панов, как бы нечаянно оказавшийся рядом, произнес:

— Будьте здоровы, Александр Александрович...

— Постарайтесь... Вашему заму привет!

Но Панов не стал ни полемизировать, ни оправдываться. Он коротко поклонился и исчез... Хоть спасибо, к Олегу не подошел... Принципиальный товарищ!

Лишь одна проталинка была у него в этот день — Ленуля... Пришел, сел, начал снова все вспоминать. Естественно, заводясь, буксуя на одном и том же, раздражаясь... Здесь-то она и внесла поднос: тарелка шей, кусок мяса с пюре, припорошенные лучком кильки с широко открытыми глазами и компот. Не бог весть какие яства, не бог весть какая забота. А попала в самую точку!

— Солнышко мое, Ленулик!

— Я же ведь чуяла, что ничего не ел... Как там в министерстве-то?

Потапов в ответ махнул рукой, а вернее, столовой ложкой.

— Ругали, что ль?

— Хуже...

— Выговор, что ли? — она внимательно посмотрела в полунепро-
нимаемое жующее потаповское лицо. — Ой, вот как сердце чуяло!
Нам всегда с этим Ильиным не везет!

Потапов только усмехнулся в ответ...

— Ну вот о чем ты сейчас думаешь, Сан Саныч? — Ее снедало
любопытство по поводу министерских дел.

— О чем думаю — это жуткая тайна, — с серьезной миной отве-
тил Потапов.

— Ну, раз так — пожалуйста! Хотела тебе кое-что сказать, те-
перь не жди!

— Лена! Это еще что такое! — Потапов свободной рукой обнял
ее за талию.

— Ишь какой начальник! Сергей Николаевич никогда себе не по-
зволял! — Так она говорила, ничуть, впрочем, не вырываясь. Это все
была просто игра.

— Кончай, Ленуль. Элка, что ль, звонила?

— Эх ты! Одна Элка у тебя на уме!.. От Лугового звонили!

— Ну?! — крикнул Потапов и по веселому Лениному голосу по-
нял: порядок.

— Нету инфаркта! Просит, чтоб ты пришел. Я говорю: завтра.
Правильно? У него завтра как раз суббота — приемный день, с две-
надцати.

А денек-то разгулялся: Олег не одолел, Сереженька без инфарк-
та. Теперь только с Элкой вопрос решим.

Как его решать, он и сам не знал: по идее второй детеныш нуж-
ен, пока еще не совсем поздно. Хотя Алиса вчера вроде особого-
то энгузиазма не демонстрировала. Ее вообщем последнее время не
поймешь! Тревога почти неслышимо прошла у него за спиной. Брось,
сказал себе Потапов, все нормально!

Он спросил Лену:

— Как мы там, делами руководящими, случайно, не заросли?

— Женя Устальский ждет третий день. Дальше срочная почта.
Дальше — установили строгальный станок с программным управле-
нием, просьба проинспектировать.

— А чего я в этом понимаю? — удивился Потапов. — Что они
там?.. — И тут догадался: — Коняев, что ли?.. Слушай, пошли ты его...
Нет, обожди, — ему пришло в голову некое ехидство: — Поручи-ка это
дело Олегу Астапову. Скажи, что я лично его просил. Все? Тогда
давай срочную. Потом Женьку. — Срочной почты он теперь побаивал-
ся и потому не хотел ее «гневить» лишней задержкой.

На этот раз, однако, зловредного ничего не оказалось: просьбы,
напоминания. Была еще одна тяжбишка, которую затеял с Луговым
некий металлургический комбинат. Но и здесь позиция института
была совершенно ясна и праведна. Лена показала ему два предыду-
щих письма, подписанных самим Лужком, и Потапов быстро продик-
товал свой ответ. Причем даже прибег к излишней лихости, которую
в окончательном варианте изгнал.

Так же они расправились и с другими письмами. Посмотрели и
утвердили представления на благодарность и материальное поощре-
ние, поданные отделами. Этого, правда, в начальном расписании дел
не было. Но Ленуля каким-то образом сумела подsunуть ему выше-
означенные бумажки. Как понимал Потапов, отделы спешили прове-
сти благодарности до конца месяца и явно подкупили «генеральную
секретаршу» шоколадкой, а то и шоколадками.

— Все? Тогда давай Женьку. Хоть немного займусь делами род-
ного подразделения.

И тут зазвонил внутренний.

— Александр Александрович? Очень вас прошу, зайдите ко мне в кабинет,— голос у Стаханова был какой-то не очень веселый. И слова странные: это он сам должен был бы зайти к Потапову.

По пути в партком Потапов встретил одного человека — Абрамова Эдуарда Сергеевича, седого грузноватого завлаба. Он остановился у другой стены широкого коридора и почтительно поклонился Потапову. Потапов сделал вид, что не заметил этой почтительности, тоже поклонился Абрамову и ушел.

Абрамов Э. С., двадцатого года рождения, окончил рабфак, в тридцать девятом году поступил в какой-то там химический вуз, чуть ли даже не в МГУ на химфак, в сорок первом добровольцем ушел на фронт. Но в военкомате узнали о его незаконченном высшем и сделали начхимом — начальником химической службы стрелкового полка.

В принципе начхимы существовали до самого мая сорок пятого. Но делать им, в сущности говоря, было нечего, фашистская Германия так химическую войну и не начала. Каждый в этой ситуации устраивался как мог, как считал необходимым. Абрамов, например, стал командиром разведвзвода — со всеми вытекающими отсюда боевыми наградами и ранениями, в том числе и тяжелыми.

Это все узнал Потапов, когда затребовал у Михаила Медведича абрамовскую анкету...

После войны и госпиталя он закончил свой химфак: поступил в институт — праматерь теперешней потаповской конторы. Заслуженный фронтовик, дипломированный инженер, он почти сразу стал завлабом... Справедливо? По тем научным критериям да...

Лет пять назад стало ясно, что он не тянет. Или, вернее, тот, кого можно было взять на его должность, тянул бы куда интересней. Потапов стал изыскивать хитроумные системы, чтоб взять того другого и потом разделить лабораторию Абрамова на две.

— А знаешь, что такое рисовать змею с ножками? — спросил его Олег. — Это делать пустую работу! Жизнь между тем подсказывает тебе совсем другой путь: Абрамову — почет, премию, грамоту, товарищеский ужин, на пенсию... И путь свободен!

Потапов составил докладную, где весьма обоснованно излагал идею деления и ставку второго завлаба. Но куда там ему было хитрить с Генеральным! Луговой тотчас вызвал к себе кадровика с делом Абрамова и с анкетой «того» (которая, конечно, уже была в конторе). Просмотрел их... Михаил Медведич спокойно сопел рядом.

— Ну что ж, все ясно, — Лужок развел руками... И потом он предложил то, что накануне предлагал Олег. Ну только, может быть, в менее людоедском виде.

— Да я этого просто не могу! — Потапов хорошо помнил, как покраснел тогда.

— А дело требует! — сказал Луговой, уже сам заводясь.

— Но у меня увольнять его оснований нет... И я искать их считаю низким.

— А теперь уж, прости, я буду на этом настаивать!

Так случалось у Лугового: когда он видел, что с ним стойко не хотят соглашаться, он буквально на стену лез.

И снова Олег подсказал Потапову самый рациональный выход:

— А ты сходи к Стаханову, к секретарю. Если кто Сережу успокоит, так это только он.

— Слушай, черт, ты почему такой беспринципный? — удивился Потапов.

— Чудак! Я тебе просто помогаю. Я ж тебе друг.

Он воспользовался советом Олега. А наверное, додумался бы до

этого и сам. Зашел к Стаханову и впервые услышал от него сакраментальную фразу:

— Этим я никогда не поступлюсь...

История никакой огласки не имела. Даже Луговой не сказал ему по этому поводу ни одного слова больше. Только сам Абрамов узнал о ней каким-то путем. И всегда здоровался с Потаповым таким вот образом, как сейчас.

Да еще со Стахановым у них образовалась с тех пор некая «подпольная дружба»... Подпольная — потому что Стаханов со всеми и всегда старался быть ровен.

Сейчас, увидев старого завлаба, Потапов подумал: о, добрый знак! Предрассудки, а все ж на сердце спокойней.

Кабинет Стаханова был почти так же велик, как у Генерального. И длинный стол для всевозможных заседаний был почти такой же. Потапов вошел и сел за самую дальнюю часть этого стола. Их таким образом разделяло метров пять или шесть.

— Вы чего это? — спросил Стаханов и улыбнулся. Но улыбка у него была какая-то неуверенная.

— Сам не знаю...

— Ну и правильно, — вдруг сказал Стаханов.

— Что правильно? Что сел сюда или что сам не знаю?

— Все вместе, дорогой Александр Александрович. Известно ли вам, что я остался у Сомова, переговорил с ним? Затем мы вместе доложили создавшуюся ситуацию заместителю министра. Положение, вы сами понимаете, достаточно непростое.

— Из генерального кресла вон плюс выговор? Верно я вас понял, Борис Парфеныч?

А самому не верилось!

— В общем, верно, но не совсем.

Чтобы просто так не отводить глаза, Стаханов поднялся, прошел к маленькому столику, на котором стоял графин, налил воды, но пить, однако, не стал, вернулся к себе в кресло.

— Верно, но не совсем... Собственно, официально все будет оформлено в понедельник. Однако мне намекнули, что особой служебной накладкой не случится, если я вам сообщу сегодня.

— Так сообщайте же, черт возьми... Извините!

— Пока вам объявлен строгий выговор по административной линии.

— Формулировка?

— За срыв испытаний.

— Не согласен!

— И вам решено предоставить отпуск.

— Какой, к черту, отпуск? — И сообразил: — В смысле почетная ссылка до выяснения обстоятельств?

— Ну назовите так.

— Кто же... вместо Генерального?

Их глаза снова встретились. Теперь Стаханов смотрел твердо:

— Нет. Этим уж я никогда не поступлюсь!.. Его кандидатура была... Но... — Стаханов отрицательно покачал головой. — Решили Порохова.

Это был зам директора параллельной организации.

Потапов кивнул. Ему не очень нравилась эта кандидатура. Тут нужен, конечно свой. И Олег подошел бы уж куда больше... Злостью своей Потапов радовался, что это не Олег, а разумом — жалел институт.

— Хорошо, — он сказал, — хорошо хоть Сережа скоро вернется. Вы знаете, у него ведь не инфаркт!

Стаханов улыбнулся:

— Да, я знал это... Позвонил и узнал. А два месяца может побыть и Порохов.

— Ну вы буквально наш конторский Макиавелли! Прямо не верится, что они так легко согласились на Порохова.

— А кто вам сказал, что это было легко! — Стаханов покачал головой и нахмурился. — Кстати, Александр Александрович, Порохова ввести в дела поручено Олегу Петровичу. Так что с понедельника вы по существу можете быть в отпуске.

Почему Олегу? Чушь какая-то! Впрочем, что Олег, что Потапов — одинаковые замы, стало быть и дела знают одинаково... Но все ж Потапов замещает, а они все равно Олега!.. Сомовские штуки. А Стаханов, выигрывая в главном, пошел на мелкую уступку. Это правильно — законы борьбы.

И все ж ему стало жутко обидно: высек меня Сомище! Вгорячах Потапов взял со стола первый попавшийся лист бумаги: «Прошу предоставить мне очередной отпуск на 48 рабочих дней...» и так далее. Сорок восемь он никогда в жизни не получал и не пытался получить. Но раз я кандидат, то имею право, и — будьте так перпендикулярны — выдайте!

Он расписался с особым остервенением, поставил позавчерашнее число, протянул Стаханову — мол, передайте, кому нужно. Стаханов прочитал заявление, ничего не сказал, только кивнул. Положил листок в стол.

«Ты сам все испортил...»

Он вышел из конторы.

Без малого пора было ехать на Житную. Наверное, он мог бы вполне успеть и в метро. Да уж не хватало для этого сил. Черт с ним, с трешником. Я, простите, в отпуске... «Ангел в отпуске» — такое кино было у них в ранней юности и очень нравилось Потапову и потаповским друзьям своим названием.

Ладно. Не думать ни о чем. Взять Таньку, взять Элку и как махануть... Или не стоит? Потапов прикинул, как это будет — целый месяц наедине с Элкой, и понял: нет, такое вряд ли возможно...

Он машинально достал сигарету. Шофер постучал пальцем по табличке: «Курить воспрещается»... Неужели я ее разлюбил?.. То есть он знал, что в какой-то степени давно уже разлюбил ее. Как и она. Наверное, как все семейные. А может, и не все... Но неужели я ее разлюбил? Тогда зачем же я с ней живу? Из-за Танечки? Неужели только из-за Танечки?.. Как это Севка сказал: «...но надеюсь полюбить хотя бы еще один раз...»

А вот я надеюсь полюбить еще раз? Эта мысль показалась ему странной, какой-то неподходящей для его сознания... Слушал Севку, пожимал плечами, а на себя самого даже для смеха не примерил. Теперь попробовал и ужаснулся... Да что за черт?

Значит, я ее люблю?..

— Какой дом-то, говорили? Четырнадцать? — спросил шофер. — Тогда приехали.

Он спустился в знакомый полуподвал. Но теперь ему показалось здесь вовсе не так мрачно, как утром.

Это ведь была обычная женская консультация, и в нормальное человеческое время ее коридоры и кабинеты заполнили беременные женщины — такие милые, такие радетьельные, осторожные и неторопливые. Они все жили уже не в сегодняшнем дне, а где-то впереди, за несколько месяцев отсюда. И глаза у них были испуганные и счастливые.

Окошечко, из которого Потапову должны были выдать справку со столь важным для него известием, открывалось, как явствовало из

объявления, через пятнадцать минут. И он коротал эти минуты, глядя на будущих матерей. Он никогда их не видел столько сразу, и они все ему очень нравились.

Раньше, в детстве и молодости, он всегда стеснялся, когда видел беременную женщину, старался отвернуться или сунуть нос в книгу. Беременность казалась ему чем-то неприличным.

Теперь все стало для него по-другому, и это мягко удивило Потапова и даже умилило, что ли... Он подумал: папаша. И улыбнулся сам себе.

Он продолжал тихо и одиноко сидеть на стуле в углу, ожидая, когда откроется окошко. А мимо все ходили по своим невероятно важным делам беременные женщины. И душа Потапова, сведенная в болезненный комок борьбой и обидой, расслаблялась, добрела... Вот так, Потапыч. Еще поживем, еще у нас много хорошего будет.

Открыли окошко, он протянул туда клочок бумаги, который получил утром взамен Элкиного пузырька, и через минуту ему выдали справку-трафареточку: «Результат отрицательный».

Эти слова неприятно удивили Потапова. Он их как бы даже не понял. Спросил у молодой девчонки, что сидела в окне:

— Что отрицательный? — и положил ей бумажку обратно, словно это было не то, ошибка.

Девушка взяла справку:

— Потапова? Правильно?.. Результат отрицательный.

— Какой отрицательный?

Она покраснела:

— Ну... не беременна...

Потапов сунул бумажку в карман, надел плащ и вышел из больничного подземелья на улицу. Была у него в душе какая-то пустота. Ну и ладно — меньше хлопот, Элка вроде и не хотела.

Вдруг он совершенно ясно понял, что этот ребенок (должно быть, мальчишка!) стал бы спасением для них, для их общей жизни... Нет, Танечка — это ясно, конечно. Но Танечка сама уже взрослая, полноценный член семьи. А если б этот новый парнишка появился...

Значит, пусть он и появится!

Вдруг ему пришла в голову мысль... дурацкая, наверное, если подумать. Но он не хотел думать. Он хотел скорее ее осуществить. Он вошел в телефонную будку. Две копейки сразу вынырнули из кошелька, словно только того и ждали...

— Алло! Элка! Это я... Ты беременна, Алисия. Мальчишкой!

— Что ты говоришь? Почему мальчишкой? — спросила она глухим землистым голосом.

— Мальчишкой почему?.. Ну, уж я-то знаю, кто у меня родится!

Долго она ничего не отвечала. Потапов ждал, прижав трубку к уху и чувствуя на губах резиновость долгой улыбки.

— Выслушай меня, Потапов,— сказала она все тем же странным, низким и глухим голосом.— Постарайся меня понять.

«Выслушай меня... Постарайся меня понять» — господи, до чего ж она не может обойтись без штампованных слов!.. От этого пахло чем-то древним, каким-то там: «Сердцу больно, уходи, довольнo...» Это было весьма обычно для нее, но сейчас, подумал Потапов, это уж совсем не к месту...

— Мы больше с тобой никогда не увидимся.

Мысли Потапова сразу оборвались. Он хотел спросить: «Что?» — или: «А?» Но ни того, ни другого у него не получилось, и он только глотнул воздух, как всхлипнул.

— Я не люблю тебя.

— Алиса! Ты что, с ума сошла?

— Я сказала, выслушай меня.

— Элла! Ну я выслушиваю тебя! Почему мы обсуждаем эти вопросы по телефону?

— Ты помнишь, какой ты меня взял? Не помнишь ты! Я себя всю переломала. Забыл — «белоручка-Эллочка»?

— Слушай, иди к богу в рай, ты что там, сбрендил? Ты в чем меня обвиняешь? Что я заставил тебя научиться варить суп?!

— Сбрендил, к богу в рай... Хоть в лепешку разбейся, все равно ты меня не ценишь!.. Не клади трубку! — Она вдруг крикнула. И Потапов вздрогнул. Как она угадывала иногда — невероятно! — Не клади трубку, а то не узнаешь самого интересного. Я люблю другого мужчину. Я беременна от него, а не от тебя.

Эти слова прозвучали так странно, словно бы где-то в отдалении, словно совсем не про него...

Ему представилась вдруг совершенно фантастическая картина — как в бреду или как во сне. Элка сидит на краю кровати. Она улыбается в своей обычной чуть пустоватой задумчивости. А мужчина, стоящий сзади, целует ее в голое плечо... Он не то застонал, не то зарычал. Первый приступ досады и боли поразил его.

— Квартиру я пока оставляю тебе... Может быть, потом разменяем... — она еще что-то там понесла, приговаривая, что, поскольку они беседуют последний раз, она должна ему все сказать.

— Ты не беременна! Ты слышишь меня? Я хотел, чтоб ты была беременна, и сказал... Ты подлая! Ты мне все наврала или нет? Говори сейчас же! — Он и еще что-то орал некоторое время. Наконец он услышал, что в ухо его вползают один за другим короткие червяки: у-у-у-у...

Она что-то ему сказала перед тем, как положить трубку. Крутилась фраза. Что же она сказала? Важное. Наверное, важное... Дождешься от нее важного! А сам уже высматривал зеленый таксишный огонек... Главное, не психовать. Полчаса надо как-то прожить. Что она там болтает! Если хоть на одну сотую правда — смотри... Мы больше с тобой никогда не увидимся... Таксишник гнал — веселый малый попался.

— А вы чего не курите? Вы курите! Это, знаете, некоторые специально вешают: «Курить воспрещается», чтобы его попросили, а потом на чай подкинули. Дельцы будь здоров! А я лично так никогда не делаю. Мне, если пассажир хороший, он и так даст, верно?

Потапов в жизни бы не поверил, что в таком состоянии он сможет заговорить с кем-то да еще на совершенно ничтожнейшие темы. Заговорил, стал производить на свет словесную шелуху...

— Ну будьте здоровы. Спасибо вам! — сказал таксист.

Он взбежал к своей двери, сердце бухало еле живое. Позвонил, начал стучать... Достал ключ. Не веря сам себе, вошел в квартиру. Все осталось по-прежнему, но что-то неуловимое произошло, какой-то непорядок... Некоторые вещи как бы стали невидимы. Он открыл шкаф. Да что это за чертовщина, в конце-то концов! Болталась пара его костюмов... Потапов сел прямо в шкаф, словно на приступок крыльца.

Пошел на кухню. Пусто, прибрано. Сегодня утром она ему здесь отпаривала пиджак. И страшная тоска вдруг подступила к Потапову. Он сел за пустой стол. Позавчера здесь последний раз в его жизни была тарелка с холодным ужином... Да что же это все значит!

Наконец он увидел записку. Она стояла за буфетным стеклом и смотрела на Потапова. А он смотрел на нее и не замечал.

Это была типичная записка в Элкином духе. Без обращения — так ей казалось, видимо, более значительно и так она писала испокон веку и письма и записки — все.

«Прощай. Не ищи меня. Ты сам все испортил. Элла»... А! Вот какую фразу она мне сказала: «Ты сам все испортил»... Он снова внимательнейшим образом перечитал записку, доискиваясь еще до како-

го-нибудь смысла. «Не ищи меня» — таким образом действительно выражались во времена Лолиты Торрес: «Пламя взгляда расточать не надо. Мы чужие, обо мне забудь...» — и так далее! Но сейчас он не заметил этого. «Ты сам все испортил». Потапов прочитал эту фразу еще несколько раз. Но ему невозможно было постичь Элкину непостижимую логику: раз у меня не будет ребенка, я должна остаться с тобой, но ты сказал, что я беременна, и сам все испортил... Потапов ничего этого так никогда и не узнал.

Он пошел в большую комнату, открыл бар. Долго с сомнением смотрел на початую бутылку водки. Подумал: а ведь я пришел сюда чисто рефлекторно, что за банальность такая — выпить!.. Он взял бутылку. Сквозь ее прозрачность, как сквозь увеличительное стекло, Потапов увидел линии своей руки. Некоторое время он смотрел на них, потом поставил бутылку, закрыл бар. Он не знал, куда себя деть, как не знает этого зверь в голой клетке перед праздно проходящим народом. Потапов был один и все ж не один. Он был на виду у всех своих мыслей. Ему ясно представился тот зверь. Лев. Посмотрит с угрюмым безразличием и завалится на голый цементный пол. И лежит ни на кого не глядя.

Потапов прилег на диван и тут заметил, что он все еще не переобулся в тапочки. При Элке это было бы серьезным преступлением. С грохотом он уронил ботинки на паркет, лег. Но лежать было как-то плохо. Прежде всего потому, что впервые, наверное, за свою жизнь он лег на диван в пиджаке и при галстуке... Черт знает что! Как покойник.

Было просто невероятно, до чего и как мгновенно изменилась его жизнь без Элки. Чувствуя носками жесткий пол, он опять пошел на кухню, открыл холодильник. Кастрюлька с супом, который он якобы научил ее варить. На сковороде под крышечкой куски чего-то, не то пачки, не то мяса: с жарением у нее всегда были nelaды.

Как это ни казалось кощунственно, он хотел есть. И, наверное, поел бы. Но что действительно было выше его сил — это доставать кастрюлю, ставить ее на огонь, разжаривать мясо и картошку. Ему страшно было чувствовать себя покинутым мужем, и он закрыл холодильник.

И тут в голове у него пронесся разговор, которого никогда не было. Разговор между ним и Элкой. Для Потапова он представился всего одной мыслью, одним образом. Ну а на бумаге, конечно, получится длиннее.

— Ты уходишь?.. Ну а как же верность, ну а как же жертвенность?

— А твоя жертвенность?

— Но ведь я работаю!

— А мне-то что? А Тане? Ты эгоист, а мы твои рабыни!

Все это она говорила ему в разное время — обычно отдельными выкриками. Потапов или тоже орал в ответ, когда был усталый и перекуранный, или мудро решал, что, «споря с женщиной, ты уменьшаешь свое долголетие», или, когда куда-нибудь спешил (по утрам обычно), он просто целовал ей руки, губы, нос — куда попадет — и уходил.

Такие ее разговоры, крики и тэ дэ всегда казались ему женской чепухой, капризом, чушью. Теперь они казались строги, как истина.

Да неужели работать — эгоизм?.. Он вспомнил счастливую заманность лучших своих дней. Луговой. Олег. Или Женька Устальский, который почтительно и толково спорит с ним о каких-то деталях «Носа». Или Сева — чудо природы, сидящий над своими татуированными страничками... Потапову всегда больше хотелось к этим ребятам, а не к Элке. Он так и делал, старался делать именно так... Значит, эгоизм? Полезный человечеству, премируемый начальством, но эгоизм! Впрочем, теперь это уже не имело значения. ПЗ сказал се-

годня мудрую банальность, что, мол, на ошибках учатся и даже растут. Попробуй-ка подрасти!

Он все продолжал сидеть на кухне, и сколько так времени прошло, аллах его знает. Сидел с замерзшими ногами и к тому ж простуженный уже два дня... А завтра ведь к Луговому. Сереже только еще не хватает моего гриппа!

Так появилась в жизни цель. Он взял стакан, перечницу, отыскал аспирин... Есть такое будто бы шпионское средство от простуды (на самом деле, конечно, не шпионское, а командировочное): пару таблеток аспирина на язык плюс сто грамм водки с перцем плюс спать. Наутро все как рукой. Только пижама запасная нужна. И хоршее сердце... С этим как раз у него было в порядке.

Он сделал адскую смесь, рядом положил две аспирины. Но выпить не успел — лечебный процесс вспугнул телефон. Где же он звонил?.. А, в спальне. Значит, оттуда Элка разговаривала с ним в последний раз. Он открыл дверь, телефон продолжал звонить. Потапов увидел их кровать... их брачное ложе... подушку вверх покрывала, измятую Элкиной головой. Телефон тренькнул еще полраза и перестал.

Сердце разрывалось у Потапова от бессильной ревности. Он взял аппарат и скорее вышел из спальни. Телефон зазвонил снова.

— Слушаю.

— Привет, Эллочка. Говорит Володя!

Он не узнал этот голос, потому что совершенно тупо среагировал на «Володю». Но через секундную паузу сообразил. И от сердца порадовался, что судьба удержала его до этого разговора от питья адской смеси.

— Ну привет же, Сан Саныч!..— голос у Олега был какой-то излишне веселый.— Сан Саныч, что ты делаешь?

Впервые он догадался взглянуть на часы. Половина первого ночи.

— У меня в кармане, Сан Саныч, болтается банка крабов и пара бутылок каберне. Так что скажешь?

— Мне, парень, сказать тебе нечего.

— Сан Саныч! Это неправильно! Ты пойми, я же не хотел лично тебе. Я проводил намеченную программу.

Потапов ему ничего не ответил.

— И мы еще пригодимся друг другу.

— Да нет, не пригодимся.

— Ты решаешь задачи этой минуты. Я тебе предлагаю подумать про через десять лет. Ты пойми, я же сам погорел... И ты погорел. Чего нам? Ну, переживи ты смертельную обиду... Ну, извини в конце концов! Надо же выбираться из дерьма.

— Тому, кто в дерьме, надо.

— Гляди, Сан Саныч! У меня нервы тоже не от контрабаса.— Олег подождал, не скажет ли чего Потапов.— Слушай, ну не расставаться же нам!

— Расставаться, парень, расставаться.

— Я-то останусь замом при любом раскладе. Ты учти!

— Вот и молодец. Видишь, какой ты умник.

— Ты только, Сан Саныч, не помирай,— сказал он с неприятной усмешкой.— Что-то у тебя голос больно трагический.

— Да нет. Умирать не собираюсь. Я еще поработаю.

— Ну что ж. До свидания, дорогой. Супруге привет.

Потапов положил трубку, и Олег больше не позвонил.

Он увидел свою наперченную водку... Закусить бы надо. Но не хотелось опять идти к холодильнику. «Супруге привет»... Он бросил в рот аспирины, единым духом выпил змеино-жгучую водку. С усталости и со всех прочих дел в голове у него зашумело, будто слышная стала кровь, что бежит по мозговым сосудам.

Но снова зазвонил телефон— не наговорился Олег Петрович.

— Саня! Привет! Ты читал стихи Маршака: «Вернулся мельник вечером на мельницу домой»?

— Здравствуй, Сев... — Целый день сегодня его вспоминал. А сейчас говорить уж до того не хотелось.

— В том стихе, Саш, мельник приходит, а жена ему толкует, что с этим господином офицером она, понимаете ли, никаких дел практически...

Никогда потом Потапов не мог вспомнить, какой крик вырвался из него. Брань или просто рев.

— Прааа-вильно! — Наконец Потапов понял, что Севка пьян. — Вот тебе и Маша...

Маша... Господи ты боже мой! Это же он про Машу, это у него. Стыдно признаться, но Потапов почувствовал огромное облегчение. Сопел, сотрясая мембрану, успокаивал дрожащие внутренности... Сева понял его по-своему.

— Да я не напрашиваюсь. Я просто — что вы туда больше не звоните. Эллочке привет.

Потапов положил трубку. Вот и Севка... Ничего, Севке это проще: прокричится, проплачется и... Плохо я говорю... Но по-настоящему вины своего равнодушия перед Севой почти не чувствовал. Сидел, глядя в стену, — выживал.

Потом он вытащил из шкафа свое зимнее пальто и Танечкино зимнее пальтишко. Танино свернул и постелил в головах, своим укрылся. Подумал: при таком спанье не будет толку от моего лекарства... Но знал, что не сможет пойти в спальню.

От пальтишка чуть слышно пахло Танькой. И если б Потапов умел, он бы, наверное, расплакался. Вместо этого он уснул.

Очнулся Потапов часа через три, был он ослабелый, совершенно мокрый. Ничего не соображая, полез в шкаф и сразу нашел командировочную пижаму, переоделся, роняя мокрую одежду на пол. Пошел, покачиваясь, в спальню, залез под одеяло и снова уснул. Всю ночь до утра он громко разговаривал. Но некому было его услышать.

День первый

Проснулся и понял, что уже поздно, хотя сквозь задернутые шторы нельзя было разглядеть, светло сейчас или только светает. Он чувствовал себя здоровым. Лишь поблизости тихо копошилась какая-то печаль.

Раскинул руки — он любил так полежать. Левую руку отбросил смело, правую осторожно, чтобы не задеть Элку... рука его ударилась о холод пустой подушки. Но он даже не вздрогнул, потому что опять уже помнил все. Лежал не шевелясь, напряженно.

Но что так вылежишь? Лишние нервы трепать... Поднялся, чувствуя, что каждое движение болью отдается в душе. Тапочек поблизости не было. Он побрел босиком. А куда, собственно? Умыться, что ли.

В большой комнате увидел ночлежное место, где он проспал полночи. Рядом валялись рубашка, майка, трусы. Дверь гардероба была разинута и открывала любому взгляду все нутро. У дивана косолапились носами друг к другу тапки. На стуле, свешиваясь одним плечом, полупьяно висел пиджак.

Тоска объяла Потапова. Он стоял среди всего этого молчания и чувствовал, что начинается его новая жизнь... более холодная. Что молодости конец! «Вернулся мельник вечером» — а ведь это, Сев, про меня!

Ему вспомнились осенние Сокольники... Там кленов опадающих целые леса. Они идут, держа Ганюлю за руки. И настроение такое у Потапова — то ли грустное, то ли дурашливое... «Алик, давай в «Сирень»-то заглянем». — «Ну ты что? С ребенком в пивную. Какой ты, право...» Оказывается, это и было счастьем.

Он пошел на кухню и долго стоял перед открытым холодильником. И наконец холодильник, устав противиться теплу, которое втекало в него невидимой болезнью, устало заурчал — на Потапова и на такое невезение с утра пораньше. И тогда Потапов наконец решился. Он взял два яйца, но не стал их ни варить, ни жарить, а просто выпил с куском посоленного черного хлеба... Дальше что? Чай, кофе? Съел яблоко, чего с ним почти никогда не бывало. Яблоки, апельсины ну и все тому подобное — это была у них в доме Танюлина забота... Теперь не было у него и Тани.

Где она сейчас? Да все нормально: небось пошла гулять с тестем. А Элка...

Он увидел, как его жена сидит с чашкой кофе и папиросой в незнакомой комнате, за чужим столом. И волосы ее по-утреннему... А ну-ка замолчи об этом! Он резко встал — аж в голову ударило, стул за его спиной грохнулся навзничь...

Нет, не от злости он вскочил. Он не мог додумать этой ужасной мысли... Скорее, а ну скорее!.. Как куда? К Луговому!

Бегом, бегом! Спешка тоже наркотик. Уже сердце скакало, перепрыгивая само через себя. Он топал по квартире напролом. Боль, воспоминания — все хрустело! Квартира сразу стала тесна ему, двухметровому парню... Да я еще столько дел понаделаю!

Отставить пиджак. Давай-ка сюда свитерок серенький, который они в Риге купили с... А ну-ка, отставить! Купили и купили. Правильно сделали... Это ж надо же! И рубашечки мне все перед уходом постирала? Отлично! Чистые рубашечки нам в жизни пригодятся... Носки? Носков у нас навалом!.. Плащ, шляпу — готов, Сан Саныч. Вперед!

Он вылетел из подъезда и увидел, что на улице дождь. Зонт бы надо? И вдруг понял, что одно дело спешка, другое — бегство, и ему слабо сейчас вернуться в квартиру.

Ну и пусть будет слабо, не расстраивайся... Неожиданно в Потапове появилось вдруг то чувство жалости, с которым относятся к себе больные люди... Ну и ничего, не расстраивайся, пойдём... И поднял воротник...

От больницы он долго-долго шел пешком — все зализывал раны, которые нанес себе вынужденным оптимизмом. Даже рассказывал там анекдотец из армянского радио — Лужок засмеялся... Эх, Сереженька! Быть бы тебе сейчас здоровым...

Родная Москва жила, ничего не зная о несчастье Потапова. Здесь, в центральной части города, улицы были не так длинны, как у него на окраине, и не так прямы. Они словно перетекали друг в друга, лицо их все время менялось.

Говорят, будто в Москве есть кусочки всех русских городов. Но сейчас Потапов шел именно по Москве! Район Бауманской, бывшая Немецкая слобода. Более московского места и не представишь. Только если Кремль, подумал Потапов, да Красная площадь... Многие дома стоят здесь еще с петровских времен. Теперь их тоже выламывают, теснят. Но не так-то просто они сдаются. С боем. Стены толщиной в метр — попробуй-ка!.. Но, конечно, громят и их.

Места здесь Потапову были все знакомые. В этой церкви со сшибленными крестами, переоборудованной в спортивный комплекс, он тренировался. И здесь однажды пришлось рубиться в финале с командой МВТУ. А там вон, на месте несусветно огромного семнадцатизэтажника, стоял деревянный приветливый такой и скрипучий домишко. И в нем жила некая Галка Олейникова. А подружка у нее была Наташа...

Шагал Потапов, и вроде погода стала разгуливаться. За тучами ясно чувствовалось близкое солнце. Дождь кончился, асфальт стал понемножку высыхать и белеть.

Настроение стало ровнее, он думал о всякой всячине, об архитек-

туре и о том, до чего ж Яуза-река была мазутная, а теперь вроде почище, и все вспоминал какие-то матчи. В общем, это был такой район — память знала его назубок.

За Госпитальным переулком, в совершенно новом сквере, он присел покурить.

Он удивленно подумал, что еще не курил сегодня... дела! Времени было почти два часа.

И сразу после первой затяжки, когда так сладко забилося сердце, опять очнулись его печаль и горечь.

Неожиданно поднявшийся весенний ветер рвал над головой у Потапова облака. От первой сигареты он прикурил вторую, от второй третью... Опустил голову, глубоко дыша дымом.

Начиналась его новая жизнь — ничего не попишешь! Таня раз в две недели, вечера — лишь бы куда рвануть... Да и много всего! Какая-то женщина, которую он вынужден будет завести... Эра синтетических или темных рубашек: одни проще стирать, на других грязь незаметней... Но не это главное. Главное — как Элка сидит на краю кровати, а тот целует ее в голое плечо... Потапов стал прикуривать четвертую сигарету. Но тут же бросил ее. Вперед, вперед! Только не оставаться наедине с собой.

Чем пахнет угар?

Два сорок — вот сколько тянутся иностранные двухсерийные, слегка усовершенствованные прокатом фильмы. Дома таким образом он оказался только в половине одиннадцатого. Ввалился, и уже не было сил впадать в отчаяние. Повесил плащ, шляпу (решил следовать за собой), надел тапочки. Есть не хотелось — перед сеансом наглотался бутербродов с фантой. Ну так спать.

И понял, что для этого надо будет идти в спальню... Только давай без нервов... Взял газеты, вынутые по пути из ящика, прямо в прихожей сел на подзеркальник... Откуда-то из «Советского спорта» выпорхнул листок — то, что у Гоголя называлось «осьмушкой бумаги».

«Здравствуй, Саша! — прочитал Потапов и сразу узнал Севкин почерк. — Пишу эту записку, чтобы не заходить к тебе. Наследницей всего, что останется после меня, объявляю свою жену Марию Георгиевну Граматчикову. Я буду лежать на даче. Сам туда не ходи. Только с милиционером». И сантиметр отступя: «Сева».

Казалось, он должен был бы вскочить, уже бежать вниз через ступени... Но несколько крохотных мгновений Потапов просидел на неудобном подзеркальнике, чувствуя спиной и затылком гладкий холод зеркала, думая о Севе. Не о том, как попытается спасти его, а о самом Севе. Всегда Потапову казалось, будто бы он знал Севу. А выходит, не знал совсем. «Я буду лежать на даче». Он представил себе, как Сева писал эту фразу... Кстати, хорошо известным Потапову дешевым «паркером» с железным колпачком... И что бы там вы ни говорили о глупом поведении самоубийц, для этого прежде всего необходимо мужество. Ведь когда газеты достают? По утрам. Значит, Сева рассчитывал, что у него... вся ночь впереди!

Вот о чем подумал Потапов, пока сердце его ударилось десять или пятнадцать раз...

Таксист спокойно ждал, опершись тяжелыми руками о руль, пока пассажир скажет адрес.

— Едем за город, шеф!

Он очень ясно представлял, какой придется ему сейчас выдерживать бой...

— Можно. — сказал таксист.

— Только скорей!.. С меня причитается!

— Ну это уж... — таксист кивнул. Потапов даже улыбнулся.

Они вырвались из-под недреманного ока городских светофоров и мчались теперь по шоссе, залитому пыльным, как бы лунным светом «дневных» фонарей. И Потапов вдруг подумал, что это ведь то самое шоссе, по которому они ехали с Элкой в дом творчества. Он вспомнил, как серой и желтой кинолентой летели назад придорожные снега. Элка сидела, чуть привалившись к нему, и тоже смотрела в окно... Вот так, товарищ дорогой... Плохо! Но в холодной даче Сева сейчас глотал ядовитый порошок, или нажимал курки охотничьего ружья, или прилаживал веревку на вбитом в потолок толстом гвозде.

Это было бредом, невероятной ерундой. Но все-таки не большей, чем Элка, сидящая в чужой комнате на краю чужой кровати. И чтоб не видеть ее, Потапов закрыл глаза. Он услышал неслышимый прежде мотор и услышал, как колеса на бегу ударяются о вмятые в асфальт камешки.

И так долго сидел он, слушая эти звуки и видя, как перед закрытыми его глазами проплывают какие-то зеленые, и черные, и желтые пятна.

— Вот он, поворот на Костино,— сказал таксист.— Дальше куда?

— Прямо,— сказал Потапов.— Нам надо к станции.— Он был тут однажды. Еще зимой, когда жили в доме творчества. Помнил заборчик какой-то линиялый. И дальше вроде бугор, что ли... Но это все перед самой дачей... А! Ясно: от станции они сперва шли по шоссе.

— Только помедленней, пожалуйста.

— А чего такое?

— Дорогу надо сообразить.

— А вы вообще-то здесь бывали?

Они проехали станцию, но дальше ни одного знакомого дома, дачи, любой хотя бы какой-нибудь зацепки — ничего не попадалось!

— Остановитесь!

— Приехали?

— Когда приедем, скажу!

Он вылез из машины и увидел слева в длинно уходящей вперед улице группу высоких косматых сосен, которые выделялись на фоне чуть более светлого неба... И вспомнил Севино лицо. Вечер. Он читает Элке рассказ о соснах, а Потапов сидит в стороне и тоже слушает. Что-то там: «В самом конце нашей улицы...» И дальше: «вековые косматые сосны». Отсюда Потапову и слово пришло: косматы!

Впрочем, это могла быть какая-нибудь ихняя гипербола, метафора. Особенно у Севы! Но делать-то нечего! Надо рисковать.

— Короче, налево сворачиваем, шеф!

Они проехали буквально три дома, и Потапов закричал:

— Стоп! Ну-ка на этот заборчик посветите!

Он самый — облезлый зеленый забор! Вот и приехали. Сердце бухнуло, остановилось и снова пошло вперед тяжелыми ровными ударами.

Калитка была не заперта, он пошел по садовой дорожке, слева и справа стояли кусты, тонко и пронзительно пахло смородиновым листом. И этот запах и приятная мягкость живой земли под ногами так не вязались с тем, что сейчас предстояло увидеть Потапову...

Он поднялся на крыльцо. И снова оказалось не заперто. Он вошел, сейчас же в лицо ему ударил жаркий и душный, словно банный, воздух. Откуда-то из очень старых времен ему пришла фраза: «Угаром пахнет». Химик, он лучше других знал, что угарный газ СО не пахнет... И все же пахло! Деревенские отлично умели понимать этот опасный дух... «Угаром пахнет!» Теперь те же самые слова сказала Потапову его память.

— Сева, ты здесь?

Тишина... Лишь в глубине дачи что-то словно светилось — розовато-белым, ровным таким отсветом. Он сделал несколько шагов

и увидел раскрытую настежь печную дверцу. Печь буквально набита была белыми, словно сахар, кусками каменного угля. Странная картина. Но совсем не зловещая, а скорее красивая. По угольям то пробегал серый пепел, то они привспыхивали опять.

— Се-ва! Где ты?

Угли снова вспыхнули, и Потапов нашел наконец выключатель... Загорелась лампочка — все было серым и сизым от дыма. И когда Потапов увидел это, стал лучше работать его все еще простуженный нос. Потапов почувствовал густой сероводородный и еще какой-то там, но тоже тяжелый запах. Труба в печи была закрыта, и гарь шла прямо в комнаты... Неожиданно Потапов почувствовал, что ему трудно дышать. Или это было чисто психологическое?

Наугад он толкнул какую-то дверь... Ему открылась крохотная комнатка, что-то вроде чулана. У стены, занимая почти все пространство, стоял широченный диван. На нем подушка и стираное байковое одеяло с голубоватыми бѣлками по краю... Он здесь лежал, Сева, может быть, минуту назад... Нестерпимая вонь душила Потапова. Тяжело шагнув, он распахнул окно. Под ногой жалобно звякнул и разбился стакан. Машинально Потапов наклонился, поднял пустую аптечную упаковку, прочитал синие буквы: димедрол.

Ему наконец стал понятен странный способ Севкиного самоубийства. Выпить полкило этих таблеток и уснуть. И для верности еще надышаться угарным газом...

— Сева! Севка!

Никто не ответил. В окне высоко над голыми березами висели звезды. Они были очень чисты, отмытые весной... Туда ли надеялся улететь бедный Севка?

Вдруг Потапов услышал совершенно невозможный в это время и в этих обстоятельствах звук. Неуклюже угнувшись, он вылез в окно, прыгнул, попав ногами в какую-то клумбу. И в желтоватом реденьком свете, прилетавшем из дома, увидел Севу, который, как-то странно качаясь, пилил на козлах толстенное бревно.

— Сева! — Потапов потряс его за плечи.

— Мне спать нельзя.— невнятно сказал Сева.— Я снотворной дряни наглотался.

Потом сел на землю и уснул. А рука его все держалась за ручку пилы.

Потапов взвалил Севу на плечо, снес на террасу... Куда девать-то его? Временно сгрузил на пол.

Сева лежал недвижимо и бесформенно. Потапов вошел в дом, стал открывать все встреченные окна. Открывались они с треском и скрипом — со вкусом, потому что соскучились за длинные зимние полгода быть все запертыми да запертыми! Свежий ночной воздух лился в дом, и гарь слабела.

Потапов отодвинул печную заслонку, закрыл дверцу. Вскоре из печи послышалось умиротворенное сопение и гул добротной тяги. Секунду он послушал этот звук — вспомнилось что-то далекое такое, из детства... как бы и совсем не вспомнилось!

Прямо у печки на железной допотопной вешалке висели старые шубы, пальто, телогрейки — выкидывать вроде жалко, а в Москве держать негде и незачем. И вот они оседают на дачах. Их и здесь надевают раз-два за сезон. И они висят — воспоминания о прошедших днях и модах.

Сейчас Потапов сгреб их все, вытащил на террасу, разложил как умел ровно, вкатил на эту постель Севу, прикрыл его сверху парочкой каких-то исчезнувших из природы коверкотов или драпов, сунул под голову телогрейку...

— Ты понимаешь, я потерял смысл работы! — вдруг довольно снятно сказал Сева. — Да, из-за тебя!..

Но совсем не Потапову он это говорил...

Так странно было стоять на чужой террасе, в темноте чужого дачного поселка. Он приехал сюда, чтобы спасти своего товарища — самоубийцу. А самоубийца пилил дрова!

Он сел на невысокий барьерчик террасы, вздохнул глубоко... Мысль о сигарете казалась совершенно дикой.

Сколько времени сейчас было? Наверное, что-то около двенадцати — он тут же обнаружил, что забыл часы дома: имелась у него такая неизвестно откуда взявшаяся привычка — прийти и сразу снять часы. Он подумал, что можно определить время по звездам. Но представления не имел, как это делается. Он был совершенно вне времени и одинок.

Но в весеннем саду!

Он чувствовал, что за спиной у него стоит боль. И надо много мужества, чтобы не оборачиваться... Да, мужества! Не оборачиваться и идти вперед... А куда это вперед, подумал Потапов, зачем?

«Я потерял смысл работы...» — так Сева сказал. А разве я потерял смысл работы? — спросил себя Потапов. Нет! И ему стало не по себе оттого, что он мог бы ответить по-другому... Нет! Это оставалось у него всегда, несмотря на все предательства и измены, несмотря на то, что Танечка сейчас у тещи, а Элка... У него оставалась его работа!

Неожиданно он вспомнил что-то, запах какой-то мысли. Причем совсем недавно пришедшей ему. Может быть, час или полтора назад. Уже на даче! Только не было времени посадить ее в отдельную клетку памяти. И она нырнула куда-то в общий хаос темноты, где кишат навсегда забытые стихи, мысли, сведения — все то, что будто бы приходит к нам перед самой смертью.

И теперь Потапов глядел и раз за разом пробовал вспомнить свою мысль. И чем больше он ее искал и мучился, тем ценнее и необходимей та идея казалась... Идея! Уже даже не мысль.

Шаг за шагом он стал вспоминать, как вошел сюда, что делал и что думал. Вспомнил таксиста, тяжело положившего руки на руль, и печку, полную тающих углей, и охапку зависевших здесь драповых и меховых воспоминаний...

И вдруг его озарило, Потапова! Сердце от неожиданности подскочило и ударилось прямо в горле. Вспомнил: вот он включает электричество, видит сизый смрад и почти тотчас простуженным носом ощущает, что это действительно смрад. Пахнет смрадом!.. Открытие же состояло вот в чем: для того, чтобы носу лучше чувствовать, нужны глаза!

Какое-то время Потапов сидел, поворачивая свою мысль и так и эдак, словно игрушку. Он любовался ею и потихоньку приравнивал к ней зачатки схем. Думал, что может пригодиться из уже имеющегося в науке, а что надо будет делать и открывать...

Он привычно нащупал в кармане спички и сигареты, вынул их, но не закурил. Он почувствовал вдруг нелепую убийственность этой привычки!

Положил сигареты на перила, подальше от себя, словно надеясь, что кто-то их унесет в темноте... Да нет, я, конечно, буду курить, сказал он себе, я бросать не собираюсь. Но просто сейчас...

Сева не то застонал, не то вздохнул, во сне почесался носом о телогрейку, на которой спал, и повернулся на другой бок.

Потапов вошел в дом, включил свет, закрыл окна. Печка почти прогорела, но по уголькам еще бегали синие привидения... По крутой лестнице Потапов поднялся на второй этаж, где стоял Севин стол, и почти сейчас же отыскал бумагу и ручку.

Три разговора

Три дня они жили на даче, и сегодня пошел четвертый.

То была странноватая жизнь. Они мало разговаривали друг с другом. Но Потапов, который должен был бы испытывать от этого определенную неловкость (гость непрошенный), знал, что Сева нуждается в нем. Да и он нуждался в Севе. Вдвоем не так холодно жить...

А в то первое и уже как бы далекое от сегодня утро Потапова разбудил и странный, и знакомый, и давно позабытый звук. Слушая его, Потапов потихоньку просыпался, вспоминал предыдущий день, вечер и ночь. Он чувствовал себя выпавшимся, но каким-то немного смурноватым... Наконец выглянул в окно. Сева очень аккуратно, хозяйски сгрел старые листья. На причесанной граблями траве уже лежало несколько бурых холмов... Потапов сейчас же вспомнил, как они хорошо и сладко умеют дымить... Вот так Сева! Времени половина восьмого, а он работал уже не менее часа. Словно вчерашнего не было и в помине!

Потапов раскрыл окно. Сразу волнующий весенний холод охватил его. Сева обернулся. Стоял, опершись на грабли — в такой очень спокойной позе.

— Бог в помощь, труженик!

Сева кивнул в ответ — без улыбки, без слова. Смотрел на Потапова.

— Какой же ты, Сева, молодец все-таки! Вот уж никуда не денешься: в здоровом теле здоровый дух.

— Нет! — Сева медленно покачал головой. — Все наоборот как раз. Остатки моего духа поддерживают в здоровье мое тело, — он сделал паузу. — Прости меня... И давай больше никогда об этом не говорить.

И они больше не говорили об этом. Но Потапов знал, что Сева об этом думает. Не раз, когда они шли куда-нибудь или сидели молча на террасе, Сева вдруг клал ему руку на плечо. Но в глаза не глядел.

— Сева?..

— Пойдем на реку?

Это было такое чудесное и такое забытое занятие — ходить на реку, стоять на мостках, с которых женщины полоскали белье. Потапов думал, что это все осталось только в сказках. Нет, пожалуйста — в Подмоскovie! Всего тридцать три километра от столицы.

— Здесь в прошлом году бабушка одна утонула, — сказал вдруг Сева.

— Утонула?! — невольно переспросил Потапов. — Какая же тут глубина?

— По пояс, не больше... Упала в воду, а подняться не смогла...

Так они жили: ни о чем не спорили, соглашались с полувзгляда, не шутили да и вообще перекидывались словечком раз в полчаса. Потапов про себя называл это существование «жизнь с похмелья». Но, конечно, он был не прав. Они жили куда более сосредоточенно, внутри словно шла подготовка к чему-то.

— Ты в отпуске, да? — спросил однажды Сева. Потапов кивнул. Сева внимательно посмотрел на него: — Ладно, потом расскажешь.

Несколько раз Потапов пробовал думать о «Носе»... И не получалось! Сразу в голову лезла контора, Олег, Элка. И тогда он отступал выжидая. «Нос», «Нос» и «Глаза». Он знал, что это все существует в его памяти...

Он собирал по частям свою душу, свою прежнюю душу, детскую, что ли... Слова, запахи, звуки, которые могут существовать только в неторопливой и размеренной жизни людей, не гнушающихся назы-

вать себя простыми людьми,— все это когда-то принадлежало Потапову и теперь возвращалось к нему.

Когда же это все принадлежало ему? Да в детстве. Только в детстве. А потом исчезло — за праздником длиной в пять лет, который зовется дневным институтом, за баскетбольными матчами, гостиницами, девчонками и мельканием городов. Потом за Танюлей, за Элкой (а она всегда чужда была этого, по ее выражению, «пейзажства»). Потом за работой, за тем тягостным и сладостным ощущением, когда понимаешь, как нагружен каждый полупроводничок твоей счетно-решающей башки.

Теперь голова его, привыкшая неустанно трудиться, оказалась пустой. Потапов так и видел это огромное темноватое помещение, сплошь забитое простаивающей электроникой. Для развлечения он занимал себя разными невероятными задачами. Например, высчитывал, сколько листьев на березе, что стоит, облокотившись на крышу Севкиного дома...

Береза была старая и росла высоко в синеве. Два ее ствола расходились широкой рогатиной. Видно, она наслаждалась нежаркой сочной весной. Молодые листья ее чуть подрагивали. Потапов смотрел на них и ворочал в голове миллионными числами. И смешно ему было на себя, и малость грустно, и удивительно, словно он становился Севой... А душе его сделалось легче.

На четвертый день, когда они отправились в магазин купить пакетов с сушеным супом, картошки, молока и всего тому подобного, Потапов решил: да, сегодня он должен сделать это... Ему страшно было выходить из блаженной летаргии глубокой внутренней работы, но и дальше скрываться он не мог.

— Тут в город откуда позвонить, Сев?

Оба они были одеты в старые телогрейки, старые штаны и резиновые сапоги. Особенно, конечно, живописно выглядел Потапов, потому что все Севкино оказалось ему малю размера на три-четыре, а потому трещало и стонало. Ну, кроме, естественно, сапог: нашлись тут среди залежей старья чьи-то давным-давно забытые тупорылы с тремя заплатами, вырезанными еще из осовашихимовского противогаса. У тех противогазов резина была просто чудесная — мечта каждого стрелка из рогатки...

— Тогда и я позвоню,— сказал Сева.— Мне, кажется, в командировку надо бы поехать...

По давно не чиненному шоссе с остатками асфальта они пошли куда-то мимо заколоченных дач, а то и мимо вполне жилых домиков — поселок этот был не совсем дачный, но и не совсем рабочий, а так себе — помесь... Открыли калитку и по дорожке пошли к самой обычной даче, пожалуй, даже похожей на Севину. Какой-то человек окапывал яблоню.

— Здравствуйте,— сказал Сева.— У вас телефон сегодня работает?

— Работает,— ответил человек, продолжая копать.

— А нам по пятнадцать разменяют?

— Разменяют, заходите.

Они поднялись на террасу, и здесь Потапов увидел стеклянную вывеску, удостоверяющую, что это не прибежавшая сюда Севкина дача, а отделение связи номер такой-то. Внутри действительно оказалась почта — как в Москве, как везде. И пахло почтой. Только все было в уменьшенном размере. Они наменяли себе пятнашек. Автомат висел тут же, на стене, без всякой кабинки.

— Ну звони,— сказал Сева быстро и вышел.

У него было три звонка. Маме, в контору и теще. Он сунул в живот автомату пятнадцать копеек... Гудок недопел и одного раза, а Ленуля уже сняла трубку: «Добрый день»... Ленуля кроме всех про-

чих своих достоинств обладала и еще одним — она была мастером общаться по телефону. Четверть, а может быть, и треть своей жизни она проводила в телефонных разговорах. У нее имелся свой телефонный стиль, как бы свой почерк. Кроме того, она умела видеть сквозь провода и непроницаемые телефонные аппараты. Потапов убеждался в этом не раз! И сейчас ему немного даже страшновато стало, что Ленуля сумеет разглядеть его в нелепом дачном маскараде.

— Добрый день! — повторила она, подбавив на всякий случай еще немного обаяния, потому что вдруг звонил какой-нибудь приятный мужчина и не по делу.

— Это я, Ленуль. Привет.

О боже, как трудно ей было разговаривать! И тут нечего обижаться, тут надо только понять! Потапов доводился ей и другом и начальником. И в то же время Порохов, новый их Генеральный, мог вот прямо сейчас снять трубку — понравится ли ему этот разговор?.. Лена сделала паузу, во время которой Потапов успел понять все ее страхи. И, наверное, Лена поняла, что он все понял.

— В самых кратких чертах, — сказал Потапов.

— Хорошо... Пока ничего не ясно. Разбираться уже поехали. Сергей Николаича отправляют в санаторий, вернее, в какую-то загородную больницу. Через неделю. Просил тебя...

— Нет, Лен. Скажи, у меня грипп, боюсь заразиться... Не готов я... — Лена ничего на это ему не ответила, и тогда Потапов сказал: — Уже слух обо мне прошел по всей Руси великой?

— Да... Тебе можно позвонить?

— Я за городом. Я сам позвоню. Все?

— Угу.

— Ну тогда пока. Целую.

И сразу, пока остался запал от Лениного разговора, — теще! И только просил судьбу, чтобы не подошел тесть!

С тестем у них, что называется, издревле сложились особые отношения некоей мужской солидарности. Тесть был человек военный (отставка тут роли не играла), то есть в свободное время любил сугубо мужскую компанию, любил глухую накуренность полночного преферанса, немудрящую закуску, которая вполне уютно чувствует себя на расстеленной газете, любил разговор о давно прошедших фронтовых делах... Он был танкистом, ходил с черной повязкой на глазу и рану свою получил в знаменитом смертном месте — на Курской дуге. Сорок лет он таскал в себе осколки от бронебойного немецкого снаряда.

Тесть любил уводить Потапова на балкон, а в «холодное время года» (тестево выражение) на кухню и там беседовать не торопясь, пока женщины (Элка и теща) перемалывали свое... У них как-то не очень складывалось с разветвленными разговорами. Больше просто покуривали, а то, глядишь, вынималась и потайная бутылочка. Где-то в середине их общения тесть всегда — но очень коротко, чтоб не ставить Потапова в неловкое положение, — касался его работы. Ну, в общем, полное взаимопонимание.

Но теперь все получалось настолько вверх ногами, настолько не укладывалось в рамки их отношений... В судности, правильней всего было бы пока не встречаться. А поскольку никакого улучшения между Потаповым и Элкой не предвиделось, «пока» значило «никогда».

Вот с тещей ничего непредвиденного случиться не могло. Теща, как и все тещи мира (ну, или, скажем, как их огромное большинство), была необъективна, видела в Потапове лишь партнера по не очень удачному Элочкиному браку со всеми вытекающими отсюда вздохами и тайными думами. Конечно, Танюля во многом сблизила их. Но сейчас уже сие не имело почти никакого значения.

Потапов знал это. И заранее все себе рассказал. Но хоть убейся — обидно было слышать холодную ее интонацию. Думалось: елки-палки,

да что ж такое, а? Кажется, в первый раз за длинные одиннадцать лет он был абсолютно не виноват перед нею. Но оказывается, по тещиным представлениям все-таки виноват! С упорством всякой любящей мамы она просто держала сторону дочери.

Что ж делать! Скрепя сердце Потапов просто отцедил информацию: у Элки это серьезно, Танюля по-прежнему у тещи...

Тут он впервые сообразил, что, черт бы все побрал, но ведь я теперь алиментоплательщик — надо же на Танечку денег послать. Он спросил тещин индекс, и это, кстати, вовсе не показалось ей странным. Наверное, мысль о деньгах она давно уже держала в ближних ящиках своей памяти... А что тут, впрочем, особенного? Живут на одну пенсию.

— А ты разве к нам не заедешь? — спросила теща. В смысле: что, мол, тогда не нужен никакой индекс.

Нет, подумал Потапов, не заеду. И ответил так же, как Ленуле: я к этому пока не готов.

Затем он сидел минут десять, совершенно забыв о Севке и о почтовой девушке (кстати, довольно симпатичной), которая с определенным любопытством смотрела на обросшего, подозрительно одетого, но красивого мужика.

Не было сил у него на третий разговор, хоть вы мне кол на голове тешите! И он бы ни за что не стал звонить, но так и увидел мамино лицо: «Значит, на меня-то у тебя сил и не хватает?»

Он стал набирать номер, а сам быстро высчитывал, что маме известно, а что нет. Явно она звонила в контору — узнала про отпуск. Далее: звонила им домой — никто не подходит... Теще? Пожалуй, теще она не звонила — не те отношения. Стало быть, она ничего еще не знает. И не буду говорить, решил Потапов. Я к этому пока не готов!

— Мамочка, здравствуй! Пропаций сын... Да тут рыбалка, телефон за десять километров... Пришлось переплывать залив... Жутко холодная, ма! А чего не совершишь для родной матери!

Ну и так далее. Выражаясь языком наших юных современников, он гнал туфту. А что ты поделаешь, когда она уверена была: ее сын преуспевающий, неотразимый, талантливый человек, «моя порода»! А кое-какие трудности он создает или придумывает себе для разнообразия — вроде вышеупомянутого переплывания через мифический ледяной залив.

Она его любила, она была в нем уверена. И Потапов вообще не представлял, как это он ей когда-нибудь скажет: «Ма! От меня жена ушла. Ма, меня с работы прогнали!» Это все невероятно было, буквально непереживаемо для нее. Непереживаемо! И он нес свою ложь во спасение, а на языке наших юных современников туфту.

— Недельки через полторы, ма, вернусь...

— Вернусь?.. Ты разве без Эллы?

— Нет, ма. С Эллой и с Таней.— Это чтоб она теще не звонила.

— Где же вы там живете?

— Ну, в такой как бы в избушке, ма.

— А ты говорил в палатке!

— Не, в избушке, ма. Ты просто не поняла. Крыта настоящей соломой.

Хотя соломой, кажется, кроют (а вернее, крыли) на Украине. Или не только на Украине?.. Впрочем, его мама знала такие детали еще хуже, чем сам Потапов. И если по ходу его рассказа она чувствовала какую-то мультипликационную нарочитость, то эта солома ее совершенно убедила. Они поговорили еще минут пять и расстались. И мама, ожидая отца, который пошел в молочную, представляла себе, наверное, как Потапов идет сейчас свои десять километров по лесу

к той самой избушке. А Элка возится себе у костра, вешает на палку театрально закопченные котелки: «Она ведь у тебя очень недурно готовит, верно?»

Ну, хватит, не расстраивайся, говорил он себе, долго-долго теперь звонить никому не будешь — обещаю!.. Он сидел на перилах почтовой террасы, ждал Севу и смотрел, как почтовый садовник все с той же тщательной неторопливостью окапывает яблони. Пока Потапов трепал себе по телефону нервы, садовник окопал одну яблоню, вторую и теперь уже заканчивал третью. Взрыхленная земля была черная, сочная, она ярко выделялась даже в сегодняшнем деньке, светившем всего вполнакала.

Потапов глядел на садовника и отдыхал. Так отдыхают, натерпевшись страху у зубного врача... Ему вдруг вспомнился Леша Спириин, был у него в группе (тогда еще просто в группе) такой инженер. Как-то они вышли вместе от врача после обследования. Потапов был такой здоровый, просто до умопомрачения. Он дул в разные трубки, тянул силомер, беспечно сдавал кровь, делал просвечивание. И все у него было великолепно! А Леха, который захаживал в медпункт куда чаще, вдруг ему и скажи: «Я тоже, Саш, когда отсюда первые разы вылезал, тоже думал, что излечился навсегда»... Такой вот он был странный малый, и главное, всего лет на шесть-семь старше Потапова. Он скоро ушел из института и совсем пропал с горизонта. А потом ребята сказали: умер от рака.

Непогожие дни

В тот же вечер он решил заняться своим «Носом». Энергично сел за стол, разложил бумажки. Сева, лежа на диване, листал какую-то книжку... Работа Потапова стояла в глухом тупике — он понял это сразу. Мысли бегали, виляя хвостами, кружили по окрестностям воспоминаний. И все какие-то пустые, все не про то.

Это злило Потапова, он то и дело одергивал себя, однако поделать ничего не мог... Ну и сиди как дурак. Пока чего-нибудь не выродишь, никуда отсюда не встанешь!

Ему припомнилась учительница из первого класса, некая Клавдия Акимовна. Как теперь можно было судить, удивительно недалекое существо. Это она таким вот образом их вразумляла, нерадивых: «Пока задачу не решишь, никуда отсюда не встанешь!» Такой у нее был метод борьбы за высокую успеваемость.

Наконец Потапов повернул голову к Севе. А тот, оказывается, уже давно смотрел на него... Хмыкнули друг другу.

— Киснем мы с тобой, а, Сан Саныч?

Потапов в ответ пожал плечами.

— Чегой-то ты стал теперь часто плечами пожимать... Ты мне не можешь рассказать, что у тебя с Элкой произошло?

— Нет, Сев, не могу.

— Ну и не надо... Правильно.

— А что мы с тобой, Сев, делать собираемся? Ты, случайно, не знаешь?

— Чего делать? Ничего! Время — лучший лекарь, чего ж еще-то?.. Лечись себе и лечись. У тебя отпуск длинный?

— Длинный, Сев. Пойдем гулять?

— Под звездами?

— Ну да. Под тучами...

Ночью ему приснилась Элка. Она стояла в проеме кухонной двери, где она обычно стояла, когда он, Потапов, уходил на работу. Она стояла и плакала. Самих слез Потапов во сне рассмотреть не мог. Но видел ее лицо — красное, мокрое, как бы распаренное. Такого

лица Потапов на самом деле у нее не видел ни разу. И тогда, находясь еще внутри сна, он сказал себе, что это лишь сон, и проснулся. И сразу понял, что лежит с открытыми глазами среди глухой и бескрайней ночи.

Было темно и тихо. Сева неслышно спал за стеной. Слабо светилось ночное окно. Сколько же сейчас времени? Часа, может, два. Он представил себе, что встает, надевает штаны, рубашку, в темноте берет носки и штиблеты... Куда там было ему встать сейчас! И лежал, придавленный и распятый полусонной слабостью.

Как это с ним бывало последнее время, Потапову очень ясно припомнился какой-то их семейный день, какая-то суббота. Еще было холодно. Ну да, холодно. Потому что ему дуло из открытой форточки.

Элка о чем-то разговаривала с Таней и оживленно ходила из комнаты в комнату. Они собирались куда-то всей веселой компанией. К теще, кажется. Элка нестрого подгоняла Танюлю. А Танька, тоже вся в женской спешке, подлетела к Потапову, сунула ему в карман пиджака любимого зайца — для веселой компании. Потапов, совершенно счастливый, сидел в углу со «Спортом» в руках и радовался, что его не замечают, что не заставляют напоследок вынести, например, мусорное ведро... словно на короткое время он превратился в невидимку. Так чудесно было ему, невидимому, читать «Спорт» и в то же время следить за их суетой.

На самом деле уже наступило то время, когда Элка изменяла ему. Она и рада была его не замечать. Она оберегала свою измену, свою тайну. Обходила Потапова, как больные обходят угловатые предметы. А Тани ей, конечно, бояться было нечего.

Ну хватит, хватит, сказал он себе, опять начинается, да? Прекрати! Но уже не мог остановиться... Что я, с ума спятил? Без конца ревную, ревную.

Откуда-то из самого дальнего угла его души пришло банальное: «Ревную, как Отелло». Промелькнуло по инерции несколько кадров из виденного очень давно фильма с Бондарчуком в главной роли.

Как Отелло. Ему стало неприятно и тоскливо, что он нашел для себя такое затрепанное сравнение. Захотелось поскорее от него откеститься... И вовсе нет, не как Отелло.

Неожиданно он понял, насколько тот несчастливый огромный черный человек был счастливее его. Ему-то не изменяли. Его любили до последнего вздоха!

В полной темноте Потапов сел на постели. Недовольно и громко заговорили пружины старого дачного дивана. Потапов спустил ноги. Пол был крашеный и холодный. Ступни прищкварились к нему, словно оладьи к сковородке... Так он сидел, понимая, что идти совершенно некуда, что даже на террасу путь слишком неосуществимый, длинный, нелепый. Вот оно что значит: «Выхода нет».

Ноги его застыли. Такая уж была в тот год весна. Днишли, а тепло никак не наступало, словно в отместку за прошлое раскаленное лето. Отчетливо Потапов услышал, как в голове у него постукивает боль. Простудился я, что ли, подумал он. Так странно подумал и тягуче — почти с надеждой.

Но некому было его пожалеть. Он был один посреди всего мира, наполовину покрытого ночью, а наполовину освещенного днем... Вот, значит, как оно происходит, когда тебе по-настоящему худо.

Правой рукой Потапов сильно сжал пальцы левой и почувствовал боль... Я ведь здоровый мужик, сказал он себе, но не поверил этим словам. Сидел и сжимал себе левую руку — то ли мстил за что-то, то ли хотел привести себя в чувство.

Наконец правая рука его устала, он разжал пальцы и почувствовал через короткое время, как в левую возвращается кровь, покалывает

тонкими иголочками. Отчего-то ему стало спокойнее. Он вздохнул, как всхлипнул. Заметил, что свету в окнах чуть-чуть прибавилось. Он лег, и снова заговорили под ним, загоготали, словно деревенские гуси, старинные пружины. И одна даже звякнула почти музыкально.

Потапов повернулся на спину. Он лежал совсем расслабленно. Глаза его смотрели в темноту и были словно закрытыми. Тогда Потапов и в самом деле закрыл их.

Прошло два дня, один из которых он бесплодно просидел за письменным столом, а другой ездил к Тане.

И этот второй был тоже нехороший денек. Впервые он ступил на тещину территорию в новом своем качестве. Теща внешне была на его стороне, то есть относилась к нему подчеркнуто приветливо и подчеркнуто бодро. И даже вроде что-то произнесла про «перебесит-ся», про «мы с отцом обязательно...».

Однако на самом деле она была на Элкиной стороне. Да и как иначе? Элка хоть убийство соверши, мать все равно за дочку. И потому Потапов удержался и не произнес ни одного злого и справедливого слова, которых у него много вдруг всплыло разом. Ведь никто так не знал Элку, как он да теща. Так с кем же еще поговорить, по-литься, поплакаться!

Но сдержался. Промолчал, сжимая сердце. Ссориться с тещей он никак не хотел — из-за Тани, чтобы Таню не потерять. Теперь ведь очень многое зависело от бабки — от тещи то есть.

И с Таней его отношения тоже вдруг изменились. Он сам к ней изменился и заметил это уже по первому своему шагу. Таня чего-то там взбрыкнула. На чепуху. А Потапов, вместо того чтоб остановить ее, как обычно, строгим голосом, промолчал. Словно ничего не заметил. Тотчас ему стало неприятно за себя. Он упустил какое-то Танино словечко, вопрос. Заметил, что она смотрит на него удивленно.

Да, ничего не поделать. Отныне он должен был вести себя не так уверенно, не так по-отцовски, а мягче как-то. Он стал теперь приходящим отцом. Ему и с Таней нельзя было портить отношений.

На втором получасе своего визита он вконец расстроился и хотел было уйти. Но сдержал себя и решил «отбыть номер» до конца, до финального вечернего чая... привыкай!

Попил чаю. Попрощался. Вышел на лестничную площадку, сразу закурил. Таня его спросила уже в передней:

— А когда мама приедет?

— Скоро приедет.

Что там еще было? Несколько раз звонил телефон. Теща брала трубку и каждый раз отвечала как-то невнятно, глядя в стену. Потапов сперва решил, что это Элка звонит. А после догадался: тещь. Наверное, специально ушел из дому, чтоб не встречаться с Потаповым. И теперь звонил: можно прийти? Нет, еще нельзя... А что они могли сказать друг другу? Да ничего. Им было бы стыдно, двум мужикам... Когда я теперь его увижу, подумал Потапов, может, года через три. Ну и правильно!

И еще там было одно... происшествие — когда Потапов вынул деньги и протянул теще. И она тоже молча взяла их и потом быстро отвернулась... В детстве это слово казалось ему отчего-то очень неприличным. Алименты. Вот тебе и неприличным.

С такими мыслями он и добрался до вокзала. А электричка словно только его и ждала: купил билет, сел, сразу поехали. Это был один из тех поездов, которые называют рабочими. Он увозил рабочий люд в Подмосковье, чтоб завтра утром везти его назад.

Но главный народ уже слынул. Вагон был полупустым. Рядом с Потаповым четверо мужиков забивали козла на вытертом — видно, от игры — боку старого чемоданчика. Потапов то следил за

игрой, то думал свое. Весь этот день, которого он и ждал и боялся, прошел слишком скоро, каким-то слипшимся куском.

Сперва он поехал домой — помыться, переодеть рубашку, взять с книжки денег. Он боялся встречи с квартирой. Но почти ничего не почувствовал, потому что предстояло увидеть Таню, тещу, тестя (он тогда еще не знал, что тесть исчезнет).

Он думал, что сильно обрадуется Тане и ему будет трудно со стариками. Но все вышло не так. Он лишь передвигал шашки, как в поддавки. Изучал свое новое местоположение в обществе — роль приходящего отца. Он и повидался с Таней и словно не повидался с ней. И от этого болела душа. Но болела терпимо. Он говорил себе: наладится, это наладится. И верил: так оно и будет. Ведь он любил Таню, а Таня любила его.

У меня только одна любимая женщина — Танюля. Так он ответил теще на полупрозрачный ее вопрос о том, как дела. Ответ был несколько чересчур лживой. Но сейчас Потапов — с утихшей болью по Элке и с разросшейся по Танечке — неожиданно понял, что сказал теще невольную правду. Она-то не поверила, конечно, как раз из-за лихости. И даже пожалела его, подложила на тарелку еще полбифштексика. Но теперь выяснилось вдруг, что это правда.

Потапов ощутил странную пустоту на месте недавней своей любви (да, все-таки любви, все-таки любви!). Он был словно начинающий калека, который, задумавшись о прошлом, вдруг останавливается и хлопает себя по пустому рукаву...

Однако теща все-таки, видимо, заволновалась.

И через некоторое время завела разговор вновь. А что, мол, какие у Потапова планы — он ведь сейчас, кажется, в отпуске?

Да, в отпуске, отвечал Потапов, собираюсь уезжать. Про уезжать он ляпнул чисто случайно, по-мальчишески, чтоб задеть Элку, которой этот разговор явно будет передан.

— Что же, один или с девушкой? — спросила теща почти игриво, поскольку была женщиной, но и настороженно, поскольку была тещей.

— С товарищем... — сказал Потапов, вкладывая в это слово некую двоякость толкования. И тут же спохватился: куда это он в самом деле едет, с каким товарищем?

Сева ждал его, сидя на перилах террасы. Именно ждал. Ноги его свешивались на улицу, словно он в любой момент готов был спрыгнуть и пойти Потапову навстречу... Он, кстати, так и сделал.

— Привет, Сан Саныч! А я тут пока стихи написал. Голубеют небеса, наступает осень, ходят лоси по лесам, медленные лоси...

И дальше шло про этих лосей, как они бредут в солнечном сентябрьском тумане, в раннем утре. И выплывают, словно лодки, и пропадают опять. И тогда не угадаешь, где лосиные рога, где ветки деревьев. Стих был очень спокойный и красивый. И только странно, что весной Сева писал про осень.

Они стояли некоторое время напротив друг друга — невысокий Севка и огромный Потапов, — стояли и улыбались.

— Ну что? Гениальное произведение? — спросил Сева.

Продолжая улыбаться, Потапов кивнул.

— Слушай, Сан Саныч, у тебя как с деньгами?

— Ну... в общем, терпимо.

— Тогда поехали прокатимся на недельку в одно хорошее место. Отпуск ведь у тебя длинный, да?

— Сев, ты прямо читаешь мысли на расстоянии!

— Тоже об этом думал? Видишь, как у нас все одинаково!

— Вижу...

— Я тебя, Сан Саныч, отвезу в колоссальный край. Сплошные девушки. Слышал такую песню: «Городок наш ничего, население та-

ково...»? Вот именно туда я тебя и отвезу. Сплошные незамужние ткачихи.

— Выдумываешь, Севка! С какой стати мы туда поедем?.. Чего там делать?

— С девушками знакомиться. Ну и до некоторой степени в командировку. Помнишь, мы звонили?.. Я про этот Текстильный очерк писал. Ну и вроде им понравилось. Говорят: давай еще... И я тебе скажу по секрету, Сан Саныч, там красивых девушек буквально как...— он умолк, подбирая сравнение. Потом засмеялся: — Да, в общем, сам увидишь!

Они весь вечер провели в дурацких планах, как проведут эту неделю в том текстильно-камвольном крае.

— А что это такое — камвольный, Сев?

— Некультурный же ты, Сан Саныч. Камвольное производство — это когда делают ткань из шерстяных ниток.

— Не делают, а ткут, понял?

— Понял-понял...

А Потапов все думал: да неужели мы правда туда поедем?.. Зачем я туда поеду?.. А Сева продолжал рассказывать про тамошних девушек. Но Потапов нисколько ему не верил. Потому что знал: Сева думает только про свою Машу!

— Пойдем спать, Сев.

— Не веришь, да? А вот слушай! Там знаешь, какие девушки? Как дети в детдоме... Ты бывал когда-нибудь в детских домах?.. Ну и вот, а я бывал. Знаешь, у них кто самый любимый человек? Доктор! Они для него согласны на укол, на Перке, на что хочешь. Доктор потому, что не со всей группой разговаривает, а с каждым отдельно. Им вот этого вот и не хватает...— он задумался.— Даже не ласки, а... понимаешь... индивидуального подхода. И тем девушкам из Текстильного, по-моему, тоже.

— Здорово как ты сказал,— удивился Потапов.

— Естественно,— почти серьезно ответил Сева.— Я же писатель.

(Окончание следует)



НИКОЛАЙ ДОРИЗО

★

ТРЕТЬЯ ДУЭЛЬ

Трагедия в трех действиях

Посвящение

Все в нем Россия обрела —
Свой древний гений человеческий,
Живую прелесть русской речи,
Что с детских лет нам так мила,—
Все в нем Россия обрела.
Мороз и солнце...
Строчка — ода.
Как ярко белый снег горит!
Доныне русская природа
Его стихами говорит.
Все в нем Россия обрела —
Своей красоты любую малость.
И в нем увидела себя,
И в нем собой залюбовалась.
И вечность, и короткий миг,
И радость жизни, и страданье...
Гармония — суть мирозданья,
Лишь он один ее постиг!
Все в нем Россия обрела,
Не только лишь его бессмертье,—
Есенина через столетье,
Чья грусть по-пушкински светла.
Все в нем Россия обрела —
Свою и молодость, и зрелость,
Бунтарскую лихую смелость,
Ту, что веками в ней жила,—
Все в нем Россия обрела.
И никогда ей так не пелось!

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ПУШКИН Александр Сергеевич.

ПУШКИНА Наталья Николаевна, его жена.

ГОНЧАРОВА Екатерина Николаевна, сестра Натальи Николаевны.

ГОНЧАРОВА Александра Николаевна, сестра Натальи Николаевны.

ЛУИ де ГЕККЕРЕН, барон.

ЖОРЖ ДАНТЕС, барон де Геккерен, приемный сын барона

Луи де Геккерена.

ЛЕОНИ, дочь Дантеса.

ЮРЬЕВ Михаил, поэт.

САШКОВ Алексей, друг Юрьева.

СОЛЛОГУБ, граф

АДЛЕРБЕРГ, граф.

ИДАЛИЯ ПОЛЕТИКА, друг Дантеса.

ПЕТР ДОЛГОРУКОВ, князь.

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, великий князь, брат царя.

АЛИНА, барышня на балу.

КОЗЛОВ Никита Тимофеевич, дядька Пушкина.

ЛИЗА, горничная Пушкиных.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ } врачи

ЛЯТРОК }

Гости придворных балов, высшие военные и штатские чины. Гусары, кавалергарды, знать, приближенная ко двору.

Слуги, служанки в домах Полетики, Жоржа Дантеса де Геккерена.

Место действия — Петербург, Париж. Время действия — XIX век.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Ноябрь 1836 года. Петербург, Аничков дворец. Придворный бал. Музыка. Танцы. Гости, переговариваясь между собой, сходятся и расходятся.

В глубине сцены Дантес провожает после танца Наталью Николаевну Пушкину, что-то оживленно ей говорит, привлекая внимание всех присутствующих. На них навешены любопытные, пристальные лорнеты, кивки в их сторону, перешептывание.

Дама

Прелестны, чудно хороши — он и она!

1-й господин

Да, Натали с Дантесом
Как будто друг для друга рождены.

2-й господин

А я слежу за мужем с интересом —
Ревнивец, мавр.

1-й господин

Мужья терпеть должны,
Когда они мужья таких красавиц...

2-й господин

(злорадно)

А Пушкин впрямь и жалок и смешон.
Все над другими потешался он.
Что? Каково теперь ему?

Юрьев

Мерзавец!

(Обращается к своему другу Сашкову.)

Они ему небесный дар простить не могут.

Что ж, было так во все века!

В их шепоте я слышу рокот

Грозы, что, может, так недалеко.

О боже, как он одинок

Своею всею гениальной **сутью**.

Кабы я мог, кабы я только мог
 Помочь ему, спасти, закрыть свою грудь!
 Да, слух о нем пройдет по всей Руси великой
 И назовет его всяк сущий в ней язык.
 А что останется от царственных владык?
 Да и от нас самих?
 От этой светской черни многоликой?

С а ш к о в

Мишель, мой друг, вы, может быть, и правы,
 Но, может быть, не меньший вы поэт,
 Хоть вам пока всего осьмнадцать лет.
 Подумайте о бронзе вашей славы.

Ю р ь е в

Боготворю его.

С а ш к о в

И это вам во вред!
 Хотя бы строчку опубликовали
 Из тех шедевров...

Ю р ь е в

(перебивает)

Я решил давно:

При нем

печататься ничтожно и грешно.

Прочтет мой стих в каком-нибудь журнале

И усмехнется. То-то и оно.

Хотел ему представиться. Хотел.

Ему на суд отдать творенья тайной лиры.

Всю ночь не спал. Пришел и оробел,

Как лбом ударился о дверь его квартиры

И, как мальчишка, прочь бежал

от этой темноты.

С а ш к о в

При нем так и останетесь в забвенье?

Ю р ь е в

Нет, Алексей, в моем благоговенье

Есть жажда наивысшей высоты.

Ее я должен взять, и вот тогда

Мы с ним поспорим, может быть, на равных.

Что говорю я! Нет! Его творений славных

Мне не затмить ничем и никогда.

Да если б я подумал лишь на миг,

Что мы равны, как близнецы родные,

Я б вырвал свой кощунственный язык,

Второго Пушкина не может быть в России!

С а ш к о в

Да, Пушкина нам хватит одного,

Нам нужен Юрьев окромя его!

Ю р ь е в

(с иронией)

И что за диво — Юрьев Михаил,

Кого он удивит,

Кого он удивил?

(Уходит. Входят Геккерен и Дантес.)

(Восторженно.)

А Натали... прелестна Натали!
Гляжу, люблюсь ею, не дыша,
До спазм сердечных, до знобящей дрожи.
По-русски

безупречно хороша
И по-французски
так прекрасна тоже!
Ведь красоте не нужен перевод —
Любой и так увидит и поймет.
Два года как ломлюсь я в эту дверь,
Два года нет душе моей покоя.

Геккерен

И все же это не любовь, поверь, —
Тщеславье
оскорбленное мужское.
Доступность женская тебя избаловала,
К победам легким слишком ты привык.
А сдайся Пушкина,
и в тот же самый миг
Она б тебе неинтересной стала.

Дантес

Ты женоненавистник. И к тому ж
Меня ревнуешь, как супругу муж.

Геккерен

О Жорж, одумайся, молю!
Не ревность глупая меня тревожит,
Ведь все равно, как я люблю,
Никто любить тебя не может.
Я знаю, что любой ваш разговор,
Весь твой любовный сумасшедший вздор
Она передает дословно мужу.
Вот что пугает более всего.

Дантес

Передает? Но для чего?

Геккерен

Быть может, для того,
Чтоб облегчить
сей исповедью
душу.
Жорж, разгадал я хитрый план его.
Он про себя ревнует, мучается, злится,
Но ревностью
спугнуть ее
боится.

Одно

всего важнее для него:
Чтоб с ним она была предельно откровенной.
Ведь откровенность — думал ты о сем? —
Да, откровенность до конца, во всем
Никак не вяжется с обманом и изменой.
Т а к
может он жену предостеречь,
Держа при этом наготове меч,
Чтобы вступить с тобой в единоборство.

А был бы он зачинщик диких сцен,
 Что б он за ревность получил взамен?
 Испуганную ложь или притворство.
 Он все твои любовные признанья ей простит,
 Ее доверье получив за это.
 Сын мой, повсюду за тобой следит
 Не только взгляд его, но дуло пистолета.
 Есть выход, есть, пока еще не поздно,—
 Ее сестра Катрин, да, да, Катрин, Коко.
 Она тебя так любит глубоко,
 Влюбись в нее, не так чтобы серьезно.
 Повсюду вместе видят вас,
 Влюбись в нее, хоть для отвода глаз.

Д а н т е с

Нет, я не трус!
 Дуэли не боюсь.
 Что б ни было, я своего добьюсь.
 Я нравлюсь Натали. Она то холодна,
 То вдруг ко мне проявит благосклонность.

Г е к к е р е н

Уж если Натали и влюблена,
 То не в тебя,
 в твою
 в нее влюбленность.
 (Сходятся гости.)

1-я дама

Царь весел, на щеках его румянец.

2-я дама

Весь вечер он с нее не сводит глаз.

3-я дама

Он с Пушкиной танцует третий танец.

1-й господин

О нет-с, четвертый, уверяю вас!

2-й господин

Еще один, господь ей помоги,
 И мужу царь простит его долги.
 (Смеются. Расходятся.)

Г е к к е р е н

(Дантесу)

Не думай ты о ней. Чем ты сейчас встревожен?
 (Заметив направляющегося к ним князя Петра Долгорукова.)

К нам приближается князь Долгоруков Петр.

Хоть он наш друг, хромой сей черт,
 На всякий случай будь с ним осторожен.

О, если б мог я, если бы я мог
 Ходить, как нянька, за тобой повсюду,
 Тебя не оставлять ни на минуту.

Да сохранил тебя дух всюдусущий, бог!
 (Уходит. К Дантесу подходит князь Петр Долгоруков.)

Князь Долгоруков

(язвительно)

Вид у тебя, мон шер, довольно постный.
 Ты озабочен, злобен и ~~уныл~~.

По-моему, тебя опередил
Счастливый твой соперник
венценосный.

Небось ревнуешь? Это зря!
Тут ситуация, поверь мне, не простая.
К монархам не ревнуют и мужья,
За честь

жены измену почитая.
И носит рожки рогоносец,
Как ордена орденосец.
Тебе я удивляюсь, дорогой.
Два года пылких рыцарских признаний,
Два года безответных заклинаний,
Уступок горьких гордости мужской.
Два года — срок, да и к тому ж какой!
Ее сопровождаешь повсеместно,
Как паж, как раб смиренный, а она
С тобой то неуступчиво любезна,
То ласково и нежно холодна.
Признайся честно, может, от тоски,
Свою богиню тщетно обожая,
Ты стал писать любовные стишки,
Ее супругу страстно подражая?
Ты, как болонка, что ни день — при ней.
Опомнись, и чем раньше, тем верней.

Д а н т е с

(про себя)

Прав этот ёрник. Честь моя задета.
Я скоро стану (может статься это)
Посмешищем в глазах моих друзей.
(Уходит.)

К н я з ь Д о л г о р у к о в

(злорадно, весело)

Он так заносчив и самоуверен;
И в этом я помочь ему намерен.
В горниле раскалил я сей металл.
Теперь ничто Дантеса не остудит.
Он действовать решительнее будет,
С безумной дерзостью.
А там — скандал. Заманчивый скандал!
(Уходит. Входит Екатерина Николаевна.)

Е к а т е р и н а Н и к о л а е в н а

Он только что был здесь...

(Пауза.)

Зачем за ним слежу?
И если встречу, что ему скажу?
Скажу ли, что я думаю о нем
Томительно, мучительно и жадно,
Что даже сны мои горят огнем,
В полубреду зовут к нему невнятно.
Ему-то что! С усмешкою он смотрит на меня,
А на сестру — влюбленными глазами.
Я бы могла ее возненавидеть,
От ревности могла бы ядом отравить,
А я

сама

потворствую их встречам,
Искусно, словно опытная сводня.

Молю сестру быть ласковой с Дантесом.
 Мол, ничего в их встречах нет дурного.
 Мол, он такой учтивый, остроумный,
 Почтительный, галантный кавалер.
 Мол, с ним так весело, мол, это не измена
 Семье и мужу и не флирт опасный,
 А быстротечной молодости дань.
 Я говорю, а в сердце ревность ноет.
 Но что же остается делать мне?
 Ведь если бы их встречи прекратились,
 Я б не имела никаких гарантий
 Встречаться с ним... Его не видеть —
 Нет! Это выше сил моих, пусть с нею,
 Но все ж его я вижу каждый вечер.
 То в гости к нам заглянет. Пригласит
 На лошадях кататься в царскосельском парке,
 А без меня

ей ехать неприлично.

Пускай он ищет встреч с сестрой. Но рядом,
 Но рядом с нею все же буду я!
 А так меня он даже не заметит.
 Выходит, я должна благословлять
 Его любовь к сестре моей Наташе,
 благословлять, как робкую надежду
 Коснуться невзначай его руки,
 А там, быть может, вытерплю я. Выжду
 Сперва пусть малый знак его вниманья.
 Любовь такая безответной быть не может.
 И неживого воскресит она.
 Ну, а сестры бояться мне не нужно.
 Наташа и добра и простодушна.
 Она
Другому отдана
И будет век ему верна.
 Не искусить соблазном эту душу,—
 Есть у нее надежная броня.
 Любовь Наташи к детям, к дому, к мужу
 Да сохранит Дантеса для меня!
(Сходятся гости.)

Ю р ь е в
(Сашкову)

Царь с ней, как офицерик молодой.
 Слащав и льстив... Опаснейшая схватка
 Державной власти с женской красотой.

С а ш к о в

Чем это может кончиться? Загадка.

Ю р ь е в

Все лишь одним кончается — бедой,
 А чем иным для гениев-поэтов...
 Так этот мир устроен...

*(Гости расходятся. Остается одна Екатерина Николаевна.
 Входит Наталья Николаевна Пушкина.)*

Н а т а л ь я Н и к о л а е в н а
(оживленно, весело)

Едем, Катенька, домой.
 А по дороге тысячу секретов

Я расскажу тебе, друг мой!
 Царь преподал сегодня мне урок,
 Как мне вести себя:
 Не верить ветреным повесам,
 Признаньям их — ни-ни, избави бог.
 По-моему, тут явный был намек,
 Чтоб я совсем не виделась с Дантесом.

Екатерина Николаевна

(испуганно)

Совсем не виделась! Нет, это невозможно.
 Ты, видно, что-то поняла не так.

Наталья Николаевна

Царь мне сказал: «Примите мой совет,
 как верной дружбы знак,—
 Должны вести себя вы крайне осторожно.
 Вы так неопытны, бесхитростно прелестны.
 А ваша красота — редчайший дар небесный,
 Не только друг ваш — но и враг!
 За ней, как тень, идет людская зависть,
 Месть пересудов, сплетен, злобных врак.
 Лишь дайте повод, дайте лишь пустяк,
 И миг ославит вас — да еще как! —
 Влюбленный тайно в вас какой-нибудь мерзавец».
 Царь был, как никогда, красноречив.
 В опору мне протягивал он руку.
 За верность ратовал и долгу и супругу,
 Который так горяч и, видимо, ревнив.
 Царь говорил, как подобает другу,
 А сам насилу сдерживал порыв
 Совсем иных,
 не ангельских страстей.
 Мне было весело и боязно дивиться,
 Как, словно узник, государь томится
 В темнице добродетели своей.
 Но стража понадежней с ним нужна —
 Темница крайне непрочна.
 «Ваше величество, спасибо за совет.
 Не бойтесь за меня, — я говорю смиренно.—
 Я с мужем так надежно откровенна.
 От мужа
 у меня секретов нет.
 Он мой защитник, он мой судия.
 Конечно, кроме моего царя».
 «Все
 говорить супругу, может, и излишне». —
 «Но, государь, так мне велит мой долг». —
 «Есть тайны, должен знать их
 лишь всевышний!» —
 И тут печально сник он и замолк.

(Смеется и вдруг становится серьезной, повзрослевшей.)

И все ж подале от таких баталий;
 От них беды себе на всякий час готовь.
 Минуй нас пуще всех печалей
 И барский гнев, и барская любовь.

Екатерина Николаевна

(внимательно, как бы изучающе смотрит на нее, потом нервно, оживленно)

А знаешь, Таша, многие считают
Тебя совсем неумной, даже глупой,
Безмолвно чуждой пушкинским стихам,
А мужу чуждой с милым равнодушьем,
Тебя считают обольстительницей светской,
Приумножающей любовные победы
Из прихоти, бездушно и бездумно.
Считают, что тебе дано природой
Одно произвольное умение —
Умение загадочно молчать.
Порой чуть-чуть кокетливо,
Порой чуть-чуть значительно,
Но, к счастью, для тебя

всегда спасительно,

Поскольку тебе нечего сказать.
И удивляются, чем ты царя очаровала,
Да что царя, красавца Жоржа Геккерена!
Все дамы знают — он неотразим;
Так обаятелен, так утонченно нежен,
Как рок, всесилен он и неизбежен,
Все женщины беспомощны пред ним.

Наталья Николаевна

(с улыбкой)

Да, он хорош по всем твоим приметам,
И все ж мне легче устоять пред ним,
Чем пред его блистательным портретом,
Что создан вдохновением твоим.
А клевета? Бог с ней, дружок!..
Летит в лицо, как пущенный снежок.
Конечно, быть должно презренье
Ценой ее забавных слов.
Но шепот, хохотня глупцов..
И вот общественное мнение!
Их, как алхимиков, влечет секрет
Молчанья моего: ведь золото — молчанье.
Так в чем секрет, привлекий их вниманье?
В чем мой секрет?
В том, что секрета нет.
Себя выказывать

неловко мне при всех,

Молчу

без притязаний на успех.

(Пауза.)

В своих сужденьях, может, я наивна,
Но мысль,
как плоть, стыдливой быть должна,
Мысль радостна,
когда она интимна,
Когда лишь сердцу близкому
доверена она.

Ну, а моей душе
И моему уму,
Поверь мне,
Есть

довериться
кому!

Чтоб каждый мог тебя легко прочесть,
 Порою только ради любопытства,
 В подобной наготе духовной есть
 Какое-то тщеславное бесстыдство.
 Блистать умом в салонах знатных
 Для этих глаз завистливых и жадных...
 И кто сочувствие окажет? Лицемеры,
 Завистники, ловцы своей карьеры.
 Да, я молчу в придворном их кругу,
 О чем молчу?
 О том,

что мужа я люблю.

Но разве говорить об этом можно?
 Сказал —

и обеднил любовь свою.

Да и звучат такие речи как-то ложно.

О чем молчу?

О том,

о чем я думаю повсюду,

В гостях и дома — каждую минуту,
 Молчу о том, что дом наш весь в долгу.
 Спасибо им, Никитам, Ванькам, Дашам,
 Дают займы нам крепостные мужики
 На мыло, на крупу, а то на фунт муки.
 Вот и выходит, в барском доме нашем
 Они хозяева, а мы лишь должники.
 О чем молчу? О том,

что по ночам

Мой муж не может спать.

А ведь ему работать надо.

Порой мне страшно

от его блуждающего взгляда,

Как будто смерть свою

он ищет сам.

Кому о том скажу,

Его врагам?

В деревню бы уехать нам!

А как уехать, как?

Все думаю о том.

В Михайловском

избушка,

а не дом,

Под обветшалой кровлею худою.

Там для детей, особенно зимою,

Удобств и малых нет. Дом к детям не готов.

Да и царя разгневаем отъездом.

Вот и живем мы, словно под арестом

Придворных маскарадов и балов.

Екатерина Николаевна

(заметив входящего Дантеса, взволнованно)

К нам приближается Дантес.

Прошу тебя, будь с ним поласковой.

Наталья Николаевна

Признаться,

Хоть он мне нравился, но стала я бояться

Его с недавних пор.

Екатерина Николаевна
 Он так в тебя влюблен,
 Мне больно видеть, как страдает он.

Наталья Николаевна
 С мольбою просишь ты меня. Ну что ж!
 А если я и впрямь с ним нежной буду
 И даже долг семейный свой забуду?

Екатерина Николаевна
(с невольным испугом)
 О нет, ты мне такой удар не нанесешь!

Дантес
(в стороне)

Да или нет,
 Нет или да,
 Сегодня или никогда!
(Погодит к ним, раскланивается, обращается к Екатерине Николаевне.)

Мадемуазель, Идалия Полетика вас ждет.

Екатерина Николаевна
(с усмешкой)
 Барон, вам нужен мой уход?
 Вы так торопитесь меня отправить к ней,
 Здесь не Полетика —
 политика скорей!
(Раскланивается, уходит.)

Дантес
(восторженно)

Богиня несравненная моя! Обидней муки нет
 Глядеть на вас, как на картину в раме,
 Не сместь пасть на колени перед вами...

Наталья Николаевна
(испуганно)
 Опомнитесь! На нас глядит весь свет.

Дантес
 Но почему? Ведь пред иконой в храме
 Пасть на колени каждый может
 на виду у всех.
 Любовь моя, какой же в этом грех?!
 Мне говорят, с царем танцует ваша дама.
 Я робко ждал. Хоть робость и смешна.

Наталья Николаевна
 Но ваша робость так настойчиво упряма,
 Что, право, дерзостью становится она.
 Я прежде
 от души была вам рада.
 Так было с вами весело.

Дантес
 Галантный шут!
 А какова за это все награда?
 Друзей насмешки слышу там и тут.

Меня влюбленной барышней зовут.
Как это все стерпеть, перенести?
Довольно, хватит! Честь моя задета.

Н а т а л ь я Н и к о л а е в н а

И я должна ее спасти
В глазах язвительного света?
Вы забываете, что я жена и мать.
И так идут за нами кривотолки.

Д а н т е с

Опять вы о своем семейном долге!
Нет, я с собой не в силах совладать.
Ходить при всех как бы в железной маске
И помнить, что мы с вами не одне.
Но есть, есть способ избежать огласки;
Встречаться мы должны

наедине.

Все явное

пусть тайным будет —

Вот что при всех мой жадный пыл остудит.

Вы сами

вынуждаете меня

В толпе

смотреть на вас влюбленными глазами;

Ведь если б

тайно

мы встречались с вами,

Не здесь,

а там

в любви бы клялся я.

Мне не уйти от вас, как от своей судьбы.

Благоразумной будьте, умоляю!

Огонь, что я по искрам рассыпаю

Невольно на глазах у всей толпы,

Вы разрешите свято мне беречь

Для наших тайных, сокровенных встреч

Лишь дайте тайну мне, и как мужчина

Под пытками клянусь вас не предать

И вашу честь ничем не запятнать.

Даю вам слово, слово дворянина.

Н а т а л ь я Н и к о л а е в н а

До сей поры я и не знала это.

Так вот какой ценой

мы, женщины, должны

Честь добродетельной жены

Приобретать во мненье света!

Барон, прощайте. Бог вам судия!

Уж лучше вы,

даю на то вам волю,

На людях

опозорите меня,

Чем пред собой

себя я опозорю.

(Уходит.)

Д а н т е с

Все между нами кончено. Не перенести

Мне эту нестерпимую обиду.

Мечь, только мечь. Безжалостная мечь!
(Входит князь Петр Долгоруков.)

Князь Долгоруков

Ты оскорблен, я чувствую по виду.
Не думай, что уж так она безгрешна.
С тобой она безгрешна. А с царем...

Дантес

Мечь, только мечь!
(Уходит.)

Князь Долгоруков

Уж то-то грянет гром.

Мне радостно, что это неизбежно.
Не то чтоб я был Пушкину врагом,
К нему особых счетов не имея.
Но я люблю потехи, да позлее.
Ведь жизнь без них бесцветна и пуста.
Спектакль начался. Заняты места.
Не знаю почему, но, черт возьми,
Мне скучно

со счастливыми людьми!

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Ноябрь 1836 года Комната квартиры Сашкова. Она, как и другие места действия второго акта является составной частью ансамбля декораций первого акта, олицетворяющего собой Петербург, империю, так что действие может сразу переключаться в любое нужное место.

Юрьев и Сашков. Входит граф Соллогуб.

Юрьев

Граф Соллогуб! Ну наконец!.. Как он?
Что с ним?

Граф Соллогуб

Я только что от Пушкина.

Сегодня

послал он вызов на дуэль Дантесу,
Меня он просит секундантом быть своим.
А кажется, совсем еще недавно
Мне самому он вызов посылал,
Ревнивый вызов обожанью моему,
Не только обожанью, поклоненью
Наталье Николавне. Все мы тайно,
Безмолвно, робко были влюблены
В нее.
И даже те из нас, кто и в лицо ее не видел,
Влюблялись беззаветно в это имя
Красавицы, уже легендой ставшей,
Избранницы волшебных вдохновений
Того, кто был для нас почти что Бог.
Поймав мои восторженные взгляды,
Он вызов мне послал. Тогда, со мною,
За Пушкина я не боялся. У кого
Из русских поднялась рука бы на него!

А вот Дантес — он славу русскую жалеть не будет.
Не знаю, что и делать: я ж в ответе
За Пушкина перед Россией всей.

С а ш к о в

Отговорить его во что бы то ни стало
От поединка.

Г р а ф С о л л о г у б

Как отговорить?

Меня он вызвал на дуэль за то, что
Лишь издали я робко любовался
Его женой. А подлецу Дантесу,
Что нагло ей

при всех

в любви клянется,

Такую дерзость Пушкин не простит.
Вы б посмотрели на него. Лицо дрожит,
Глаза налились кровью. В нем ярость африканца
Проснулась вдруг — далеких предков глас.
Таким его я никогда не видел.

Ю р ь е в

(задумчиво)

Предвижу я, такая есть минута,
Когда спокойней умереть, чем жить на этом свете.
Он сам, поймите, сам он ищет смерти.
Коль не Дантес, так кто-нибудь еще.

С а ш к о в

Кто ж автор пасквиля, который как чума
Врывается в дома?

Ю р ь е в

Кто? Это не секрет.
Весь высший свет.
Да, да, весь высший свет!
Не почерк ли графини Нессельроде,
Уж если не ее надушенной руки,
Так почерк хищного ее злорадства,
Не почерк ли Булгарина Фаддея,
Пусть не его, но все же это почерк
Его завистливой и мстительной душонки.
Ну а министр Уваров? Не его ли
Державной злобой дышит этот пасквиль?
Кто клеветник? Весь двор, весь высший свет!
А повод ко всему, конечно ж, дал Дантес.

С а ш к о в

А может быть, Наталья Николавна?

Ю р ь е в

Да, может быть, она,
месть вызвав Геккерена
Супружескою верностью своей.
Ведь чад от их печи идет. ей-ей!

С а ш к о в

Так что ж, выходит, не ее измена,
А верность мужу — перст всевышний сей —
Теперь грозит погибелью ему?

Ю р ь е в

Да, может быть.

С а ш к о в

Я что-то не пойму.
Выходит, мужу измени она,
Но так, чтоб не заметил он обмана,
И жизнь его тем самым спасена
От поединка?

Странно, очень странно!

Ю р ь е в

(горячо)

Уж если Пушкина и виновата,
Так только в том, что дивно хороша.

С а ш к о в

(с усмешкой)

Не надо защищать ее, не надо.
Поэт... у вас порывиста душа.
Наталя Николавна не подруга
Такому гению. Сам дьявол их связал.

Ю р ь е в

О нет!
Они родились друг для друга.
Есть в этом высший смысл
И высший идеал.
Я вижу, вижу я прозревшю мечтою,
Как божий дух, к гармонии стремясь,
Соединил их, тем скрепивши связь
Поэзии

с родной ее сестрою —
Дарованною небом
красотой.

С а ш к о в

(теряя самообладание)

Наш разговор бессмысленно пустой.
Кто эта женщина? Одним лишь совершенством
Дано ей небом обладать. Она,
К несчастью,
совершенно

не умна.

Дантеса завлекла своим кокетством,
Она ж в него, как кошка, влюблена.

Ю р ь е в

И что за диво ваши рассужденья,
Верней. не рассужденья, осужденья.
Еще вернее — жалкое вранье.
Я на балу вчера следил за вами, —
Восторженно влюбленными глазами
Вы издали смотрели на нее.
Смотрели вы с покорностью раба,
С тоскою жадной, безнадежно острой.
Она

лишь тем

для вас безнравственно глупа,

Что вас

в толпе не замечает пестрой.

Вы, сударь, клеветник.
 И был бы Пушкин здесь,
 Он, как Дантеса, пригласил бы вас к барьеру.
 Ведь честь жены —
 его прямая честь.
 Что ж! Применить придется эту меру
 Мне
 за него.

С а ш к о в

Я принимаю вызов.

Ю р ь е в

Где, когда

Стреляться будем?

Г р а ф С о л л о г у б

Господа,

Вы ж были неразлучными друзьями.
 Опомнитесь!

С а ш к о в

(побледеув)

Пусть бог рассудит нас!

(Достает из ящика стола пистолет. Стреляет в потолок.)

Я сделал выстрел. Очередь за вами.
 Стреляйте. Ну!

Хоть завтра,
 хоть сейчас.

(Пауза. Юрьев порывисто бросается к нему. Обнимает.)

Ю р ь е в

Вы любите меня. Вы добрый человек.
 Вы только что мне это доказали.
 О, если б все дуэли в наш жестокий век
 Кончались так!

Г р а ф С о л л о г у б

Едва ли, ох, едва ли!

Ноябрь 1836 года. Казармы кавалергардского полка. Дантес один. Входит Геккерен.

Г е к к е р е н

Я спас тебя, помог мне в этом бог,
 Я спас тебя, мой мальчик, от дуэли.
 Пока ты здесь в полку своем дежуришь,
 Я был у Пушкина. Меня,
 Поверь, как будто свыше осенило
 Сказать ему, что ты влюблен в Катрин,
 Вот почему тебя так часто видят
 С ней рядом и с ее родной сестрою,
 Женой его, Натальей Николавной,
 С которой ты не больше чем любезен.
 Я объявил ему о том, что Катеньке ты сделал
 предложение.

Д а н т е с

Да ты в своем уме?!

Геккерен

Да, да, ты сделал предложенье!
Катрин согласна, я с ней говорил.

Дантес

(в бешенстве)

Катрин согласна. Не согласен я.
Я не давал таких вам полномочий.
По-видимому, сударь, вы забыли,
Что вы не мой посланник, а голландский.

Геккерен

Как раз

об этом

я не забывал,
Когда тебя почти что на коленях
Одуматься просил, унять любовный пыл.
Из-за тебя коварный этот пасквиль
Мне
приписали, мне —
Посланнику голландского двора.
А в пасквиле, где Пушкин назван рогоносцем,
Намек на связь жены его
С державным венценосцем.
Как отнесется царь к подобному намеку?
В его глазах я гнусный лжец и пасквильянт,
А не голландского двора посланник.
К тому ж дуэль. Конец всему.
И уж по крайней мере
Конец

твоей,

да и моей карьере.

Ведь ты мой сын.

Ведь я тебя усыновил.

И как ты мне за это отплатил!

(Вытирает платком слезы. Потом решительно.)

У нас есть выход, только лишь один,

Одно спасение — женитьба на Катрин.

Я все продумал, вплоть до мелочей.

Дантес

На то ты дипломат,

А я солдат.

Не подобает мне, мужчине, дворянину,

От чьей-то пули

прятаться за спину

Влюбленной барышни. Меня же осмеют,

Подумать страшно —

трусом

назовут!

И проклянут, как подлого изгоя,

Как прокаженного. Не до карьеры тут.

Когда дворецкий, на пороге стоя,

Заявит мне: «Не велено пускать!»

Геккерен

Как ты боишься трусом стать!

Есть в этом ограниченность и узость.

Д а н т е с

Пусть будет так:

Бояться

трусом

стать

Пока

моя единственная

трусость.

Г е к к е р е н

Я честь твою не запятнал, поверь.

Ведь Пушкин

сам

отнюдь не рад дуэли.

Погорячился, вызвал... А теперь

Сам

перемирья ищет.

Д а н т е с

Неужели?!

Г е к к е р е н

Он помощь ждет от нас самолюбиво,

Я это понял по его лицу, —

Узнав, что ты с Катрин пойдешь к венцу,

Он этот шаг одобрил молчаливо.

(Про себя.)

Одобрил так, что дерзко хохотал

Над нашим униженьем. Вспомнить страшно!

О, если бы Дантес о том узнал.

Но он поверил мне. И это очень важно.

Все средства хороши для достижения цели —

Таков закон мой. Господи, прости!

Д а н т е с

Что ж, если Пушкин

сам

не рад дуэли,

Тогда другое дело.

Г е к к е р е н

Да к тому ж, учти,

Твоя женитьба — не ответ трусливый

На вызов Пушкина. Вот что спасает нас:

Слух о твоей с Катрин любви счастливой

Пустил я по ветру давно, а не сейчас.

Пустил сей слух я для отвода глаз,

Чтоб от тебя и Натали отвлечь внимание.

А получилось так, что я как бы заранее

Спасительную версию припас.

Припас на этот случай, про запас.

Твоя любовь к Катрин для тетушки Загряжской

И для других не новость, дорогой,

Пусть тешатся прелестной этой сказкой

До умиленья нравственно благой.

Д а н т е с

Я не люблю Катрин.

Г е к к е р е н

Нет, любишь!

Но настолько,

Насколько можно женщину любить.
 Все одинаковы — испанка, немка, полька.
 Тогда вопрос: а как же с ними быть?
 Любить их всех,
 Всех поровну, а значит: ни одной.
 Везде все та же временная сладость.
 Лишь в дружбе упоительной мужской
 Есть высшая, единственная радость.
 Тебя я, ненаглядный мальчик мой,
 Люблю нечеловеческой любовью,
 Что доказать могу своею кровью,
 Всей своей жизнью, полною тобой.
 А Натали твоя игрушка, кукла,
 Которую отняли у тебя как у ребенка,
 Тебе близка по-родственному станет,
 Быть может, и доступней...

Д а н т е с

Нет.

Мешал мне прежде лишь супруг один,
 А тут еще ее любовь к Катрин.
 Чем ближе я к сестре ее,
 Тем я все дальше от нее!

Г е к к е р е н

А может быть, твоя женитьба на Катрин
 И будет мстью ей за ханжескую верность
 Семье и долгу. Может, мстью будет побольней,
 Чем этот пасквиль?

Д а н т е с
(задумчиво)

Может быть.

Г е к к е р е н
(оживленно)

И эту мсть мы вот с чего начнем —
 Мы Натали уведомим письмом,
 Что на нее ты не имеешь притязаний.

Д а н т е с

Ты прав всегда, ты прав во всем.
 Мне остается ждать твоих отцовских указаний.

Ноябрь 1836 года. Квартира Пушкина на Мойке. Никита Тимофеевич Козлов один.
 Входит Лиза Молча наблюдает за ним.

Л и з а

Чем опечалены, Никита Тимофеич?

Н и к и т а Т и м о ф е е в и ч
(сокрушенно, как бы разговаривая с самим собой)

Плох барин Плох... Бывало, ночью
 Разбудит то меня, а то Наталью Николавну.
 Стихи читает... Где они, стихи!
 Он вроде как затравленный какой-то.
 Впрямь свора гончих гонится по следу.
 Теперь дуэль с бароном.

Л и з а

Откуда вам известно?

Никита Тимофеевич

Мне, дядьке, все известно.
Я неотлучно с малых лет при нем.
Я знаю то о нем, что и никто не знает.
Что он, что я, боль у него — и у меня болит.
(Пауза.)

Еще один барон. Везет нам на баронов.

Лиза

А кто же первый?

Никита Тимофеевич

Был такой барон —
Товарищ по лицу. Он меня
Ударил палкой. Так его за это
На поединок смертный вызвал барин.
В такой он раж вошел! Глаза пылают,
Лицо, как судоргой, обидою свело.
А ты скажи, где видано, чтоб барин
Готов был кровь свою пролить?
За что? За оскорбленье
Кого?

Холопа своего, рожденного рабом.
Но, слава богу, миром обошлось.
(Входят Наталья Николаевна и Александра Николаевна.)

Наталья Николаевна

Никита Тимофеевич, барин дома?

Никита Тимофеевич

Нет, барыня, пока не приходил.
(Никита Тимофеевич и Лиза уходят.)

Александра Николаевна

(продолжая начатый разговор)

Замужество Катрин предотвратит скандал.

Наталья Николаевна

О перемирье думать он не хочет.
Над трусостью Дантеса зло хохочет.
Вчера, я слышала, Жуковскому сказал,
Что только кровью
можно смыть бесчестье.
Нет, Азинька, боюсь, что он непримирим.
Ушел с утра. Где он? Что с ним?
Я каждый миг жду страшного известья.

Александра Николаевна

Друзья все знают: этот пасквиль — ложь.
Зачем же придавать пустым наветам
Значенье роковое?

Наталья Николаевна

Это так. И все ж

Не забывай —

он Пушкин.

Дело в этом.

Ведь имя Пушкин

не кружку друзей

Наталья Николаевна

Дантес... Уж я-то знаю... Нет, не любит он сестру.
Бедняжка Катенька... О боже, неужели
Я грех преступный на душу беру,
Ее замужеством
спасая мужа

от дуэли.

Дантес не сможет Катеньке простить
Их брак, лишь по нужде необходимый.
Он будет ей всю жизнь жестоко мстить
За то, что он женат на нелюбимой.
Она в него так слепо влюблена.
И, если я ей в этом потакаю,
Тем

я сестру родную обрекаю
На муки многих лет. Выходит, что она
Нарочно в жертву мной принесена,
Чтоб от семьи моей отвлечь беду подальше.
Здесь столько и предательства и фальши!
Пока еще не поздно, я должна
Отговорить сестру от этой свадьбы лживой.
Не то мне кара божья суждена,
И эта кара будет справедливой.

(Входит Екатерина Николаевна.)

Екатерина Николаевна

(оживленно, немного напоказ предаваясь веселью)

У Нессельроде бал был до утра.
В моих ушах все время, не смолкая,
Звучит тот вальс, что танцевала с ним вчера...
Я очень счастлива, Наташа, дорогая!
В Дантесе столько нежного добра.
Он говорил, что будущее наше
Безоблачно. Меня он любит, Таша!

Наталья Николаевна

Опомнись, Катенька!

Все это лишь игра.

Не торопись со свадьбой,

умоляю!

Екатерина Николаевна

Игра?

Это с тобой

была игра,

Теперь-то

я прекрасно понимаю!

Тебя из прихоти, верней, из озорства
Хотел завлечь он, проявив упорство.
Его любовь к тебе — обман, притворство,
Слова, одни красивые слова!
Ты думала, его вниманья крохи
Я собираю с барского стола,
Что мне достанутся лишь только слезы, вздохи
О нем украдкой.

Этого ждала?

Хоть с виду ты

И ангел доброты,

Ты мстительна, завистлива и зла.

Геккерен

Сударыни, низжайший вам поклон.
Примите комплимент мой безыскусный:
Прелестны вы. Но Катенька сегодня
Прелестней всех!

Александра Николаевна

(про себя)

Бессовестная сводня!

Геккерен

(смотрит на Наталью Николаевну)

Недаром сын мой

в Катеньку влюблен.

Влюбился он давно,

хоть муж ваш

и узнал о том недавно,

Два года

как в нее влюбился он,

Что может подтвердить

Наталья Николаевна.

(Наталья Николаевна молчит.)

Геккерен

Я вижу, вы согласны. Вот и славно!

Александра Николаевна

(про себя)

Какой цинизм!

Геккерен

Да, и еще мой сын

Просил вам передать уведомленье.

(Отдает Наталье Николаевне письмо.)

Здесь говорит он о своей любви к Катрин

И просит вашего благословенья.

Январь 1837 года. Квартира барона Луи де Геккерена. Дантес полулежит на кушетке в мундире кавалергарда. На полу, у изголовья, бутылка шампанского.

Дантес

(резко вскакивает с кушетки)

Какие-то кошмары снятся...

Будто он

Влепил мне пулю в лоб,

и голова скатилась

С плеч

и кричит, еще живая,

А этот дьявол, этот мавр хохочет.

Как он уверен в ярости своей...

А у меня дрожат от ужаса колени.

Я жалкий трус!..

Мне страшно!..

Страшно мне!..

Его я ненавижу.

Почему ж

Стараюсь заглянуть в его глаза,

как мальчик,

Влюбленный безответно.
 Что за сила
 Исходит от него?!
 Меня толкает
 В безумье
 заглянуть в его глаза.
 Ищу в них смерть свою?..
(Пауза. Подходит к зеркалу.)
 Такую внешность
 Иметь.
 И ни за грош все потерять!

Уходит. Входит Екатерина Николаевна. Рассматривает картины, висящие на стене.
 Входит Геккерен.

Геккерен
 Пусть вам живется здесь отрадно и свободно.
 Теперь он вашим стал — мой холостяцкий дом.
 Его согрели вы своим теплом.

Екатерина Николаевна
 Гляжу на эти редкие полотна,
 На кубки древние. Им просто нет цены.
 Какой знаток вы русской старины!

Геккерен
 Польщен, что похвалили вы мою особу.
 Мне повезло, что я сюда попал.
 Я за бесценок это все скупал,
(с усмешкой)
 Чтоб русской стариной порадовать Европу.
 О, ею будет Запад восхищен!
 Но ныне
 так мне повезло, как никому на свете,—
 Такой шедевр нашел я.

Екатерина Николаевна
 Где же он?

Геккерен
(весело)
 Взгляните в зеркало, и вам оно ответит.
 В коллекции моих картин
 Всего прелестней
 вы,
 Катрин!

Екатерина Николаевна
 Барон, какой вы тонкий льстец.

Геккерен
 Я вам доверил, как отец,
 Любовь того, кто для меня всего дороже.
(Входит Дантес. Он крайне взволнован.)

Екатерина Николаевна
 Что с вами, Жорж! На вас лица нет. Боже!

Дантес
(резко, грубо)

Оставьте же меня в покое, наконец!
(Екатерина Николаевна, еле сдерживая слезы обиды, убегает.)

Геккерен

Жорж, в положении твоём,
 Скрывать не стану, крайне щепетильном,
 Я б с молодой женою так не говорил.
 И месяц не прошел со дня твоей женитьбы.
 Что скажет общество? У нас в семье скандалы.
 Выходит, ты не по любви на ней женился,
 А по другой причине.

Дантес
(яростно)

Что скажет общество?
 Оно уже сказала!
 Вот,
 полюбуйся.

Анонимный пасквиль.

Его подбросили под двери нам в передней.
 (Протягивает ему письмо.)

Ты можешь не читать. Там на листе бумаги
 Одно лишь слово — слово трус!
 Оно меня огрело, как пощечина,
 Горит позором на моем лице.
 Теперь ничем не смьгть его. Все кончено!
 Где б ни был я — в казармах, во дворце,—
 Везде услышу за своей спиною:
 «Трус! Трус!» —

и никуда мне от позора не уйти.

Геккерен

Тебя на Пушкина хотят нацелить, навести,
 Как пистолет,
 его враги любой ценою.
 Молю тебя, не будь оружием в их руках.

Дантес

А ты забыл о тех своих словах,
 Что рисовали райскую идиллию.
 Ты ж говорил, что Пушкин склонен к перемирию.
 Где это перемирье, где оно?
 Со мною он здороваться не хочет,
 Во всех домах мой брак с Катрин порочит.
 Мне остается лишь одно —
 Мстить, мстить ему!

Геккерен

Но не жене своей.

Дантес

И ты о святости семьи, о долге!

Геккерен

Не в этом дело. Будешь грубым с ней,
 Тем подтвердишь ты пушкинские толки,
 Что ты женат не по любви отнюдь,
 А из боязни подойти к барьеру.
 Так развенчай же в людях эту веру —
 Влюбленным рыцарем с женой на людях будь.
 Сыпь комплиментами, гляди в глаза ей страстно,
 Покорным, нежным будь. Да что учить тебя!

Любая грубость в сей момент опасна,
Иначе трусом явишь ты себя.

(Уходит.)

Д а н т е с

Что ж получается? О чем хлопочет он?
Коль я

из трусости

в жену свою влюблен,

То я и вправду

жалкий трус,

ВЫХОДИТ.

Таким

меня он, видимо, находит.

И от него — позор.

Позор

со всех сторон!

Трус!

Трус!

Страшнее нету кары.

Кто мне в лицо швырнул

сей пасквиль злой?

Как будто он подглядывал за мной,

Когда сегодня снились мне кошмары.

(Как бы уговаривая себя.)

Нет, лжете!

Я женат не от испуга.

Моя жена мила мне и умна,

Заботливая, верная подруга,

Я счастлив, что она моя жена!

(Уходит. Входит Екатерина Николаевна.)

Е к а т е р и н а Н и к о л а е в н а

Ко мне он дерзко равнодушен.

Что ж! Знала я, на что иду.

Ведь кроме Жоржа мне никто не нужен,

В терпенье гордость я найду.

Он — мой, а это главное, он — мой,

Он мой, а это всех обид превыше.

Я с ним готова жить в Мадриде, в Лондоне, в Париже.

Он мне дороже родины самой.

Как странно, прежде я не ревновала

Его к сестре. Так почему ж сейчас,

Когда совсем уж нет причин как раз,

Его ревную глупо, запоздало,

Ревную так, что ночью вдруг проснусь

От ужаса, что он ушел к Наташе?

Лежу

в немом отчаянье пропажи,

Пока плеча его рукою не коснусь.

Какая-то немыслимая чушь!..

(Пауза. Екатерина Николаевна замечает анонимное письмо, забытое

Дантесом на столе.)

Письмо... подметное... Кому?

Ему.

(Читает.)

«Трус!» Этого еще не доставало.

Из-за угла удар кинжала.

Вот почему был так взволнован муж!

(Входит Дантес.)

Д а н т е с

Богиня несравненная моя!
Я был с тобою резковат немного,
Прости мне, дорогая, ради бога,
Всем лучшим, что во мне, тебе обязан я.
С тобой я как бы вновь на свет рожден.
Лишь ты одна сегодня мне опора.
Как они жаждут моего позора!..
Не знал я, что врагами окружен.

(Яростно. Обращаясь к кому-то, невидимо присутствующему здесь.)

Вы лжете! Лжете с ликованьем мерзким.
Но не боюсь я вашей клеветы.

(Ей лихорадочно.)

Ты веришь, что тебя люблю я, веришь ты?

Е к а т е р и н а Н и к о л а е в н а

(Успокаивая его, как ребенка. Ласково.)

Да, верю. Верю я всем моим сердцем женским,
Которое не просто обмануть.

Д а н т е с

Спасибо, Катенька, ты мне смогла вернуть
Хотя б на миг спокойствие. Спасибо!
Ты так добра, мой ангел, так красива.
Во мне не сомневайся никогда.
Мы будем счастливы. Да, да!
Мы будем счастливы...

О чем я?

Вот о чем,

Я, Катенька, о дочери мечтаю.
Мы нашу дочь Леони назовем.
Прекрасней имени, ей-богу, я не знаю!

Е к а т е р и н а Н и к о л а е в н а

(с грустной улыбкой)

Ну что ж, я дочь тебе родить готова
Хотя бы ради имени такого.

Д а н т е с

Дочь, только дочь! Она мне ночью снится
Даже тогда, когда мне и не спится.

(Пауза.)

Здесь где-то я письмо забыл. Ты не видала?

Е к а т е р и н а Н и к о л а е в н а

Видала. Вот оно.

Д а н т е с

(испуганно)

Читала?

Е к а т е р и н а Н и к о л а е в н а

(небрежно)

Не читала.

(Подает ему письмо.)

Какая-то поклонница твоя?

Ты не тревожься. Не ревнива я.

Д а н т е с

Всю жизнь твердить я буду в упоенье,
Что я люблю тебя!

(Уходит.)

Екатерина Николаевна

Так говорит он, будто здесь его враги,
Как будто хочет он пред ними оправдаться,
Что он не трус, что он женился по любви.
Не их,

себя

он хочет в этом убедить,

Поэтому со мною он так нежен.

Выходит, я благодарить должна

Его врагов за эту нежность мужа.

Уж лучше равнодушие его,

По крайней мере нету в нем притворства!

(Плачет. Потом берет себя в руки.)

Он от меня, мой бедный, ждет участия.

Я все стерплю,

Лишь бы ему помочь.

Он хочет дочь.

Пусть будет дочь.

Быть может, дочь

В дом принесет спокойствие и счастье!

Январь 1837 года. Квартира Идалии Полетики. Входят Наталья Николаевна и служанка.

Наталья Николаевна

А где же госпожа?

Служанка

Просили подождать.

(Служанка уходит.)

Наталья Николаевна

Мне остается только лишь гадать,

Что от меня ей нужно, в чем причина.

Как-то

не так

она себя вела.

Меня в свой дом Идалия звала

Уж слишком, я сказала бы, невинно.

Притом наигранно. Где ж гости? Нет гостей.

Не помню, кто-то так сказал о ней:

Когда добра к тебе красавица Идалия,

Будь от нее за три версты и далее.

И впрямь подальше от ее затей!

(Входит Дантес.)

Вы?.. Здесь?.. О боже!

Дантес

Предательство! Ловушка! Западня.

А почему боитесь вы меня?

Ведь как-никак мы родственники все же!

Меня ваш муж изволил не принять,

Когда приехал я со свадебным визитом.

С ним говорить, что черпать воду ситом.

Ему придется на себя пенять.

Убью его! Себя убью! А Катя

С собой покончит, если я умру.

Погубите вы мужа и сестру.

А что — меня, так это будет кстати!

Что до меня вам! Что вам до того,
Как мне живется с нелюбимою женою.

Наталья Николаевна

А ей?

Дантес

Кому?

Наталья Николаевна

Сестре моей, а ей-то какво

Живется?

Дантес

Я вас успокою!

Она ведь любит, значит, счастлива она,
Что я с ней рядом. Что ж еще ей надо!
Вам в жертву жизнь моя принесена.
А какова за это мне награда?

Наталья Николаевна

Мне в жертву?

Дантес

Да. Решил я принести

Себя вам в жертву, чтобы тем спасти
Честь вашу от опасных светских сплетен.
Любовный пламень мой настолько стал заметен,
Что не укрыть его от посторонних глаз.
Молва мне не страшна,
Боялся я за вас!
А муж ваш, чтобы вы меня презрели,
Как труса, все иначе повернул —
В отместку мне такой скандал раздул,
В моей женитьбе он узрел боязнь дуэли.
Его я не боялся никогда
И не боюсь. Вы лжете, господа!
Как жаль, что нет его, я б заявил воочью
В лицо ему, как вызов честный мой,
Что я люблю вас с гордостью прямой,
Что сердце молится лишь вам и днем и ночью!
Вы будете моею, или я вот здесь, сейчас,
При вас
С собой покончу!

(Выхватывает пистолет.)

А коль одной моей вам смерти мало,
Со мною Катенька пойдет в последний путь.

(Бормочет как бы в бреду.)

Моя любовь, молю тебя, моею будь!
(Бросается к ней, пытается осилить, обнять.)

Наталья Николаевна

(вырываясь)

Эй, люди! Помогите кто-нибудь!

(Входит испуганная служанка.)

Служанка

Вы звали, госпожа?

Наталья Николаевна

Мне с сердцем плохо стало.

(Служанка хочет ей помочь.)

Нет, ничего...

Не надо! Я сама.

(Уходит со служанкой.)

Дантес

Ей-богу, я схожу с ума!

(Входит Идалия Полетика.)

Идалия

Ну, взяли вы реванш?

Дантес

Под дулом пистолета

И то не взял.

Что ж, видно, не дано!

(Раскланивается, уходит.)

Идалия

Каким бы ни было свиданье это,

Вполне достаточно,

Что было

все ж

оно!

И было тайным... Что ж, обрадуем поэта
Известием о нем.

Без подписи письмо ему пошлем.

Как отнесется он к такому адюльтеру

Его жены? Да, с каждым новым днем

Все ближе Пушкин к смертному барьеру.

Теперь-то наконец в моей он власти.

Как ненавижу я лицо бесовское его,

Его творений дерзких колдовство.

Такая ненависть —

почти любовь

по страсти.

Январь 1837 года. Аничков дворец. Придворный бал. Обстановка первого действия.

К Юрьеву и Сашкову подходит граф Адлерберг.

Граф Адлерберг

Дантес нахально лезет на рожон.

Сашков

Дуэли хочет дерзостный барон.

Ждет вызова. Его стремленья явны.

Граф Адлерберг

Сейчас при Пушкине, при всех пил, ухмыляясь, он

За прелести Натальи Николаевны.

Юрьев

Ждет вызова подлец? А почему

Мне

этот вызов

не послать ему?

С а ш к о в

Но, к сожаленью, вы должны предвидеть,
 Что этот жест ваш, этот добрый знак
 В салонах будут поняты не так,
 И это может Пушкина обидеть,
 Больное самолюбье оскорбить —
 Мол, честь жены

о н

защитить не может.

Ю р ь е в

Признаться, это и меня тревожит.

Г р а ф А д л е р б е р г

Так как же быть?

С а ш к о в

Я ведаю, как быть.

*(Показывает на великого князя Михаила Павловича, стоящего
 в окружении офицеров.)*

Великий князь, вот он нам и поможет.
 Дантес ему недавно изъявил
 Свое желанье на Кавказ податься.
 И там он жаждет с горцами подраться.
 Вот нам и надо, чтобы Михаил
 Препятствий в том Дантесу не чинил.
 Граф Адлерберг, великий князь,
 Как всем известно, уважает вас.
 Поговорите с ним не медля, здесь, сейчас.

Г р а ф А д л е р б е р г

(задумчиво)

Да и Жуковский

так меня о том просил...

Не может отказать нам Михаил!

Граф Адлерберг подходит к великому князю.)

Великий князь Михаил Павлович

Граф Адлерберг!

А я, дружок, с обновой,

Послушайте последний анекдот:
 Один корнет на станции почтовой
 Карету ждет.

Так вот.

К нему гусар подходит, ус крутя.
 Навеселе.

И говорит шутя:

— Послушайте, кларнет! —

Состричь изволил он.

А тот не растерялся

И в ответ:

— Я слушаю, тромбон! —

Что? Каково?

(Громко, неудержимо, залиvisto хохочет.)

Г р а ф А д л е р б е р г

Ваше высочество...

Великий князь Михаил Павлович
(перебивая)

Ефрейтора поручик вызывает

И говорит:

«Подумай, брат, сперва

И отвечай:

зачем тебе, служивый, голова?»

«А я

ей

ем!» — ефрейтор отвечает.

Что? Каково?

(Громко, неудержимо, залиvisto хохочет.)

Граф Адлерберг

Ваше высочество, у Жоржа Геккерена

Не дай бог грянет с Пушкиным дуэль.

Ужель нельзя предотвратить ее, ужель

Жизнь гения для нас не драгоценна?

Ваше высочество, я умоляю вас!

Прольется кровь. Здесь дорог каждый час!

Великий князь Михаил Павлович

Но как нам Пушкина спасти от сей дуэли?

Граф Адлерберг

Жорж хочет на Кавказ.

Пусть едет на Кавказ,

Хотя б на краткий срок по крайней мере.

Великий князь Михаил Павлович

О нет! Увольте! Не хочу такой потери.

Жорж весел, остроумен, наконец.

И мне не до его дуэлей и амуров.

Кто будет пополнять походный мой ларец —

Мою коллекцию острог и каламбуров?

Граф Адлерберг

(про себя)

Пред кем я слезы горькие мечу!

Великий князь Михаил Павлович

Дуэль!.. Картель!.. Ну, братец, услужили!

Об этих глупостях я слушать не хочу!

Меня увольте, дорогой мой, или

Воленс-ноленс

Мы вас уволенс!

Что? Каково?

(Громко, неудержимо, залиvisto хохочет. Они раскланиваются, расходятся в разные стороны. Входит Наталья Николаевна.)

Наталья Николаевна

(крайне взволнованно)

Откуда знает Пушкин о моем

Свидании с Дантесом у Полетики?

Кто рассказал ему? Он как в бреду горит.

Проклятья Геккеренам посылает.

Он что-то пишет, рвет и снова пишет.

Что пишет? Может, вызов Геккеренам?

Я виновата, если что-нибудь случится.

Я виновата, я!

(После паузы, как заклинание.)

Он Пушкин!

Он не может умереть!

Есть бог.

Бог это не допустит!..

(Плачет.)

Доверилась Италии... И мужу
Я не сказала о свиданье тайном.
Впервые скрыла что-то от него.
Он не винит меня. Он добр со мной и нежен.
Лишь я, его жена, одна про это знаю,
Как может он понять, простить, любить!
Но если б рассказала я ему
Про тот бесстыдный натиск Геккерена,
Он Жоржу не простил бы оскорбленья,
И тут уже дуэль наверняка!
Я скрыла, утаила, обманула,
Великий грех на душу приняла.
О господи! Я пред судом твоим стою,
Чтоб оправдать себя, и жизни мне не хватит.
Боялась я, что кровью муж заплатит
За откровенность тяжкую мою!
Не ведаю, что ждет нас впереди.
Мне страшно!..

Дантес

(погошел к ней незаметно.)

Что с вами?

(Она смотрит на него, бледнеет, почти теряет сознание, опирается на кресло.)

Наталья Николаевна

Как только дерзости у вас хватило
Ко мне после того, что было,
С любезною улыбкой подойти!
Я думала, вы муж сестры моей.
И вдруг таким себя вы оказали!
На нас все явно смотрят в этом зале.

Дантес

(про себя)

Пусть смотрят, пусть,
Тем отомщу ему и ей.

Наталья Николаевна

Прошу, уйдите, не бежать же мне от вас!

Дантес

(про себя)

Какой я трус, увидят все сейчас!

1-я дама

(с жадным любопытством наблюдая за ними)

Ни до кого на свете нет им дела,
Вот до чего людей доводит страсть!

2-я дама

(злорадно)

Так от любовной неги побледнела,
Ей-богу, может в обморок упасть!

Ю р ь е в

(слышит их разговор, про себя)

Какая злоба в их словах.
Искажены в злорадстве лица.
Подруга гения! Что ж, может так случиться,
Хула о ней останется в веках.
(Уходит.)

1-й г о с п о д и н

А муж от ревности безумным стал вконец.

2-й г о с п о д и н

Как погляжу — комедия, не драма!

1-я д а м а

(мужу)

Скорее дочку уведи, отец,
Подальше от этакого срама.
Ведь замужем, и вдруг такая прыть.

3-я д а м а

(восторженно)

Свою любовь они и здесь не могут скрыть —
В томленьи, как Ромео и Джульетта.

2-й г о с п о д и н

Зачем же он женился на другой?

К а в а л е р г а р д

По-рыцарски пожертвовал собой,
Чтоб дамы честь спасти во мненье света.

2-й г о с п о д и н

(пожилому генералу)

Вы ж говорили, что она невинна.

П о ж и л о й г е н е р а л

Весьма невинна.

2-й г о с п о д и н

Это как сказать!

Ведь оказалось, все ж была причина
Такой ценою честь ее спасать.

1-я д а м а

(своей дочке, барышне)

Всего наслышалась? Пора домой, Алина.

А л и н а

Вы так торопитесь, домой меня гоня,
Как бы хотите вырвать у меня
Безнравственный роман из-под подушки.

3-я д а м а

Смотрите, Пушкин! Господи, прости!

2-й г о с п о д и н

Где?

(Все смотрят на появившегося в глубине сцены Пушкина, который молча стоит, прислонясь к дверной раме, скрестив на груди руки. Издалека он едва виден.)

Шепот:

Пушкин!

Пушкин!

Пушкин!

Дантес, глядя в сторону Пушкина, вызывающе опускается на колено перед Натальей Николаевной.

1-я дама

Он на колени перед нею встал!

2-я дама

Какой скандал!

Пожилой генерал

Картель, а не скандал!

(Немая сцена. Пушкин молча исчезает.)

Дантес

(на авансцене)

Мне или Пушкину — кому из нас ложиться

В ту жесткую дубовую постель?

Не состоялась первая дуэль,

Ну что ж,

зато вторая состоится!

Затемнение. Сцена открыта. Вместо занавеса идет снег. В музыке нарастает трагедия. Доходит до своего апофеоза. Когда зажигается свет, тот же самый придворный бал. Тот же вальс. Та же толпа. Февраль 1837 года.

Входит барон Луи де Геккерен. Иные из гостей стараются его не замечать, а иные с ним подчеркнуто любезно, участливо здороваются.

Господин

(кивая в сторону Геккерена, своей гаме с сожалением)

А Пушкина-то нет,

Скончался... Жаль его... Был неплохой поэт.

Прошу на танец вас.

Юрьев

(в стороне)

Нет Пушкина!.. А все на том же месте,

Все те же лица,

Тот же смех

и тот же вальс...

*Погиб Поэт! — невольник чести...**(Пауза.)*

1-й кавалергард

(Геккерену)

Как чувствует себя Дантес, простите?

Геккерен

Спасибо господу, рука почти что зажала.

1-й кавалергард

Барон, пусть изощряется хула,

Мое сердечное сочувствие примите!

2-й кавалергард

Жорж поступил, как долг ему велел,

И слава богу, что остался цел!

Ю р ь е в

(на авансцене)

Я Пушкину

живому

не посмел

Прочесть ни строчки из написанного мною.

А вот теперь

ему свои стихи читаю,

И днем и ночью с ним лишь говорю.

Не смел я в дом прийти к нему живому,

Лишь к мертвому осмелился прийти,

Коснуться хладных рук его губами...

Какая мощь в потоке толп народных,

Что в дом его со всех сторон стекались.

В шинельках да в тулупчиках овчинных

Шли люди русские к нему со всех дорог.

Всю жизнь он одинок был здесь, в гостиных.

И лишь в гробу

он не был одинок!

Возмездье?

Где оно!

Пусть в скорбной тишине

Ударит гром,

Боль совести разбудит.

Уже прошли, как огонь, по всей стране

Слова.

Их гневно повторяют люди:

*А вы, нагменные потомки**Известной подлостью прославленных отцов,**Пятою рабскою поправшие обломки**Игрою счастья обиженных родов!**Вы, жадною толпой стоящие у трона,**Свободы, Гения и Славы палачи!**Таитесь вы под сению закона,**Пред вами суд и правда — всё молчи!..**Но есть и божий суд, наперсники разврата!**Есть грозный суд: он ждет;**Он не доступен звону злата,**И мысли и дела он знает наперед.**Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:**Оно вам не поможет вновь,**И вы не смоете всей вашей черной кровью**Поэта праведную кровь!*

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

1866 год. Париж. Особняк сенатора Дантеса. Гостиная. Дантес один. Несмотря на свой возраст, он выглядит довольно молодо, хотя в это утро осунувшийся, побледневший, скорбленный.

Входит Геккерен. Они молча обнимаются.

Дантес

Приехал... Надолго?

Геккерен

Проездом я в Париже.

К тебе примчался на два, на три дня.

Твое письмо встревожило меня.

Так что ж стряслось, мой мальчик, говори же?
Нет на тебе лица.
Ты бел как полотно.

Д а н т е с

(взволнованно ходит по комнате)

Несчастье! Да, несчастье, здесь оно,
Под сенью этой крыши.
Я сердцем чувствую его приход.

Г е к к е р е н

Ты болен?

Д а н т е с

Нет.

Г е к к е р е н

(нежно)

То ли любовь к тебе тому причина,
Но ты мне кажешься, как прежде, молодым.
А я вот болен, и притом неизлечимо,
Смертельно болен возрастом своим.
Чего, скажи, тебе недостает?
Обласкан королем, притом сенатор Франции,
В твоих руках внушительные акции,
Казалось бы, все есть: богатство и почет...

Д а н т е с

Здоровье дочери меня гнетет.
Все чаще с нею нервные припадки,
То вдруг она впадает в забытье...

Г е к к е р е н

Не слишком ли ты балуешь ее!
Она у вас как тот утенок гадкий.
Упрямо не похожа с детских лет
Ни на кого характером и нравом.
Не предается девичьим забавам —
Кокетству, танцам. Что ей высший свет?
Ее науки точные влекут.
За книгами всю юность просидела,
Закончила зачем-то институт.
Не светское, не бабье это дело!
Ее причудами я крайне недоволен.

Д а н т е с

Характер у нее весьма раним.

Г е к к е р е н

И что печальнее всего, необъясним.

Д а н т е с

Когда ребенок твой так тяжело болен,
Ты вроде в чем-то виноват пред ним.
Она же плоть моя, моя родная дочь!
Сегодня не спала всю ночь.
Какие-то стихи нашли в ее тетрадке
На русском языке, что злей для нас врага.
Всю ночь читала, говорит слуга.
А утром плач, истерика, припадки.
Она ведь в детстве русский изучила,
И изучила тот язык сама,
Вот что непостижимо для ума!

Стенных обоев и обшивок кресел,
Где отдыхает этот господин,
Сенатор знатный, добрый семьянин,
Непогрешим кощунственно и весел.

Л я т р о к

Вопрос один.
Он, может, и некстати.
Откуда эта ваша злоба к знати?
Какого рода вы, мосье Преображенский?

П р е о б р а ж е н с к и й

Отец мой бедный попик деревенский.
Из разночинцев я.
А разночинец
Для знатных бар
Звучит, как якобинец.
Иной руки при встрече не подаст.
А вот болезни их, я это знаю лично,
Ведут себя

весьма демократично —

С почтеньем
в гости зазывают нас.
Но дело в данном случае не в том.
Вы знаете, чей этот знатный дом?

Л я т р о к

Вы ж сами знаете, чья это вилла.
Взлетел ее хозяин высоко.
В сенате спорил он с самим Гюго.
Вся Франция об этом говорила.
Ах да! Ах да! Я вспомнил: в самом деле,
В России с ним стряслась беда:
Убил какого-то поэта на дуэли.
Но поступить иначе он не мог.
Так требовала честь.

П р е о б р а ж е н с к и й

Мосье Лятрок,

Тот выстрел, что Россию всю потряс,
Едва ли был услышан здесь, у вас.
Но вы еще узнаете о нем,
О нашем Пушкине. Не вы, так ваши дети.
Нет большего у нас врага на свете,
Чем тот, к кому сейчас вошли мы в дом.
Когда я был еще совсем юнцом,
Хотя его ни разу я не видел,
О, как его тогда я ненавидел.
Как я хотел сойтись к лицу лицом
С ним. И всадить в него свинец возмездья.
А там — пусть виселица, пусть тюрьма...
Но почему тогда сегодня здесь я?
Казалось бы, нелепо, и весьма.
Ведь я пришел к Дантесу не как мститель,
Как врач, а это значит, как спаситель
Его родного чада. Каково!
Он так боится за ее здоровье,
Он говорит о ней с такой любовью,
Нет для него дороже никого!
Да, я пришел. Я внял мольбе его.

Пришел под эту богом проклятую крышу.
 Как человек его я ненавижу.
 Как врач спасаю дочку для него.
 Пусть яблочко от яблони,
 Как говорят у нас,
 И падает недалеко,
 Пусть это дочь Дантеса,
 Она моя больная
 В этот час.
 Нет у меня другого интереса.
 Я не могу иначе, видит бог,
 Я должен выполнить свой долг!

Комната Леони — дочери Дантеса. Леони одна. Входит служанка.

С л у ж а н к а

M'avez-vous appelé, madame?¹

Л е о н и

Non, vous êtes libre, vous pouvez aller, Susanne².

(Служанка уходит.)

Опять французская чужая речь!
 Она и на губах моих
 И всюду в воздухе витает.
 Я от рождения ее лишь слышу
 От матери родной и от отца.
 Но почему она мне кажется чужою,
 Она же нянчила меня, меня растила,
 Кормила материнским молоком.
 Так почему ж она мне кажется чужою!
 Особенно чужой после того,
 Как до утра я книги русские читаю.
 Здесь
 отчий мой очаг. Так почему ж
 Мне все Россия снится. Кто тому виновник?
 Язык французский как постылый муж,
 А русский словно пламенный любовник.
 Как грешница, украдкой по ночам
 Спешу к нему на тайные свиданья,
 И предстает тогда моим очам
 Морозных русских зим очарованье.
 То вижу лес с багряною листвою,
 То слышу вдруг до боли, до рыданья
 Тяжело-звонкое скаканье
 По потрясенной мостовой.
 И сладко мне и тяжело...
 Но откуда эта власть,
 Всесильное влекущее начало?
 Я русский будто и не изучала,
 Я с ним в душе когда-то родилась.
 В какой-то книге прочитала я,
 Что во французской горной деревушке
 В семье крестьян безграмотных и нищих
 Родился мальчик. Но не по-французски,
 А по латыни начал говорить.
 Хотя его никто не обучал латыни,
 Он наизусть Овидия читал.

¹ Меня вы звали, госпожа?

² Нет, вы свободны. Можете идти, Сюзанна.

В полубреду он грезил грозным Римом,
 Боями гладиаторов, когортой,
 Идущею в поход на диких галлов.
 Как будто жил он в том далеком веке.
 Как это все ему передалось?
 Откуда это эхо древних римлян,
 Откуда этот голос римской крови?
 Не знаю, это сказка или быль.
 Так и со мной. Во мне неистребимо
 Болит, тоскует русская душа.

(Пауза.)

Но, может быть, я б и не знала русской речи,
 Росла б француженкой, как все мои подруги,
 Когда бы в детстве вдруг не догадалась,
 Что в нашем доме тайна русская живет.
 В семье все так загадочно молчали
 О Петербурге и о русской тете —
 О Натали, о маминой сестре.
 Мы от нее не получали писем,
 За все года — ни одного, ни разу.
 И сами мы ей писем не писали
 Ни в Рождество, ни в Новый год, ни в Пасху.
 О ней мне запрещали говорить.
 Потом узнала я от Лизаньки Чаурской,
 Что мой отец в России на дуэли
 Убил супруга тети Натали —
 Великого народного поэта.
 И это так меня ошеломило —
 Я не могла ни есть, ни спать. Все время
 Стоял передо мною с укоризной
 Печальный образ гения-поэта,
 Убитого моим отцом. И я решила
 Узнать, узнать во что бы то ни стало,
 Что

написал он,
 чем

он так велик.

Вот для чего с таким упорством изучала
 Я столько лет его родной язык.
 Учил меня

он, Пушкин,
 русской речи.

Он, Пушкин,
 мне
 Россию

подарил.

Его божественным стихом заговорил
 Ее простор
 в дыму полтавской сечи

И в тишине
 задумчивых полян,
 Где встретился с Людмилою Руслан.
(Достает портрет Пушкина.)

Портрет его... он тайно мной храним.
 Как пред святой иконой, перед ним
 Зажгу молитвенные свечи.

(Вешает портрет рядом с иконами. Зажигает свечи.)

Пока живу, до смертного конца

Д а н т е с

(как бы сникая)

Опять карьера!

Г е к к е р е н

(иронически)

Что ж! Карьера — не пустяк.
Нет и не может быть других стремлений.
Расстаться с жизнью может гений,
С карьерой — только лишь дурак.
А если так,
Уж лучше умным умереть,
Чем жить на свете идиотом,
Почет иметь, успех иметь
И пренебречь успехом и почетом!

Д а н т е с

Уж лучше сам я... в сумасшедший дом.

Г е к к е р е н

Ну чем еще меня ты огорошишь?

Д а н т е с

Я не могу ее...

Г е к к е р е н

(яростно)

Нет, можешь, можешь, можешь!
(Входит Преображенский.)

П р е о б р а ж е н с к и й

Она заснула крепким сном.

Д а н т е с

Что с нею, доктор?

П р е о б р а ж е н с к и й

Нервное расстройство.

Г е к к е р е н

Нет, хуже. Надо нам иметь в виду —
Болезнь рассудка у нее в роду.
И это вызывает беспокойство.
Ведь Гончаров — покойный дед ее —
Умалишенным был, как всем известно,
То в буйство он впадал, то в забытье,
Был несмышлен, как малое дите...

П р е о б р а ж е н с к и й

Напоминаясь ваше столь любезно!

Г е к к е р е н

Ее люблю я, как родную дочь.
Ирония здесь, право, неуместна.
Я ей хочу от всей души помочь.
Она живет как девица в светлице,
А нужен ей совсем другой режим.
Пока не поздно, ей необходим
Покой психиатрической больницы.

Преображенский
Покой?

Геккерен
Вот именно — покой, уход, лечение!

Преображенский
Вы тоже так считаете, отец?

Дантес
Да... как ни тяжело...

Геккерен
(властно)
У отца такое ж мнение.

Преображенский
(про себя)
Ее, святую от рожденья,
Запрятать в сумасшедший дом?
Подлец, какой подлец!
(Дантесу.)
Я разбираюсь лучше вас в недугах.
Курорт ей нужен, смена мест, людей...
(Про себя.)

Чуть не сказал — родни.

Геккерен
(резко)
Мы больше в ваших не нуждаемся услугах!
Пойдем, мой мальчик, в спальне ляг, усни.
(Дантес уходит, поддерживаемый Геккереном.)

Преображенский
Какое горе и какое торжество,
Да, торжество божественного Гения.
К ней, бедной, снизошло
как волшебство,
Нет,
не безумство,
А скорей
прозрение!
В себе лелеял с детства эту месть я.
Есть высший суд — я убедился в том.
Ее запрячут в сумасшедший дом,
Но не запрячешь
в этот дом —
возмездья!

Занавес



ГРЭМ ГРИН

★

ПОЧЕТНЫЙ КОНСУЛ

Роман

Посвящается с любовью Виктории Окомпо, в память о счастливых неделях, которые я провел в Сан-Исидро и Мар-гель-Плата.

Все слито воедино:
добро и зло, великодушие и
правосудие, религия и политика...
Томас Харди

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

Доктор Эдуардо Пларр стоял в маленьком порту на берегу Параны, среди подъездных путей и желтых кранов, глядя на перистую линию дыма, которая стелилась над Чако. Она тянулась между багровыми отсветами заката как полоса на государственном флаге. В этот час доктор Пларр был здесь в одиночестве, если не считать матроса, охранявшего здание порта. В такой вечер таинственное сочетание меркнувшего света и запаха какого-то незнакомого растения в одних пробуждает воспоминания детства и надежды на будущее, а в других ощущение уже почти забытой утраты.

Рельсы, краны, здание порта — их доктор Пларр раньше всего увидел на своей новой родине. Годы тут ничего не изменили, разве что добавили полосу дыма, которая теперь тянулась вдоль горизонта по ту сторону Параны. А более двадцати лет назад, когда они с матерью приехали сюда из Парагвая на ходившем раз в неделю пароходе, завод, откуда шел дым, еще не был построен. Он вспоминал, как отец стоял на набережной в Асунсьоне, возле короткого трапа этого небольшого речного парохода. Высокий, седой, со впалой грудью; он с наигранным оптимизмом утверждал, что скоро к ним придет. Через месяц, а может быть, через три, — надежда скрипела у него в горле как ржавая пружина.

Четырнадцатилетнему мальчику показалось не то чтобы странным, а чуть-чуть чужеземным, что отец как-то почтительно поцеловал жену в лоб, будто это была его мать, а не сожителяница. В те дни доктор Пларр считал себя таким же испанцем, как и его мать, хотя отец у него был родом англичанин. И не только по паспорту, он и по праву принадлежал к легендарному острову снегов и туманов, родине Диккенса и Конан Дойла: правда, у него вряд ли сохранились отчетливые воспоминания о стране, покинутой им в десять лет. Осталась книжка с картинками, подаренная ему перед самым отплытием родителями, — «Панорама Лондона», и Генри Пларр часто ее перелистывал, показывая своему маленькому Эдуардо серые фотографии Букингемского дворца, Тауэра и Оксфорд-стрит, забитой каретами, экипажами и дамами, подбирающими длинные подола юбок. Отец, как позднее понял доктор Пларр, был эмигрантом, а эта часть света полна эмигрантов — итальянцев, чехов, поляков, валлийцев и англичан. Когда доктор Пларр еще мальчиком прочел роман Диккенса, он читал его как иностранец, воспринимая все, что там написано, словно это сегодняшний день, подобно тому как русские до сих пор думают, будто судебный пристав и гробовщик

по-прежнему занимаются своим ремеслом в том мире, где Оливер Твист сидит взаперти в лондонском подвале, подстерегаемый новыми бедами.

В четырнадцать лет он еще не мог сообразить, что заставило отца остаться на набережной старой столицы у реки. Ему понадобилось прожить немало лет в Буэнос-Айресе, прежде чем он понял, до чего непроста эмигрантская жизнь, сколько она требует документов и походов в присутственные места. Простота по праву принадлежала местным уроженцам, тем, кто принимал здешние условия жизни, какими причудливыми бы они ни были, как должное. Испанский язык — романский по происхождению, а римляне были народ простой. *Machismo* — культ мужской силы и гордости — испанский синоним *virtus*¹. В этом понятии мало общего с английской храбростью или умением не падать духом в любых обстоятельствах. Быть может, отец, будучи иностранцем, пытался воображать себя *macho*, когда решил остаться один на один со все возрастающими опасностями по ту сторону парагвайской границы, но в порту он выражал лишь решимость не падать духом.

Маленький Пларр проезжал с матерью этот речной порт по дороге в большую шумную столицу республики на юге, почти в такой же вечерний час (их отплытие задержалось из-за политической демонстрации), и что-то в этом пейзаже — старые дома в колониальном стиле, осыпавшаяся штукатурка на улице за набережной, парочка, сидевшая на скамейке в обнимку, залитая луной статуя обнаженной женщины и бюст адмирала со скромной ирландской фамилией, электрические фонари, похожие на спелые фрукты над ларьком с прохладительными напитками, — так крепко запало в душу молодого Пларра как символ желанного покоя, что в конце концов, почувствовав непреодолимую потребность сбежать от небоскребов, уличных заторов, полицейских сирен, воя санитарных машин и героических статуй освободителей на конях, он решил переехать в этот маленький северный город, что не составляло труда для дипломированного врача из Буэнос-Айреса. Ни один из его столичных друзей или знакомых, с которыми он встречался в кафе, не мог понять, что его на это побудило; его убеждали, что на севере жаркий, сырой, нездоровый климат, а в самом городе никогда ничего не происходит, даже актов насилия.

— Может быть, климат такой нездоровый, что у меня будет побольше практики, — отвечал он с улыбкой, такой же ничего не выражавшей или притворной, как оптимизм его отца.

За годы долгой разлуки они получили в Буэнос-Айресе только одно письмо от отца. Конверт был адресован обоим: *Señora e hijo*² Письмо пришло не по почте. В один прекрасный вечер, года через четыре после приезда, они нашли его под дверью, вернувшись из кино, где в третий раз смотрели «Унесенных ветром». Мать никогда не пропускала случая посмотреть эту картину. Может быть потому, что старый фильм, старые звезды хоть на несколько часов превращали гражданскую войну во что-то неопасное, спокойное. Кларк Гейбл и Вивьен Ли мчались сквозь годы, несмотря на все пули.

На конверте, очень мятом и грязном, значилось: «Из рук в руки», но чьи были эти руки, они так и не узнали. Письмо было написано не на их старой писчей бумаге с элегантно отпечатанным готическим шрифтом названием их *estancia*³, а на линованном листке из дешевой тетради. Письмо, как и голос на набережной, было полно несбыточных надежд. «Обстоятельства, — писал отец, — должны вскоре измениться к лучшему». Но даты на письме не было, и поэтому надежды, вероятно, рухнули задолго до получения ими этого письма. Больше вестей от отца до них не доходило, даже слуха об его аресте или смерти. Письмо отец закончил с истинно испанской церемонностью: «Меня весьма утешает то, что два самых дорогих для меня существа находятся в безопасности. Ваш любящий супруг и отец Генри Пларр».

Доктор Пларр не отдавал себе отчета в том, насколько повлияло на его возвращение в этот маленький речной порт то, что теперь он будет жить почти на границе страны, где он родился и где похоронен его отец — будь то в тюрьме или на клочке земли, который сын его, вероятно, так никогда и не увидит. Тут ему надо лишь проехать несколько километров на северо-восток и поглядеть через излучину реки... Стоит лишь сесть в лодку, как это делают контрабандисты... Иногда он чувствовал себя дозорным, который ждет сигнала. Правда, у него была и более насущная при-

¹ Доблести (лат.). Здесь и далее примечания переводчиков.

² Сеньоре и сыну (исп.).

³ Поместье (исп.).

чина. Как-то раз он признался одной из своих любовниц: «Я уехал из Буэнос-Айреса, чтобы быть подальше от матери». Она и правда, потеряв свою красоту, стала сварливой, вечно оплакивала утрату *estancia* и доживала свой век в огромном, разбросанном, путаном городе с его *fantástica arquitectura*⁴ небоскребов, нелепо торчащих из узеньких улочек и до двадцатого этажа обвешанных рекламами кока-колы.

Доктор Пларр повернулся спиной к порту и продолжал вечернюю прогулку по берегу реки. Небо потемнело, и он уже не различал полосу дыма и очертания противоположного берега. Фонари парама, соединявшего город с Чако, были похожи на светящийся карандаш, карандаш этот медленно вычерчивал волнистую диагональ, преодолевая быстрое течение реки к югу. Три звезды висели в небе, словно бусины разорванных четок, — крест упал куда-то в другое место. Доктор Пларр, который сам не зная почему каждые десять лет возобновлял свой английский паспорт, вдруг почувствовал желание пообщаться с кем-нибудь, кто не был испанцем.

Насколько ему было известно, в городе жили только еще два англичанина: старый учитель, который называл себя доктором наук, хоть никогда и не заглядывал ни в один университет, и Чарли Фортнум — почетный консул. С того утра несколько месяцев назад, когда доктор Пларр сошелся с женой Чарли Фортнума, он чувствовал себя неловко в обществе консула; может быть, его тяготило чувство вины; может быть, раздражало благодушие Чарли Фортнума, который, казалось, так смиренно полагался на верность своей супруги. Он рассказывал скорее с гордостью, чем с беспокойством, о недомогании жены в начале беременности, будто это делало честь его мужским качествам, и у доктора Пларра вертелся на языке вопрос: «А кто же, по-вашему, отец?»

Оставался доктор Хэмфрис... Но было еще рано идти к старику в отель «Боливар», где он живет. сейчас его там не застанешь.

Доктор Пларр сел под одним из белых шаров, освещавших набережную, и вынул из кармана книгу. С этого места он мог присматривать за своей машинсой, стоявшей у ларька кока-колы. Книга, которую он взял с собой, была написана одним из его пациентов — Хорхе Хулио Сааведрой. У Сааведры тоже было звание доктора но на этот раз невымышленное — двадцать лет назад ему присудили почетное звание в столице. Роман, его первый и самый известный, назывался «Сердце-молчальник» и — написанный в тяжеловесном меланхолическом стиле — был преисполнен духа *machismo*.

Доктор Пларр с трудом мог прочесть больше нескольких страниц кряду. Эти благородные, скрытные персонажи латиноамериканской литературы казались ему чересчур примитивными и чересчур героическими, чтобы иметь подлинных прототипов. Руссо и Шатобриан оказали гораздо большее влияние на Южную Америку, чем Фрейд; в Бразилии был даже город, названный в честь Бенжамена Констана. Он прочел: «Хулио Морено часами просиживал молча в те дни, когда ветер безостановочно дул с моря и просаливал несколько гектаров принадлежавшей ему бедной земли, высушивая редкую растительность, едва пережившую прошлый ветер; он сидел поперец голову руками и закрыв глаза, словно хотел спрятаться в темные закоулки своего нутра, куда жена не допускалась. Он никогда не жаловался. А она подолгу простаивала возле него, держа бутылку из тыквы с матэ⁵ в левой руке; когда Хулио Морено открывал глаза, он, не говоря ни слова брал у нее бутылку. И лишь резкие складки вокруг сурового, неукротимого рта чуть смягчались — так он выражал ей благодарность».

Доктору Пларру которого отец воспитывал на книгах Диккенса и Конан Дойла, трудно было читать романы доктора Хорхе Хулио Сааведры, однако он считал, что это входит в его врачебные обязанности. Через несколько дней ему предстоит традиционный обед с доктором Сааведрой в отеле «Националь», и он должен будет как-то отозваться о книге, которую доктор Сааведра так тепло написал: «Моему другу и советчику, доктору Эдуардо Пларру эта моя первая книга, в доказательство того, что я не всегда был политическим романистом и чтобы открыть, как это можно сделать только близкому другу, каковы были первые плоды моего вдохновения». По правде говоря, сам доктор Сааведра был далеко не молчальником, но, как подозревал доктор

⁴ Причудливой архитектурой (*lucn.*).

⁵ Парагвайский чай.

Пларр, он считал себя Морено *manqué*⁶. Быть может, он не зря дал Морено одно из своих имен...

Доктор Пларр никогда не замечал, чтобы кто-нибудь еще в этом городе читал книги вообще. Когда он обедал в гостях, он там видел книги, спрятанные под стекло, чтобы уберечь их от сырости. Но ни разу не видел, чтобы кто-нибудь читал у реки или хотя бы в одном из городских скверов, разве что иногда проглядывал местную газету «Эль литораль». На скамейках сидели влюбленные, усталые женщины с сумками для продуктов, бродяги, но не читатели. Бродяга, как правило, важно занимал целую скамейку. Ни у кого не было охоты сидеть с ним рядом, поэтому, в отличие от остального человечества, он мог растянуться во весь рост.

Привычку к чтению на открытом воздухе доктор Пларр, вероятно, заимствовал у отца, — тот всегда брал с собой книгу, отправляясь работать на ферму, и на пропахшей апельсинами покинутой родине доктор Пларр прочел всего Диккенса, кроме «Рождественских рассказов». Люди, вилевшие, как он сидит на скамейке с открытой книгой, смотрели на него с живым любопытством. Они, наверное, считали, что таков уж обычай у этих иностранных докторов. И в нем сквозило не столько что-то не очень мужественное, сколько явно чужеземное. Здесь мужчины предпочитали беседовать, стоя на углу, сидя за чашкой кофе или высунувшись из окна. И беседея, они все время трогали друг друга руками, либо чтобы подчеркнуть свою мысль, либо просто из дружелюбия. На людях доктор Пларр не дотрагивался ни до кого, только до своей книги. Это, как и его английский паспорт, было признаком того, что он навсегда останется чужаком и никогда здесь не приживется.

Он снова принялся читать: «Сама она работала в нерушимом молчании, приемля тяжкий труд, как и непогоду, как закон природы».

В столице у доктора Сааведры был период, когда он пользовался успехом и у публики и у критики. Когда он почувствовал, что им пренебрегают рецензенты и — что еще обиднее — хозяйки салонов и газетные репортеры, он переехал на север, где его прадед был губернатором, а ему самому оказывали почтение как знаменитому столичному романисту, хотя тут уж наверняка мало кто читал его книги. Но, как ни странно, воображаемая география его романов оставалась неизменной. Где бы он ни жил, свое вымышленное место действия он еще в молодости выбрал раз и навсегда, проведя отпуск в одном приморском городке на крайнем юге, возле Трелью. В жизни он никогда не встречал такого Морено, но однажды в баре маленького отеля увидел человека, который молча сидел, меланхолически глядя на свою выпивку, и тут же вообразил себе очень ясно своего будущего героя.

Доктор Пларр все это узнал еще в столице от старого друга и ревнивого врага писателя; знание прошлого Сааведры ему пригодилось, когда он начал лечить своего пациента от приступов болтливой депрессии. Во всех его книгах снова и снова возникало одно и то же действующее лицо, биография его несколько менялась, но волевое тоскливое молчание сопутствовало ему всегда. Друг и враг, сопровождавший Сааведру в том давнем путешествии на юг, в сердцах воскликнул: «А вы знаете, кто был тот человек? Он был валлиец, валлиец. Где это слыхано: валлиец с *machismo*?! В тех краях уйма валлийцев. Да и был он просто пьян. Напивался каждую неделю, когда приезжал в город».

Паром двинулся к невидимому болотистому берегу, заросшему кустарником, а позже тот же паром вернулся назад. Доктору Пларру было трудно вникать в молчаливую душу Хулио Морено. Жена Морено в конце концов его бросила, променяв на батрака с его плантации, который был молод, красив и разговорчив, но в городе у моря, где ее любовник не мог получить работы, ей жилось плохо. Скоро он стал напиваться в барах, без умолку болтать в постели, и ее обуяла тоска по долгому молчанию и сухой, просоленной земле. Тогда она вернулась к Морено, который, не говоря ни слова, предложил ей место за столом, на котором стояла приготовленная им скудная еда, а потом молча сел в свое кресло, подперев голову рукой, а она встала рядом, держа бутылку с матэ. В книге после этого оставалось еще страниц сто, хотя доктору Пларру казалось, что история на этом могла и закончиться. Однако *machismo* Хулио Морено еще не нашло своего полного выражения, и когда он скупыми словами высказал жене свое намерение посетить город Трелью доктор уже заранее знал, что там произойдет. Хулио Морено встретит в городском баре батрака, и между ними за-

• Несостоявшимся (франц.).

вяжется драка на ножах, где победителем, конечно, будет более молодой. Разве жена не видела в глазах Морено, когда он уезжал, «выражение выбившегося из сил пловца, которого неуловимо влечет темное течение неотвратимой судьбы»?

Нельзя сказать, что доктор Сааведра писал плохо. В его стиле был свой тяжело-весный ритм, и барабанный бой судьбы звучал довольно вятно, но доктора Плэрра часто подмывало сказать своему меланхолическому пациенту: «Жизнь совсем не такая. В жизни нет ни благородства, ни достоинства. Даже в латиноамериканской жизни. Не бывает ничего неотвратимого. В жизни полно неожиданностей. Она абсурдна. И потому, что она абсурдна, всегда есть надежда. Что ж, когда-нибудь мы даже можем открыть средство от рака или от насморка». Он перевернул последнюю страницу. Ну да, конечно Хулио Морено истекал кровью среди разбитого кафеля на полу бара в Трелью, а его жена (как она туда так быстро добралась?) стояла возле него, хотя на этот раз и не держала бутылки с матэ. «Только резкие складки вокруг сурового неукротимого рта разгладились, еще прежде чем закрылись от безмерной тягости жизни его глаза, и она поняла, что он рад ее присутствию».

Доктор Плэрр с раздражением захлопнул книгу. Южный Крест лежал на своей поперечине в этой усыпанной звездами ночи. Глухой черный горизонт не просвечивался ни городскими огнями, ни телевизионными мачтами, ни освещенными окнами. Если он пойдет домой, грозит ли ему еще телефонный звонок?

Когда он вышел от своей последней пациентки — жены министра финансов, страдавшей легкой лихорадкой, — он решил не возвращаться домой до утра. Ему хотелось быть подальше от телефона, пока не станет слишком поздно для звонка не по врачебной надобности. В этот день и час его могли побеспокоить только по одной причине. Он знал, что Чарли Фортнум обедает у губернатора — тот нуждался в переводчице для своего почетного гостя — американского посла. А Клара, которая уже преодолела свою боязнь телефона, вполне могла позвонить ему и позвать к себе, пользуясь отсутствием мужа, но ему вовсе не хотелось ее видеть именно в этот вторник. Его влечение к ней парализовало беспокойство. Он знал, что Чарли мог неожиданно вернуться, — ведь обед рано или поздно должны были отменить, хотя о причине этого он не имел права знать заранее.

Доктор Плэрр решил, что лучше ему быть где-нибудь подальше до полуночи. К этому времени прием у губернатора наверняка кончится и Чарли Фортнум отправится домой. Я не из тех, из кого так и брызжет machismo, уныло подумал доктор Плэрр, хотя ему трудно было вообразить, чтобы Чарли Фортнум кинулся на него с ножом. Он встал со скамьи. Было уже достаточно поздно для визита к преподавателю английского языка.

Он не нашел доктора Хэмфриса, как ожидал, в отеле «Боливар». У Хэмфриса там был маленький номер с душем на первом этаже: окно выходило на патио с пыльной пальмой и фонтаном без воды. Дверь он оставлял незапертой, что, как видно, говорило о его вере в устойчивость существования. Доктор Плэрр вспомнил, как по ночам в Парагвае его отец запирает даже внутренние двери в доме — в спальнях, уборных, пустых комнатах для гостей, — не от воров, а от полиции, от военных и правительственных убийц, хотя их вряд ли надолго задержали бы замки.

В комнате доктора Хэмфриса едва помещались кровать, туалетный стол, два стула, таз и душ. Между ними приходилось пробираться, как в набитом пассажирами вагоне подземки. Доктор Плэрр заметил, что доктор Хэмфрис приклеил к стене новую картинку из испанского издания журнала «Лайф» — фотографию королевы верхом на лошади во время церемонии выноса знамени. Выбор этот вовсе не обязательно выражал тоску по родине или патриотизм: на штукатурке то и дело выступали сырые пятна, и доктор Хэмфрис прикрывал их первой попавшейся картинкой. Однако этот выбор все же свидетельствовал о некоторых его склонностях: ему было приятнее, просыпаясь, видеть лицо королевы, а не мистера Никсона (лицо мистера Никсона несомненно мелькало в том же номере «Лайфа»). В комнатке было прохладно, но прохладу пронизывала сырость. У душа за пластиковой занавеской сработалась прокладка, и вода капала на кафель. Узкая кровать была скорее прикрыта, чем застелена; мягкая простыня казалась наскорю накинутой на чей-то груз, а москитная сетка свернулась наверху как серое дождевое облако. Доктору Плэрру было жалко самозванного доктора филологии: любому человеку по своей воле — если кто-либо вообще в себе волен — вряд ли захотелось бы ожидать своего конца в такой обстановке. Отцу моему, поду-

мал он с тревогой, сейчас примерно столько же лет, сколько Хэмфрису, а он, быть может, доживает свой век в еще худшей обстановке.

За раму зеркала была сунута записка: «Пошел в Итальянский клуб». Хэмфрис, вероятно, ждал ученика и поэтому оставил дверь незапертой. Итальянский клуб помещался напротив, в когда-то пышном здании колониального стиля. Там стоял чей-то бюст, вероятно, Кавура или Мадзини, но камень был выщерблен и надпись стерлась; его установили между домом, чьи высокие окна были увиты каменными гириандами, и улицей. Прежде в городе жило много итальянцев, но теперь от клуба осталось только название, бюст и внушительный фасад с датой XIX века римскими цифрами. Внутри было расставлено несколько столиков, где можно было недорого поесть, не платя членского взноса, а в городе проживал лишь один итальянец, одинокий официант, уроженец Неаполя. Повар был венгром и готовил только гуляш — блюдо, в котором легко было скрыть качество продуктов, что было мудро, потому что говядина получше отправлялась по реке в столицу, за восемьсот с лишним километров отсюда.

Доктор Хэмфрис сидел за столиком у открытого окна, заправив салфетку за потерявший воротник. Какая бы ни стояла жара, он всегда носил костюм с жилетом и галстуком, словно писатель викторианской эпохи, живущий во Флоренции. На носу у него сидели очки в стальной оправе, видно, выписанные много лет назад, потому что он низко склонился над гуляшом, чтобы получше разглядеть, что ест. Седые волосы кое-где по-молодому желтели от никотина, а на салфетке были пятна почти такого же цвета от гуляша.

— Добрый вечер, доктор Хэмфрис, — сказал Плarr.

— Значит, вы нашли мою записку?

— Да я все равно заглянул бы сюда. Откуда вы знали, что я к вам приду?

— Этого я не знал, доктор Плarr. Но полагал, что кто-нибудь вдруг да заглянет...

— Я хотел предложить вам пообедать в «Национале», — сказал доктор Плarr.

Он поискал глазами официанта, не предвкушая от обеда никакого удовольствия. Они были тут единственными посетителями.

— Очень мило с вашей стороны, — сказал доктор Хэмфрис. — С удовольствием приму ваше приглашение на другой день, если вы будете любезны его перенести. Гуляш здесь не так уж плох, правда, он надоедает, но зато сытный.

Старик был очень худ. Он производил впечатление прилежного едока, который тщетно надеется наполнить ненасытную утробу.

За неимением лучшего доктор Плarr тоже заказал гуляш. Доктор Хэмфрис сказал:

— Вот не ждал, что вас увижу. Я-то думал, что губернатор вас пригласит... Ему сегодня на обеде нужен человек, говорящий по-английски.

Доктор Плarr понял, почему в зеркальную раму воткнута записка. На приеме у губернатора в последнюю минуту могла произойти накладка. Так уже однажды было, и тогда туда вызвали доктора Хэмфриса... В конце концов в городе было всего три англичанина. Он сказал:

— Губернатор пригласил Чарли Фортнума.

— Ну да, естественно, — сказал доктор Хэмфрис, — нашего почетного консула.— Он подчеркнул эпитет «почетный» со злобой и уничижением.— Обед-то ведь дипломатический. А жена почетного консула, наверное, не смогла присутствовать по причине нездоровья?

— Американский посол не женат. Это не официальный обед — холостяцкая пирушка.

— Что ж, вполне подходящий случай, чтобы пригласить миссис Фортнум развлекать гостей. Она, верно, привыкла к холостяцким пирушкам. Да, но почему бы губернатору не пригласить вас или меня?

— Будьте объективны, доктор. Ни вы, ни я не занимаем официального положения.

— Но мы же гораздо лучше осведомлены об иезуитских развалинах, чем Чарли Фортнум. Если верить «Эль литораль», посол приехал осматривать развалины, а не чайные плятации или посевы матэ, хотя это мало похоже на истину. Американские послы обычно люди деловые.

— Новый посол хочет произвести впечатление, — сказал доктор Плarr.— Как знаток искусства и истории. Он не может позволить себе прослыть купчиком, который хочет перебить у кого-то сделку. Желает показать, что у него научный, а не коммерческий

интерес к нашей провинции. Секретарь по финансовым вопросам тоже не приглашен, хотя он немного говорит по-английски. Не то заподозрили бы, что речь пойдет о какой-то сделке.

— А сам посол неужели не говорит по-испански хотя бы настолько, чтобы прозвонить вежливый тост и несколько банальностей?

— По слухам, он делает большие успехи.

— Как вы всегда все знаете, Плэрр. Я-то свои сведения получаю только из «Эль литораль». Он ведь завтра едет осматривать руины, а?

— Нет, он ездил туда сегодня. А ночью летит назад в Буэнос-Айрес.

— Значит, газета ошиблась?

— В официальной программе были неточности. Думаю, что губернатор хотел избежать каких-либо неприятностей.

— Неприятности у нас? Ну, знаете! За двадцать лет я не видел здесь ни одной неприятности. Они случаются только в Кордове. А гуляш ведь не так уж плох, а? — спросил он с надеждой.

— Едал и похуже, — сказал доктор Плэрр, даже не пытаясь вспомнить, когда это было.

— Вижу, вы читали одну из книг Сааведры. Как она вам понравилась?

— Очень талантливо, — сказал доктор Плэрр. Он, как и губернатор, избегал неприятностей, а в тоне старика почувствовал злобу, живучую и неутомимую, — всякая сдержанность давно была им утрачена от долголетнего пренебрежения окружающих.

— Вы правда в состоянии читать эту белиберду? И верите в их machismo?

— Пока я читаю, мне удается справиться с моим скепсисом, — осторожно выразился Плэрр.

— Ох уж эти аргентинцы все они верят, что их деды скакали с гаучо в прериях. У Сааведры столько же machismo, сколько у Чарли Фортнума. Это правда, что у Чарли будет ребенок?

— Да.

— А кто счастливый папаша?

— Почему им не может быть Чарли?

— Старик и пьяница? Вы же ее врач, Плэрр. Ну, откройте хоть капельку правды.

Я не прошу чтобы всю.

— А почему вы так добиваетесь правды?

— В противовес общему мнению правда почти всегда бывает забавной. Люди стараются выдумывать только трагедии. Если бы вы знали, из чего сварганили этот гуляш, вы бы хохотали до упаду.

— А вы знаете?

— Нет. Все кругом сговариваются, чтобы скрыть от меня правду. Даже вы мне лжете.

— Я?

— Лжете относительно романа Сааведры и ребенка Чарли Фортнума. Дай ему бог, чтобы это была девочка.

— Почему?

— Гораздо труднее по сходству определить отца. — Доктор Хэмфрис стал вытирать куском хлеба тарелку. — Скажите, доктор, почему я всегда хочу есть? Я ем невкусно но съедаю огромное количество того, что зовется питательной пищей.

— Если вы действительно хотите знать правду я должен вас осмотреть, сделать рентген...

— Ой нет. Я хочу знать правду только о других. Смешными бывают только другие.

— Тогда зачем вы спрашиваете?

— Вступление к разговору, — сказал старик, — и чтобы скрыть смущение от того, что я беру последний кусок хлеба

— Они что, экономят на нас хлеб? — Доктор Плэрр крикнул через вереницу пустых столиков: — Официант принесите еще хлеба!

Единственный здешний итальянец шаркая подошел к ним. Он принес хлебницу с тремя ломтиками хлеба и наблюдал с глубочайшей тревогой как число их свелось к одному. Можно было подумать, что он — молодой член мафии, нарушивший приказ главаря.

— Вы заметили, какой он сделал знак? — спросил доктор Хэмфрис.

— Нет.

— Выставил два пальца. Против дурного глаза. Он думает, что у меня дурной глаз.

— Почему?

— Я как-то непочтительно выразился об их мадонне.

— Не сыграть ли нам, когда вы кончите, в шахматы? — спросил доктор Пларр. Ему надо было как-то скоротать время подалее от своей квартиры и телефона возле кровати.

— Я уже кончил.

Они вернулись в чересчур обжитую комнату в отеле «Боливар». Управляющий читал в патио «Эль литораль», расстегнув ширинку для прохлады. Он сказал:

— Доктор, вас спрашивали по телефону.

— Меня? — взволнованно спросил Хэмфрис. — Кто? Что вы ему сказали?

— Нет, профессор, спрашивали доктора Пларра. Женщина. Она думала, что доктор, может быть, у вас.

— Если она снова позвонит, не говорите, что я здесь, — сказал Пларр.

— Неужели вам не любопытно знать, кто это? — спросил Хэмфрис.

— Я догадываюсь, кто это может быть.

— Не пациентка, а?

— Пациентка. Но ничего срочного. Ничего опасного.

Доктор Пларр получил мат меньше чем за двадцать ходов и стал нетерпеливо расставлять фигуры снова.

— Что бы вы ни говорили, но вас что-то беспокоит, — сказал старик.

— Этот чертов душ. Кап-кап-кап. Почему вы не скажете, чтобы его починили?

— А что в нем плохого? Успокаивает. Усыпляет, как колыбельная.

Доктор Хэмфрис начал партию пешкой от короля.

— E2 — E4, — сказал он. — Даже великий Капабланка иногда начинал с такого простого хода. А у Чарли Фортнума новый «кадиллак», — добавил он.

— Да.

— Сколько лет вашему доморощенному «фиату»?

— Четыре или пять.

— Выгодно быть консулом, а? Имеешь разрешение каждые два года ввозить новую машину. У него наверняка есть генерал в столице, который ждет не дождется ее купить.

— Вероятно. Ваш ход.

— Если он сделает консулом и свою жену, они смогут ввозить по машине каждый год. А это целое богатство. В консульской службе есть половые ограничения?

— Я их правил не знаю.

— Как вы думаете, сколько он заплатил за свой пост?

— Это сплетни, Хэмфрис. Ничего он не заплатил. Наше министерство иностранных дел такими вещами не занимается. Какие-то очень важные лица пожелали осмотреть руины. Испанского они не знали. Чарли Фортнум устроил им хороший прием. Все очень просто. И удачно для него. С урожаями матэ дела у него шли неважно, и возможность покупать по «кадиллаку» через год сильно поправила его положение.

— Да, можно сказать, что он и женился на деньги от «кадиллака». Но меня удивляет, что за эту свою женщину ему пришлось заплатить целым «кадиллаком». Право же, хватило бы и малолитражки.

— Я несправедлив, — сказал Пларр. — Дело не только в том, что он обхаживал королевских особ. В нашей провинции тогда было много англичан, вы это знаете лучше меня. И один среди них попал на границе в беду, когда через нее перешли партизаны, а у Фортнума были связи. Он избавил посла от больших неприятностей. Ему, конечно, все же повезло, не все послы такие благодарные люди.

— Поэтому, если мы попадем в переplet, нам остается надеяться на Чарли Фортнума. Шах.

Доктору Пларру пришлось отдать королеву в обмен на слона. Он сказал:

— Бывают люди и похуже Чарли Фортнума.

— Вы уже попали в переplet, но Чарли Фортнум вас не спасет.

Доктор Плarr быстро поднял глаза от доски, но старик имел в виду только партию в шахматы.

— Снова шах, — сказал Хэмфрис. — И мат. — Он добавил: — Этот душ течет уже полгода. Вы не всегда так легко мне проигрываете, как сегодня.

— Вы стали лучше играть.

Глава II

Доктор Плarr отказался от третьей партии и поехал домой. Он жил на верхнем этаже желтого многоквартирного дома, выходившего на Парану. Этот дом был бельмом на глазу у старого колониального города, однако желтый цвет с годами все больше линял, да, впрочем, доктор и не мог позволить себе собственного дома, пока жива была мать. Просто не поверишь, сколько женщина может истратить в столице на пирожные.

Когда доктор Плarr закрывал ставни, реку пересекал последний паром, а когда лег в постель, то услышал шум самолета, медленно делавшего в небе круг. Шел он очень низко, словно лишь несколько минут назад оторвался от земли. Это явно не был реактивный самолет, пролетавший над городом по пути в Буэнос-Айрес или Асунсьон, да и час был чересчур поздний для дальнего пассажирского рейса. Плarr подумал, уж не самолет ли это американского посла, хотя и не ожидал его услышать. Он погасил свет и лежал в темноте, раздумывая о том, как легко могла сорваться вся их затея, пока шум самолета не стих, удаляясь на юг. Ему очень хотелось поднять трубку и набрать номер Чарли Фортнума, но он не мог придумать повода для звонка в такой поздний час. Нельзя же спросить, понравились ли послу руины? Хорошо ли прошел обед? Надеюсь, что у губернатора вам подали хорошие бифштексы? Он не имел обыкновения болтать с Чарли Фортнумом в такое время — Чарли слишком любил свою жену.

Плarr снова включил свет — лучше почитать, чем вот так мучиться неведением; он заранее знал, чем кончится книга доктора Сааведры, и она оказалась отличным снотворным. Движения по набережной уже почти не было; раз только с ревом пронеслась полицейская машина, но доктор Плarr скоро заснул, так и не погасив света.

Разбудил его телефонный звонок. Часы показывали ровно два часа ночи. Он знал, что ему вряд ли в это время позвонит кто-нибудь из пациентов.

— Слушаю, — сказал он. — Кто говорит?

Голос, которого он не узнал, ответил с большой осторожностью:

— Спектакль прошел удачно.

— Кто вы? Зачем вы это мне говорите? Какой спектакль? Какое мне до этого дело?

В голосе его от страха звучало раздражение.

— Нас беспокоит один из исполнителей. Он заболел.

— Не понимаю, о чем вы говорите.

— Мы опасаемся, что роль была ему не под силу.

Они никогда еще не звонили ему так открыто и в такой подозрительный час. У него не было оснований опасаться, что телефон прослушивается, но они не имели права рисковать. За беженцами с севера в пограничном районе еще со времен партизанских боев велось — хоть и не слишком пристальное — наблюдение, отчасти для их же собственной безопасности: бывали случаи, когда людей насильно утаскивали через Парану домой в Парагвай, чтобы там их убить. Как, например, врача-эмигранта в Посадасе... С тех пор как ему сообщили план спектакля, этот случай — хотя бы потому, что там тоже был замешан его коллега врач, — не выходил у него из головы. Телефонный звонок к нему на квартиру мог быть оправдан лишь крайней необходимостью. Смерть одного из участников спектакля — по тем правилам, какие они сами для себя установили, — была в порядке вещей и ничего не оправдывала.

— Не понимаю, о чем вы говорите. Вы ошиблись номером, — сказал он.

Он положил трубку и лег, глядя на телефон, словно это была черная ядовитая гадина, которая непременно ужалит снова. Две минуты спустя так и случилось, и ему пришлось взять трубку, — это ведь мог быть самый обыкновенный пациент.

— Слушаю, кто говорит?

Тот же голос произнес:

— Вам надо приехать. Он при смерти.

Доктор Пларр, сдаваясь, спросил:

— Чего вы от меня хотите?

— Выйдите на улицу. Мы вас подберем ровно через пять минут. Если нас не будет, выйдите еще раз через десять минут. После этого выходите через каждые пять минут.

— Сколько на ваших часах?

— Шесть минут третьего.

Доктор надел рубашку и брюки; потом положил в портфель то, что могло ему понадобится (скорее всего речь шла о пулевом ранении), и тихо спустился по лестнице в одних носках. Он знал, что шум лифта проникает сквозь тонкие стены каждой квартиры. В десять минут третьего он уже стоял возле дома, в двенадцать минут третьего он ждал на улице, а в восемнадцать минут опять вошел в дом. Страх приводил его в бешенство. Его свобода, а может быть, и жизнь находились в руках безнадёжных растяп. Он знал только двух членов группы, они учились с ним в Асунсьоне, а те, с кем ты провел детство, кажется, так и не становятся взрослыми. У него было не больше веры в их деловую сноровку, чем тогда, когда они были студентами; организация, в которую они когда-то входили в Парагвае, — «Ювентуд фебрериста» мало чего добилась, разве что погубила большинство своих членов в ходе плохо задуманной и дурно проведенной партизанской акции.

Однако именно эта лихотельщина и вовлекла его в то сообщество. В планы их он не верил и слушал их только по дружбе. Когда он расспрашивал, что они будут делать в тех или иных обстоятельствах, жестокость ответов казалась ему своего рода актерством (они все трое играли небольшие роли в школьной постановке «Макбета» — прозаический перевод не делал события пьесы более достоверными).

А теперь, стоя в темном вестибюле и напряженно вглядываясь в светящийся циферблат часов, он понимал, что никогда ни на йоту не верил, что они перейдут к действиям. Даже тогда, когда дал им точные сведения о том, где будет находиться американский посол (подробности он узнал у Чарли Фортнума за стаканом виски), и снабдил их снотворным, он ни на минуту не сомневался, что ничего не произойдет. И только когда, проснувшись утром, услышал голос Леона: «Спектакль идет удачно», — ему подумалось, что эти любители все же могут быть опасными. Кто же теперь умирает — Леон Ривас? Или Акуино?

Было двадцать две минуты третьего, когда он вышел на улицу в третий раз. За угол дома завернула машина и остановилась, но мотора не выключили. Ему махнули рукой.

Насколько он мог разглядеть при свете щитка, человек за рулем был ему неизвестен, но его спутника он узнал и в темноте по жидкой бородке. Акуино отрастил эту бородку в полицейской камере и там же начал писать стихи, там же в камере он приобрел неудержимое пристрастие к чипа — непропеченным лепешкам из маниоки, — к ним можно пристраститься только с голодухи.

— Что случилось, Акуино?

— Машина не заводилась. Засорился карбюратор. Верно, Диего? А кроме того, там был полицейский патруль.

— Я спрашиваю, кто умирает?

— Надеемся, что никто.

— А Леон?

— В порядке.

— Зачем же ты позвонил? Ведь обещал меня не впутывать. И Леон обещал.

Он бы ни за что не согласился им помогать, если бы не Леон Ривас. Это по Леону он скучал почти так же, как по отцу, когда ульыл с матерью на речном пароходе. Леон был тем, чьему слову, как ему казалось, он всегда мог верить, хотя потом он как будто нарушил свое слово, когда по дошедшим до Пларра слухам стал священником, а не бесстрашным *abogado*⁷, который защищает бедных и невинных, как Перри Мейсон⁸. В школьные годы у Леона было громадное собрание Перри Мейсонов, топорно переведенных языком классической испанской прозы. Он давал их читать только избранным друзьям, да и то нехотя и не больше чем по одной книжке за раз.

⁷ Адвокатом (*исп.*).

⁸ Герой серии детективных повестей американского писателя Э. С. Гарднера.

Секретарша Перри Мейсона Делла была первой женщиной, пробудившей у Пларра вожделение.

— Отец Ривас сказал, чтобы мы вас привезли, — объяснил человек, которого звали Диего.

Пларр заметил, что он продолжает называть Леона отцом, хотя тот вторично нарушил обет, поживив дерковь и вступив в брак, правда, этот невыполненный обет мало занимал Пларра, который никогда не ходил к мессе, разве что сопровождая мать во время редких наездов в столицу. Теперь выходит, что после ряда неудач Леон пытается вернуться вспять, к первоначальному обету помогать бедноте, который он, правда, и не собирался нарушить. Он еще кончит abogado. Они свернули в Тукуман, а оттуда в Сан-Мартин, но потом доктор Пларр уже старался не смотреть в окно. Лучше не знать, куда они едут. Если случится беда, меньше выдашь на допросе.

Они ехали так быстро, что могли привлечь к себе внимание. Пларр спросил:

— А вы не боитесь полицейских патрулей?

— Леон все их засек. Он изучал их маршруты целый месяц.

— Но сегодня ведь не совсем обычный день.

— Машину после найдут в верховьях Параны. Они будут обыскивать каждый дом на берегу и предупредят тех, в Энкарнасьоне, по ту сторону реки. Поставят заставы на дороге в Росарио. Поэтому патрулей здесь осталось меньше. Им нужны люди в других местах. А тут они скорее всего не будут его искать, ведь губернатор ждет его дома, чтобы везти в аэропорт.

— Надеюсь, все это так.

Когда машина, накрываясь, сворачивала за угол, доктор Пларр невольно поднял глаза и увидел на тротуаре шезлонг, в котором восседала тучная пожилая женщина; он ее узнал, равно как и маленькую открытую дверь у нее за спиной, — женщину звали сеньорой Санчес, и она никогда не ложилась спать, пока не уходил последний клиент. Это была самая богатая женщина в городе — так, по крайней мере, здесь считали.

Доктор Пларр спросил:

— Как прошел обед у губернатора? Сколько пришлось ждать?

Он представил себе, какая там царит растерянность. Ведь нельзя же обзвонить по телефону все развалины?

— Не знаю.

— Но кого-то вы же оставили для наблюдения?

— У нас и так было дел невпроворот.

Опять любительщина; доктор Пларр подумал, что Сааведра придумал бы сюжет получше. Изобретательности, не в пример machismo, явно не доставало.

— Я слышал шум мотора. Это был самолет посла?

— Если посла, то назад он полетел пустой.

— Кажется, вы не очень-то осведомлены, — сказал доктор Пларр. — А кто же ранен?

Автомобиль резко затормозил на краю проселка.

— Здесь мы выходим, — сказал Акуино.

Когда Пларр вышел, он услышал, как машина, дав задний ход, проехала несколько метров. Он постоял, глядя в темноту, пока не увидел при свете звезд, куда его привезли. Это была часть бидонвиля⁹, тянувшегося между излучиной реки и городом. Проселок был ненамного уже городской улицы, и он едва разглядел хижину из старых бензиновых баков, обмазанных глиной, спрятавшуюся за деревьями авокадо. Когда глаза его привыкли к темноте, Пларр сумел различить и другие хижины, притаившиеся между деревьями, словно бойцы в засаде. Акуино повел его вперед. Ноги доктора тонули в грязи выше щиколотки. Даже «джипу» быстро здесь не пройти. Если полиция устроит облаву, об этом станет известно заранее. Может быть, любители все же что-то соображают.

— Он тут? — спросил Пларр у Акуино.

— Кто?

— О господи, ведь тут на деревьях нет микрофонов. Да конечно послал!

— Он-то здесь. Но после укола так и не очнулся.

Они старались продвигаться по немощеному проселку как можно быстрее и ми-

* Поселок, построенный бедняками из случайных материалов.

новали несколько темных хижин. Стояла неправдоподобная тишина — даже детского плача не было слышно. Доктор Плэрр остановился перевести дух.

— Здесьние люди должны были слышать вашу машину,— прошептал он.

— Они ничего не скажут. Думают, что мы контрабандисты. И как вы знаете, они не очень-то благоволят к полиции.

Диэго свернул в сторону, по тропинке, где грязь была еще более топкой. Дождь не шел уже два дня, но в этом квартале бедноты грязь не просыхала, пока не наступит настоящая засуха. У воды не было стока, однако доктор Плэрр знал, что жителям приходится тащиться чуть не мило до крана с питьевой водой. У детей — а он лечил тут многих детей — животы были вздуты от недостатка белков в пище. Вероятно, он много раз ходил по этой тропинке, но как ее отличить от других? — когда он посещал здесьних больных, ему всегда нужен был провожатый. Плэрру почему-то вспомнилось «Сердце-молчальник». Драться с ножом в руке за свою честь из-за женщины было из другой, до смешного допотопной жизни, которая если и существовала теперь, то лишь в романтическом воображении таких, как Сааведра. Понятия чести нет у голодных. Их удел нечто более серьезное — битва за существование.

— Это ты, Эдуардо? — спросил чей-то голос.

— Да, а это ты, Леон?

Кто-то поднял свечу, чтобы он не споткнулся о порог. Дверь за ним поспешно закрыли.

При свете свечи он увидел человека, которого все еще звали отцом Ривасом. В тенниске и джинсах Леон выглядел таким же худым подростком, какого он знал в стране по ту сторону границы. Карие глаза были чересчур велики для его лица, большие оттопыренные уши придавали ему сходство с маленькой дворяжкой, которые стаями бродят по *barrio popular*¹⁰. В глазах светилась все та же мягкая преданность, а торчащие уши подчеркивали беззащитность. Несмотря на годы, его можно было принять за робкого семинариста.

— Как ты долго, Эдуардо, — мягко упрекнул он.

— Пеняй на своего шофера Диэго.

— Посол все еще без сознания. Нам пришлось сделать ему второй укол. Так сильно он вырывался.

— Я же тебе говорил, что второй укол — это опасно.

— Все опасно, — ласково сказал отец Ривас, словно предостерегал в исповедальне от соблазнов плоти.

Пока доктор Плэрр раскрывал свой чемоданчик, отец Ривас продолжал:

— Он очень тяжело дышит.

— А что вы будете делать, если он совсем перестанет дышать?

— Придется изменить тактику.

— Как?

— Придется объявить, что он был казнен. Революционное правосудие, — добавил он с горькой усмешкой. — Прошу тебя, пожалуйста, сделай все, что можешь.

— Конечно.

— Мы не хотим, чтобы он умер, — сказал отец Ривас. — Наше дело спасать человеческие жизни.

Они вошли в другую комнату — их было всего две, — где длинный ящик — он не понял, что это за ящик, — застелив его несколькими одеялами, превратили в импровизированную кровать. Доктор Плэрр услышал тяжелое, неровное дыхание человека под наркозом — тот словно силился очнуться от кошмара. Он сказал:

— Посвети поближе.

Нагнувшись, он поглядел на воспаленное лицо. И долгое время не мог поверить своим глазам. Потом громко захохотал, потрясенный тем, что увидел.

— Ох, Леон, — сказал он, — плохо же ты выбрал профессию!

— Ты это к чему?

— Лучше вернись под церковную сень. Похищать людей не твоя стихия.

— Не понимаю. Он умирает?

— Не беспокойся, — сказал доктор Плэрр, — он не умрет, но это не американский посол.

— Не..

— Это Чарли Фортнум.

¹⁰ Квартал, околотов бедноты (*исп.*).

— Кто такой Чарли Фортнум?

— Наш почетный консул.— Доктор Плarr произнес это так же издевательски, как доктор Хэмфрис.

— Не может быть!— воскликнул отец Ривас.

— В жилах Чарли Фортнума течет алкоголь, а не кровь. Морфий, который я вам дал, не подействовал бы на посла так сильно. Посол остерегается алкоголя. Для сегодняшнего обеда пришлось добывать кока-колу. Мне это рассказывал Чарли. Немного погодя он придет в себя. Пусть проспитя.— Однако не успел он выйти из комнаты как человек, лежавший на ящике, открыл глаза и уставился на доктора Плarr, а тот уставился на него. Надо было все же удостовериться в том, что тебя узнали.

— Отвезите меня домой,— сказал Фортнум,— домой.— И перевернулся на бок в еще более глубоком забытии.

— Он тебя узнал? — спросил отец Ривас.

— Почему я знаю?

— Если он тебя узнал, это сильно осложняет дело.

В соседней комнате зажгли вторую свечу, но никто не произносил ни слова, будто все ждали друг от друга подсказки, что делать дальше. Наконец Акуино произнес:

— Эль Тигре будет недоволен.

— Чистая комедия, если подумаешь,— сказал доктор Плarr.— Наверное, тот самолет, что я слышал, был самолетом посла, и посол на нем улетел. Назад, в Буэнос-Айрес. Не пойму, как же на обеде у губернатора обошлись без переводчика.

Он перевел взгляд с одного лица на другое, но никто не улыбнулся в ответ.

В комнате было два незнакомых ему человека, но Плarr заметил еще и женщину, лежавшую в темном углу,— сначала он принял ее за брошенное на пол пончо. Один из незнакомцев был рябой негр, другой индеец — сейчас он наконец заговорил. Слов понять Плarr не мог, говорил он не по-испански.

— Что он сказал, Леон?

— Мигель считает, что его надо утопить в реке.

— А ты что сказал?

— Я сказал, что если мертвеца найдут в трехстах километрах от машины, полицию это очень заинтересует.

— Дурацкая идея,— сказал доктор Плarr.— Вы не можете убить Чарли Фортнума.

— Я стараюсь даже мысленно не употреблять таких выражений, Эдуардо.

— Разве убийство для тебя теперь только вопрос семантики? Правда, семантика всегда была твоим коньком. В те дни ты объяснял мне, что такое троица, но твои объяснения были куда сложнее катехизиса.

— Мы не хотим его убивать,— сказал отец Ривас,— но что нам делать? Он тебя видел.

— Он ничего не будет помнить, когда проснется. Чарли все забывает, когда напивается. Как же вас угрозидло совершить такую ошибку? — добавил доктор Плarr.

— Это я должен выяснить,— ответил отец Ривас и заговорил на гуарани¹¹.

Доктор Плarr взял одну из свечей и подошел к двери второй комнаты. Чарли Фортнум мирно спал на ящике, словно у себя дома на большой медной кровати, где обычно лежал на боку возле окна. Когда доктор спал там с Кларой, брезгливость заставляла его ложиться с левого края, ближе к двери.

Лицо Чарли Фортнума, сколько он его знал, всегда выглядело воспаленным. У него было высокое давление, и он злоупотреблял виски. Ему шел седьмой десяток, но жидкие волосы сохранили пепельную окраску, как у мальчика, а румянец неопытному глазу мог показаться признаком здоровья. У него был вид фермера, человека, который живет на открытом воздухе. Он и правда владел поместьем в пятидесяти километрах от города, где выращивал немного зерна, а больше мат. Он любил трястись от поля к полю на старом «лендровере», который звал «Гордостью Фортнума». «Ну-ка галопом,— говорил он, со скрежетом переводя скорость,— гопля!»

А сейчас он вдруг поднял руку и помахал ею. Глаза у него были закрыты. Ему что-то снилось. Может, он думал, что машет своей жене и доктору, предоставляя им решать на веранде свои скучные медицинские дела. «Женские внутренности — никак

¹¹ Язык индейской народности Южной Америки.

в них не разберешься,— однажды сказал ему Чарли Фортнум.— Как-нибудь нарисуйте мне их чертеж».

Доктор Пларр быстро вышел в переднюю комнату.

— Он в порядке, Леон. Можете спокойно выкинуть его где-нибудь на обочине дороги, полиция его найдет.

— Этого мы сделать не можем. А что если он тебя узнал?

— Он крепко спит. Да и ничего не скажет мне во вред. Мы старые друзья.

— Я, кажется, понял, как это произошло,— сказал отец Ривас.— Сведения, которые ты нам дал, были довольно точными. Посол приехал из Буэнос-Айреса на машине; трое суток провел в дороге, потому что хотел посмотреть страну, посольство послало из Буэнос-Айреса за ним самолет, чтобы отвезти его назад после обеда у губернатора. Все это подтвердилось, но ты не сказал, что смотреть руины поедет с ним ваш консул.

— Я этого не знал. Чарли рассказал мне только про обед.

— Он и ехал-то не в машине посла. Тогда бы мы, по крайней мере, захватили обоих. Как видно, сел в свою машину, а потом решил вернуться, посол же оставался там. Наши люди ожидали, что пройдет только одна машина. Дозорный дал световой сигнал, когда она проехала. Он видел флаг.

— Британский, а не звездно-полосатый. Но Чарли не имеет права ни на тот, ни на этот.

— В темноте не разглядишь, но было сказано, что на машине будет дипломатический номер.

— Буквы были тоже не совсем те.

— И буквы, когда темно и машина на ходу, не очень-то различишь. Наш человек не виноват. Один, в темноте, вероятно, еще и напуган. Могло случиться и со мной и с тобой. Не повезло.

— Полиция, может, еще и не знает, что произошло с Фортнумом. Если вы его быстро отпустите...

В ответ на их настороженное молчание доктор Пларр заговорил, как адвокат в суде.

— Чарли Фортнум не годится в заложники,— сказал он.

— Он член дипломатического корпуса,— заметил Акуино.

— Нет. Почетный консул — это не настоящий консул.

— Английский посол вынужден будет принять меры.

— Естественно. Сообщит об этом деле своему начальству. Как и насчет любого британского подданного. Если бы вы захватили меня или старого Хэмфриса, было бы то же самое.

— Англичане попросят американцев оказать давление на Генерала в Асунсьоне.

— Будьте уверены, что американцы и не подумают за него заступаться. С какой стати? Они не пожелают сердить своего друга Генерала ради Чарли Фортнума.

— Но он же британский консул.

Доктор Пларр уже отчаивался убедить их, до чего незначительная персона этот Чарли Фортнум.

— У него даже нет права на дипломатический номер для своей машины,— ответил он.— Имел из-за этого неприятности.

— Ты его, видно, хорошо знал? — спросил отец Ривас.

— Да.

— И тебе он нравился?

— Да. В какой-то мере.

То, что Леон говорит о Фортнуме в прошедшем времени, было дурным признаком.

— Жаль. Я тебя понимаю. Гораздо удобнее иметь дело с чужими. Как в исповедальне. Мне всегда бывало неприятно, когда я узнавал голос. Куда легче быть суровым с незнакомыми.

— Что тебе даст, если ты его не отпустишь, Леон?

— Мы перешли границу, чтобы совершить определенную акцию. Многие наши сторонники будут разочарованы, если мы ничего не добьемся. В нашем положении непременно надо чего-то добиться. Даже похищение консула — это уже кое-что.

— Почетного консула,— поправил его доктор Пларр.

— Оно послужит предостережением более важным лицам. Может, они отнесутся серьезнее к нашим угрозам. Маленькая тактическая победа в долгой войне.

— Значит, как я понимаю, ты готов выслушать исповедь незнакомца и дать ему отпущение грехов перед тем, как его убьешь? Ведь Чарли Фортнум — католик. Ему будет приятно увидеть священника у своего смертного одра.

Отец Ривас сказал негру:

— Дай мне сигарету, Пабло.

— Он будет рад даже женатому священнику вроде тебя, Леон.

— Ты охотно согласился нам помогать, Эдуардо.

— Когда речь шла о после. Его жизни не угрожала никакая опасность. И они пошли бы на уступки. Притом — с американцем... это как на войне. Американцы сами поубивали прорву людей в Южной Америке.

— Твой отец один из тех, кому мы стараемся помочь, если он еще жив.

— Не знаю, одобрил ли бы он ваш метод.

— Мы этого метода не выбирали. Они нас довели.

— Ну что вы можете попросить в обмен на Чарли Фортнума? Ящик хорошего виски?

— За американского посла мы потребовали бы освобождения двадцати узников. За британского консула, вероятно, придется снизить цену наполовину. Пусть решит Эль Тигре.

— А где же он, черт бы его побрал, этот ваш Эль Тигре?

— Пока операция не кончена, с ним имеют связь только наши в Росарио.

— Наверное, его план не был рассчитан на ошибку. И не учитывает человеческую природу. Генерал может убить тех, кого вы просите освободить, и сказать, что они умерли много лет назад.

— Мы неоднократно обсудили эту возможность. Если они их убьют, то в следующий раз мы предъявим ему еще большие требования.

— Леон, послушай. Если вы будете уверены, что Чарли Фортнум ничего не вспомнит, право же...

— А как мы можем быть в этом уверены? У тебя нет такого лекарства, чтобы заглушить память. Он так тебе дорог, Эдуардо?

— Он — голос в исповедальне, который мне знаком.

— Тед, — окликнул его знакомый голос из задней комнаты. — Тед!

— Видишь, — сказал отец Ривас. — Он тебя узнал.

Доктор Плларр повернулся спиной к судьям и вышел в соседнюю комнату.

— Да, Чарли, я гут. Как вы себя чувствуете?

— Ужасно, Тед. Что это? Где я?

— У вас была авария. Ничего страшного.

— Вы отвезете меня домой?

— Пока не могу. Вам надо спокойно полежать. В темноте. У вас легкое сотрясение мозга.

— Клара будет беспокоиться.

— Не волнуйтесь. Я ей объясню.

— Не надо ее тревожить, Тед. Ребенок...

— Я же ее врач, Чарли.

— Конечно, дорогой, я просто старый дурак. Она сможет меня навестить?

— Через несколько дней вы поедете домой.

— Через несколько дней? А выпить что-нибудь тут найдется?

— Нет. Я дам вам кое-что получше, чтобы вы заснули.

— Вы настоящий друг, Тед. А кто эти люди там рядом? Почему вы светите себе фонариком?

— Не работает электричество. Когда вы проснетесь, будет светло.

— Вы заедете меня проведать?

— Конечно.

Чарли Фортнум минутку полежал спокойно, а потом спросил так громко, что его должны были слышать в соседней комнате:

— Ведь это же была не авария, Тед?

— Конечно, это была авария!

— Солнечные очки... где мои солнечные очки?

— Какие очки?

— Очки были Кларины,— сказал Чарли Фортнум.— Она их так любит. Не надо было мне их брать. Не нашел своих.— Он подтянул повыше колени и со вздохом повернулся на бок.— Важно знать норму,— произнес он и замер — точь-в-точь как состарившийся зародыш, который так и не сумел появиться на свет.

Отец Ривас сидел в соседней комнате, положив голову на скрещенные руки и прикрыв глаза. Доктор Пларр, войдя туда, подумал, что он молится, а может быть, только прислушивается к словам Чарли Фортнума, как когда-то прислушивался в исповедалине к незнакомому голосу, решая, какую назначить епитимью...

— Ну и шляпы же вы,— попрекнул его доктор Пларр.— Ну и любители!

— На нашей стороне только любители. Полиция и солдаты, вот те — профессионалы.

— Почетный консул да еще алкоголик — вместо посла!

— Да. Че Гевара тоже снимал фотографии как турист, а потом их терял. Тут хотя бы ни у кого нет аппарата. И никто не ведет дневник. На ошибках мы учимся.

— Твоему шоферу придется отвезти меня домой,— сказал доктор Пларр.

— Хорошо.

— Я завтра заеду...

— Ты здесь больше не понадобится, Эдуардо.

— Тебе, может, и нет, но...

— Лучше, чтобы он тебя больше не видел, пока мы не решили...

— Леон,— сказал доктор Пларр,— неужели ты серьезно? Старый Чарли Фортнум...

— Он не в наших руках, Эдуардо. Он в руках правительства. И в божьих, конечно. Как видишь, я не забыл той моей трескотни, но мне еще ни разу не пришлось видеть, чтобы бог хоть как-то вмешивался в наши войны или в нашу политику.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I

Доктор Пларр хорошо помнил, как он познакомился с Чарли Фортнумом. Встреча произошла через несколько недель после его приезда из Буэнос-Айреса. Почетный консул был в стельку пьян и не держался на ногах. Доктор Пларр шел в «Боливар», когда из окна Итальянского клуба высунулся пожилой джентльмен и попросил помочь.

— Проклятый официант ушел домой,— объяснил он по-английски.

Когда доктор Пларр вошел в клуб, он увидел пьяного, но вполне жизнерадостного человека, он, правда, не мог встать на ноги, но это его ничуть не смущало. Он заявил, что ему вполне удобно и на полу.

— Я сживал и на кое-чем похуже,— пробормотал он,— в том числе на лошадях.

— Если вы возьмете его за одну руку,— сказал старик,— я возьму за другую.

— А кто он такой?

— Джентльмен, который, как видите, сидит на полу и не желает вставать, наш почетный консул, мистер Чарльз Фортнум. А вы ведь доктор Пларр? Рад познакомиться. Я — доктор Хэмфрис. Доктор филологии, а не медицины. Мы трое, так сказать, столпы местной английской колонии, но один из столпов рухнул.

Фортнум объяснил:

— Не рассчитал норму...— И добавил что-то насчет того, что стакан был не тот.— Надо пить из стакана одного размера, не то запугаешься.

— Он что-нибудь празднует? — спросил доктор Пларр.

— На прошлой неделе ему доставили новый «кадиллак», а сегодня нашелся покупатель.

— Вы здесь ужинали?

— Он хотел повести меня в «Националь», но такого пьяного не только в «Националь», но и в мой отель не пустят. Теперь нам надо как-нибудь довести его домой. Но он настаивает на том, чтобы пойти к сеньоре Санчес.

— Кто это, его приятельница?

— Приятельница половины мужчин этого города. Держит единственный здесь приличный бордель, так, по крайней мере, говорят. Лично я не судья в этих делах.

- Но бордели запрещены законом,— заметил доктор Пларр.
- Не у нас в городе. Мы ведь все же военный гарнизон. А военные не желают, чтобы ими командовали из Буэнос-Айреса.
- Почему бы не пустить его туда?
- Вы же сами видите почему: он не держится на ногах.
- Но ведь все назначение публичного дома в том, чтобы там лежать.
- Кое-что должно стоять,— неожиданно грубо сказал доктор Хэмфрис и сморщился от отвращения.

В конце концов они вдвоем кое-как перетащили Чарли Фортнума через улицу, в маленькую комнатку, которую доктор Хэмфрис занимал в отеле «Боливар». В те дни на ее стенах висело не так много картинок, потому что было поменьше сырых пятен и душ еще не тек.

Неодушевленные предметы меняются быстрее, чем люди. Доктор Хэмфрис и Чарли Фортнум в ту ночь были почти такими же, как теперь; трещины в штукатурке запущенного дома углубляются быстрее, чем морщины на лице, краски выцветают быстрее, чем волосы, а разруха в доме происходит безостановочно; она никогда не стоит на одном и том же уровне, на котором человек может довольно долго прожить, не меняясь. Доктор Хэмфрис находился на этом уровне уже много лет, а Чарли Фортнум, хоть и был лишь на подходе к нему, нашел верное оружие в борьбе со старческим маразмом: он заспиртовал жизнерадостность и простодушие своих молодых лет. Годы шли, но доктор Пларр почти не замечал перемен в своих старых знакомцах,— быть может, Хэмфрис медленнее преодолевал расстояние между «Боливаром» и Итальянским клубом, а на хорошо укуполенном благодушии Чарли Фортнума, как пятна плесени, все чаще проступала меланхолия.

В тот раз доктор Пларр оставил консула у Хэмфриса в отеле «Боливар» и пошел за своей машиной. Он жил тогда в той же квартире того же дома, что и теперь. В порту еще горели огни, там работали всю ночь. На плоскодонную баржу поставили металлическую вышку, и железный стержень бил с нее по дну Параны. Стук-стук-стук — удары отдавались как бой ритуальных барабанов. А с другой баржи были спущены трубы, соединенные под водой с мотором; они высасывали гравий с речного дна и с лязгом и грохотом перебрасывали его по набережной на островок в полумиле отсюда. Губернатор, назначенный последним президентом после *coup d'état*¹² этого года, задумал углубить дно бухты, чтобы порт мог принимать с берега Чако грузовые парома более глубокой осадки и пассажирские суда покрупнее из столицы. Когда после следующего военного переворота, на этот раз в Кордове, он был смещен с поста, затею эту забросили и сну доктора Пларра уже ничто не мешало. Говорили, будто губернатор Чако не собирается тратить деньги на то, чтобы углубить дно со своей стороны реки, а для пассажирских судов из столицы верховья реки все равно чересчур мелки,— в сухое время года пассажирам приходилось пересаживаться на суда поменьше, чтобы добраться до республики Паратвай на севере. Трудно сказать, кто первый совершил ошибку, если это было ошибкой. Вопрос *Cui bono?*¹³ не мог быть задан кому-нибудь персонально, потому что все подрядчики нажились и несомненно поделились наживой с другими. Работы в порту, прежде чем их забросили, дали людям заработать: в доме одного появился рояль, в кухне другого — холодильник, а в погребе мелкого, второстепенного субподрядчика, где до сих пор не видали спиртного, теперь хранились одна или две дюжины ящиков местного виски.

Когда доктор Пларр вернулся в отель «Боливар», Чарли Фортнум пил крепкий черный кофе, сваренный на спиртовке, которая стояла на мраморном умывальнике рядом с мыльницей и зубной щеткой доктора Хэмфриса. Консул выражался куда более вразумительно, и его стало еще труднее отговорить от посещения сеньоры Санчес.

— Там есть одна девушка,— говорил он.— Настоящая девушка. Совсем не то, что вы думаете. Мне надо ее еще раз повидать. В прошлый раз я никуда не годился..

— Да вы и сейчас никуда не годитесь,— сказал Хэмфрис.

— Вы ничего не понимаете! Я просто хочу с ней поговорить. Не все же мы такие похабники, Хэмфрис. В Марии есть благородство. Ей вовсе не место...

— Такая же проститутка, наверное, как и все,— сказал доктор Хэмфрис, откашлявшись.

¹² Государственный переворот (франц.).

¹³ Кому на пользу? (лат.).

Доктор Пларр скоро заметил, что когда Хэмфрис чего-нибудь не одобряет, его сразу начинает душить мокрота.

— Вот тут вы оба очень ошибаетесь,— заявил Чарли Фортнум, хотя доктор Пларр и не думал высказывать какого-либо мнения.— Она совсем не такая, как другие. В ней есть даже порода. Семья ее из Кордовы. В ней течет хорошая кровь, не будь я Чарли Фортнум. Знаю, вы считаете меня идиотом, но в этой девушке есть... ну да, можно сказать, целомудрие.

— Но вы здешний консул, все равно — почетный или какой другой. Вам не подobaет ходить в такие притоны.

— Я уважаю эту девушку,— заявил Чарли Фортнум.— Я ее уважаю даже тогда, когда с ней сплю.

— А ни на что другое вы сегодня и не способны.

После настойчивых уговоров Фортнум согласился, чтобы его усадили в автомобиль доктора Пларра.

Там он какое-то время мрачно молчал: подбородок его трясся от толчков машины.

— Да, конечно, стареешь,— вдруг произнес он.— Вы человек молодой. Вас не мучают воспоминания, сожаления о прошлом... Вы женаты? — внезапно спросил он, когда они ехали по Сан-Мартину.

— Нет.

— Я когда-то был женат,— сказал Фортнум,— двадцать пять лет назад, теперь уже кажется, что с тех пор прошли все сто. Ничего у меня не вышло. Она была из тех, из умниц, если вам понятно, что я хочу этим сказать. Вникнуть в человеческую натуру не умела.— По странной ассоциации, которой доктор Пларр не смог уловить, он перескочил на свое теперешнее состояние.— Я всегда становлюсь куда человечнее, когда выпью больше полбутылки. Чуть меньше — ничего не дает, а вот чуть больше... Правда, надолго этого не хватает, но за полчаса блаженства стоит потом погрузиться.

— Это вы говорите о вине? — с недоумением спросил доктор Пларр.

Ему не верилось, что Фортнум может так себя ограничивать.

— О вине, виски, джине — все равно. Весь вопрос в норме. Норма имеет психологическое значение. Меньше полбутылки — и Чарли Фортнум одинокий бедняга и одна только «Гордость Фортнума» у него для компании.

— Какая гордость Фортнума?

— Это мой гордый, ухоженный конь. Но хотя бы одна рюмка сверх полбутылки — любого размера, даже ликерная, важна ведь определенная норма — и Чарли Фортнум снова человек. Хоть ко двору веди. Знаете, я ведь раз был на пикнике с королевскими особами, там, среди руин. Втроем выпили две бутылки и здорово, надо сказать, повеселились. Но это уже из другой оперы. Вроде той, про капитана Изкуиердо. Напомните мне, чтобы я вам как-нибудь рассказал про капитана Изкуиердо.

Постороннему было трудно уследить за ходом его ассоциаций.

— А где находится консульство? Следующий поворот налево?

— Да, но можно с тем же успехом свернуть через две или три улицы и сделать маленький круг. Мне, доктор, с вами очень приятно. Как, вы сказали, ваша фамилия?

— Пларр.

— А вы знаете, как меня зовут?

— Да.

— Мейсон.

— А я думал...

— Так меня звали в школе. Мейсон. Фортнум и Мейсон¹⁴, близнецы-неразлучники. Это была лучшая английская школа в Буэнос-Айресе. Однако карьера моя там была далеко не выдающейся. Вернее сказать, я ничем не выдавался... Удачное слово, правда? Все было в норме. Не слишком хорош и не слишком плох. Никогда не был старостой и прилично играл только в ножички. Официально я там признан не был. Школа у нас была снобистская. Однако директор, не тот, которого я знал, тот был Арден, мы звали его Вонючкой, нет, новый директор, когда я был назначен почетным консулом, прислал мне поздравление. Я, конечно, написал ему первый и сообщил приятную новость, так что ему неудобно было игнорировать меня совсем.

— Вы скажете, когда мы подъедем к консульству?

— Да мы его, дорогой, проехали, но какая разница? У меня голова уже ясная. Вы вон там сверните. Сперва направо, а потом опять налево. У меня такое настроение,

¹⁴ «Фортнум и Мейсон» — известный гастрономический магазин в Лондоне.

что я могу кататься хоть всю ночь. В приятной компании. Не обращайтесь внимания на знаки одностороннего движения. У нас дипломатические привилегии. На машине номер К. Мне ведь не с кем поговорить в этом городе, как с вами. Испанцы. Гордый народ, но бесчувственный. В этом смысле совсем не такой, как мы — англичане. Нет любви к домашнему очагу. Шлепанцы, ноги на стол, стаканчик под рукой, дверь нараспашку... Хэмфрис парень неплохой, он ведь такой же англичанин, как мы с вами... а может, шотландец? Но душа у него менторская. Тоже удачное словечко, а? Вечно пытается меня перевоспитать в смысле морали, а ведь я не так уж много делаю дурного, дурного по-настоящему. Если я сегодня слегка напрузился, значит, не тот был стакан. А как ваше имя, доктор?

— Эдуардо.

— А я-то думал, что вы англичанин!

— Мать у меня парагвайка.

— Зовите меня Чарли. Не возражаете, если я буду звать вас Тед?

— Зовите, как хотите, но ради Христа скажите наконец, где ваше консульство?

— На углу. Но не думайте, будто это что-то особенное. Ни мраморных вестибюлей, ни люстр, ни пальм в торшерах. Всего-навсего холостяцкое жилье — кабинет, спальня... Обычное присутственное место. Это все, чем наши чинуши меня удостили. Никакого чувства национальной гордости. Трясутся над каждым грошом, а сколько на этом теряют? Вы должны приехать ко мне в поместье, там мой настоящий дом. Почти тысяча гектаров. Точнее говоря, восемьсот. Лучшее матэ в стране. Да мы можем хоть сейчас туда съездить, отсюда всего три четверти часа езды. Хорошоенько выспимся, а потом дернем для опохмелки. Могу угостить настоящим виски.

— Только не сегодня. У меня утром больные.

Они остановились возле старинного дома в колониальном стиле с коринфскими колоннами; в лунном свете ярко белела штукатурка. С первого этажа свисал флагшток, и на щите красовался королевский герб. Чарли Фортнум, нетвердо стоя на ногах, посмотрел вверх.

— Верно, по-вашему? — спросил он.

— Что верно?

— Флагшток. Кажется, он торчит чересчур наклонно.

— По-моему, в порядке.

— Жаль, что у нас такой сложный государственный флаг. Как-то раз, в день тезоименитства королевы, я вывесил его вверх ногами. Мне казалось, что чертова штука висит как следует, а Хэмфрис обозлился, сказал, что пожалуется послу. Зайдем, выпьем по стаканчику.

— Если вы доберетесь сами, я, пожалуй, поеду.

— Имейте в виду, виски у меня настоящее. Получаю «Лонг Джон» из посольства. Там предпочитают «Хэйг». Но «Лонг Джон» бесплатно выдает к каждой бутылке стакан. И очень хорошие стаканы, с делениями. Женская мера, мужская, шкиперская. Я-то, конечно, считаю себя шкипером. У меня в имени дюжины этих стаканов. Мне нравится название шкипер. Лучше, чем капитан, — тот может быть просто военным.

Он долго возился с замком, но с третьей попытки все же дверь открыл. Покачиваясь на пороге за коринфскими колоннами, он произнес речь, доктор Пларр с нетерпением ждал, когда наконец он кончит.

— Очень приятно провели вечерок, Тед, хотя гуляш был на редкость противный. Так хорошо иногда поболтать на родном языке, с непривычки уже заикаешься, а ведь на нем говорил Шекспир. Не думайте, что я всегда такой веселый, все дело в норме. Иногда я и радуюсь обществу друга, но на меня все равно нападает меланхолия. И помните, когда бы вам ни понадобился консул, Чарли Фортнум будет счастлив оказать вам услугу. Как и любому англичанину. Да и шотландцу или валлийцу, если на то пошло. У всех у нас есть нечто родственное. Все мы подданные этого чертова Соединенного Королевства. Национальность гуще, чем водичка, хотя выражение это довольно противное: почему гуще? Напоминает о том, что давно пора забыть и простить. Вам, когда вы были маленький, давали инжирный сироп? Идите прямо наверх. В среднюю дверь на первом этаже, там большая медная дощечка, ее сразу заметишь. Сколько сил уходит на ее полировку, не поверите, часами приходится тереть. Уход за «Гордостью Фортнума» по сравнению с этим — детская игра.

Он шагнул назад в темный вестибюль и пропал из виду.

Доктор Пларр поехал к себе, в новый желтый многоквартирный дом, где рядом

в трубах шуршал гравий и визжали ржавые краны. Лежа в постели, он подумал, что в будущем вряд ли захочет встречаться с этим почетным консулом.

И хотя доктор Пларр не спешил возобновить знакомство с Чарли Фортнумом, месяца через два после их первой встречи он получил документы, которые полагалось заверить у британского консула.

Первая попытка его повидать окончилась неудачей. Он приехал в консульство часов в одиннадцать утра. Сухой, горячий ветер с Чако развевал национальный флаг на криво висевшем флагштоке. Пларр удивился, зачем его вывесили, но потом вспомнил, что сегодня годовщина заключения мира в предыдущей мировой войне. Он позвонил и вскоре мог бы поклясться, что кто-то за ним наблюдает сквозь глазок в двери. Он встал подальше на солнце, чтобы его можно было разглядеть, и сразу же дверь распахнула маленькая чернявая, носатая женщина. Она уставилась на него взглядом хищной птицы, привыкшей издали находить падаль; может быть, ее удивило, что падаль стоит так близко и еще живая. Нет, сказала она, консула нет. Нет, сегодня он не ожидается. А завтра? Может быть. Наверняка оказать она не может. Доктору Пларру казалось, что это не лучший способ отправлять консульскую службу.

Он часок отдохнул после ленча, а потом по дороге к больным в *baggio ropular*, которые не могли встать с постели, если можно назвать постелью то, на чем они там лежали, снова заехал в консульство. И был приятно удивлен, когда дверь ему открыл сам Чарльз Фортнум. Консул при первом знакомстве говорил о своих приступах меланхолии. Как видно, сейчас у него и был такой приступ. Он хмуро, недоумевающе и с опаской смотрел на доктора, словно где-то в подсознании у него копошилось неприятное воспоминание.

— Ну?

— Я доктор Пларр.

— Пларр?

— Мы познакомились с вами у Хэмфриса.

— Правда? Да-да. Конечно. Входите.

В темный коридор выходили три двери. Из-под одной из них тянулся запах невымытой посуды. Вторая, как видно, вела в спальню. Третья была открыта, и Фортнум повел доктора туда. В комнате стояли письменный стол, два стула, картотека, сейф, висела цветная репродукция с портрета королевы под треснутым стеклом — вот, пожалуй, и все. А стол был пуст, не считая стоячего календаря с рекламой аргентинского чая.

— Простите, что побеспокоил,— сказал доктор Пларр.— Я утром заезжал...

— Не могу же я здесь быть неотлучно. Помощника у меня нет. Куча всяких обязанностей. А утром... да, я был у губернатора. Чем могу быть полезен?

— Я привез кое-какие документы, их надо заверить.

— Покажите.

Фортнум грузно сел и стал выдвигать ящик за ящиком. Из одного он вынул пресс-папье, из другого бумагу и конверты, из третьего печать и шариковую ручку. Он стал расставлять все это на столе, как шахматные фигуры. Переложил с места на место печать и ручку — быть может, ненароком поместил королеву не по ту сторону короля. Прочитал документы якобы со вниманием, но глаза его тут же выдавали: слова явно ничего ему не говорили; потом он дал доктору Пларру поставить свою подпись. После чего прихлопнул документы печатью и добавил собственную подпись: Чарльз К. Фортнум.

— Тысяча песо,— сказал он.— И не спрашивайте, что означает «К». Я это скрываю.

Расписки он не дал, но доктор Пларр заплатил без звука.

Консул сказал:

— Голова просто раскаляется. Сами видите: жара, сырость. Чудовищный климат. Один бог знает, почему отец решил тут жить и тут умереть. Что бы ему не поселиться на юге? Да где угодно, только не здесь.

— Если вам так плохо, почему не продать имущество и не уехать?

— Поздно. В будущем году мне стукнет шестьдесят один. Какой смысл начинать сначала в такие годы? Нет ли у вас в чемоданчике аспирина?

— Есть. А вода у вас найдется?

— Давайте так. Я их жую. Тогда они быстрее действуют.

Он разжевал таблетку и попросил вторую.

— А вам не противно их жевать?

— Привыкаешь. Если на то пошло, вкус здешней воды мне тоже не нравится. Господи, ну до чего же мне сегодня паршиво.

— Может, измерить вам давление?

— Зачем? Думаете, оно не в порядке?

— Нет. Но лишняя проверка в вашем возрасте не мешает.

— Беда не в давлении. А в жизни.

— Переутомились?

— Нет, этого бы я не сказал. Но вот новый посол, он меня донимает.

— Чем?

— Хочет получить отчет об урожаях матэ в нашем округе. Зачем? Там, на родине, никто парагвайского чая не пьет. Да сам небось и слыхом о нем не слыхал, а мне придется неделю работать, разъезжать по плохим дорогам, а потом эти типы в посольстве еще удивляются, почему я каждые два года выписываю новую машину! Я имею на нее право. Как дипломат. Сам за нее плачу и если решаю потом продать, это мое личное дело, а не посла. «Гордость Фортнума» на здешних дорогах много надежнее. Я за нее ничего не требую, а между тем, обслуживая их, она совсем выматывается. Ну и мелочные же людишки эти посольские! Они даже намекают, что я, мол, меньше плачу за это помещение!

Доктор Пларр раскрыл чемоданчик.

— А что это у вас за штука?

— Мы же решили измерить вам кровяное давление.

— Тогда лучше пойдем в спальню,— сказал консул.— Нехорошо, если нас увидит горничная. По всему городу пойдут слухи, что я при смерти. А тогда сбегутся все кредиторы.

Спальня была почти такая же пустая, как и кабинет. Постель смялась во время полуденного отдыха, и подушка валялась на полу рядом с пустым стаканом. Над кроватью вместо портрета королевы висела фотография человека с густыми усами, в костюме для верховой езды. Консул сел на мягкое покрывало и закатал рукав. Доктор Пларр стал накачивать воздух грушей.

— Вы правда думаете, что мои головные боли — это что-то опасное?

Доктор Пларр следил за стрелкой на циферблате.

— Думаю, в ваши годы опасно столько пить.

Он выпустил воздух.

— Головные боли — это у меня наследственное. Отец страдал ужасными головными болями. Он и умер в одночасье. Удар. Вот он там, на стене. Прекрасно сидел на лошади. Хотел и меня научить, но я этих глупых скотов не выносил.

— А по-моему, мы говорили, что у вас есть лошадь. «Гордость Фортнума».

— Да какая же это лошадь, это мой «джип». Нет, на лошадь я ни за какие коврижки не сяду! Но скажите правду, Пларр, хоть и самую страшную.

— Эта штука не показывает ни самого страшного, ни самого невинного. Давление у вас, однако, слегка повышено. Я дам вам таблетки, но не могли бы вы пить хоть немного меньше?

— Вот и отцу врачи всегда советовали то же самое. Он мне как-то сказал, что за те же деньги лучше купить стаю попугаев, они бы ничуть не хуже твердили одно и то же. Видно, я пошел в этого старого негодяя — во всем, кроме лошадей. Боюсь их смертельно. Он на меня за это злился, говорил: «Преодолей страх, Чарли, не то он тебя подомнет». А как вас по имени, Пларр?

— Эдуардо.

— Друзья зовут меня Чарли. Не возражаете, если я буду звать вас Тед?

— Если вам так хочется.

Трезвый Чарли Фортнум впал в такую же фамильярность, как и прошлый раз пьяный, правда, не сразу. Интересно, подумал доктор Пларр, часто ли они пойдут по тому же кругу, если их знакомство не оборвется, и на каком круге они окончательно станут друг для друга Чарли и Тедом?

— Знаете, тут в городе кроме нас еще только один англичанин. Некто Хэмфрис, учитель английского. Знакомы с ним?

— Да мы ведь вместе провели вечер. Не помните? Я вас еще проводил домой.

Почетный консул посмотрел на него чуть не со страхом.

— Нет. Не помню. Ровно ничего. Это плохой признак?

— Ну, с кем этого не бывает, если здорово напьюсь.

— Когда я вас увидел за дверью, ваше лицо мне показалось знакомым. Поэтому я и спросил, как вас зовут. Подумал, что мог что-нибудь у вас купить и забыл отдать деньги. Да, надо будет поостеречься. На время, конечно.

— Вреда вам от этого не будет.

— Кое-что я помню очень хорошо, но я как мой старик — он ведь тоже многое забывал. Знаете, как-то раз я свалился с лошади; она вдруг стала на дыбы, чтобы меня испытать, эта скотина. Мне было всего шесть лет, и она знала, что я еще маленький; было это возле дома, и отец сидел тут же, на веранде. Я боялся, не рассердится ли он, но еще больше испугался, когда увидел, что он сверху смотрит, как я лежу на земле, и не помнит, кто я такой. Он даже не рассердился, а только был встревожен и ничего не понимал; потом он вернулся на свое место, сел и снова взял свой стакан. А я обогнул дом, пошел на кухню (с поваром мы дружили) и больше ни разу не сел на эту проклятую лошадь. Теперь-то я, конечно, его понимаю. У нас ведь с ним много общего. Он тоже все забывал, когда напивался. Вы женаты, Тед?

— Нет.

— А я был женат.

— Да, вы говорили.

— Я был рад, что мы разошлись, но все же хотел бы, чтобы сначала у нас был ребенок. Когда нет детей, в этом, как правило, виноват мужчина?

— Нет. Думаю, что тут бывают виноваты как тот, так и другая.

— Я, наверное, сейчас уже бесплоден, а?

— Почему? Годы в этом деле не играют роли.

— Если бы у меня был ребенок, я бы не заставлял его перебарывать страх, как это делал мой отец. Ведь чувство страха — это естественное свойство человека, правда? Если ты подавляешь страх, ты подавляешь свою натуру. Природа вроде сама соблюдает равновесие. Я прочел в какой-то книге, что, если бы мы перебили всех пауков, нас бы задушили мухи. А у вас есть дети, Тед?

Имя Тед раздражало доктора Эдуардо Пларра. Он сказал:

— Нет. Если вы хотите звать меня по имени, я бы попросил вас звать меня Эдуардо.

— Но ведь вы такой же англичанин, как я!

— Я только наполовину англичанин, и та половина либо в тюрьме, либо мертва.

— Отец?

— Да.

— А ваша мать?

— Живет в Буэнос-Айресе.

— Вам повезло. Есть для кого копить. Моя мать умерла, когда меня рожала

— Это еще не повод, чтобы губить себя пьянством.

— Да, это еще не повод, Тед. Я упомянул о матери так, между прочим. Кому нужен друг, если нельзя с ним поговорить?

— Друг не обязательно хороший психиатр.

— Эх, Тед, по-моему, вы человек недобрый. Неужели вы никогда никого не любили?

— Смотря что называть любовью.

— Вы чересчур много рассуждаете, — сказал Чарли Фортнум. — Это у вас от молодости. А я всегда говорю: не надо глубоко копать. Никогда не знаешь, что там найдешь.

Доктор Пларр сказал:

— Моя профессия требует, чтобы я поглубже копал. Догадки не помогают поставить верный диагноз.

— А каков ваш диагноз?

— Я выпишу вам лекарство, но оно не поможет, если вы не станете меньше пить.

Он снова вошел в кабинет консула. Его злило, что он потерял столько времени. Пока он выслушивал сегования почетного консула, он мог бы посетить не меньше трех или четырех больных из района бедноты. Он ушел из спальни, сел к столу и выписал рецепт. Его так же злило, что он даром потратил время, как во время посещений матери, когда она жаловалась на одиночество и головные боли, сидя над блю-

дом с эклерами в лучшей кондитерской Буэнос-Айреса. Она постоянно сетовала на то, что муж ее бросил, а ведь первейший долг мужа — перед женой и ребенком, он просто обязан был бежать вместе с ними.

Чарли Фортгум надел в соседней комнате пиджак.

— Неужели вы уходите?— крикнул он оттуда.

— Да. Рецепт я оставил на столе.

— Куда вы торопитесь? Побудьте еще, выпейте.

— Мне надо к больным.

— Да, но я ведь тоже ваш больной, верно?

— Вы не самый опасный из них,— сказал доктор Пларр.— Рецепт годен только на один раз. Таблеток вам хватит на месяц, а там посмотрим.

Доктор Пларр с облегчением закрыл за собой дверь консульства — с таким же облегчением, как покидал квартиру матери, когда выезжал в столицу. Не так уж много у него свободного времени, чтобы тратить его на неизлечимых больных.

Глава II

Прошло два года, прежде чем доктор Пларр впервые посетил заведение, которым так умело заправляла сеньора Санчес, и пришел он туда не в обществе почетного консула, а со своим приятелем и пациентом, писателем Хорхе Хулио Сааведрой. Сааведра, как он сам это признал над тарелкой жесткого мяса в «Национале», был сторонником строгого режима в области гигиены. Наблюдательный человек мог бы сам это определить по его внешности, аккуратной, однообразно серой: иссера-седые волосы, серый костюм, серый галстук. Даже в здешнюю жару он носил тот же хорошо сшитый двубортный жилет, в котором щеголял в столичных кафе. Портной его, как он сообщил доктору Пларру, был англичанином.

— Не поверите, но я мог бы по десять лет не заказывать новых костюмов.— А что касается режима в работе, то он не раз говорил: — После завтрака я обязан написать три страницы. Не больше и не меньше.

Доктор Пларр умел слушать. Он был этому обучен. Большинство его пациентов среднего достатка тратили не меньше десяти минут на то, чтобы рассказать о легком приступе гриппа. Только в квартале бедноты страдали молча, страдали, не зная слов, которые могли бы выразить, как им больно, где болит и отчего. В этих глинобитных или сколоченных из жести хижинах, где больной часто лежал ничем не прикрытый на земляном полу, ему приходилось самому определять недуг по ознобу или нервному подергиванию века.

— Режим,— повторял Хорхе Хулио Сааведра,— мне нужнее, чем другим, легче пишушим авторам. Понимаете, я ведь одержимый, тогда как другие — просто талантливы. Имейте в виду, я их таланту завидую. Талант — он покладистый. А одержимость разрушительна. Вы и вообразить не можете, какое для меня мучение писать. День за днем принуждаю себя сесть за стол и взять в руки перо, а потом пытаюсь выразить свои мысли... Помните в моей последней книге этого персонажа Кастильо, рыбака, который ведет неустанную борьбу с морем и едва сводит концы с концами. Можно сказать, что Кастильо — это портрет художника. Такие каждодневные муки, а в результате три страницы. Мизерный улов.

— Насколько я помню, Кастильо погиб в баре от револьверного выстрела, защищая одноглазую дочь от насильника.

— Ну да. Хорошо, что вы обратили внимание на этот циклопический символ,— сказал доктор Сааведра.— Символ искусства романиста. Одноглазого искусства, потому что все видишь отчетливее, когда прищуришь один глаз. Автор же, который разбрасывается, всегда двуглаз. Он вмещает в свое произведение чересчур много, как киноэкран. А насильник? Быть может, он — моя тоска, которая обуревает меня, когда я часами напролет пытаюсь выполнить ежедневный урок.

— Надеюсь, мои таблетки вам все же помогают.

— Да, да, конечно, немного помогают, но иногда я думаю, что только жесткий режим спасает меня от самоубийства.— И, замерев с вилкой у рта, доктор Сааведра повторил: — От самоубийства.

— Ну что вы, разве ваша религия вам это позволит?..

— В такие беспробудные минуты, доктор, у меня нет веры, никакой веры во-

обще. *En una noche oscura*¹⁵. Не откупорить ли нам еще бутылку? Вино из Мендосы не такое уж плохое.

После второй бутылки писатель сообщил об еще одном правиле его режима: еженедельно посещать дом сеньоры Санчес. Он объяснял это не только попыткой умиротворить свою плоть, чтобы неугодные желания не мешали работе; во время этих еженедельных визитов он многое узнает о человеческой природе. Общественная жизнь в городе не допускает контакта между различными классами. Может ли обед с сеньорой Эскобар или сеньорой Вальехо дать глубокое представление о жизни бедноты? Образ Карлоты, дочери доблестного рыбака Кастильо, был навеян девушкой, которую он встретил в заведении сеньоры Санчес. Правда, она была зрячей на оба глаза. И притом на редкость красива, но когда он писал свой роман, он понял, что красота придает ее истории фальшивый и банальный оттенок: она плохо сочетается с унылой суровостью жизни рыбака. Даже насильник при этом становится обычным пошляком. Красивых девушек повсюду насилуют, особенно в книгах современных романистов, этих поверхностных писак, правда, обладающих несомненным талантом.

К концу обеда доктор Плarr без труда дал себя уговорить составить компанию писателю в его оздоровительном походе, хотя толкало его на это скорее любопытство, чем физическое влечение. Они встали из-за стола в полночь и пошли пешком. Хотя сеньора Санчес и пользовалась у властей покровительством, все же лучше не оставлять машину у дверей, чтобы старательный полицейский не записал ее номер. Заметку в полицейском досье могут когда-нибудь использовать против тебя. На докторе Сааведре были остроносые, до блеска начищенные туфли, а ходил он слегка подпрыгивая, потому что носки ставил внутрь. Так и казалось, что на пыльном тротуаре за ним останутся следы птичьих лапок.

Сеньора Санчес сидела перед домом в шезлонге и вязала. Это была очень толстая дама с лицом в ямочках и приветливой улыбкой, которой до странности не хватало доброты, словно она запропастилась, как куда-то сунутые очки. Писатель представил ей доктора Плarr.

— Всегда рада видеть у себя джентльмена медицинской профессии, — заявила сеньора Санчес. — Можете убедиться, какой за моими девушками уход. Обычно я пользуюсь услугами вашего коллеги, доктора Беневенто, — очень симпатичный господин.

— Да, мне об этом говорили. Но лично я с ним не знаком, — сказал доктор Плarr.

— Он посещает нас по четвергам после обеда, и все мои девушки его очень любят.

Они вошли в освещенный узкий подъезд. Если не считать сеньоры Санчес в шезлонге, то ее заведение ничем внешне не отличалось от других домов на этой чинной улице. Хорошее вино не нуждается в этикетке, подумал доктор Плarr.

Однако ж внутри этот дом был разительно непохож на подпольные дома терпимости, которые он иногда посещал в столице, где маленькие клетушки, затемненные закрытыми ставнями, загромождены мещанской мебелью. Это заведение приятно напоминало загородную усадьбу. Просторный внутренний дворик, величиной в теннисный корт, был со всех сторон окружен небольшими каморками. Когда доктор сел, две открытые двери прямо перед ним вели в такие кельи, и он подумал, что они выглядят чище, изящнее и веселее, чем номер доктора Хэмфриса в отеле «Боливар». В каждой из них был маленький алтарь с зажженной свечкой, создававшей в аккуратной комнатке атмосферу домашнюю, а не деловую. За отдельным столом сидели несколько девушек, и еще две разговаривали с молодыми людьми, прислонясь к столбам окружавшей дворик веранды. Девушки вели себя сдержанно — видно, сеньора Санчес строго за этим следит; мужчина тут мог не спешить. Один из клиентов сидел со стаканом в руке, другой, судя по одежде — реоп¹⁶, стоял у столба, завистливо наблюдая за девушками (видно, у него не было денег даже на выпивку).

К ним сразу же подошла девушка по имени Тереса и приняла у писателя заказ («Виски, — посоветовал он, — здешнему коньяку я не доверяю»), а потом без особого приглашения села рядом.

— Тереса родом из Сальты, — рассказал доктор Сааведра, отдав свою руку ей на

¹⁵ В непроглядную ночь (*исп.*).

¹⁶ Крестьянин (*исп.*).

попечение, как перчатку в раздевалке. Она вертела ее то так, то сяк, разглядывая пальцы, словно искала в них дырки.— Я собираюсь выбрать Сальту местом действия моего будущего романа.

Доктор Пларр сказал:

— Надеюсь, ваша муза не заставит вас сделать ее одноглазой.

— Вы надо мной смеетесь,— сказал доктор Сааведра,— потому что плохо себе представляете, как работает у писателя воображение. Оно должно преобразовать действительность. Поглядите на нее — на эти большие карие глаза, на эти пухленькие грудки, она ведь хорошенькая, правда? (Девушка благодарно улыбнулась и поскребла ногтем его ладонь.) Но что она собой представляет? Я ведь не собираюсь писать любовную историю для дамского журнала. Мои персонажи должны символизировать нечто большее, чем они есть. Мне пришло в голову, что, может быть, с одной ногой...

— Одноногую девушку легче изнасиловать.

— В моем произведении изнасилования не будет. Но красавица с одной ногой — понимаете, что это значит? Представьте себе ее неверную походку, минуты отчаяния, любовников, которые делают ей одолжение, если проводят с ней хотя бы одну ночь. Ее упорную веру в будущее, которое так или иначе будет лучше настоящего. Я впервые намерен написать политический роман,— заявил доктор Сааведра.

— Политический? — удивился доктор Пларр.

Дверь одной из каморок открылась, и оттуда вышел мужчина. Он закурил сигарету, подошел к столу и допил вино из стакана. При свете свечи на алтаре доктор Пларр разглядел худую девушку, стелившую постель. Прежде чем выйти и присоединиться к другим за общим столом, она аккуратно расправила покрывало. Ее ожидал недопитый стакан апельсинового сока. Пеон у столба следил за ней жадным, завистливым взглядом.

— Вас, наверное, злит этот человек? — спросил доктор Пларр у Тересы.

— Какой человек?

— Да тот, что там стоит и только глазеет.

— Пусть себе глазеет, бедняга, что тут плохого? У него нет денег.

— Я же вам рассказываю о моем политическом романе,— с раздражением перебил их доктор Сааведра.

Он отнял у Тересы руку.

— Но я так и не понял, в чем смысл этой одной ноги.

— Она символ нашей бедной искалеченной страны, где все мы еще надеемся...

— А ваши читатели это поймут? Может быть, вам надо что-то сказать более прямо? Возьмите хотя бы студентов, в прошлом году в Росарио...

— Если хочешь написать настоящий политический роман, а не какую-то однодневку, надо избегать мелких подробностей, привязывающих к определенному времени. Убийства, кражи людей для выкупа, пытки заключенных — все это характерно для нашего десятилетия. Но я не желаю писать только для него.

— Испанцы пытали своих узников уже триста лет назад,— пробормотал доктор Пларр и почему-то снова поглядел на девушку за общим столом.

— Вы разве сегодня со мной не пойдете? — спросила Тереса доктора Сааведру.

— Пойду, немного погода пойду. Я обсуждаю с моим другом очень важный вопрос.

Доктор Пларр заметил на лбу у той девушки, что только что освободилась, маленькую серую родинку чуть пониже волос, на том месте, где индианки носят алый знак касты.

Хорхе Хулио Сааведра продолжал:

— Поэт, а настоящий романист непременно должен быть по-своему поэтом, имеет дело с вечными ценностями. Шекспир избегал политических вопросов своего времени, политических мелочей. Его не занимали ни Филипп, король Испании, ни таковой пират, как Дрейк. Он пользовался историческим прошлым, чтобы выразить то, что я называю политической абстракцией. И сегодня писатель, желая изобразить тиранию, не должен описывать деятельность какого-нибудь генерала Стреснера¹⁷ в Парагвае — это дело публицистики, а не литературы. Гиберий — гораздо лучший объект для поэта.

Доктор Пларр думал о том, как было бы приятно отвести ту девушку в ее ком-

¹⁷ Стреснер Альфредо (род. в 1912 г.), генерал. В 1954 г. совершил государственный переворот в Парагвае и с тех пор шесть раз переизбирался президентом.

нату. Он не спал с женщиной уже больше месяца, а как легко вызывает влечение любая мелочь, даже родинка на необычном месте.

— Вы, надеюсь, поняли, что я хотел сказать? — строго спросил его писатель.

— Да. Да. Конечно.

Какая-то брезгливость мешала доктору Пларру сразу пойти по следам своего предшественника. А через какой промежуток времени он готов пойти? Через полчаса, час или хотя бы когда этого предшественника уже тут не будет? Но тот как раз заказал новую выпивку.

— Вижу, эта тема вас совсем не интересует, — с огорчением сказал доктор Сааведра.

— Тема... извините... сегодня я, как видно, чересчур много выпил.

— Я говорил о политике.

— Политика как раз меня интересует. Я ведь и сам своего рода политический беженец. А мой отец... Я даже не знаю, жив ли мой отец. Может быть, он умер. Может быть, его убили. Может быть, сидит где-нибудь в полицейском участке по ту сторону границы. Генерал не считает нужным сажать политических в тюрьмы, он предоставляет им гнить по одному в полицейских участках.

— Вот об этом-то и речь, доктор. Конечно, я вам сочувствую, но разве можно создать произведение искусства о человеке, запертом в полицейском участке?

— Почему бы и нет?

— Потому что это частный случай. Явление семидесятых годов нашего века. А я надеюсь, что мои книги будут читать — пусть только избранные — в двадцать первом веке. Я пытался создать моего рыбака Кастильо как вневременной образ.

Доктор Пларр подумал, как редко он вспоминает отца, и, вероятно почувствовав себя виноватым — сам-то он живет в безопасности и с комфортом, — вдруг обозлился.

— Ваш рыбак вне времени, потому что его никогда не существовало, — сказал он и сразу же в этом раскаялся. — Простите меня за резкость. А не выпить ли нам еще по одной? К тому же мы совсем не обращаем внимания на вашу прелестную подружку.

— На свете есть вещи поважнее Тересы, — заявил Сааведра, но снова отдал руку на ее попечение. — А разве тут нет девушки, которая вам приглянулась?

— Да, есть, но она нашла другого клиента.

Девушка с родинкой подошла к мужчине, пившему в одиночестве, и они вместе направились к ней в каморку. Она прошла мимо своего бывшего партнера, даже на него не взглянув, но и его явно не интересовало, кто стал его преемником. Публичный дом чем-то похож на клинику, и это нравилось доктору Пларру. Казалось, он наблюдает за тем, как хирург ведет нового больного в операционную, — предыдущая операция прошла удачно, и о ней уже забыли. Ведь гольфо в больницах из телевизионных фильмов царят любовь, страх и тревога. В первые годы в Буэнос-Айресе, когда мать без конца разыгрывала трагедию и стонала над судьбой его пропавшего отца, и в более позднее время, когда она, продолжая так же многословно его оплакивать, утешалась пирожными и шоколадным мороженым, доктор Пларр стал испытывать недоверие к чувствам, которые можно утолить такими незамысловатыми способами, как постель или пирожное эклер. Ему припомнился разговор — если его можно так назвать — с Чарли Фортнумом. Он спросил Тересу:

— Вы тут знаете девушку по имени Мария?

— У нас нескольких девушек зовут Мариями.

— Она из Кордовы.

— Ах, та? В прошлом году умерла. Совсем нехорошая девушка. Кто-то зарезал ее ножом. Бедняга сел за это в тюрьму.

— Наверное, мне надо с ней пойти, — сказал Сааведра. — Очень жаль. Не часто выпадает случай побеседовать на литературные темы с образованным человеком. Пожалуй, я бы предпочел выпить еще и продолжить наш разговор.

Он поглядел на свою захваченную в плен руку, словно она принадлежала кому-то другому и он не имел права ее взять.

— У нас еще не раз будет такая возможность, — успокоил его доктор Пларр, и писатель сдался.

— Пойдем, *сhica*¹⁸, — сказал он, поднимаясь. — Вы меня дождетесь, доктор? Сегодня я буду недолго.

¹⁸ Девочка (*luch.*).

— Может, узнаете что-нибудь новое насчет Сальты.

— Да, но наступает минута, когда писатель должен сказать себе: «Хватит!» Слишком много знать вредно.

Доктору Пларру стало казаться, что под влиянием вина Хорхе Хулио Сааведра собирается повторить лекцию, которую когда-то читал в столичном женском клубе.

Тереса потянула его за руку. Он нехотя встал и пошел за ней туда, где под статуэткой святой из Авилы¹⁹ горела свеча. Дверь за ними затворилась. Работа писателя, как он однажды с грустью признался доктору Пларру, не кончается никогда.

Вечер в заведении сеньоры Санчес выдался очень спокойный. Все двери, за исключением тех, за которыми скрылись Тереса и девушка с родинкой, были распахнуты. Доктор Пларр допил вино и ушел. Он был уверен, что, несмотря на свое обещание, писатель задержится. Ведь в конце-то концов ему надо было решить — потеряет девушка ступню или всю ногу до колена.

Сеньора Санчес по-прежнему шевелила спицами. К ней подседа подруга и тоже принялась вязать на шезлонге рядом.

— Нашли себе девушку? — спросила сеньора Санчес.

— Мой приятель нашел.

— Неужели ни одна вам не понравилась?

— Дело не в этом. Просто я перепил за обедом.

— Можете спросить о моих девушках доктора Беневенто. Они очень чистенькие.

— Не сомневаюсь. Я непременно приду еще, сеньора Санчес.

Однако пришел он сюда только через год с лишним. И тщетно высматривал девушку с родинкой на лбу. Правда, он не был этим ни удивлен, ни раздосадован. Может быть, она нездорова, к тому же девушки в таких заведениях часто меняются. Единственная, кого он узнал, была Тереса. Он провел с ней часок, и они поболтали о Сальте.

Глава III

Практика у доктора Пларра росла и приносила доход. Он ни минуты не жалел о том, что уехал от жестокой конкуренции в столице, где было слишком много врачей с немецкими, французскими и английскими дипломами; к тому же он привязался к этому небольшому городу на берегу могучей Параны. Тут бытовало поверье, что тот, кто хоть раз его посетил, непременно сюда вернется. И в его случае это поверье оправдалось. Небольшой порт, опоясанный домами в колониальном стиле, который бросился ему в глаза когда-то темной ночью, привел его сюда вновь. Даже здешний климат ему нравился — жара не была такой влажной, как в стране его детства, а когда лето наконец кончалось оглушительными раскатами грома, он любил смотреть из своего окна, как рогатые молнии вонзаются в берег Чако. Почти каждый месяц он угощал обедом доктора Хэмфриса, а теперь иногда обедал и с Чарли Фортнумом, который бывал либо трезв, немногословен и печален, либо пьян, болтлив или, как сам он любил выражаться, «в приподнятом настроении». Как-то раз доктор побывал у него в поместье, но он плохо разбирался в посевах матэ, а гектар за гектаром плантации, которые они, трясаясь, объезжали на «Гордости Фортнума» (Чарли называл это «заниматься сельским хозяйством»), так его утомили, что второе приглашение он отклонил. Он предпочитал провести с Чарли вечер в «Национале», где консул не слишком вразумительно рассказывал ему о какой-то девушке.

Каждые три месяца доктор Пларр летал в Буэнос-Айрес и проводил конец недели у матери, которая становилась все толще и толще от ежедневного потребления пирожных с кремом и alfajores²⁰ с начинкой из dulce de leche²¹. Он уже не мог припомнить лица той красивой женщины лет за тридцать, которая прощалась с его отцом на набережной и безутешно оплакивала утраченную любовь все три дня их дороги в столицу. А так как у него не было ее старой фотографии, чтобы напоминать о прошлом, он всегда представлял ее себе такой, какой она стала теперь — с тремя подбородками, тяжелыми брылами и огромным, как у беременной, животом, обтянутым черным шелком. На книжных полках в его квартире с каждым годом при-

¹⁹ Святая Тереза (1515—1582) — монахиня-кармелитка, родилась в Авиле.

²⁰ Медовых пряников (*исп.*).

²¹ Молочного сахара (*исп.*).

бавлялось по новому роману доктора Хорхе Хулио Сааведры, но из всех его книг доктор Пларр предпочитал историю одноногой девушки из Сальты. После того первого посещения дома сеньоры Санчес он не раз спал с Тересой, и его забавляло, насколько выдумка далека от действительности. Это было чем-то вроде наглядного пособия по литературной критике. Близких друзей у доктора не было, хотя он сохранял хорошие отношения с двумя бывшими любовницами, которые вначале были его пациентами, приятельствовал с теперешним губернатором и с удовольствием посещал его большую плантацию матэ на востоке, куда летал на личном самолете губернатора и приземлялся между двумя клумбами как раз к часу великолепного ленча. Бывал он в гостях и на консервном заводе Бергмана, ближе к городу, а иногда ездил ловить рыбу в одном из притоков Параны с начальником аэропорта.

Дважды в столице происходили попытки переворота, и в «Эль литораль» появлялись об этом сообщения под жирными заголовками, но оба раза, когда он звонил матери, выяснялось, что о беспорядках она просто не знает,— газет она не читала, радио не слушала, а универмаг и ее любимое кафе бывали открыты во время любых предряг. Она ему как-то сказала, что навсегда пресытилась политикой во время жизни в Парагвае. «Отец твой ни о чем другом не мог говорить. А какие подозрительные оборванцы являлись к нам в дом, иногда даже посреди ночи. Но ты же знаешь, чем кончил твой отец». Последняя фраза звучала несколько странно: ведь ни она, ни ее сын не знали, убит ли он на гражданской войне, умер от болезни или стал политическим узником при диктатуре Генерала. Труп его не был опознан среди мертвецов, которые время от времени вспыльвали на аргентинском берегу реки, руки и ноги у них были связаны проволокой, однако он мог быть одним из тех скелетов, в которые превращались трупы после того, как их скидывали с самолетов на пустынную землю Чако и потом долгие годы не могли обнаружить.

Почти через три года после первого знакомства доктора Пларра с Чарли Фортнумом о нем заговорил с ним английский посол, сэр Генри Белфрейдж — преемник того посла, который так досадил почетному консулу, потребовав у него доклада о матэ. Это произошло на одном из очередных коктейлей для членов английской колонии, и доктор Пларр, навещавший в те дни свою мать, пошел вместе с ней на прием. Он никого тут не знал, разве что в лицо, в лучшем случае — был знаком шапочно. Там были Буллер — управляющий Лондонским и Южноамериканским банком, секретарь Англо-аргентинского общества Фишер и старый джентльмен по фамилии Форейдж, целые дни проводивший в своем клубе. Представитель Британского совета тоже, конечно, присутствовал — его фамилию по какой-то причуде подсознания Пларр никак не мог запомнить, — бледный, чем-то испуганный, лысый человек, который сопровождал на прием заезжого поэта. У поэта был тонкий голос, и он явно чувствовал себя под этими люстрами не на месте.

— Скоро мы сможем отсюда выбраться? — крикнул он во всеуслышание дыкаятом. И заверещал снова: — Слишком много воды в этом виски!

Только его голос и был слышен сквозь глухой непрерывный гул, словно от запущенного авиадвигателя; так и чудилось, будто голос этот сейчас выкрикнет что-нибудь более подобающее, вроде: «Застегните ваши привязные ремни!»

Доктор Пларр подумал, что Белфрейдж заговорил с ним только из вежливости, когда оба они оказались зажатыми между кушеткой с золочеными ножками и стулом в стиле Людовика XV. Стояли они достаточно далеко от шумной сутолоки возле буфета, и друг друга можно было расслышать. Пларру была видна мать, она решительно вторглась в толпу и размахивала бутербродом перед носом у священника. Ей всегда было хорошо в обществе священников, и доктор Пларр мог за нее не беспокоиться.

— По-моему, вы знакомы с нашим консулом где-то там, на севере? — спросил его сэр Генри Белфрейдж.

Он всегда, говоря о северной провинции, употреблял выражение «где-то там», словно подчеркивал огромную протяженность Параны, медленно петлявшей от дальних северных границ, почти недосыгаемых для южной цивилизации Рио-де-ла-Платы.

— С Чарли Фортнумом? Да, изредка встречаюсь. Но вот уже несколько месяцев его не видел. Очень был занят, много больных.

— Понимаете, в такой должности, как моя, да еще когда занял новый пост, всегда получаешь в наследство какие-то осложнения. Строго между нами, но этот консул — там у вас на севере — одно из них.

— Да ну? — осторожно осведомился доктор Плarr.— Я бы как раз думал...— он запнулся, не зная, как кончить фразу, если бы это потребовалось.

— Ему там совершенно нечего делать. То есть, я хочу сказать, в нашей области. Время от времени я прошу его составить о чем-нибудь докладную записку, так, для проформы. Не хочу, чтобы он думал, будто его забыли. Он ведь когда-то оказал услугу одному из моих предшественников. Какой-то молодой дурак связался с партизанами и решил изображать Кастро, выступив против Генерала в Парагвае. С тех пор, насколько можно судить по документам, мы оплачиваем половину счетов Фортнума за телефон и чуть ли не все счета за канцелярские принадлежности.

— А разве он однажды не помог принять королевских особ? Показывал им руины?

— Что-то в этом роде было,— сказал сэр Генри Белфрейдж.— Но, насколько я помню, это были весьма второстепенные члены королевской семьи. Конечно, мне не следовало бы этого говорить, но королевская семья тоже может причинять большие осложнения. Как-то раз нам пришлось отправлять на корабле лошадь для игры в поло... Представляете, чего нам это стоило, да еще в то время, когда объявили эмбарго на мясо. — Он на минуту задумался. — Фортнум мог бы получше ладить с тамошней английской колонией.

— Насколько я знаю, в радиусе пятидесяти миль нас там всего трое. Люди с плантациями редко приезжают в город.

— Тогда ему должно быть легче. А вы знаете этого Джеффриса?

— Вы хотите сказать, Хэмфриса? Если вы имеете в виду историю с национальным флагом, который был вывешен вверх ногами,— сами-то вы твердо знаете, где верх, а где низ?

— Но у меня, слава богу, есть под началом те, кто это знает. Нет, я подразумевал не это, ведь история с флагом произошла в бытность здесь Кэллоу. Неприятно другое: говорят, будто Фортнум крайне неудачно женился,— если верить этому Хэмфрису. Хорошо, если бы он перестал нам писать. Кто он такой, этот тип?

— А я и не слышал, что Фортнум женился. Староват он для такого дела. Кто она, эта женщина?

— Хэмфрис не сообщил. В сущности, он вообще писал как-то уклончиво. Фортнум, видно, держит свой брак в секрете. Да я и не принял всего этого всерьез. Государственной безопасности это не угрожает. Он ведь всего только почетный консул. Мы не обязаны выяснять подноготную его дамы. Я просто подумал, если вы часом что-нибудь слышали... В каком-то смысле избавиться от почетного консула труднее, чем от состоящего на государственной службе. И перевести его в другое место нельзя. Это слово «почетный»... в нем, если вдуматься, есть какая-то мнимость. Фортнум каждые два года ввозит новый автомобиль и продает его. Он не имеет на это права, ведь он не в штате, но ему, по-видимому, как-то удалось облапошить местные власти. Не удивлюсь, если он зарабатывает больше моего здешнего консула. Бедный старик Мартин вынужден придерживаться закона. Он не может покупать автомобили на свое жалованье, как и я. Не то что посол в Панаме. О господи, моя бедная жена никак не отделяется от этого поэта. Как его зовут?

— Не знаю.

— Я только хотел сказать — ваша фамилия Плarr, не так ли?.. Вы ведь где-то там живете... Я ни разу не видел этого самого Хэмфриса... Господи, они их шлют сюда пачками.

— Хэмфрисов?

— Нет, нет. Поэтов. Если они и правда поэты. Британский совет уверяет, что да, но я никогда ни об одном из них не слышал. Послушайте, Плarr, когда вы туда вернетесь, постарайтесь что-нибудь сделать. Вам я могу это доверить, верните там нужное словцо... Чтобы не было скандала, понимаете, о чем я говорю?.. У меня впечатление, что такой тип, как этот Хэмфрис, может даже написать домой. В министерство иностранных дел. Нас-то в конце концов никак не касается, на ком женился Фортнум. Если бы вы могли как-нибудь потактичнее сказать этому Хэмфрису, чтобы он не лез в чужие дела и нам не надоедал! Слава богу, он стареет. Фортнум, я хочу сказать. Мы дадим ему отставку при первой же возможности. Боже мой, поглядите на мою жену! Этот поэт просто загнал ее в угол.

— Если хотите, я пойду ее вызволю.

— Дорогой, сделайте это, прошу вас. Сам я не смею. Эти поэты такие обидчи-

вые хамы. А я еще постоянно путаю их имена. Они ведь не лучше этого типа, Хэмфриса,— пипут домой, в Художественный совет. Я вам никогда этого не забуду, Плаэр. Все, чем смогу быть полезен... там, на севере...

Когда доктор вернулся на север, на него навалилось больше работы, чем обычно. У него не было времени на встречу с этим старым склочником Хэмфрисом, да его и не слишком-то интересовала женитьба Чарли Фортнума, удачная она или неудачная. Однажды, когда какой-то разговор ему напомнил о том, что сказал посол, он подумал, не женился ли Чарли на своей эконожке — той женщине с хищным профилем, которая отворила ему дверь, когда он приходил в консульство. Подобный брак не казался ему таким уж невероятным. Старики, как и священники из сектантов, часто женятся на своих домоправительницах, иногда из соображений мнимой экономии, иногда боясь одинокой смерти. Смерть представлялась доктору Плаэру, едва перевалившему за тридцать, либо в виде несчастного случая на дороге, либо внезапного заболевания раком, но в сознании старика она была неизбежным концом долгой, неизлечимой болезни. Быть может, пьянство Чарли Фортнума и было симптомом такого страха.

Как-то днем, когда доктор прилег на часок отдохнуть, раздался звонок. Он отворил дверь и увидел женщину с лицом коршуна, словно нахохлившегося в ожидании падали. Он чуть было не назвал ее сеньорой Фортнум.

Но тут же понял, что это было бы ошибкой. Сеньор Фортнум, сказала она, позвонил ей из своего поместья. Его жена заболела. Он просит доктора Плаэра поехать туда ее осмотреть.

— А он не сказал, чем она больна?

— У сеньоры Фортнум болит живот,— презрительно сообщила женщина.

Брак этот, видно, ей нравился не больше, чем доктору Хэмфрису.

Доктор Плаэр поехал в имение вечером, когда спала жара. В сумеречном свете маленькие пруды по обочинам шоссе напоминали лужицы расплавленного свинца. «Гордость Фортнума» стояла в конце проселка под купой авокадо; тяжелые коричневые груши были величиной и формой похожи на пушечные ядра. На веранде большого нескладного бунгало перед бутылкой виски, сифоном и, как ни странно, двумя чистыми бокалами сидел Чарли Фортнум.

— Я вас заждался,— с упреком сказал он.

— Раньше не мог. А что случилось?

— У Клары сильные боли.

— Пойду ее осмотрю.

— Сначала вышейте. Я только что к ней заглядывал, она спала.

— Тогда с удовольствием. Пить хочется. На дороге такая пыль.

— Добавить содовой? Скажите сколько.

— Доверху.

— Я все равно хотел с вами поговорить, прежде чем вы к ней пойдете. Вы, наверно, слышали о моей женитьбе?

— Мне о ней сказал посол.

— А что именно он вам сказал?

— Да ничего особенного. Почему вы спрашиваете?

— Очень уж много ходит разговоров. А Хэмфрис со мной не кланяется.

— Ну, это вам повезло.

— Видите ли...— Чарли Фортнум запнулся. — Понимаете, она такая молоденькая,— сказал он; непонятно, оправдывал ли он своих критиков или каялся сам.

Доктор Плаэр сказал:

— Опять же вам повезло.

— Ей еще нет двадцати, а мне, как вы знаете, за шестьдесят.

Доктор Плаэр заподозрил, что с ним хотят посоветоваться не по поводу болей в животе у жены, а по куда более неразрешимому вопросу. Он выпил, чтобы хоть как-то заполнить неловкую паузу.

— Но беда не в этом,— сказал Чарли Фортнум. (Доктор Плаэр поразился его интуиции.) — Покуда что я справляюсь... А потом... всегда ведь есть бутылка, верно? Старинный друг дома. Это я о бутылке так говорю. Помогала и отцу, старому греховоднику. Нет, я насчет нее вам хотел объяснить. Чтобы вы не очень удивились, когда ее увидите. Она такая молоденькая. И к тому же застенчивая. Не привыкла к такой жизни. К дому, к слугам. И к деревне. В деревне ведь так тихо, когда стемнеет.

— А она-то сама откуда?

— Из Тукумана. Настоящих индейских кровей. У дальних предков, конечно. Должен вас предупредить: врачей она не очень жалует. Что-то с ними связано нехорошее.

— Постараюсь заслужить ее доверие,— сказал доктор Пларр.

— А ее боли, знаете, я подумал, уж не ребенок ли это? Или что-нибудь в этом роде.

— Она не принимает пилюли?

— Вы же знаете их, испанских католичек. Все это, конечно, одни суеверия. Вроде того, что нельзя проходить под лестницей. Клара понятия не имеет, кто такой Шекспир, зато наслушалась про этот, ну, как его там, запрет папы. Но все равно, мне надо как-нибудь добыть эти пилюли, через посольство, что ли. Представляете, что там скажут? Тут их не купишь даже на черном рынке. Я-то, конечно, всегда пользовался тем, что надо, пока мы не поженились.

— Значит, брали грех на себя?— поддразнил его доктор Пларр.

— Ну, знаете, у меня с годами совесть задубела. Лишний грешок ничего не убавит и не прибавит. А если ей так приятнее... Когда вы допьете виски...

Он повел доктора Пларра по коридору, где висели викторианские гравюры на спортивные сюжеты: всадники падают в ручей, лошади заартачились перед живой изгородью, охотникам выговаривает доезжачий. Фортнум шел тихо, на цыпочках. В конце коридора чуть приоткрыл дверь и заглянул туда в щелку.

— По-моему, проснулась,— сказал он. — Я вас подожду на веранде, Тед, там виски. Не задерживайтесь.

Под статуэткой святой горела электрическая свеча, святой доктор Пларр не узнал, но она мгновенно напомнила ему кельи вокруг дворика в доме сеньоры Санчес: в каждой из них тоже горела перед статуэткой святой свеча.

— Добрый вечер,— обратился он к голове, лежавшей на подушке.

Лицо было так занавешено темными прядями, что остались видны только глаза, они блестели, как кошачьи глаза из кустарника.

— Не хочу, чтобы меня осматривали,— сказала девушка. — Не позволю, чтобы меня осматривали.

— Я и не собираюсь вас осматривать. Расскажите, где у вас болит живот, вот и все.

— Мне уже лучше.

— Ладно. Тогда я сейчас уйду. Можно зажечь свет?

— Если вам надо,— сказала она и откинула волосы с лица.

На лбу доктор Пларр заметил маленькую серую родинку, там, где индуски... Он спросил:

— В каком месте болит? Покажите.

Она отвернула простыню и показала пальцем место на голом теле. Он протянул руку, чтобы пощупать живот, но она отодвинулась. Он сказал:

— Не бойтесь. Я не буду вас осматривать, как доктор Беневенто,— и услышал, как у нее перехватило дыхание. Тем не менее она разрешила ему подавить пальцами живот.

— Здесь?

— Да.

— Ничего страшного. Небольшое воспаление кишечника, и все.

— Кишечника?

Он видел, что слово это ей незнакомо и ее пугает.

— Я оставлю для вас немного висмута. Принимайте с водой. Если добавить в воду сахар, будет не так противно. На вашем месте виски бы я не пил. Вы ведь больше привыкли к апельсиновому соку, верно?

Она поглядела на него с испугом и спросила:

— Как вас зовут?

— Пларр,— сказал он. И добавил:— Эдуардо Пларр.

Он сомневался, звала ли она по имени кого-нибудь из мужчин, кроме Чарли Фортнума.

— Эдуардо,— повторила она и на этот раз поглядела на него смелее.— Я ведь вас не знаю, а? — спросила она.

— Нет.

— Но вы знаете доктора Беневенто.

— Раза два с ним встречался.— Он встал.— Его визиты по четвергам вряд ли были приятными.— И добавил, не дав ей ответить:— Вы не больны. Вам нечего лежать в постели.

— Чарли,— она произнесла его имя с ударением на последнем слове,— сказал, что я должна лежать, пока не придет доктор.

— Ну вот, доктор пришел. Значит, надобности больше нет...

Дойдя до двери, он обернулся и увидел, что она на него смотрит. Простыню она так и забыла натянуть.

— А я и не спросил, как зовут вас,— сказал он.

— Клара.

Он сказал:

— Я там никого не знал, кроме Тересы.

Возвращаясь назад по коридору, он вспоминал статую святой Терезы Авильской, которая осеняла как его упражнения, так и более литературные занятия доктора Сааведры. А теперь, наверно, подруга святого Франциска смотрит сверху на постель Чарли Фортнума. Пларр вспомнил, что, когда он впервые увидел девушку, она стелила в своей каморке постель, гибко перегнувшись в талии, как негритянка. Теперь он уже навидался самых разных женских тел. Когда он стал любовником одной из своих пациенток, его возбуждало не ее тело, а легкое заикание и незнакомые духи. В теле Клары не было ничего примечательного, кроме немодной худобы, маленькой груди и девичьих бедер. Может быть, ей уже около двадцати, но по виду ей не дашь больше шестнадцати,— матушка Санчес набирала их спозаранку.

Он остановился возле репродукции, где был изображен всадник в ярко-красной куртке; лошадь понесла и забежала вперед гончих; багровый от злости доезжащий грозил кулаком виновнику, а перед гончими расстилались поля, живые изгороди и ручей, видимо заросший по берегам ивами,— незнакомый, иноземный ландшафт. Он с удивлением подумал: я ни разу в жизни не видел такого маленького ручья. В этой части света даже самые малые притоки огромных рек были шире Темзы из отцовской книжки с картинками. Он снова произнес слово ручей; у ручья, наверно, свое особое поэтическое очарование. Нельзя же назвать ручьем ту мелкую заводь, где он иногда ловил рыбу и где боишься купаться из-за скатов. Ручей должен быть спокойным, медлительным, затененным ивами, безопасным. Право же, здешняя земля чересчур просторна для человека.

Чарли Фортнум ожидал его с наполненными стаканами. Он спросил с притворной шутивостью:

— Ну, какой вынесен приговор?

— Ничего у нее нет. Небольшое воспаление. И лежать в постели ей незачем. Дам вам лекарство, пусть принимает с водой. До еды. Виски я ей пить не позволял бы.

— Понимаете, Тед, я не хотел рисковать. В женских делах я не очень-то разбираюсь. В их внутренностях и так далее. Первая жена никогда не болела. Она была из последователей христианской науки.

— Чем тащить меня в такую даль, в другой раз прежде позвоните по телефону. В это время года у меня много больных.

— Вы, наверное, считаете меня идиотом, но она так нуждается, чтобы о ней заботились.

Пларр сказал:

— Я-то думаю... что в тех условиях, в каких она жила... могла научиться и сама о себе позаботиться.

— Что вы хотите этим сказать?

— Ведь она работала у матушки Санчес, не так ли?

Чарли Фортнум сжал кулак. В уголке его рта повисла прозрачная капля виски. Доктору Пларру показалось, что у консула поднимается кровяное давление.

— А что вы о ней знаете?

— Я ни разу с ней не оставался, если это вас беспокоит.

— Я подумал, что вы один из тех мерзавцев...

— Вы же сами были «одним из тех». По-моему, я даже помню, как вы мне рассказывали об одной девушке, кажется, Марии из Кордовы.

— То совсем другое. Там была физиология. Знаете, я ведь несколько месяцев даже не притрагивался к Кларе. Пока не убедился, что она меня хоть немножко лю-

бит. Мы просто разговаривали, и больше ничего. Я, конечно, заходил к ней в комнату, потому что иначе у нее были бы неприятности с сеньорой Санчес. Тед, вы не поверите, но я никогда ни с кем не разговаривал, как с этой девушкой. Ей интересно все, что я ей рассказываю. О «Гордости Фортнума». Об урожае матэ. О кинофильмах. Она очень хорошо разбирается в кино. Я им никогда особенно не интересовался, а она всегда знает самые последние новости о какой-то даме, которую зовут Элизабет Тейлор. Вы о ней слышали, о ней и о каком-то Бартоне? Я-то всегда думал, что Бартон — это название пива. Мы с ней разговаривали даже об Эвелин — это моя первая жена. Надо признаться, я был довольно одинок, пока не встретил Клару. Вы будете смеяться, но я полюбил ее с первого взгляда. И почему-то с самого начала ничего от нее не хотел, пока она сама тоже не захочет. Она этого понять не могла. Думала, у меня что-то не в порядке. Но я хотел настоящей любви, а не бардачной. Вероятно, вы меня тоже не поймете.

— Я не очень точно себе представляю, что означает слово любовь. Моя мать, например, любит dulce de leche. Так она сама говорит.

— Неужели ни одна женщина вас не любила? — спросил Фортнум.

Отеческая тревога в его голосе вызвала у доктора раздражение.

— Две или три в этом меня уверяли, однако, когда я с ними расстался, им не стоило труда найти мне замену. Только любовь моей матери к пирожным неизменна. Она будет любить их и в здравии и в болезни, пока смерть их не разлучит. Может, это и есть подлинная любовь.

— Вы чересчур молоды, чтобы быть таким циником.

— Я не циник. Я просто человек любознательный. Меня интересует, какое значение люди вкладывают в слова, которые они употребляют. Ведь многое тут вопрос семантики. Вот почему мы, медики, часто предпочитаем пользоваться таким мертвым языком, как латынь. Мертвый язык не допускает двусмысленностей. А как вам удалось заполучить девушку у матушки Санчес?

— Заплатил.

— И она охотно оттуда ушла?

— Сначала она была немощно растеряна и даже пугалась. Сеньора Санчес пришла просто в бешенство. Ей не хотелось терять эту девушку. Она сказала, что не возьмет ее назад, когда она мне надоест. Будто это возможно!

— Жизнь — штука долгая.

— Только не моя. Давайте говорить откровенно, Тед, вы же не станете меня уверять, что я буду жить еще десять лет, а? Даже при том, что с тех пор, как я узнал Клару, я стал меньше пить.

— А что с ней будет потом?

— Это довольно приличное именье. Она его продаст и переедет в Буэнос-Айрес. Теперь можно не рискуя получить пятнадцать процентов годовых. Даже восемнадцать, если не побоишься рискнуть. И, как вы знаете, я имею право каждые два года выписывать из-за границы автомобиль... Может, получу еще машин пять, пока не окочурюсь. Считайте, что это даст еще по пятьсот фунтов в год.

— Да, тогда она сможет есть с моей матерью пирожные в «Ричмонде».

— Шутки в сторону, не согласится ли ваша мать как-нибудь принять Клару?

— А почему бы нет?

— Не представляете, как из-за Клары изменилась вся моя жизнь.

— Наверное, и вы порядком изменили ее жизнь.

— Когда доживешь до моих лет, накопится столько всего, о чем можно пожалеть. И приятно сознавать, что хотя бы одного человека ты сделал чуточку счастливее.

Такого рода прямолинейные, сентиментальные и самоуверенные сентенции всегда вызывали у доктора Пларра чувство неловкости. Ответить на них было немислимо. Подобное заявление было бы грубо подвергнуть сомнению, но и согласиться с ним невозможно. Пларр извинился и поехал домой.

На всем пути по темной проселочной дороге он думал о молодой женщине на огромной викторианской кровати, которая, как и спортивные гравюры, явно принадлежала отцу почетного консула. Девушка была как птица, которую купили на базаре в самодельной клетке, а дома переселили в более просторную и роскошную, с насестами, кормушками и даже качелями для забавы.

Его удивляло, почему он так упорно о ней думает, ведь это всего-навсего мо-

лоденькая проститутка, на которую он однажды обратил внимание в заведении сеньоры Санчес из-за ее странной родинки. Неужели Чарли на ней и правда женился? Может, доктор Хэмфрис ввел посла в заблуждение, называя это браком. Вероятно, Чарли просто взял новую экономку. Если это так, можно будет успокоить посла. Жена дает больше пищи для скандала, чем любовница.

Но мысли его были похожи на намеренно незначительные слова в секретном письме, скрывавшие важные фразы, написанные между строк симпатическими чернилами, которые надо проявлять оставшись одному. В этих потайных фразах речь шла о девушке в каморке, которая нагнулась, застилая кровать, а потом вернулась к столу и взяла стакан с апельсиновым соком, словно только на минутку его оставила, потому что ее позвал к дверям какой-то разносчик; о худеньком теле с девичьей грудью, которую еще не сосал ребенок, вытянувшимся на двупальной кровати Чарли Фортнума. Все три любовницы доктора Пларра были замужними женщинами, зрелыми, гордыми своим пышным телом, и пахли дорогими душистыми кремами. А она, как видно, умелая проститутка, если при ее фигуре она пользовалась таким успехом, но это еще не повод, чтобы думать о ней всю дорогу. Пларр попытался отвлечься от этих мыслей. В квартале бедноты у него умирали от истощения двое больных; его пациент-полицейский скоро умрет от рака горла; вспоминал он и о мрачной меланхолии доктора Сааведры и об испорченной душе доктора Хэмфриса, но, как ни старался, мысли его все время возвращались к худенькому телу девушки гам, на кровати.

Интересно, сколько мужчин она знала. Последняя любовница доктора Пларра, которая была замужем за банкиром по фамилии Лопес, не без тщеславия ему рассказывала о четырех его предшественниках,— может быть, хотела пробудить в нем чувство соревнования. (Одним из этих любовников, как он узнал со стороны, был ее шофер.) Хрупкое тельце на кровати Чарли Фортнума должно было пройти через руки сотни мужчин. Ее живот был как деревенское поле, где когда-то шли бои; чахлая травка выросла и скрыла раны войны, а среди ивняка мирно течет ручеек; Пларр снова был мысленно в коридоре у дверей в спальню, разглядывал спортивные гравюры и боролся с желанием туда вернуться.

Доехав до дороги, ведущей к консервному заводу Бергмана, он резко затормозил и подумал, не повернуть ли ему назад. Вместо этого он закурил. Я не поддамся наваждению, подумал он. Почему тебя тянет в публичный дом? — это ведь так же, как иногда тянет делать ненужные покупки: купишь галстук, который тебе приглянулся, наденешь его раза два, а потом сунешь в ящик, где он будет погребен под грудой других галстуков. Почему я не проверил, какова она, когда имел такую возможность? Купи я ее в тот вечер у сеньоры Санчес, она давно бы валялась на дне ящика памяти. Возможно ли, чтобы такой рассудочный человек, который и влюбиться толком не может, стал жертвой наваждения? Он сердито повел машину к городу, где отблеск огней освещал плоский горизонт, а в небе висели три звезды на разорванной цепочке.

Несколько недель спустя доктор Пларр рано проснулся. Была суббота, и утром он не был занят. Он решил, пока еще свежо, почитать несколько часов на воздухе, но лучше сделать это не на глазах у своей секретарши, признававшей только «серьезную» литературу, в том числе и произведения доктора Сааведры.

Он взял сборник рассказов Хорхе Луиса Борхеса. С Борхесом у них были общие вкусы — доктор унаследовал их от отца, — Конан Дойл, Стивенсон, Честертон. «Ficciones»²² будут приятным отдыхом от последнего романа доктора Сааведры, который он так и не смог осилить. Он устал от южноамериканской героики. А теперь, сидя у статуи героя-сержанта (еще один образчик machismo), который спас Сан-Мартина лет этак полтора назад, он с огромным удовольствием читал о графине де Баньо Реджио, о Питтсбурге и Монако. Ему захотелось пить. Для того чтобы как следует насладиться Борхесом, его надо жевать, как сырную палочку, запивая аперитивом, но в такую жару доктору Пларру хотелось выпить что-нибудь более существенное. Он решил зайти к своему приятелю Груберу и попросить немецкого пива.

Грубер был одним из самых давних знакомых Пларра тут в городе. Мальчиком он в 1936 году бежал из Германии, когда там усилились преследования евреев. Он был единственным сыном, но родители настояли, чтобы он бежал за границу, хотя бы ради того, чтобы не прекратился род Груберов, и мать спекла ему на дорогу пи-

²² «Вымыслы» (исп.).

рог, где были спрятаны небольшие ценности, которые они смогли ему дать, — материнское кольцо с мелкими бриллиантами и золотое обручальное кольцо отца. Они сказали, что слишком стары, чтобы начать новую жизнь в чужой части света, а даст бог, слишком стары и для того, чтобы представлять опасность для фашистского государства. Он, конечно, никогда больше о них не слышал: они приплюсовали еще одну жалкую двойку к великой математической формуле «Кардинального Решения Вопросы». Поэтому Грубер, как и доктор Пларр, рос без отца. У него не было даже семейной могилы. Теперь он держал на главной торговой улице фотوماгазин, его нависшая над тротуаром вывеска и рекламные объявления напоминали китайские лавчонки. Одновременно он был и оптиком. «Немцы, — как-то сказал он Пларру, — пользуются доверием как химики, оптики и специалисты по фотографии. Куда больше людей знают имена Цейса и Байера, чем Геббельса и Геринга, а тут у нас еще больше знают Грубера».

Грубер усадил посетителя в отгороженной части магазина, где он работал над стеклами для очков. Отсюда доктор мог наблюдать за всем, что происходит, а самого его не было видно, потому что Грубер (у него была страсть ко всякого рода приспособлениям) оборудовал небольшое телевизионное устройство, которое позволяло ему следить за покупателями. По каким-то причинам — сам Грубер тоже не мог этого объяснить — в его магазин прибегали самые хорошенькие девушки города (никакая модная лавка не могла с ним тягаться), словно красота и фотография были как-то связаны. Они слетались сюда стайками за своими цветными снимками и разглядывали их, восхищенно щебеча, как птички. Доктор Пларр наблюдал за ними, попивал пиво и слушал, как Грубер рассказывает местные сплетни.

— Видели вы дамочку Чарли Фортнума? — спросил доктор Пларр.

— Вы имеете в виду его жену?

— Да не может она быть его женой. Чарли Фортнум в разводе. А тут вторичный брак не разрешается — весьма удобный закон для холостяков вроде меня.

— Разве вы не слышали, что жена его умерла?

— Нет. Я уезжал. А когда несколько дней назад я его видел, он ничего об этом не сказал.

— Фортнум съездил с этой девушкой в Росарио и там на ней женился. Так, по крайней мере, говорят. Толком, конечно, ничего не известно.

— Странный поступок. И в нем не было необходимости. Вы же знаете, где он ее нашел?

— Да, но она очень хорошенькая, — сказал Грубер.

— Верно. Одна из лучших девиц мамыши Санчес. Но и на хорошеньких не обязательно жениться.

— Из таких девушек, как она, часто выходят примерные жены, особенно для стариков.

— Почему для стариков?

— Старики не очень требовательны, а такие девушки рады отдохнуть.

Выражение «такие девушки» почему-то резануло доктора Пларра. Прошло семь дней, а ничем не примечательная девушка, о которой так походя отозвался Грубер, все еще не давала ему покоя. И вот на экране телевизора он увидел какую-то девушку, которая так же наклонилась над прилавком, разглядывая ролик цветной пленки, как Клара над своей кроватью у сеньоры Санчес. Она была красивее жены Чарли Фортнума, но не пробудила в нем ни малейшего желания.

— Такие девушки бывают очень довольны, когда их оставляют в покое, — повторил Грубер. — Знаете, они ведь считают, что им повезло, когда попадается импотент или такой пьяный, что ничего не может. У них тут даже местное название для подобных клиентов есть, не помню, как это по-испански, но означает посетителя, соблюдающего пост.

— А вы часто бываете в заведении у мамыши Санчес?

— Зачем? Поглядите, сколько соблазнов у меня гут под носом — все эти прелестные покупательницы. Кое-какие пленки из тех, что они приносят проявлять, весьма интимного свойства, и когда я их возвращаю, в глазах у девушки озорство. «Он, видно, заметил, как у меня там спустились бикини», — думает она, а я и правда заметил. Кстати, на днях сюда заходили какие-то двое и расспрашивали о вас. Хотели узнать, тот ли вы Эдуардо Пларр, которого много лет назад они знали в Асунсь-

оне. Прочли ваше имя на пленках, которые я посылал вам в четверг. Я, конечно, сказал, что понятия не имею.

— Они из полиции?

— По виду не похожи, однако все равно рисковать не стоит. Слышал, как один называл другого отцом. А тот по годам вряд ли мог быть его отцом. Но одет был не как священник — вот это и показалось мне подозрительным.

— У меня с местным начальником полиции отношения хорошие. Он меня иногда приглашает, когда доктор Беневенто в отпуску. Думаете, это люди с той стороны границы? Может, агенты Генерала? Но какой я для него представляю интерес? Я ведь был еще мальчишкой, когда уехал...

— Легка на помине...— сказал Грубер.

Доктор Плarr быстро взглянул на экран телевизора, он ожидал, что там появятся фигуры двух незнакомых мужчин, но увидел только худенькую девушку в непомерно больших солнечных очках — впору разве что акванангисту.

— Покупает солнечные очки, как другие бижутерию. Я продал ей уже пары чепсы, не меньше.

— Кто она?

— Вы должны ее знать. Только что о ней говорили. Жена Чарли Фортнума. Или, если хотите, его девица.

Доктор Плarr поставил пиво и вышел в магазин. Девушка разглядывала солнечные очки и так была этим поглощена, что не обратила на него внимания. Стекла у очков были ярко-фиолетовые, оправка желтая, а дужки инкрустированы осколками чего-то похожего на аметисты. Она сняла свои очки и примерила новые, они сразу состарили ее лет на десять. Глаз было совсем не видно; на стеклах двоилось лишь фиолетовое отражение его собственного лица.

Продавщица сказала:

— Мы их только что получили из Мар-дель-Платы. Там они в большой моде.

Доктор Плarr знал, что Грубер, наверное, следит за ним по телевизору, но что ему до этого? Он спросил:

— Они вам нравятся, сеньора Фортнум?

Она обернулась:

— Кто?.. Ах, это вы, доктор... доктор...

— Плarr. Они вас очень старят, но вам ведь можно и прибавить себе несколько лет.

— Они слишком дорогие. Я примерила их просто так...

— Заверните,— сказал доктор продавщице.— И дайте футляр...

— У них свой футляр,— сказала та и стала протирать стекла.

— Не надо,— сказала Клара.— Я не могу...

— От меня можете. Я друг вашего мужа.

— Вы думаете, что тогда можно?

— Да.

Она подпрыгнула; как он потом узнал, так она выражала радость, получая любой подарок, даже пирожное. Он не встречал женщин, которые до того простодушно принимали бы подарки, безо всякого кривлянья. Она сказала продавщице:

— Давайте я их надену. А старые положите в футляр.

В этих очках, подумал он, когда они вышли из магазина Грубера, она больше похожа на мою любовницу, чем на мою младшую сестру.

— Это очень мило с вашей стороны,— произнесла она, как хорошо воспитанная школьница.

— Пойдем посидим у реки, там можно поговорить.— Когда она заколебалась, Плarr добавил: — В этих очках вас никто не узнает. Даже муж.

— Вам они не нравятся?

— Нет. Не нравятся.

— А я думала, что у них очень шикарный вид,— сказала она разочарованно.

— Они хороши как маскировка. Поэтому я и хотел, чтобы они у вас были. Теперь никто не узнает, что я иду с молодой сеньорой Фортнум.

— Да кто меня может узнать? Я ни с кем не знакома, а Чарли дома. Он отпустил меня со старшим рабочим. Я сказала, что хочу что-то купить.

— Что?

— Да что-нибудь. Сама не знаю, что именно.

Она охотно шла рядом, следуя за ним, куда ему вздумается. Его смущало, что дело оборачивается так просто. Он вспоминал, как глупо боролся с собой, когда ему вдруг захотелось повернуть машину и поехать назад, в поместье, сколько раз на прошлой неделе ему не спалось, когда он раздумывал, как бы изловчиться и снова ее увидеть. Неужели он не понимал, что это так же легко, как пойти с ней в каморку у сеньоры Санчес?

— Сегодня я вас не боюсь,— сказала она.

— Потому что я сделал вам подарок?

— Да, может, поэтому. Никто ведь не станет дарить подарки тем, кто ему не нравится, правда? А тогда я думала, что вам не нравлюсь. Что вы мой враг.

Они вышли на берег Параны. В реку выдавалось небольшое пятиугольное здание, окруженное белыми колоннами, в нем, как в храме, стояла обнаженная статуя, полная классической невинности, и глядела на воду. Уродливый желтый дом, где он снимал квартиру, был скрыт за деревьями. Листья, похожие на легчайшие перышки, создавали ощущение прохлады, потому что были в вечном движении — они шевелились от ветерка, не ощутимого даже кожей. Вверх по реке, фырча против течения, прошла тяжелая баржа, а над Чако тянулась всегдашняя черная полоса дыма.

Она села и стала смотреть на Парану; когда он глядел на нее, он видел лишь собственное лицо, отраженное в зеркале очков.

— Бога ради, снимите эти очки,— сказал он.— Я не собираюсь бриться.

— Бриться?

— Я и так смотрю на себя в зеркало два раза в день, с меня этого хватит.

Она покорно сняла очки, и он увидел ее глаза — карие, невыразительные, неотличимые от глаз других испанок, которых он знал. Она сказала:

— Не понимаю...

— Да я уж и сам не помню, что сказал. Правда, что вы замужем?

— Да.

— И как вам это нравится?

— По-моему, это все равно как если бы я надела платье другой девушки, а оно на меня не лезло,— сказала она.

— Зачем же вы это сделали?

— Он так хотел на мне жениться. Из-за денег, когда он умрет, чтобы они не пропали. А если будет ребенок...

— Вы уже и об этом позаботились?

— Нет.

— Что ж, вам теперь все-таки лучше, чем у матушки Санчес.

— Тут все по-другому,— сказала она.— Я по девочкам скучаю.

— А по мужчинам?

— Ну, до них-то мне какое дело?

Они были одни на длинной набережной Параны; мужчины в этот час работают, женщины ходят за покупками. Здесь на все свое время: время для Параны — вечер, тогда вдоль нее гуляют молодые влюбленные, держась за руки, и молчат. Он спросил:

— Когда вам надо быть дома?

— С аратаз²³ в одиннадцать зайдет за мной к Чарли в контору.

— А сейчас девять. Что вы до тех пор собираетесь делать?

— Похожу по магазинам, потом выпью кофе.

— Старых друзей навестите?

— Девочки сейчас спят.

— Видите тот дом за деревьями? — спросил доктор Плarr.— Я там живу.

— Да?

— Если хотите выпить кофе, я вас угощу.

— Да?

— Могу и апельсиновым соком

— Ну, я апельсиновый сок не так уж и люблю. Сеньора Санчес говорила, что нам нельзя пьянеть, вот почему мы его пили.

Он спросил:

— Вы пойдете со мной?

— А это не будет нехорошо? — сказала она, словно выспрашивала у кого-то, кого давно знает и кому доверяет.

²³ Старший рабочий (*исп.*).

— У матушки Санчес это же не было плохо...

— Но там надо было зарабатывать на жизнь. Я посылала деньги домой в Тукуман.

— А как с этим теперь?

— Ну, деньги в Тукуман я все равно посылаю. Чарли мне дает.

Он встал и протянул ей руку:

— Пошли.

Он бы рассердился, если бы она заколебалась, но она взяла его за руку все с той же бездумной покорностью и пошла через дорогу, словно ей предстояло пройти всего лишь по дворику сеньоры Санчес. Однако войти в лифт она решилась не сразу. Сказала, что никогда еще не поднималась в лифте, — в городе было не много домов выше чем в два этажа. Она сжала его руку — то ли от волнения, то ли от страха, а когда они поднялись на верхний этаж, спросила:

— А можно сделать это еще раз?

— Когда будете уходить.

Он повел ее прямо в спальню и стал раздевать. Застежка на платье заела, и она сама ее дернула. Когда она уже лежала на кровати и ждала его, она сказала:

— Солнечные очки обошлись вам гораздо дороже, чем поход к сеньоре Санчес.

И он подумал, не считает ли она, что этими очками он заплатил ей вперед.

Он вспомнил, как Тереса пересчитывала песо, а потом клала их на полочку под статуэткой своей святой, словно это был церковный сбор. Позднее они будут аккуратно поделены между ней и сеньорой Санчес; то, что сверх таксы, давали отдельно.

Когда он лег, он с облегчением подумал: вот и кончилось мое наваждение, — а когда она застонала, подумал: вот опять я свободен, могу проститься с сеньорой Санчес — пусть себе вяжет в своем шезлонге, — и с легким сердцем пойду назад по берегу реки, чего не чувствовал, когда выходил из дома. На столе лежал свежий номер «Бритиш медикл джорнал», он уже целую неделю валялся нераспечатанным, а у него было настроение почитать что-нибудь еще более точное по изложению, чем рассказ Борхеса, и более полезное, чем роман Хорхе Хулио Сааведры. Он принялся читать крайне оригинальную статью — так ему во всяком случае показалось — о лечении кальциевой недостаточности, написанную доктором, которого звали Цезарем Борджи.

— Вы спите? — спросила девушка.

— Нет. — Но тем не менее был удивлен, когда, открыв глаза, увидел солнечные лучи, падавшие сквозь щели жалюзи. Он думал, что уже ночь и что он один.

Девушка погладила его по бедру и пробежалась губами по телу. Он чувствовал лишь легкое любопытство, интерес к тому, сможет ли она снова пробудить в нем желание. Вот в чем секрет ее успеха у матушки Санчес: она давала мужчине вдвое за его деньги. Она прижалась к нему, выкрикнула какую-то непристойность, прикусила его ухо, но наваждение ушло вместе с вождением, оставив гнетущую пустоту. Целую неделю его донимала навязчивая мысль, а теперь он тосковал по ней, как могла бы тосковать мать по крику нежеланного ребенка. Я никогда ее не хотел, думал он, я хотел лишь того, что вообразил себе. У него было желание встать и уйти, оставив ее одну убирать постель, а потом искать другого клиента.

— Где ванная? — спросила она.

В ней не было ничего, что отличало бы ее от других женщин, которых он знал, разве что умение разыгрывать комедию с большей изобретательностью и темпераментом.

Когда она вернулась, он уже был одет и с нетерпением ждал, чтобы оделась она. Он боялся, что она попросит обещанный кофе и надолго задержится, пока будет его пить. В этот час он обычно посещал квартал бедноты. Женщины теперь уже заканчивали работы по дому, а дети успели нанести воды. Он спросил:

— Хотите, я завезу вас в консульство?

— Нет, — сказала она. — Лучше пойду пешком. Может, сарапаз меня уже ждет.

— Вы не много сделали покупок.

— А я покажу Чарли солнечные очки. Он же не будет знать, какие они дорогие.

Пларр вынул из кармана бумажку в десять тысяч песо и протянул ей. Она ее повертела, словно хотела разглядеть, что это за купюра, а потом сказала:

— Никто еще не давал мне больше пяти тысяч. Обычно две. Матушка Санчес не любила, чтобы мы брали больше. Боялась, что это будет вроде как вымогательство.

Но она не права. Мужчины в этом смысле народ странный. Чем меньше они могут, тем больше дают.

— Будто вам не все равно,— сказал он.

— Будто нам не все равно,— согласилась она.

— Клиент, который дал обет поститься.

Девушка засмеялась:

— До чего хорошо, когда можно говорить, что хочешь. С Чарли я так не могу разговаривать. По-моему, ему вообще хотелось бы забыть о сеньоре Санчес.— Она протянула ему деньги.— Теперь это нехорошо, раз я замужем. Да они мне и не нужны. Чарли щедрый. И очки стоили очень дорого.— Она их снова надела, и он опять увидел свое лицо в миниатюре, которое уставилось на него, словно кукольное личико из окна кукольного домика. Она спросила: — Я вас еще увижу?

Ему хотелось ответить: «Нет. Теперь уже конец»,— но привычная вежливость и облегчение от того, что она забыла про кофе, заставили его церемонно ответить как хозяина госте, которую он бы вовсе не хотел снова видеть у себя:

— Конечно. Как-нибудь, когда вы будете в городе... Я дам вам мой номер телефона.

— И вовсе не надо каждый раз делать мне подарки,— заверила она его.

— А вам — разыгрывать комедию.

— Какую комедию?

Он сказал:

— Я знаю, некоторые мужчины хотят верить, что вы получаете такое же удовольствие, как они. У матушки Санчес вам, конечно, приходилось играть роль, чтобы заслужить подарок, но тут вам играть не надо. Может, с Чарли вам и приходится притворяться, но со мной не стоит. Со мной ничего не надо изображать.

— Извините,— сказала она.— Я что-то сделала не так?

— Меня это всегда раздражало там, в вашем заведении,— сказал доктор Плэрр.— Мужчины вовсе не такие болваны, как вам кажется. Они знают, что пришли сами получить удовольствие, а не для того, чтобы доставить его вам

Она сказала:

— А я, по-моему, очень хорошо притворялась, потому что получала более дорогие подарки, чем другие девушки

Она ничуть не обиделась. Видно, привыкла видеть, как мужчина, удовлетворившись, начинает испытывать гостку. Он ничем не отличался от других, даже в этом. И это ощущение пустоты, подумал он — неужели она права? — всего лишь временная *tristitia*²⁴, которую большинство мужчин испытывает потом?

— Сколько времени вы там пробыли?

— Два года. Когда я приехала, мне было уже почти шестнадцать. На мой день рождения девочки подарили мне сладкий пирог со свечками. Я таких раньше не видала. Очень был красивый.

— А Чарли Фортнум любит, чтобы вы вот так делали вид?

— Он любит, чтобы я была очень тихая,— сказала она,— и очень нежная. Вам бы тоже это понравилось? Простите... Я-то думала... Вы ведь гораздо моложе Чарли, вот я и решила...

— Мне бы нравилось, чтобы вы были такой, как есть. Даже равнодушной, если вам так хочется. Сколько мужчин вы знали?

— Разве я могу это помнить?

Он показал ей, как пользоваться лифтом, но она попросила, чтобы он спустился с ней вместе,— лифт ее еще немножко пугал, хотя ей и было интересно. Когда она нажала кнопку и лифт пошел вниз, она подпрыгнула, как тогда, в магазине у Грубера. В дверях она призналась, что боится и телефона.

— А как вас зовут?.. Я забыла ваше имя.

— Плэрр. Эдуардо Плэрр.— И он впервые вслух произнес ее имя: — А вас ведь Клэррой, правда? — Он добавил: — Если вы боитесь телефона, мне придется самому позвонить вам. Но ведь может взять трубку Чарли.

— До девяти он обычно объезжает имение. А по средам почти всегда ездит в город, но он любит брать меня с собой

— Неважно,— сказал доктор Плэрр — Что-нибудь придумаем.

Он не проводил ее на улицу и не поглядел ей вслед. Он был свободен.

²⁴ Грусть (исп.).

А между тем ночью, стараясь уснуть, он почему-то огорчился, подумав, что лучше помнит, как она, вытянувшись, лежит на кровати Фортнума, чем на его собственной. Наваждение может на время притаяться, но не обязательно исчезнет; не прошло и недели, как ему снова захотелось ее видеть. Хотя бы услышать ее голос по телефону, как бы равнодушно он ни звучал, но телефон так и не позвонил, чтобы сообщить ему важную для него весть.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава I

Доктор Пларр вернулся домой только около трех часов утра. Из-за полицейских патрулей Диего поехал в обход и высадил его недалеко от дома сеньоры Санчес, так, чтобы в случае нужды он мог объяснить, откуда шел пешком на рассвете. Он пережил неприятную минуту, когда дверь этажом ниже открылась и чей-то голос спросил:

— Кто там?

Он крикнул:

— Доктор Пларр. И почему только дети рождаются в такие несусветные часы?

Он лег, но почти не спал. Тем не менее он выполнил свои утренние обязанности быстрее обычного и поехал в поместье Чарли Фортнума. Он не представлял себе, что его там ждет, и чувствовал себя усталым, нервным, сердитым, предвидя, что ему придется иметь дело с женщиной в истерике. Лежа ночью в постели без сна, он подумывал, не обратиться ли ему в полицию, но это означало бы обречь Леона и Акуино почти на верную смерть, а может, и Фортнума тоже.

Когда он приехал в поместье, был уже душный, прогретый солнцем полдень и в тени авокадо, возле «Гордости Фортнума» стоял полицейский «джип». Он без звонка вошел в дом; в гостиной начальник полиции беседовал с Кларой. Вопреки его ожиданиям, она вела себя отнюдь не как истеричная дама; на диване чинно сидела молоденькая девушка и покорно выслушивала приказания начальника.

— ... все, что мы можем, — говорил полковник Перес.

— Что вы здесь делаете? — спросил доктор Пларр.

— Я приехал к сеньоре Фортнум, а вы, доктор?

— Я приехал по делу к консулу.

— Консула нет, — сказал полковник Перес.

Клара с ним не поздоровалась. Она, казалось, безучастно ждет, как не раз ждала в дворике публичного дома, чтобы кто-нибудь из мужчин ее увел, — ведь приставать к ним матушка Санчес запрещала.

— В городе его нет, — сказал доктор Пларр.

— Вы были у него в конторе?

— Нет. Позвонил по телефону.

Он сразу же пожалел, что это сказал: полковник Перес был не дурак. Никогда не следует давать непрошенные сведения полиции. Доктор Пларр не раз наблюдал, как спокойно и мастерски ведет дело Перес. Как-то раз обнаружили труп зарезанного человека на плоту, который проплыл две тысячи миль по Паране. В отсутствие доктора Беневенто к излучине реки возле аэропорта, откуда отгружались бревна, вызвали доктора Пларра. Спустившись по небольшой скользкой деревенской тропке, где в подлеске шуршали змеи, он увидел маленькую пристань — так называемый лесосплавный порт.

На плоту целый месяц жила семья. Доктор Пларр, спотыкаясь на бревнах, шел вслед за Пересом и восхищался, как легко полицейский сохраняет равновесие; сам он боялся поскользнуться, когда бревна под его ногами то погружались в воду, то всплывали наверх. Ему казалось, что он, как наездник в цирке, стоя на лошади, гарцует вокруг арены.

— Вы говорили с его экономкой? — спросил полковник Перес.

Доктор Пларр снова выругал себя за необдуманную ложь. Он ведь лечил Клару. Почему было просто не сказать, что это очередной визит врача к беременной женщине? Ложь размножалась в присутствии полицейского, как бактерии. Он сказал:

— Нет. Никто не ответил.

Полковник Перес молча обдумывал его ответ.

Пларр вспоминал, как быстро и легко Перес шагал по вздыбившимся бревнам, словно по ровному городскому тротуару. Бревна тянулись до середины реки. В самом центре этого обширного полегшего леса стояла группа людей, издали они казались совсем маленькими. Пересу и ему, чтобы дойти до них, приходилось перепрыгивать с одного плота на другой, и всякий раз, делая прыжок, доктор боялся, что упадет в воду между плотами, хотя расстояние между ними было, как правило, меньше метра. По мере того, как бревна под его тяжестью погружались, а потом всплывали снова, его ботинки зачерпывали все больше воды.

— Предупреждаю,— сказал Перес,— зрелище будет не из приятных. Семья путешествовала на плоту с мертвецом не одну неделю. Было бы куда лучше, если бы они просто слихнули его в реку. Мы бы так ничего и не знали.

— А почему они этого не сделали? — спросил доктор Пларр, раскинув руки, как канатоходец.

— Убийца хотел, чтобы труп похоронили по-христиански.

— Значит, он признался в убийстве?

— Ну как мне-то не признаться? — ответил Перес. — Ведь мы же люди свои.

Когда они подошли к тем, кто стоял на плоту — там было двое мужчин, женщина, ребенок и двое полицейских, — доктор Пларр заметил, что полиция даже не потрудилась отнять у убийцы нож. Он сидел, скрестив ноги, возле отвратительного трупа, словно был обязан его стеречь. Лицо его выражало скорее грусть, чем сознание вины.

Теперь полковник Перес объяснял:

— Я приехал, чтобы сообщить сеньоре о том, что машина ее мужа была найдена в Паране недалеко от Посадаса. Тело не обнаружено, поэтому мы надеемся, что консулу удалось спастись.

— Несчастный случай? Вы, конечно, знаете, а сеньора не будет в претензии, если я это скажу, — Фортнум довольно много пил.

— Да. Но тут могут быть и другие объяснения, — сказал полковник.

Доктору было бы легче играть свою роль перед полицейским и перед Кларой, если бы они были порознь. Он боялся, что кто-либо из них подметит фальшь в его тоне.

— Как по-вашему, что произошло? — спросил он.

— Любое происшествие так близко к границе может иметь политический характер. Об этом никогда не следует забывать. Помните врача, которого похитили в Посадасе?

— Конечно. Но зачем похищать Фортнума? Он не имеет никакого отношения к политике.

— Он — консул.

— Всего лишь почетный консул.

Даже начальник полиции не мог уяснить этой разницы.

Полковник Перес обратился к Кларе:

— Как только мы узнаем что-нибудь новое, тут же вам сообщим. — Он взял Пларра под руку: — Доктор, я хотел кое-что у вас спросить.

Полковник повел доктора Пларра через веранду, где бар с фирменными стаканами «Лонг Джона», казалось, подчеркивал непонятное отсутствие Чарли Фортнума (он-то, уж конечно, предложил бы им хлебнуть перед уходом), в густую тень от купы авокадо. Перес поднял падалицу, опытным взглядом проверил, поспела ли она, и аккуратно положил на заднее сиденье полицейской машины, куда не падали солнечные лучи.

— Красота, — сказал он. — Люблю их натереть и слегка полить виски.

— Что вы хотели у меня спросить? — задал вопрос доктор.

— Меня смущает одно небольшое обстоятельство.

— Неужели вы действительно думаете, что Фортнума похитили?

— Это одна из версий. Я даже предполагаю, что он мог стать жертвой глупейшей ошибки. Видите ли, при осмотре развалин он был с американским послом. Посол, конечно, куда более заманчивая добыча для похитителей. Если это так, похитители люди не здешние, может быть, они из Парагвая. Мы с вами, доктор, никогда не совершили бы подобной ошибки. Я говорю «с вами», потому что вы почти свой. Конечно, не исключено, что и вы причастны к этому делу. Косвенно.

— Я вряд ли подхожу для роли похитителя, полковник.

— Но я вспомнил — ведь ваш отец по ту сторону границы? Вы как-то говорили, что он либо мертв, либо в тюрьме. Так что у вас может быть подходящий мотив. Про-

стите, доктор, что я думаю вслух, я всегда немножко теряюсь, когда имею дело с политическим преступлением. В политике преступления часто совершают *caballer*²⁵. Я больше привык к преступлениям, которые совершают преступники, в крайнем случае люди, склонные к насилию, или бедняки. Из-за денег или похоти.

— Или *tachismo*.— осмелился поддразнить доктор.

— Ну, здесь у нас всем правит *tachismo*.— заметил Перес и улыбнулся так дружелюбно, что у доктора отлегло от сердца.— Здесь *tachismo* только другое слово для понятия «жизнь». Для воздуха, которым мы дышим. Когда у человека нет *tachismo*, он мертвец. Вы поедете назад в город, доктор?

— Нет. Раз я уже здесь, я осмотрю сеньору Фортнум. Она ждет ребенка.

— Да. Она мне сказала.— Начальник полиции взялся за дверцу машины, но в последнюю минуту обернулся и тихо произнес по-дружески, словно делал признание:— Доктор, зачем вы сказали, что позвонили в консульство и вам не ответили? Я ведь там все утро держал человека на случай, если позвонят.

— Вы же знаете, как у нас в городе работает телефон.

— Когда телефон испорчен, слышишь частые, а не редкие гудки.

— Не всегда, полковник. Впрочем, гудки могли быть и частыми. Я не очень-то вслушивался.

— И проделали весь этот путь в имение?

— Все равно подошло время для осмотра сеньоры Фортнум. Зачем бы я стал вам врать?

— Мне надо учитывать все возможности, доктор. Бывают ведь преступления и на почве страсти.

— Страсти? — улыбнулся доктор.— Я же англичанин.

— Да, это маловероятно, знаю. И в случае сеньоры Фортнум... вряд ли такой человек, как вы, при ваших возможностях, сочтет необходимым... Однако мне попадались преступления на почве страсти даже в публичном доме.

— Чарли Фортнум мой друг.

— Ну, друг... В таких случаях именно друзей и предают... Не правда ли? — Полковник Перес положил руку доктору на плечо.— Вы меня простите. Я достаточно хорошо с вами знаком, чтобы разрешить себе, когда мне что-то непонятно, маленько поразмыслить. Вот как сейчас. Я слышал, что у вас с сеньорой Фортнум весьма близкие отношения. И все же, вы правы, не думаю, чтобы вам так уж понадобилось избавиться от ее мужа. Однако я все же удивляюсь, зачем вам было лгать.

Он влез в машину. Кобура его револьвера скрипнула, когда он опускался на сиденье. Он откинулся, проверяя, хорошо ли лежит авокадо, чтобы его не побило от толчков.

Доктор Пларр сказал:

— Я просто не подумал, полковник, когда вам это сказал. Полиции лжешь почти машинально. Но я не подозревал, что вы так хорошо обо мне осведомлены.

— Город-то маленький,— сказал Перес.— Когда спишь с замужней женщиной, всегда спокойней предполагать, что все об этом знают.

Доктор Пларр проводил взглядом машину, а потом нехотя вернулся в дом. Тайна, думал он, составляет львиную долю привлекательности в любовной связи. В откровенной связи всегда есть что-то абсурдное.

Клара сидела там же, где он ее оставил. Он подумал: первый раз мы вдвоем и ей не надо спешить на встречу в консульство или бояться, что Чарли ненароком вернется с фермы. Она спросила:

— Ты думаешь, он уже умер?

— Нет.

— Может, если бы он умер, всем было бы лучше.

— Но не самому Чарли.

— Даже Чарли. Он так боится совсем постареть,— сказала она.

— И все же не думаю, чтобы в данную минуту ему хотелось умереть.

— Ребенок утром так брыкался.

— Да?

— Хочешь, пойдем в спальню?

— Конечно.— Он подождал, чтобы она встала и пошла вперед.

²⁵ Тут — аристократ (*исп.*).

Они никогда не целовались в губы (это было частью воспитания, полученного в публичном доме), и он шел за ней с медленно поднимающимся возбуждением. Когда любишь по-настоящему, думал он, женщина интересуется тобой потому, что она — нечто от тебя отличное; но потом, мало-помалу она к тебе применяется, перенимает твои привычки, твои идеи, даже твои выражения и становится частью тебя. Какой же интерес она может тогда представлять? Нельзя ведь любить самого себя, нельзя долго жить рядом с самим собой; всякий нуждается в том, чтобы в постели лежал кто-то чужой, а проститутка всегда остается чужой. На ее теле расписывалось так много мужчин, что ты уже никак не можешь там разобрать свою подпись.

Когда они затихли и ее голова опустилась ему на плечо, где ей и было положено мирно, любовно лежать, она сказала фразу, которую он по ошибке принял за слишком часто произносимые слова:

— Эдуардо, это правда? Ты в самом деле...

— Нет, — твердо ответил он.

Он думал, что она ожидает ответа на все тот же банальный вопрос, который постоянно вымогала у него мать после того, как они покинули отца. Ответа, которого рано или поздно добивалась каждая из его любовниц: «Ты в самом деле меня любишь, Эдуардо?» Одно из достоинств публичного дома — что слово любовь там редко или вообще никогда не произносится. Он повторил:

— Нет.

— А как ты можешь быть в этом уверен? — спросила она. — Только что ты так твердо сказал, что он жив, а ведь даже полицейский думает, что его убили.

Доктор Пларр понял, что ошибся, и от облегчения поцеловал ее чуть не в самые губы.

Новость сообщила местная радиостанция, когда они сидели за обедом. Это была их первая совместная трапеза, и оба чувствовали себя неловко. Есть, сидя рядом, казалось доктору Пларру чем-то гораздо более интимным, чем лежать в постели. Им подавала служанка, но после каждого блюда она пропадала где-то в обширных, неубраных помещениях обветшалого дома, куда он еще ни разу не проникал. Сперва она подавала им омлет, потом отличный бифштекс (он был много лучше гуляша в Итальянском клубе или жесткого мяса в «Национале»). На столе стояла бутылка чилийского вина из запасов Чарли, гораздо более крепкого, чем кооперативное вино из Мендосы. Доктору было странно, что он так чинно и охотно ест с одной из девушек сеньоры Санчес. Это открывало неожиданную перспективу совсем другой жизни, семейной жизни, равно непривычной и ему и ей. Слово он попал в лодке по одному из мелких притоков Параны и вдруг очутился в огромной дельте, такой, как у Амазонки, где теряешь всякую ориентацию. Он почувствовал внезапную нежность к Кларе, которая сделала возможным это странное плавание. Они старательно выбирали слова, ведь им впервые приходилось их выбирать; темой для разговора была пропаж Чарли Фортнума.

Доктор Пларр заговорил о нем так, будто он и в самом деле наверняка мертв, казалось, что так спокойнее: ведь в противном случае Клара заинтересовалась бы, на чем покоится его оптимизм. И только когда она заговорила о будущем, он изменил этой тактике, чтобы уклониться от опасной темы. Он заверил ее, что Чарли еще, может быть, жив. Вести свое суденышко по этим просторам Амазонки, полным омутов и мелей, оказалось не так легко — даже глагольные времена путались.

— Вполне возможно, что ему удалось выбраться из машины, а потом, если он ослабел, его сильно стнесло течением... Он мог вылезти на сушу далеко от всякого жилья...

— Но почему его машина оказалась в воде? — Она с огорчением добавила: — Ведь это новый «кадилак». Он хотел продать его на будущей неделе в Буэнос-Айресе.

— Может, у него было какое-то дело в Посадасе. Он же такой человек, который вполне мог...

— Ах нет, я же знаю, что он вовсе не собирался в Посадас. Он ехал ко мне. Он не хотел ездить на эти развалины. И не хотел быть на обеде у губернатора. Он беспокоился обо мне и о ребенке.

— Почему? Не вижу причин. Ты такая крепкая девушка.

— Я иногда делаю вид, что больна, чтобы он тебя позвал. Тебе тогда проще.

— Ну и мерзавка же ты, — сказал он не без восхищения.

— Он взял самые лучшие солнечные очки, те, что ты подарил. Теперь мне их больше не видать. А это мои самые любимые очки. Такие шикарные. Да еще из Мар-дель-Платы.

— Завтра схожу к Груберу и куплю тебе другие,— пообещал он.

— Таких там больше нет.

— Он сможет заказать еще одну пару.

— Чарли их у меня уже брал и чуть не разбил.

— Наверное, вид у него в этих очках был довольно нелепый,— сказал доктор Плarr.

— А ему все равно, как он выглядит. Он когда выпьет, всегда очень плохо выглядят.

Прошедшее и настоящее времена качались взад-вперед, как стрелка барометра при неустойчивой погоде.

— Он любил тебя, Клара?

Вопрос этот никогда раньше его не занимал. Чарли Фортнум как муж Клары всегда представлял для него только неудобство, когда он чувствовал потребность поскорее получить его жену. Но Чарли Фортнум, лежавший под наркозом на ящике в грязной каморке, превратился в серьезного соперника.

— Он всегда был со мной очень добрым.

Им подали мороженое из авокадо, Плarr снова почувствовал к ней влечение. До вечера у него не было визитов к больным; можно насладиться послеобеденным отдыхом, не прислушиваясь к рокочущему приближению «Гордости Фортнума», и продлить удовольствие почти на весь день. После того, первого раза у него в квартире она никогда больше не пыталась изображать страсть, и ее равнодушие даже начало слегка его бесить. Когда он бывал один, он иногда мечтал вызвать у нее искренний возглас удовольствия.

— Чарли когда-нибудь говорил, почему он на тебе женился?

— Я же тебе сказала. Из-за денег. Когда он умрет. А теперь он умер.

— Может быть.

— Хочешь еще мороженого? Я позову Марию. Тут есть звонок, но звонит всегда только Чарли.

— Почему?

— Я не привыкла к звонкам. Все эти электрические штуки — я их боюсь.

Ему было забавно видеть, как чинно она сидит за столом, словно настоящая хозяйка. Он вспомнил о своей матери: в прежние времена в поместье, когда няня приводила его к десерту в столовую, там тоже часто подавали мороженое из авокадо. Мать была гораздо красивее Клары, никакого сравнения, но он вспоминал, сколько всякой косметики для своей красоты она тогда покупала; притирания стояли в два ряда вдоль длинного туалетного стола, который тянулся от стены до стены. Иногда он подумывал, что даже в те дни отец у нее занимал второе место после Герлена и Элизабет Арден²⁶.

— А как тебе Чарли?

Клара даже не потрудилась ответить. Она сказала:

— Радио... надо его послушать. Могут передать что-нибудь новое.

— Новое?

— Ну, о Чарли, конечно. О чем ты думаешь?

— Думаю, что мы можем вместе провести весь день.

— А если он явится?

Пойманный врасплох, он ответил:

— Не явится.

— Почему ты так уверен, что он уже умер?

— Я вовсе в этом не уверен, но если он жив, он сначала позвонит по телефону. Не захочет тебя напугать, тебя и ребенка.

— Все равно, надо слушать радио.

Он нашел сперва Асунсьон, потом переключился на местную станцию. Никаких новостей не сообщили. В эфире звучала только грустная индейская песня и арфа. Клара спросила:

— Ты любишь шампанское?

²⁶ Парфюмерные фирмы.

— Да.

— У Чарли есть шампанское. Ему его обменяли на виски «Лонг Джон», он сказал, что это настоящее французское шампанское.

Музыка прекратилась. Диктор назвал станцию и объявил выпуск новостей; начал он с сообщения о Чарли Фортнуме. Похищен британский консул — диктор опустил уничижительный эпитет. Об американском поселе не упоминалось. Леон, по-видимому, как-то связался со своими сообщниками. Без эпитета титул Чарли звучал довольно внушительно. Делал его фигурой, достойной того, чтобы его похитили. Диктор сообщил, что власти считают, будто консула похитили парагвайцы. Думают, что его вывезли за реку, а похитители предъявляют свои требования через аргентинское правительство, чтобы запутать следы. По-видимому, они требуют освобождения десяти политических заключенных, содержащихся в Парагвае. Любая полицейская акция в Парагвае или Аргентине поставит под угрозу жизнь консула. Заключенных следует отправить самолетом в Гавану или в Мехико-сити... За этим последовал обычный подробный перечень условий. Сообщение было сделано всего час назад по телефону из Росарио газете «Насьон» в Буэнос-Айресе. Диктор сказал, что нет оснований предполагать, будто консула прячут в столице, потому что машину обнаружили возле Посадаса, более чем в тысяче километров от Буэнос-Айреса.

— Не понимаю,— сказала Клара.

— Помолчи и послушай.

Диктор продолжал объяснять, что похитители довольно ловко выбрали время, так как генерал Стреснер в настоящее время находится с неофициальным визитом на юге Аргентины. Ему сообщили о похищении, но, по слухам, он сказал: «Меня это не касается. Я приехал ловить рыбу». Похитители дают правительству Парагвая срок до полуночи в воскресенье; о согласии на их условия должно быть объявлено по радио. Когда это время истечет, они будут вынуждены пленного казнить.

— Но при чем тут Чарли?

— Наверное, произошла ошибка. Другого объяснения быть не может. Не волнуйся. Через несколько дней он будет дома. Скажи служанке, что ты никого не хочешь видеть: боюсь, что сюда нагрянут репортеры.

— Ты останешься?

— Да, на какое-то время останусь.

— Мне сегодня что-то не хочется...

— Да. Конечно. Понимаю.

Она пошла по длинному коридору, увешанному спортивными гравюрами, и доктор Плэрт остановился, чтобы еще раз взглянуть на узкий ручей, затененный ивами, который тек на маленьком северном острове, где родился его отец. Ни один генерал не ездил со своими полковниками ловить рыбу в таких ручьях. Мысль о покинутом доме отца преследовала его и в спальне. Он спросил:

— Тебе хочется вернуться в Тукуман?

— Нет,— сказала она — конечно, нет. Почему ты спрашиваешь?

Она прилегла на кровать не раздеваясь. В загороженной ставнями комнате с кондиционером было прохладно, как в морском гроте.

— А что делает твой отец?

— Когда наступает сезон, режет сахарный тростник, но он уже стареет.

— А не в сезон?

— Они живут на деньги, которые я посылаю. Если я умру, они помрут с голуду. Но я же не умру, правда? Из-за ребенка?

— Да конечно нет. А у тебя есть братья или сестры?

— Был брат, но он уехал, никто не знает куда.— Он сидел на краю кровати, и ее рука на миг дотронулась до его руки, но она тут же ее отняла. Может быть, испугалась, что он примет это за попытку изобразить нежность и будет недоволен.— Как-то утром в четыре часа он пошел резать тростник и не вернулся. Может, умер. А может, просто уехал.

Это напомнило ему исчезновение отца. Тут ведь они живут на материке, а не на острове. Какое это огромное пространство земли с зыбкими границами — повсюду горы, реки, джунгли и болота, где можно потеряться,— на всем пути от Панамы до Огненной Земли.

— И брат ни разу не написал?

— Как же он мог? Он не умел ни читать, ни писать.

— Но ты же умеешь.

— Немного. Сеньора Санчес меня научила. Она хочет, чтобы девушки у нее были образованные. Чарли мне тоже помогал.

— А сестер у тебя не было?

— Сестра была. Она родила в поле ребенка, придушила его, а потом и сама умерла.

Он никогда раньше не расспрашивал ее о родне. Непонятно, что заставило его спросить теперь, может быть захотелось выяснить, чем объясняется его наваждение. Чем она отличалась от других девушек, которых он видел в заведении сеньоры Санчес? Быть может, если он определит эту особенность, наваждение пройдет, как болезнь после того, как найдешь ее причину. Он бы с радостью придушил это наваждение, как ее сестра своего ребенка.

— Я устал,— сказал он.— Дай я прилягу рядом с тобой. Мне надо поспать. Я сегодня не спал до трех часов утра.

— А что ты делал?

— Навещал больного. Ты разбудишь меня, когда стемнеет?

Кондиционер возле окна жужжал так, словно наступило настоящее лето; сквозь сон ему показалось, что он слышит, как звонит колокол, большой пароходный колокол, подвешенный на веревке к стропилам веранды. Он смутно почувствовал, что она встала и ушла. Вдали слышались голоса, шум отъезжающей машины, а потом она вернулась, легла рядом, и он снова заснул. Ему приснилось, как уже не снилось несколько лет, поместье в Парагвае. Он лежал на своей детской кровати над лестницей, прислушиваясь к шуму защелкиваемых замков и задвигаемых щеколд — отец запирает дом,— и все равно ему было страшно. А вдруг внутри заперли того, кого надо было оставить снаружи?

Доктор Пларр открыл глаза. Металлический край кровати превратился в прижатое к нему тело Клары. Было темно. Он ничего не видел. Протянув руку, он дотронулся до нее и почувствовал, как шевельнулся ребенок. Пларр коснулся пальцем ее лица. Глаза у нее были открыты. Он спросил:

— Ты не спишь?

Но она не ответила. Тогда он спросил:

— Что-нибудь случилось?

Она сказала:

— Я не хочу, чтобы Чарли вернулся, но и не хочу, чтобы он умер.

Его удивило, что она проявила какое-то чувство. Она не выказала ни малейшего чувства, когда сидела и слушала полковника Переса, а в разговоре с ним самим после того, как Перес ушел, вспомнила только о «кадиллаке» и о пропаже очков от Грубера.

— Он так хорошо ко мне относился,— сказала она.— Он очень добрый. Я не хочу, чтобы его мучили. Я только хочу, чтобы его здесь не было.

Он стал гладить ее, как гладил бы напуганную собачонку, и потихоньку, ненамеренно они обнялись. Он не чувствовал вожделения, и когда она застонала, не почувствовал и торжества.

Пларр с грустью подумал: почему я когда-то так этого хотел? Почему я думал, что это будет победой? Играть в эту игру не было смысла, ведь теперь он знал, какие ходы ему надо сделать, чтобы выиграть. Ходами были сочувствие, нежность, покой — подделки под любовь. А его привлекало в ней ее безразличие, даже враждебность. Она попросила:

— Останься со мной на ночь.

— Разве я могу? Служанка узнает. А вдруг она расскажет Чарли?

— Я могу уйти от Чарли.

— Слишком рано об этом думать. Надо прежде его как-нибудь спасти.

— Конечно, но потом...

— Ты ведь только что о нем беспокоилась.

— Не о нем,— сказала она.— О себе. Когда он здесь, я ни о чем не могу разговаривать, только о ребенке. Ему хочется забыть, что сеньора Санчес вообще существует, поэтому я не могу видаться с подругами, ведь они все там работают. А что ему за радость от меня? Он со мной больше не бывает, боится, что это повредит ребенку. Как? Иногда меня так и тянет ему сказать: ведь все равно он не твой, чего ты так о нем заботишься?

- А ты уверена, что ребенок не его?
- Уверена. Может, если бы он о тебе узнал, он бы меня отпустил.
- А кто сюда недавно приходил?
- Два репортера.
- Ты с ними разговаривала?

— Они хотели, чтобы я обратилась с воззванием к похитителям — в защиту Чарли. Я не знала, что им сказать. Одного из них я видела раньше, он иногда меня брал, когда я жила у сеньоры Санчес. По-моему, он рассердился из-за ребенка. Наверное, про ребенка ему рассказал полковник Перес. Говорит, ребенок — вот еще новость! Он-то думал, что нравится мне больше других мужчин. Поэтому считает, что оскорблен его machismo. Такие, как он, всегда верят, когда ты представляешься. Это тешит их гордость. Он хотел показать своему приятелю-фотографу, что между нами что-то есть, но ведь ничего же нет! Ничего. Я разозлилась и заплакала, и они меня сняли на фото. Он сказал: «Хорошо! О'кей! Хорошо! Как раз то, что нам надо. Убитая горем жена и будущая мать». Он так сказал, а потом они уехали.

Причину ее слез было нелегко понять. Плакала ли она по Чарли, со злости или по себе самой?

- Ну и странный же ты зверек, Клара,— сказал он.
- Я сделала что-нибудь не так?
- Ты же сейчас опять разыгрывала комедию, правда?
- Что ты говоришь? Какую комедию?
- Когда мы с тобой занимались любовью.

— Да,— сказала она,— разыгрывала. А я всегда стараюсь делать то, что тебе нравится. Всегда стараюсь говорить то, что тебе нравится. Да. Как у сеньоры Санчес. Почему же нет? Ведь у тебя тоже есть твой machismo.

Он почти ей поверил. Ему хотелось верить. Если она говорит правду, все еще осталось что-то неизведанное, игра еще не кончена.

— Куда ты идешь?

— Я и так тут потратил чересчур много времени. Наверное, я все же как-то могу помочь Чарли.

— А мне? А как же я?

— Тебе лучше принять ванну,— сказал он.— А то твоя служанка по запаху догадается, чем мы занимались.

Глава II

Доктор Плarr поехал в город. Он твердил себе, что надо немедленно чем-то помочь Чарли, но не представлял себе, чем именно. Может, если он промолчит, дело будет улажено в обычном порядке: английский и американский послы окажут необходимое дипломатическое давление, Чарли Фортнума как-нибудь утром обнаружат в одной из жерквей и он отправится домой... домой?... а десять узников в Парагвае будут отпущены на свободу... не исключено, что среди них окажется и его отец. Что он может сделать кроме того, чтобы дать событиям идти своим ходом? Он ведь уже солгал полковнику Пересу, значит, он замешан в этом деле.

Конечно, чтобы облегчить совесть, можно обратиться с почувствованной просьбой к Леону Ривасу отпустить Чарли Фортнума «во имя былой дружбы». Но Леон себе не хозяин, да к тому же доктор Плarr не очень хорошо себе представлял, как его найти. В квартале бедноты все топкие дороги похожи одна на другую, повсюду растут деревья авокадо, стоят одинаковые глинобитные или жестяные хижинки и дети со вздутыми животами таскают канистры с водой. Они уставятся на него бессмысленными глазами, уже зараженными трахомой, и будут молчать в ответ на все его вопросы. Он потратит часы, если не дни, чтобы отыскать хижину, где прячут Чарли Фортнума, а что в любом случае даст его вмешательство? Он тщетно пытался уверить себя, что Леон не из тех, кто совершает убийства, да и Акуино тоже, но они только орудия — там ведь есть еще этот никому не известный Эль Тигре, кем бы он ни был.

Плarr впервые услышал об Эль Тигре вечером, когда шел мимо Леона и Акуино, сидевших рядышком в его приемной. Они были такими же для него посторонними, как и другие пациенты, и он на них даже не взглянул. Всеми, кто сидел в приемной, должна была заниматься его секретарша.

Секретаршей у него служила хорошенькая молодая девушка по имени Ана. Она была умопомрачительно деловита и к тому же дочь влиятельного чиновника из отдела здравоохранения. Доктор Пларр иногда недоумевал, почему его к ней не тянет. Может, его останавливал белый накрахмаленный халат, который она ввела в обиход по своей инициативе,— если до нее дотронешься, он, глядишь, заскрипит или хрустнет, а то и подаст сигнал полиции о налете грабителей. А может, его удерживало высокое положение отца или ее набожность — искренняя или напускная. Она всегда носила на шее золотой крестик, и однажды, проезжая через соборную площадь, он увидел, как она вместе со своей семьей выходит из церкви, неся молитвенник, переплетенный в белую кожу. Это мог быть подарок к первому причастию, так он был похож на засахаренный миндаль, который раздают в подобных случаях.

В тот вечер, когда к нему пришли на прием Леон и Акуино, он отпустил остальных больных, прежде чем очередь дошла до этих двух незнакомцев. Он их не помнил, ведь его внимания постоянно требовали все новые лица. Терпение и терапия — тесно связанные друг с другом слова. Секретарша подошла к нему, потрескивая крахмалом, и положила на стол листок.

— Они хотят пройти к вам вместе,— сказала она.

Пларр ставил на полку медицинский справочник, в который часто заглядывал при больных: пациенты почему-то больше доверяли врачу, если видели картинки в красках,— эту особенность человеческой психологии отлично усвоили американские издатели. Когда он повернулся, перед его столом стояли двое мужчин. Тот, что пониже, с торчащими ушами, спросил:

— Ведь ты же Эдуардо, верно?

— Леон! — воскликнул Пларр. — Ты Леон Ривас? — Они неловко обнялись. Пларр спросил: — Сколько же прошло лет?. Я ничего о тебе не слышал с тех пор, как ты пригласил меня на свое рукоположение. И очень жалел, что не смог приехать на церемонию, для меня это было бы небезопасно.

— Да ведь с этим все равно покончено.

— Почему? Тебя прогнали?

— Во-первых, я женился. Архиепископу это не понравилось.

Доктор Пларр промолчал.

Леон Ривас сказал:

— Мне очень повезло. Она хорошая женщина.

— Поздравляю. Кто же в Парагвае отважился освятить твой брак?

— Мы дали обет друг другу. Ты же знаешь, в брачном обряде священник всегонавсего свидетель. В экстренном случае... а это был экстренный случай.

— Я и забыл, что бывает такой простой выход.

— Ну, можешь поверить, не так-то это было просто. Тут надо было все хорошенько обдумать. Наш брак более нерушим, чем церковный. А друга моего ты узнал?

— Нет... по-моему... нет...

Доктору Пларру захотелось содрать с лица другого жидкую бородку, тогда бы он наверное узнал кого-нибудь из школьников, с которыми много лет назад учился в Асунсьоне.

— Это Акуино.

— Акуино? Ну как же, конечно, Акуино! — Они снова обнялись, это было похоже на полковую церемонию: поцелуй в щеку и медаль, выданная за невозвратное прошлое в разоренной стране. Он спросил: — А ты что теперь делаешь? Ты же собиравался стать писателем. Пишешь?

— В Парагвае больше не осталось писателей.

— Мы увидели твое имя на пакете в лавке у Грубера,— сообщил Леон.

— Он мне так и сказал, но я подумал, что вы полицейские агенты оттуда.

— Почему? За тобой следят?

— Не думаю.

— Мы ведь действительно пришли оттуда.

— У вас неприятности?

— Акуино был в тюрьме,— сказал Леон.

— Тебя выпустили?

— Ну, власти не так уж настаивали на моем уходе,— сказал Акуино.

— Нам повезло,— объяснил Леон. — Они перевозили его из одного полицейского участка в другой, и завязалась небольшая перестрелка, но убит был только тот

полицейский, которому мы обещали заплатить. Его случайно подстрелили их же люди. А мы ему дали только половину суммы в задаток, так что Акуино достался нам по дешевке.

— Вы хотите здесь поселиться?

— Нет, поселиться мы не хотим,— сказал Леон.— У нас тут есть дело. А потом мы вернемся к себе.

— Значит, вы пришли ко мне не как больные?

— Нет, мы не больные.

Доктор Пларр понимал всю опасность перехода через границу. Он встал и отворил дверь. Секретарша стояла в приемной возле картотеки. Она сунула одну карточку на место, потом положила другую. Крестик раскачивался при каждом движении, как кадильница. Доктор затворил дверь. Он сказал:

— Знаешь, Леон, я не интересуюсь политикой. Только медициной. Я не пошел в отца.

— А почему ты живешь здесь, а не в Буэнос-Айресе?

— В Буэнос-Айресе дела у меня шли неважно.

— Мы думали, тебе интересно знать, что с твоим отцом?

— А вы это знаете?

— Надеюсь, скоро сможем узнать.

Доктор Пларр сказал:

— Мне, пожалуй, лучше завести на вас истории болезни. Тебе, Леон, запишу низкое кровяное давление, малокровие... А тебе, Акуино, пожалуй, мочевой пузырь... Назначу на рентген. Моя секретарша захочет знать, какой я вам поставил диагноз.

— Мы думаем, что твой отец еще, может быть, жив,— сказал Леон.— Поэтому, естественно, вспомнили о тебе...

В дверь постучали, и в кабинет вошла секретарша.

— Я привела в порядок карточки. Если вы разрешите, я теперь уйду...

— Возлюбленный дожидается?

Она ответила:

— Ведь сегодня суббота,— словно это должно было все ему объяснить.

— Знаю.

— Мне надо на исповедь.

— Ага, простите, Ана. Совсем забыл. Конечно, ступайте.— Его раздражало, что она не кажется ему привлекательной, поэтому он воспользовался случаем ее подразнить.— Помолитесь за меня,— сказал он.

Она пропустила его зубоскальство мимо ушей.

— Когда кончите осмотр, оставьте их карточки у меня на столе.

Платье ее захрустело, когда она выходила из комнаты, как крылья майского жука.

Доктор Пларр сказал:

— Сомневаюсь, чтобы ей долго пришлось исповедоваться.

— Те, кому не в чем каяться, всегда отнимают больше времени,— сказал Леон Ривас.— Хотят ублажить священника, подольше его занять. Убийца думает только об одном, поэтому забывает все остальное, может, грехи и почище. С ним мало возни.

— А ты все еще разговариваешь как священник. Почему ты женился?

— Я женился, когда утратил веру. Человеку надо что-то беречь.

— Не представляю себе тебя неверующим.

— Я говорю ведь только о вере в церковь. Или скорее в то, во что они ее превратили. Я, конечно, убежден, что когда-нибудь все станет лучше. Но я был рукоположен, когда папой был Иоанн²⁷. У меня не хватает терпения ждать другого Иоанна.

— Перед тем, как идти в священники, ты собирался стать адвокатом. А кто ты сейчас?

— Преступник,— сказал Леон.

— Шутить.

— Нет. Поэтому я к тебе и пришел. Нам нужна твоя помощь.

— Хотите ограбить банк? — спросил доктор.

²⁷ Иоанн XXIII (1881—1963), избран папой в 1958 году. Проводил курс на мирное сосуществование стран с различным строем.

Глядя на эти торчащие уши и после всего, что он о нем узнал, Плэрр не мог принимать Леона всерьез.

— Ограбить посольство, так, пожалуй, будет вернее.

— Но я же не преступник, Леон.— И тут же поправился:— Если не считать парочки абортю.— Ему хотелось поглядеть, не дрогнет ли священник, но тот и глазом не моргнул.

— Дурно устроенное общество,— сказал Леон Ривас,— и честных людей превратит в преступников.

Фраза прозвучала чересчур гладко. Видно, это была хорошо известная цитата. Доктор Плэрр вспомнил, что Леон сперва изучал книги по юриспруденции,— как-то раз он ему объяснил, что такое гражданское правонарушение. Потом на смену им пошли труды по теологии. Леон умел при помощи высшей математики придать достоверность даже троице. Наверное, и в его новой жизни тоже есть свои учебники. Может быть, он цитирует Маркса?

— Новый американский посол собирается в ноябре посетить север страны,— сказал Леон.— У тебя есть связи, Эдуардо. Все, что нам требуется,— это точный распорядок его визита.

— Я не буду соучастником убийства.

— Никакого убийства не будет. Убийство нам ни к чему. Акуино, расскажи, как они с тобой обращались.

— Очень просто,— сказал Акуино.— Совсем несвоевременно. Без всяких электрических штук. Как conquistadores²⁸, обходились ножом..

Доктора Плэрра мучило, когда он его слушал. Он был свидетелем многих неприятных смертей, но почему-то переносил их спокойнее. Можно было что-то сделать, чем-то помочь. Его тошнило от этого рассказа, как когда-то, когда много лет назад он анатомировал мертвеца с учебной целью. Только когда имеешь дело с живой плотью, не теряешь любопытства и надежды. Он спросил:

— И ты им ничего не сказал?

— Конечно, сказал,— ответил Акуино.— У них все это занесено в картотеку. Сектор ЦРУ по борьбе с партизанами остался мною очень доволен. Там были два их агента, и они дали мне три пачки «Лаки страйк». По пачке за каждого человека, которого я выдал.

— Покажи ему руку, Акуино,— сказал Леон.

Акуино положил правую руку на стол, как пациент, пришедший к врачу за советом. На ней не хватало трех пальцев; рука без них выглядела как нечто вытасченное сетью из реки, где разбойничали угри. Акуино сказал:

— Вот почему я начал писать стихи. Когда у тебя только левая рука, от стихов не так устаешь, как от прозы. К тому же их можно запомнить наизусть. Мне разрешали свидание раз в три месяца (это еще одна награда, которую я заслужил), и я читал ей свои стихи.

— Хорошие были стихи,— сказал Леон.— Для начинающего. Что-то вроде «Чистилища» в стиле villancico²⁹.

— Сколько тут вас? — спросил доктор Плэрр.

— Границу перешло человек двенадцать не считая Эль Тигре. Он уже находится в Аргентине.

— А кто он такой, ваш Эль Тигре?

— Тот, кто отдает приказания. Мы его так прозвали, но это просто ласковая кличка. Он любит носить полосатые рубашки.

— Безумная затея, Леон.

— Такие вещи уже проделывали.

— Зачем похищать здешнего американского посла, а не того, что у вас в Асунсьоне?

— Сперва мы так и задумали. Но Генерал принимает большие предосторожности. А здесь, сам знаешь, после провала в Сальте гораздо меньше опасаются партизан.

— Но тут вы все же в чужой стране.

— Наша страна — Южная Америка, Эдуардо. Не Парагвай. И не Аргентина.

²⁸ Конкистадоры (исп.).

²⁹ Старинные испанские народные песни, нечто вроде рождественских колядок (исп.).

Знаешь, что сказал Че Гевара? «Моя родина — весь континент». А ты кто? Англичанин или южноамериканец?

Доктор Плаарр и сейчас помнил этот вопрос, но, проезжая мимо белой тюрьмы в готическом стиле при въезде в город, которая всегда напоминала ему сахарные украшения на свадебном торте, по-прежнему не смог бы на него ответить. Он говорил себе, что Леон Ривас — священник, а не убийца. А кто такой Акуино? Акуино — поэт. Ему было бы гораздо легче поверить, что Чарли Фортнуму не грозит гибель, если бы он не видел, как тот в беспмятстве лежит на ящике такой странной формы, что он мог оказаться и гробом.

Глава III

Чарли Фортнум очнулся с такой жестокой головной болью, какой он у себя еще не помнил. Глаза резало, и все вокруг он видел как в тумане. Он прошептал: «Клара» — и протянул руку, чтобы до нее дотронуться, но наткнулся на глинобитную стену. Тогда в его сознании возник доктор Плаарр, который ночью стоял над ним, светя электрическим фонариком. Доктор рассказывал ему какую-то чушь о якобы происшедшем с ним несчастном случае.

Сейчас был уже день. В щель под дверь в соседнюю комнату, падая на пол, пробивался солнечный свет, и, несмотря на резь в глазах, он видел, что это не больница. Да и жесткий ящик, на котором он лежал, не был похож на больничную койку. Он спустил ноги и попытался встать. Голова закружилась, и он чуть не упал. Схватившись за край ящика, он обнаружил, что всю ночь пролежал на перевернутом гробе. Это, как он любил выражаться, просто его оgoroшило.

— Тед! — позвал он.

Доктора Плаарра он не представлял себе способным на розыгрыши, но тут требовались объяснения, и ему хотелось поскорее назад, к Кларе. Клара перепугается. Клара не будет знать, что делать. Господи, она ведь боится даже позвонить по телефону.

— Тед! — прохрипел он снова.

Виски еще никогда на него так не действовало, даже местное пойло. С кем же, дьявол его побери, он пил и где? Мейсон, сказал он себе, а ну-ка, не распускайся. Он всегда сваливал на Мейсона худшие свои ошибки и недостатки. В детстве, когда он еще ходил на исповедь, это Мейсон вставал на колени в исповедальне и бормотал заученные фразы о плотских прегрешениях, но из кабинки выходил уже не он, а Чарли Фортнум, после того как Мейсону были отпущены его грехи, и лицо его сияло блаженством.

— Мейсон, Мейсон, — шептал он теперь, — ах ты сопляк несчастный, что же ты вчера вытворял?

Он знал, что, выпив лишнее, способен забыть, что с ним было, но до такой степени все забыть ему еще не приходилось... Спотыкаясь, он шагнул к двери и в третий раз окликнул доктора Плаарра.

Дверь толчком распахнулась, и оттуда появился какой-то незнакомец, помахивая автоматом. У него были узкие глаза, угольно-черные волосы, как у индейца, и он закричал на Фортнума на гуарани. Фортнум, несмотря на сердитые уговоры отца, удосужился выучить всего несколько слов на гуарани, но тем не менее понял, что человек приказывает ему снова лечь на так называемую кровать.

— Ладно, ладно. — сказал по-английски Фортнум — незнакомец так же не мог его понять, как он гуарани. — Не кипятись, старик. — Он с облегчением сел на гроб и сказал: — Ну-ка, мотай отсюда.

В комнату вошел другой незнакомец, голый до пояса, в синих джинсах, и приказал индейцу выйти. Он внес чашку кофе. Кофе пах домом, и у Чарли Фортнума стало полегче на душе. У человека торчали уши, и Чарли припомнился соученик по школе, которого Мейсон за это безбожно дразнил, хотя Фортнум потом раскаивался и отдавал жертве половину своей шоколадки. Воспоминание вселило в него уверенность. Он спросил:

— Где я?

— Все в порядке, успокойтесь, — ответил тот и протянул ему кофе.

— Мне надо поскорей домой. Жена будет волноваться.

— Завтра. Надеюсь, завтра вы сможете уехать.

— А кто тот человек с автоматом?
— Мигель. Он человек хороший. Пожалуйста, пейте кофе. Вы почувствуете себя лучше.

— А как вас зовут? — спросил Чарли Фортнум.

— Леон.

— Я спрашиваю, как ваша фамилия?

— Тут у нас ни у кого нет фамилий, поэтому мы люди без роду, без племени. Чарли Фортнум попытался разжевать это сообщение, как непонятную фразу в книге; но и прочтя ее вторично, так ничего и не понял.

— Вчера вечером здесь был доктор Пларр, — сказал он.

— Пларр? Пларр? По-моему, я никого по имени Пларр не знаю.

— Он мне сказал, что я попал в аварию.

— Это сказал вам я.

— Нет, не вы. Я его видел. У него в руках был электрический фонарь.

— Он вам приснился. Вы пережили шок... Ваша машина серьезно повреждена. Выпейте кофе, прошу вас... Может, тогда вы вспомните все, что было, яснее.

Чарли Фортнум послушался. Кофе был очень крепкий, и в голове у него действительно прояснилось. Он спросил:

— А где посол?

— Я не знаю ни о каком после.

— Я оставил его в развалинах. Хотел повидать жену до обеда. Убедиться, что она хорошо себя чувствует. Я не люблю ее надолго оставлять. Она ждет ребенка.

— Да? Для вас это, наверное, большая радость. Хорошо быть отцом.

— Теперь вспоминаю. Поперек дороги стояла машина. Мне пришлось остановиться. Никакой аварии не было. Я уверен, что никакой аварии не было. А зачем автомат? — Рука его слегка дрожала, когда он подносил ко рту кофе. — Я хочу домой.

— Пешком отсюда слишком далеко. Вы для этого еще недостаточно окрепли. А потом вы же не знаете дороги.

— Дорогу я найду. Могу остановить любую машину.

— Лучше вам сегодня отдохнуть. После перенесенного удара. Завтра мы, может, найдем для вас какое-нибудь средство передвижения. Сегодня это невозможно.

Фортнум плеснул остаток своего кофе ему в лицо и кинулся в другую комнату. Там он остановился. В десятке шагов от него, у выходной двери стоял индеец, напавив автомат ему в живот. Темные глаза блестели от удовольствия — он водил автоматом то туда, то сюда, словно выбирал место между пупком и аппендиксом. Он сказал что-то забавное на гуарани.

Человек по имени Леон вышел из задней комнаты.

— Видите? — сказал он. — Я же вам говорил. Сегодня уехать вам не удастся. — Одна щека у него была красная от горячего кофе, но говорил он мягко, без малейшего гнева. У него было терпение человека, больше привыкшего выносить боль, чем причинять ее другим.

— Вы, наверное, проголодались, сеньор Фортнум. Если хотите, у нас есть яйца.

— Вы знаете, кто я такой?

— Да, конечно. Вы — британский консул.

— Что вы собираетесь со мной делать?

— Вам придется какое-то время побыть у нас. Поверьте, мы вам не враги, сеньор Фортнум. Вы нам поможете избавить невинных людей от тюрьмы и пыток. Наш человек в Росарио уже позвонил в «Насьон» и сказал, что вы находитесь у нас.

Чарли Фортнум начал кое-что понимать.

— Ага, вы, как видно, по ошибке схватили не того, кого надо? Вам нужен был американский посол?

— Да, произошла досадная ошибка.

— Роковая ошибка. Никто не станет морочить себе голову из-за Чарли Фортнума. А что вы тогда будете делать?

Человек сказал:

— Уверен, что вы ошибаетесь. Вот увидите. Все будет в порядке. Английский посол переговорит с президентом. Президент поговорит с Генералом. Он сейчас тут, в Аргентине, отдыхает. Вмешается и американский посол. Мы ведь всего-навсего просим Генерала выпустить нескольких человек. Все было бы так просто, если бы один из наших людей не совершил ошибки.

— Вас подвели неверные сведения, правда? С послем ехали двое полицейских. И его секретарь. Поэтому мне не нашлось места в его машине.

— Мы бы с ними справились.

— Ладно. Давайте ваши яйца,— сказал Чарли Фортнум,— но скажите этому Мигелю, чтобы он убрал свой автомат. Портит мне аппетит.

Человек по имени Леон опустился на колени перед маленькой спиртовкой, стоявшей на глиняном полу, и стал возиться со спичками, сковородой и кусочком топленого сала.

— Я бы выпил виски, если оно у вас есть.

— Прошу извинить. У нас нет никакого алкоголя.

На сковороде запузырилось сало.

— Вас ведь зовут Леон, а?

— Да.— Человек разбил о край сковороды одно за другим два яйца. Когда он держал половинки скорлупы над сковородой, пальцы его чем-то напомнили Фортнуму жест священника у алтаря, ломающего облатку над потиром.

— А что вы будете делать, если они откажутся?

— Я молю бога, чтобы они согласились,— сказал человек на коленях.— Надеюсь, что они согласятся.

— Тогда и я надеюсь, что бог вас услышит,— сказал Чарли Фортнум.— Не пережарьте яичницу.

Ближе к вечеру Чарли Фортнум услышал о себе официальное сообщение. Леон в поддень включил портативный приемник, но батарейка отказала посреди передачи индейской музыки, а запасной у него не было. Молодой человек с бородкой, которого Леон звал Акуино, пошел за батарейками в город. Его долго не было. С базара пришла женщина, принесла продукты и сварила им еду — овощной суп с несколькими кусочками мяса. Она стала энергично наводить в хижине порядок, поднимая пыль в одном углу, после чего та сразу же оседала в другом. У нее была копна нечесаных черных волос и бородавка на лице, к Леону она обращалась с угодливой фамильярностью. Он звал ее Мартой.

Смущаясь присутствием женщины, Чарли Фортнум признался, что ему нужно в уборную. Леон приказал индейцу отвести его на двор в кабинку за хижинкой. На двери уборной не хватало петли, и она не затворялась, а внутри была лишь глубокая яма, на которую набросили парочку досок. Когда он оттуда вышел, индеец сидел в нескольких шагах и поигрывал автоматом, нацеливаясь то в дерево, то в пролетающую птицу, то в бродячую дворнягу. Сквозь деревья Чарли Фортнум разглядел другую хижину, еще более жалкую, чем та, куда он возвращался. Он подумал, не побежать ли туда за помощью, но не сомневался, что индеец будет только рад пустить оружие в ход. Вернувшись, он сказал Леону:

— Если вы сможете достать парочку бутылок виски, я за них заплачу.

Кошелек его, как он заметил, никто и не думал красть, и он вынул оттуда нужную сумму.

Леон передал деньги Марте.

— Придется потерпеть, сеньор Фортнум,— сказал он.— Акуино еще не вернулся. А пока он не придет, никто из нас уйти не может. Да и до города не близко.

— Я заплачу за такси.

— Боюсь, что ничего не выйдет. Тут нет такси.

Индеец снова сел на корточки у двери.

— Я немного посплю,— сказал Фортнум.— Вы мне вкатили сильное снотворное.

Он пошел в заднюю комнату, растянулся на гробе и попытался уснуть, но мысли мешали ему спать. Его беспокоило, как Клара управляется в его отсутствие. Он ни разу не оставлял ее на целую ночь одну. Чарли ничего не смыслил в деторождении, но боялся, что потрясение или даже беспокойство могут дурно отразиться на еще не родившемся ребенке. После женитьбы на Кларе он даже пытался поменьше пить — если не считать той первой брачной ночи с виски и шампанским в отеле «Италия» в Росарио, когда они впервые могли остаться наедине без помехи; отель был старомодный, и там приятно пахло давно осевшей пылью, как в старинных книгохранилищах.

Он остановился там потому, что боялся, как бы Клару не испугал отель «Ривьера» — новый, роскошный, с кондиционерами. Ему надо было выправить кое-какие бумаги в консульстве на Санта-Фе, 9-39 (он запомнил номер, потому что это была цифра

месяца и года его первого брака), бумаги, которые, если поступит запрос, докажут, что никаких препятствий к его второму браку не существует; не одна неделя прошла, прежде чем он получил копию свидетельства о смерти Эвелин из маленького городка Айдахо. К тому же в сейфе консульства он оставил в запечатанном конверте свое завещание. Консулом тут был симпатичный человек средних лет. Почему-то речь у них зашла о лошадях, и они с Чарли Фортнумом сразу нашли общий язык. После гражданской и религиозной церемоний консул пригласил молодоженов к себе и откупорил бутылку настоящего французского шампанского. Эта скромная выпивка среди канцелярских шкафов выгодно отличалась от приема в Айдахо после его первой женитьбы. Он с ужасом вспоминал белый торт и родственников жены в темных костюмах и даже с крахмальными воротничками, хотя брак был гражданский и в Аргентине его бы вообще не считали за брак. Вернувшись домой, они с женой вели себя осторожно и никому об этом не рассказывали. Венчаться по католическому обряду жена не желала из-за своих убеждений. Она состояла в секте христианской науки. К тому же гражданский брак ставил под угрозу ее наследные права, что тоже было унижительно. Чарли хотел, чтобы положение Клэры было надежным: второй его брак должен был покоиться на прочном фундаменте.

Через какое-то время он погрузился в глубокий сон без всяких сновидений, разбудило его радио из соседней комнаты, которое то и дело повторяло его имя: сеньор Карлос Фортнум. «Полиция,— сообщал диктор,— считает, что его, вероятно, увезли в Росарио, было установлено, что телефонный звонок в «Насьон» был оттуда». В городе с более чем полумиллионным населением нельзя произвести повальные обыски, аохитители дали властям только четыре дня на удовлетворение предъявленных ими требований. Чарли Фортнум подумал, что один из этих четырех дней уже прошел; Клэра, конечно, слушает передачу, но, слава богу, рядом с ней Тед, он ее успокоит. Тед знает, что произошло. Тед к ней поедет. Тед уж как-нибудь постарается, чтобы она не волновалась. Тед скажет ей, что даже если его убьют, ей нечего опасаться. Она так страшилась своего прошлого; он это видел по тому, что она никогда о нем не упоминала. Это и было одной из причин, почему он на ней женился; он хотел ее убедить, что ей никогда и ни при каких обстоятельствах не придется вернуться назад к матушке Санчес. Он даже чересчур рьяно о ней заботился, как неуклюжий долдон, которому доверили нечто ему не принадлежащее и очень хрупкое. Его донимал постоянный страх, как бы не нарушить ее душевный покой. По радио заговорили об аргентинской футбольной команде, разъезжавшей по Европе.

— Леон! — позвал он.

Маленький человек с ушами, как у летучей мыши, и внимательным взглядом хорошего слуги заглянул в дверь. Он сказал:

— Долго же вы спали, сеньор Фортнум. Это очень хорошо.

— Я слышал радио, Леон.

— Ах да,— в руке Леон нес стакан, под мышками у него торчали две бутылки виски.— Жена принесла из города две бутылки,— сказал он и, с гордостью их показав (марка виски была аргентинская), тщательно отсчитал сдачу.— Вы только успокойтесь. Через несколько дней все будет кончено.

— В том смысле, что меня прикончат? Дайте-ка мне виски.

Он налил треть стакана и выпил.

— Уверен, еще сегодня сообщат, что они приняли наши условия. И тогда завтра вечером вы сможете отправиться домой.

Чарли Фортнум налил себе еще порцию виски.

— Вы чересчур много пьете,— заботливо упрекнул его человек, которого звали Леон.

— Нет. Я свою норму знаю. А тут главное знать свою норму. Как ваша фамилия, Леон?

— Я же вам говорил, что у меня нет фамилии.

— Но духовный сан-то у вас есть? Скажите, что вы делаете в этой компании, отец Леон?

Он мог поклясться, что уши у того дрогнули, как у пса, услышавшего знакомый окрик: только слово «отец» заменило «гулять» или «кошка».

— Вы ошибаетесь. Вы же видели мою жену, Марту. Она принесла вам виски.

— Но священник всегда остается священником, отец мой. Я вас разгадал, когда вы разбивали над сковородкой яйца. Так и вижу вас возле алтаря.

— Вы это придумали, сеньор Фортнум.

— Да, но что придумали вы? За посла вы могли бы получить хороший выкуп, а за меня — шиш. Никто за меня и песо не даст, кроме моей жены. Странно, если священник станет убийцей, но, вероятно, для этой работы вы найдете кого-нибудь другого.

— Нет,— с глубочайшей серьезностью возразил Леон,— если не дай бог до этого дею дойдет, я возьму все на себя. Вину ни на кого перекладывать не буду.

— Тогда мне лучше оставить вам немного виски. Рекомендую прежде выпить глоток... через сколько дней они сказали, кажется, через три?

Собеседник отвел глаза. Вид у него был испуганный. Шаркая, он сделал два шага к двери, словно отходил от алтаря и боялся наступить на подол слишком длинного облачения.

— Посидели бы вы, поболтали со мной,— сказал Чарли Фортнум.— Я больше боюсь, когда один. Вам мне признаться не стыдно. Если нельзя сказать священнику, кому же тогда можно? А вот тот индеец... Он глазееет на меня и улыбается. Ему охота убивать.

— Ошибаетесь, сеньор Фортнум. Мигель человек хороший. Он просто не понимает по-испански и улыбается, чтобы показать, как он хорошо к вам относится. Попробуйте еще поспать.

— Хватит, выпался. Мне хочется с вами поговорить.

Человек развел руками, и Чарли Фортнум представил себе его в церкви делающим ритуальные жесты.

— У меня много дел.

— А я ведь могу вас удержать, если захочу.

— Нет, нет! Мне необходимо уйти.

— Могу вас удержать. Запросто. Знаю как.

— Обещаю, что скоро вернусь.

— Чтобы вас удержать, мне ведь только надо сказать: отец мой, я хочу исповедаться.

Человек застрял в пролете двери свиной к нему. Его большие уши торчали, как детские ручки над церковной кружкой.

— С тех пор как я в последний раз исповедался, отец...

Человек обернулся и сердито сказал:

— Такими вещами не шутят. Если вы будете шутить, я вас слушать не стану...

— Да это вовсе не шутки, отец мой. И не в том я положении, чтобы шутить по какому бы то ни было поводу. Право же, когда человек вот-вот умрет, ему есть в чем покаяться.

— Я лишен своего сана,— упрямо возразил его собеседник.— Если вы действительно католик, то должны понимать, что это значит.

— Я, кажется, лучше вас знаю правила, отец мой. При чрезвычайных обстоятельствах, если под рукой нет другого священника — а ведь тут его нет, правда? — соблюдать формальности не нужно. Ваши люди ведь не позволят никого сюда привести...

— Никаких чрезвычайных обстоятельств пока что нет.

— Все равно времени осталось немного... и если я прошу...

Этот человек снова напомнил ему собаку, собаку, которую обругали, а за что, она и сама толком не понимала.

— Сеньор Фортнум, поверьте мне,— взмолился он,— чрезвычайных обстоятельств не будет... и вам никогда не понадобится...

— «Господи, прости нам грехи наши» — так, кажется, полагается начать? Черт-те сколько времени прошло... За последние сорок лет я только раз был в церкви... не так давно, когда женился. Но на исповедь не ходил, вот уж чего не было! Чересчур много надо на это времени, нехорошо заставлять даму ждать.

— Прошу вас, сеньор Фортнум, не смейтесь надо мной!

— Да я не над вами смеюсь, отец мой. Может, немножко смеюсь над собой. Пока действует виски, еще могу.— Он добавил: — Смешно ведь, если вдуматься: «Ныне к вам прибегаю, да избавите душу мою от муки вечные...» Ведь такова, кажется, формула? А у вас все время револьвер наготове. Вам не кажется, что нам лучше начать сейчас? Пока револьвер не заряжен. У меня столько накопилось на душе.

— Я не буду вас слушать.— Он поднял руки к своим оттопыренным ушам. Уши прижались к черепу и тут же отскочили обратно.

Чарли Фортнум его успокоил:

— Да не переживайте, ладно вам. Я же несерьезно. И какое это имеет значение?

— В каком смысле?

— Я ведь, отец мой, ни во что не верю. И не стал бы венчаться в церкви, если бы не законы эти. Вопрос был в деньгах. Для моей жены. А из каких побуждений вы-то женились? — Он быстро поправился: — Извините. Я не имел права это спрашивать.

Но человек, по-видимому, не рассердился. Вопрос даже чем-то, казалось, его заинтересовал. Он медленно пересек комнату, приоткрыв рот, как умирающий с голоду, который тянется к куску хлеба. В уголках рта скопилось немного слюны. Он подошел и присел на корточки возле гроба. А потом тихо произнес (можно было подумать, что он сам стоит на коленях в исповедальне):

— Думаю, что от злости и одиночества, сеньор Фортнум. Я не хотел причинить вред этой бедной женщине.

— Одиночество — это мне понятно, — сказал Чарли Фортнум. — И я от него страдал. Но при чем тут злость? На кого вы были злы?

— На церковь, — сказал тот и добавил с насмешкой: — На мать мою церковь.

— Я бывал зол на своего отца. Мне казалось, он меня не понимает и на меня плюет. Я его ненавидел. И тем не менее мне стало очень тоскливо, когда он умер. А теперь... — и он поднял свой стакан, — я ему даже подражаю. Хотя пил он больше, чем я. Все равно отец есть отец, но я не понимаю, как можно питать злобу к матери нашей церкви. Я бы никогда не мог разозлиться на учреждение, хоть и самое дерьмовое.

— Она ведь ипостась, — сказал тот, — утверждают, что она — ипостась Христа на земле, я даже и сейчас немножко в это верю. Такой человек, как вы, — un Inglés³⁰ — не может понять, как мне было стыдно того, что они заставляли меня читать людям. Я был священником в бедном районе Асунсьона возле реки. Вы заметили, что беднота всегда теснится поближе к реке? Все равно как если бы они собирались в один прекрасный день куда-то уплыть, но плавать не умеют, да и плыть-то им некуда. По воскресеньям я должен был читать им из Евангелия.

Чарли Фортнум слушал его без особого сочувствия, но с весьма хитрым прицелом. Жизнь его зависела от этого человека, и ему было крайне необходимо знать, что им движет. Может быть, ему удастся затронуть какую-то струну взаимопонимания. Человек говорил без умолку, словно жаждущий, который никак не может напиться. Вероятно, ему уже давно не удавалось высказываться начистоту, видно, он только и мог выговориться перед человеком, который все равно умрет и запомнит из того, что он сказал, не больше, чем священник в исповедальне. Чарли Фортнум спросил:

— А чем плохо Евангелие, отец мой?

— Бессмыслица, — сказал бывший священник, — во всяком случае, в Парагвае. «Продай имение твое и раздай нищим»³¹, — я должен был им это читать, в то время как тогдашний наш старый архиепископ ел вкусную рыбу из Игуазу и пил французское вино с Генералом. Народ, правда, не подыхал с голоду, ему можно не дать умереть, кормя одной маникой, а для богачей наше недоедание куда безопаснее голода. Настоящий голод доводит человека до отчаяния. А недоедание так ослабляет, что он не в силах поднять кулак. Американцы отлично это понимают, помощь, которую они нам оказывают, как раз и обеспечивает это состояние. Наш народ не подыхает, он чахнет. Слова «Пустите детей приходиться ко мне... ибо таковых есть Царствие Божие»³² застывали у меня на языке. Вот передо мной в передних рядах сидят эти дети со вздутыми животами и пупками, торчащими, как дверные ручки. «А кто соблазнит малых сих, лучше было бы, если бы...»³³. «И отдашь голодно-му»³⁴... Что отдашь? Манику? А потом я делил между ними облатки, хоть они и не такие питательные, как хорошая лепешка, а вино пил сам. Вино! Кто из этих несчастных когда-нибудь его пробовал? Почему нельзя причащаться водой? Он же причащал

³⁰ Англичанин (*исп.*).

³¹ Евангелие от Матфея 19:21.

³² Евангелие от Луки 18:16.

³³ Евангелие от Матфея 18:6.

³⁴ Книга пророка Исайи 58:10.

ею в Кане Галилейской. А разве во время тайной вечери не стоял кувшин с водой, которую он мог бы пить вместо вина?

К изумлению Чарли Фортнума его собачьи глаза заблестели непролитыми слезами.

— Только не думайте,— говорил он,— что все такие плохие христиане, как я. Иезуиты делают все, что могут. Но за ними следит полиция. Телефоны их прослушиваются. Если кто-то из них внушает опасение, его живо переправляют за реку. Но не убивают. Янки будут недовольны, если убьют священника, да ведь и не так уж мы опасны. Я как то в проповеди упомянул об отце Торресе, которого застрелили вместе с партизанами в Колумбии. Только сказал, что не в пример Содому в церкви может найтись хоть один праведник, поэтому ей и не грозит такая участь, как Содому. Полиция донесла об этом архиепископу, и архиепископ запретил мне читать проповеди. Ну что ж, бедняга был уж очень стар, Генералу он нравился, и тот, наверное, думал, что поступает правильно, отдавая кесарю кесарево...

— Все это не моего ума дело, отец,— сказал Чарли Фортнум; припопавшись на локте, он смотрел вниз на темные волосы, где еще проглядывала былая тонзура, как дристорическое капище в поле, если на него смотреть с самолета. Он вставлял слова «отец мой» при малейшей возможности; его почему-то это ободряло. Отцы обычно не убивают своих сыновей, хотя с Авраамом это чуть было не произошло.— Но я же ни в чем не виноват, отец мой.

— Да я вас и не виню, сеньор Фортнум, боже избави.

— Я понимаю, с вашей точки зрения похищение американского посла вполне оправдано. Но я... я ведь даже не настоящий консул, да англичан эта ваша борьба и не касается.

Священник рассеянно пробормотал избитую фразу:

— Сказано, что один человек должен пострадать за всех людей...

— Но это сказали не христиане, а те, кто распинал Христа.

Священник поднял на него глаза:

— Да, вы правы. Я это привел не подумав. Вы, оказывается, знаете священное писание.

— Не читал его с самого детства. Но такие вещи западают в память. Как Struwwelpeter³⁵.

— Кто-кто?

— Ну, ему еще большие пальцы отрезали.

— Никогда о нем не слышал. Он что, ваш мученик?

— Нет, нет. Это из детской книжки, отец мой.

— У вас есть дети? — резко спросил священник.

— Нет, но я же вам говорил. Через несколько месяцев у меня должен родиться ребенок. Уже здорово брыкается.

— Да, вспомнил.— И добавил: — Не беспокойтесь, скоро вы будете дома.— Эта фраза словно была обведена частоколом вопросительных знаков, и он хотел, чтобы пленник, согласившись, ободрил его самого: «Да, конечно. Само собой».

Однако Чарли Фортнум не пожелал играть в эту игру.

— А к чему этот гроб, отец мой? По-моему, в этом есть что-то упадочное.

— На земле спать чересчур сыро, даже если что-нибудь постелить. Мы не хотели, чтобы вы заболели ревматизмом.

— Что же, это очень гуманно, отец мой.

— Мы же не варвары. Тут в квартале есть человек, который делает гробы. Вот мы и купили у него один. Это безопаснее, чем покупать кровать... В квартале на гробы куда больший спрос, чем на кровати. Гроб ни у кого не вызовет интереса.

— И, верно, подумали, что потом он пригоится, чтобы сунуть туда труп?

— Клянусь, этого у нас и в мыслях не было. Но доставать кровать было бы опасно.

— Что ж, пожалуй, я еще немножко выпью. Выпейте со мной, отец мой.

— Нет. Понимаете, я дежурю. Мне надо вас сторожить.— Он робко улыбнулся.

— Ну, с вами было бы нетрудно совладать. Даже такому старику, как я.

— Дежурят у нас всегда двое,— пояснил священник.— Снаружи Мигель с автоматом. Это приказ Эль Тигре. И еще потому, что одного можно уговорить. Или

³⁵ Персонаж сказки немецкого писателя Генриха Гофмана (1809—1894), нечто вроде нашего Степки-растрепки.

даже подкупить. Все мы только люди. Кто из нас выбрал бы такую жизнь по своей воле?

- Индеец не говорит по-испански?
- Нет, и это тоже хорошо.
- Вы не возражаете, если я немного разомнусь?
- Пожалуйста.

Чарли Фортнум подошел к двери и проверил, правду ли говорит священник. Индеец сидел у двери на корточках, положив на колени автомат. Он заговорщицки улыбнулся Фортнуму, словно оба они знали что-то смешное. И почти неприметно передвинул свой автомат.

- А вы говорите на гуарани, отец мой?
- Да. Я когда-то вел службу на гуарани.

Несколько минут назад между ними возникла близость, симпатия, даже дружба, но все это улетучилось. Когда исповедь окончена, оба — и священник и кающийся — остаются в одиночестве. И если встретятся в церкви, оба сделают вид, будто не знакомы друг с другом. Казалось, что это кающийся стоит сейчас возле гроба, глядя на часы. Чарли Фортнум подумал: он высчитывает, сколько часов еще осталось.

- Может, передумаете и выпьете со мной, отец?
 - Нет. Нет, спасибо. Может, когда все кончится...— Он добавил: — Он запаздывает. Мне уже давно пора было уйти.
 - Кто это «он»?
- Священник сердито ответил:
- Я же вам сказал, что у таких, как мы, нет имен.

Темнело, и в проходной комнате, где были закрыты ставни, кто-то зажег свечу. Дверь к нему они оставили открытой, и ему был виден индеец, сидевший с автоматом у порога. Интересно, подумал Чарли, когда настанет его черед спать. Человек по имени Леон давно ушел. Тут был еще и негр, которого он раньше не замечал. Если бы у меня был нож, подумал он, смог бы я проделать в стене дыру, чтобы сбежать?

Человек, которого звали Акуино, внес свечу, держа ее в левой руке. Чарли Фортнум заметил, что правую руку он не вынимает из кармана джинсов. Может, он держит там револьвер... или нож...

Он снова стал обдумывать свой явно безнадежный план пробурить дырку в глинобитной стене. Но в немислимом положении только и остается что искать немислимый выход.

- Где отец? — спросил он.
- У него дела в городе, сеньор Фортнум.

Он заметил, что все они обращаются с ним крайне вежливо, словно пытаются его заверить, будто «во всей этой истории нет ничего личного. Когда она кончится, мы сможем остаться друзьями». Но не исключено, что это обычная вежливость, которую, как говорят, тюремный надзиратель проявляет перед казнью даже к самому ответному убийце. Люди так же почтительно относятся к смерти, как к знатному незнакомцу, приехавшему в город, пусть даже визит его вовсе нестати.

- Он сказал:
- Я так хочу есть, что, кажется, съел бы вола.

Это было неправдой, но вдруг они так глупы, что дадут ему нож? У него сложилось впечатление, что он попал в руки не к профессионалам, а к любителям.

— Потерпите немного, сеньор Фортнум,— сказал Акуино.— Мы ждем Марту. Она обещала сварить похлебку. Готовит она не очень вкусно, но если бы вы посидели в тюрьме, как я...

- Он подумал: ага, похлебку. Значит, мне снова дадут только ложку.
- Тут осталось немного виски,— сказал он.— Может, выпьете со мной?

- Акуино сказал:
- Нам пить не полагается.
- Капельку, за компанию.

— Ну разве что совсем капельку. Закушу луковицей, Марта принесла их для похлебки. Лук отобьет запах. Огорчать Леона не хочется. Он человек воздержанный, ему так положено, но мы-то, слава богу, не священники. Вы мне слишком много напнали,— запротестовал он.

— Много? Да всего половину того, что налил себе. Salud ³⁶.

— Salud.

Он заметил что Акуино так и не вынул правую руку из кармана.

— А вы кто, Акуино?

— В каком смысле кто?

— Вы рабочий?

— Я преступник,— с гордостью сказал Акуино.— Мы все преступники.

— Это ваше постоянное занятие?— Фортнум поднял стакан, и Акуино последовал его примеру.— Но ведь не с этого же вы начинали?

— Ну, я, как и все, ходил в школу. Нас там учили священники. Они были хорошие люди, и школа была хорошая. Леон там тоже учился, он хотел стать адвокатом. А я — писателем. Но ведь и писателю надо на что-то жить, поэтому я стал торговать — продавал на улице американские сигареты. Контрабандные из Панамы. И хорошо зарабатывал... Даже мог позволить себе снять комнату еще с тремя парнями, и у нас хватало денег на чипа. От них здорово толстеешь. Они куда питательнее маниоки.

— У меня за городом имение,— сказал Чарли Фортнум.— Мне был бы очень кстати новый сарапаз. Вы человек образованный. Вам было бы легко обучиться этому делу.

— Ну, теперь у меня другая работа,— с гордостью заявил Акуино.— Я же вам сказал, что я преступник. И поэт.

— Поэт?

— В школе Леон помогал мне писать. Сказал, что у меня талант; но вот как-то раз в Асунсьоне я послал статью с критикой янки в газету. У нас в стране Генерал запрещает что-нибудь печатать против янки, и после этого они не стали даже читать те статьи, что я им посылал. Подозревали, что там есть какой-то двойной смысл, от чего у них будут неприятности. Решили, что я — politico ³⁷, и что мне тогда оставалось? Я и стал politico. За это они посадили меня в тюрьму. Так всегда бывает, если ты politico и не колорадо ³⁸, то есть не из партии Генерала.

— В тюрьме было плохо?

— Еще как плохо,— сказал Акуино. Он вынул правую руку и показал ее Чарли.— Вот тогда я и стал писать стихи. Чтобы научиться писать левой рукой, надо очень много времени, и потом пишешь медленно. А я ненавижу все медленное. Лучше быть мышью, чем черепахой хотя черепаха и живет гораздо дольше.— После второго глотка виски он стал разговорчивым.— Меня восхищает орел, он камнем падает с неба на жертву, не то что гриф, который, медленно махая крыльями, слетает вниз и поглядывает, совсем ли она подохла. Поэтому я и взялся за стихи. Проза течет медленно, а поэзия падает, как орел, и бьет, прежде чем опомнишься. Конечно, в тюрьме мне не давали ни пера, ни бумаги, но стихи и не надо записывать. Я их заучивал наизусть.

— А стихи были хорошие? — спросил Чарли Фортнум.— Правда, я-то в них не разбираюсь.

— По-моему, кое-какие были хорошие,— сказал Акуино. Он допил виски.— Леон говорил, что некоторые были хорошие. Сказал, что они похожи на стихи какого-то Вийона. Тот тоже был преступником вроде меня.

— Первый раз о нем слышу,— сказал Чарли Фортнум.

— Стих, который я сначала написал в тюрьме,— рассказывал Акуино,— был о нашей самой первой тюрьме, о той, в которой мы все побывали. У моего стихотворения был припев: «Отца я вижу только сквозь решетку». Понимаете, я писал о загородах, куда в буржуазных домах сажают детей. У меня в стихотворении отец преследует сына всю жизнь: сначала он школьный учитель, потом священник, потом полицейский и тюремный надзиратель и в конце концов сам генерал Стреснер. Генерала я как-то видел, когда он объезжал страну. Он зашел в полицейский участок, где я сидел, и я его видел через решетку.

³⁶ Привет (*исп.*).

³⁷ Политик (*исп.*).

³⁸ «Колорадо» — национально-республиканская правительственная партия, основанная в 1887 г., опора диктатуры Стреснера.

— У меня скоро родится ребенок,— сказал Чарли Фортнум.— И я хотел бы увидеть этого маленького негодника, пусть даже на часок. Но, знаете, не через решетку. Хотел бы дожить до того, чтобы узнать, мальчик это или девочка.

— Когда он родится?

— Месяцев через пять или вроде этого. Точно не знаю. В таких делах я плохо разбираюсь.

— Не беспокойтесь. Вы будете дома, сеньор, задолго до этого.

— Если вы меня убьете, не буду,— ответил Чарли Фортнум, все же надеясь, несмотря ни на что, получить их обычный ободряющий ответ, как бы фальшиво он ни звучал; но не удивился, когда его не услышал: он начинал жить в царстве правды.

— Я написал много стихов о смерти,— весело, с удовлетворением сообщил Акуино, подняв на свет стакан с остатками виски, чтобы поймать в нем отблеск свечи.— Больше всего мне нравится одно с таким рефреном: «Смерть всего лишь сорняк, дождь ей вовсе не нужен». А Леону не нравится, он говорит, что я пишу как крестьянин, я ведь когда-то и собирался стать крестьянином. Ему больше нравится то, где сказано: «В чем бы ни была твоя вина — пишу всем дают одну и ту же». И есть еще одно, которым я доволен, хоть и сам толком не знаю, что я хотел сказать, но когда хорошо его прочтешь, оно звучит красиво: «Когда о смерти речь, то говорит живой».

— Да вы чертову уйму этих стихов написали о смерти.

— По-моему, чуть не половина моих стихов — о смерти,— сказал Акуино.— А для мужчины и есть только две стоящие темы: любовь и смерть.

— Я не хочу умереть, пока у меня не родится ребенок.

— Лично я вам желаю всяческого счастья, сеньор Фортнум. Но ни у кого из нас нет выбора. Может, завтра я умру под машиной или от лихорадки. А умереть от пули — это одна из самых быстрых и достойных смертей.

— Вот, наверное, так вы меня и убьете.

— Естественно... А как же иначе? Мы не жестокие люди, сеньор Фортнум. Пальцев мы у вас отрезать не будем.

— Однако и без нескольких пальцев жить можно. Вы же без них обходитесь, верно?

— Я понимаю, боль вас пугает, я-то знаю, что боль делает с человеком, что она сделала со мной, но не пойму, почему вы так боитесь смерти. Смерти ведь все равно не избежать, и если священники правы, потом будет долгая жизнь за гробом, а если не правы, значит, и бояться нечего.

— А вы верили в эту жизнь за гробом, когда вас пытали?

— Нет,— признался Акуино.— Но и о смерти не думал. Была только боль.

— У нас есть такая поговорка: лучше синица в руке, чем журавль в небе. Лично я про эту загробную жизнь никогда не думал. Знаю только, что хотел бы прожить еще лет десять у себя в поместье и смотреть, как растет мой мальш.

— Но вы вообразите, сеньор Фортнум, чего только не может произойти за десять лет! И ребенок ваш вдруг умрет — дети ведь здесь мрут как мухи — и жена изменит, а вас замучает медленный рак. Пуля же — это так просто и так быстро.

— Вы уверены?

— Пожалуй, еще капля виски мне не повредит,— сказал Акуино.

— Да у меня и у самого горло пересохло. Знаете старую поговорку: англичанину всегда не хватает двух рюмок до нормы.

Он налил виски очень скупно — осталось меньше четверти бутылки — и с грустью подумал о своем поместье, о баре на веранде, где всегда под рукой непочатая бутылка.

— Вы женаты? — спросил он.

— Не совсем,— ответил Акуино.

— А я был дважды женат. Первый раз у меня что-то не заладилось. А во второй — сам не знаю, почему,— чувствую совсем по-другому. Хотите, покажу фотографию?

Он нашел у себя в бумажнике цветной квадратик. Клара сидела за рулем «Гордости Фортнума», косясь на аппарат с таким страхом, словно он сейчас выстрелит.

— Хорошенькая,— вежливо отозвался Акуино.

— Понимаете, на самом деле она править не умеет,— сказал Фортнум,— и снимок чересчур засинен. Видите, какого цвета авокадо. Грубер обычно проявляет луч-

ше.— Он с сожалением посмотрел на фотографию.— К тому же она не совсем в фокусе. И хуже здесь, чем на самом деле, но я тогда перебрал против нормы и рука у меня, верно, дрогнула.

Он с тревогой посмотрел на жалкий остаток в бутылке.

— Как правило, ничего нет лучше виски, чтобы побороть эту дрожь. Как насчет того, чтобы прикончить бутылку?

— Мне самую малость,— сказал Акуино.

— У каждого человека своя норма. Я никого не стану попрекать, если она у него не такая, как у меня. Норма — она вроде бы встроена в твой организм, как лифт в жилой дом.— Чарли внимательно следил за Акуино. Он правильно рассчитал — нормы у них совсем разные. И сказал: — Мне понравился тот ваш стих насчет смерти.

— Который?

— Память у меня кошмарная. А что вы сделаете с трупом?

— С каким трупом?

— С моим трупом.

— Сеньор Фортнум, зачем говорить о таких неприятных вещах? Я пишу о смерти, это правда, но о смерти совершенно отвлеченно. Я не пишу о смерти друзей.

— Понимаете, ведь те люди в Лондоне, они обо мне никогда и не слышали. Им-то что? Я ведь не член их клуба.

— «Смерть всего лишь сорняк, и дождь ей вовсе не нужен». Вы об этом стихотворении говорили?

— Да, да, именно! Теперь вспомнил. Но все равно, Акуино, даже если смерть дело обычное, умирать все же надо с достоинством. Согласны? Salud.

— Salud, сеньор Фортнум.

— Зовите меня Чарли, Акуино.

— Salud, Чарли.

— Я не хотел бы, чтобы меня нашли в таком виде: грязным, небритым...

— Я могу вам дать миску с водой.

— А бритву?

— Нет.

— Хотя бы безопасную. Что я могу натворить безопасной бритвой?

Да, дело в норме. Теперь ему казалось, что он все может. Будь у него хотя бы ножницы, глинобитную стену он сперва намочит.

— А ножницы, чтобы подровнять волосы?

— Надо спросить разрешения у Леона, Чарли.

А острою палочку? — он придумывал, как бы ее назвать поубедительнее. Теперь, когда он выпил свою норму и голова у него работала, он был уверен, что убежать можно.

— Я хочу написать Кларе, моей жене,— сказал он.— Той девушке на фотографии. Письмо можете держать у себя, пока все не кончится и вы не будете в безопасности. Я просто хочу ей сказать, что перед смертью думал о ней. Дайте мне карандаш, острый карандаш,— неосторожно добавил он, взглянув на стену и вдруг усомнившись, не был ли он чересчур самонадеян.

Там, правда, видно местечко, где стена была рыхлая, из нее торчала солома, которую подмешивали к глине.

— У меня есть шариковая ручка,— сказал Акуино.— Но я все-таки спрошу Леона Чарли.

Он вынул ручку из кармана и внимательно ее осмотрел.

— А какой от нее может быть вред, Акуино? Я сам бы спросил твоего приятеля, но, понимаешь, со священниками мне почему-то не по себе.

— Вы должны нам отдать все, что напишете,— сказал Акуино.— Нам придется это прочесть.

— Конечно. Давайте начнем вторую бутылку?

— Вы хотите меня напоить? Да я ведь кого хочешь перепою.

— Что вы! Я еще сам своей нормы не выпил. Мне хватает одной рюмки сверх полбутылки, а вот вы только половину моей нормы и выпили.

— Может, нам еще долго не удастся купить вам виски.

— «Будем есть и пить, ибо завтра умрем!»³⁹ Это вроде как из Библии. Видно,

³⁹ Книга пророка Исаи 22:13.

и во мне просыпается сочинитель. А все виски. Вообще-то я не мастак писать письма. Но я первый раз в разлуке с Кларой с тех пор как мы вместе.

— Вам и бумага будет нужна, Чарли.

— Да, о ней я и забыл.

Акуино принес ему пять листиков бумаги, вырванных из блокнота:

— Я их сосчитал. Вы должны будете все до одного мне вернуть, используете вы их или нет.

— И дайте немного воды, помыться. Не хочу, чтобы письмо было в грязных пятнах.

Акуино подчинился, но на этот раз слегка поворчал.

— Это вам, Чарли, не отель,— сказал он, грохнув таз на земляной пол и расплескав по нему воду.

— Если бы это был отель, я бы повесил на двери: «Прошу не беспокоить». Возьмите виски, выпейте еще.

— Нет. С меня хватит.

— Будьте другом, прикройте дверь. Не выношу, когда этот индеец на меня смотрит.

Оставшись один, Чарли Фортнум намочил рыхлое место на стене водой и принялся ковырять его шариковой ручкой. Через четверть часа на полу лежала щепотка пыли, а в стене образовалось крошечное углубление. Если бы не виски, он бы отчаялся. Чарли сел на пол, чтобы скрыть вмятину в стене, вымыл ручку и принялся писать. Ему надо было как-то объяснить, на что у него ушло время.

«Моя дорогая детка»,— начал он и задумался. Официальные отчеты он писал на пишущей машинке, которая, казалось, сама складывала нужные фразы. «В ответ на ваше письмо от 10 августа...», «Подтверждая получение вашего письма от 22 декабря...», «Как я по тебе соскучился»,— писал он сейчас. Это ведь и было самое главное, что он должен сказать; все, что он добавит, будет лишь повторением или перепевом той же мысли. «Кажется, прошли годы с тех пор, как я уехал из поместья. В то утро у тебя болела голова. Прошла теперь? Прошу тебя, не принимай слишком много аспирина. Это вредно для желудка, да и для ребенка, наверное, тоже. Ты проследи, очень тебя прошу, чтобы «Гордость Фортнума» закрыли брезентом,— вдруг пойдут дожди».

Письмо, думал он, доставят либо когда он уже будет дома, либо когда он уже будет мертв; он вдруг почувствовал, какое огромное расстояние между глинобитной хижинкой и его поместьем, между гробом и «джипом», стоящим под купой авокадо, между ним и Кларой, поздно встававшей с двуспальной кровати, баром с напитками на веранде, которым никто не пользуется. Глаза щипало от слез, и он вспмнил, как попрекал его отец: «Не трусь. Чарли, будь же мужчиной. Плакса!.. Терпеть не могу, когда себя жалеют. Тебе должно быть стыдно. Стыдно. Стыдно». Слово это звучало как похоронный звон по всякой надежде. Иногда, хоть и не часто, он пытался защищаться. «Да я же не о себе плачу. Утром я ставнем раздавил ящерицу. Нечаянно. Хотел ее выпустить. Я о ящерице плачу, а не о себе». Он и сейчас плакал не о себе. Слезы были из-за Клары и немножко из-за «Гордости Фортнума» — ведь оба были брошены на произвол судьбы и беззащитны. Сам-то он терпел лишь страх и неудобства. А одиночество, как он знал по опыту, терпеть куда тяжелее.

Он перестал писать, глотнул еще виски и снова стал ковырять стену шариковой ручкой. Стена впитала воду и скоро опять стала сухой, как кость. Через полчаса он прекратил это занятие. Дыру он раскопал величиной с мышиную норку, не больше двух сантиметров в глубину. Чарли опять взялся за письмо и написал, словно бросая кому-то вызов: «Могу тебе сказать, что Чарли Фортнум готов идти напролом. Я не такой слабак, как они думают. Я твой муж и слишком тебя люблю, чтобы позволить какой-то мрази встать между нами. Я что-нибудь придумаю и сам отдам это письмо тебе в руки, то-то мы тогда посмеемся и выпьем того хорошего французского шампанского, которое я берег для особого случая. Мне говорили, что шампанское повредить ребенку не может». Он отложил письмо, потому что у него действительно зрела мысль, правда пока еще очень туманная. Он отер со лба пот, и на миг ему почудилось, будто он споняет и пары виски, отчего голова становится ясная.

— Акуино! — позвал он. — Акуино!

Акуино нехотя, настороженно вошел в комнату.

— Виски больше не хочу,— сказал он.

— Мне надо в уборную.

— Я скажу Мигелю, чтобы он с вами сходил.

— Нет, Акуино... Меня будет стеснять, если этот индеец сядет снаружи и станет тыкать в меня своим автоматом. Ему так и не терпится пустить его в ход.

— Мигель не хочет вам зла. Ему просто нравится автомат. У него никогда его раньше не было.

— Все равно я его боюсь. Почему бы вам не взять у него автомат и самому меня не стеречь? Я знаю, Акуино, вы не станете стрелять без надобности.

— Он обидится, если у него возьмут его автомат.

— Ну тогда, черт бы вас подрал, я сделаю свои дела здесь!

— Хорошо, я с ним поговорю,— сказал Акуино.

Большинству людей нелегко хладнокровно застрелить расположенного к вам человека,— план Чарли Фортнума был очень прост.

Когда Акуино вернулся, в руках у него был автомат.

— Ладно,— сказал он,— пойдём. У меня только левая рука, но имейте в виду, когда у тебя автомат, снайпером быть не требуется. Одна из пуль наверняка попадает в цель.

— Даже пуля поэта,— деланно улыбаясь, сказал Чарли Фортнум.— Я хотел бы, чтобы вы списали мне то стихотворение. Приятно будет сохранить его на память.

— Которое?

— Да вы же знаете, о чем я говорю Насчет смерти.

Он прошел через проходную комнату. Индеец на него не смотрел. Он с тревогой уставился на автомат, словно нечто бесценное попало в неверные руки.

Всю дорогу до навеса под авокадо Чарли Фортнум болтал без умолку. Когда он был без сознания, часы его встали, и теперь он понятия не имел, сколько сейчас времени, но тени уже вытянулись. Под деревьями, густо увешанными темно-коричневыми плодами, стояла мгла.

— Я почти дописал письмо,— сказал он.— До чего же трудно писать!

Когда он дошел до двери сарайчика, он повернулся и вымученно улыбнулся Акуино. Если тот улыбнется в ответ, это будет хороший признак, но Акуино не улыбнулся. Может, он был просто чем-то озабочен. Может, он сочинял стихотворение о смерти. А может быть, он выпил не ту норму, что надо.

Чарли Фортнум, собираясь с духом, посидел в загородке сколько положено. Потом быстро вышел и резко свернул направо, чтобы хижина оказалась между ним и Акуино. Надо было пройти всего несколько шагов, а там, под деревьями, его скроет темнота. Он услышал короткую очередь, крик, ответный крик и ничего не почувствовал.

— Не стреляйте, Акуино! — крикнул он.

Снова ударили выстрелы, и он рухнул прямо туда, где сгущалась темнота.

Перевели с английского Е. ГОЛЫШЕВА и Б. ИЗАКОВ.

(Окончание следует)

ПУБЛИЦИСТИКА

ЮРИЙ АЗАРОВ,
доктор педагогических наук, профессор



ИГРА

Размышления о нравственном воспитании

В публикации «Самое человеческое» («Новый мир», № 6, 1982) известный публицист Ю. Азаров рассказал о духовном становлении учителя, о всестороннем развитии школьников, о неустанной борьбе против формализма в школе.

Новая публикация, продолжающая начатый разговор,— интересная попытка рассмотреть малозученную проблему влияния игры на развитие таланта учителя и творческой активности школьников.

Два начала боролись во мне помимо моей воли. Первое — духовное рациональное, если можно так сказать. Здесь давали о себе знать мои пристрастия к искусствоведческим и философским вопросам. Я не мог в себе долго носить то, что накапливалось и отстаивалось на дне моей души. Отсюда и жажда учительствования, проповедничества. Мне нужна была среда. Чистая и искренняя. И я стал эксплуатировать детскую доверчивость. И страдал от того, что дети не всегда понимали меня. Мучился, видя то, что они не в состоянии подняться на мою высоту. И не понимал, что у них своя высота, своя истинность.

Когда я столкнулся со вторым началом (я назвал его игровым, или интуитивно-творческим), то вдруг увидел мир совсем другим. Зеленые холмы, сочная поросль, бархатистость полей, теплая земля, шершавость стволов, звенящие ручки, ясное небо — все это, оказываясь, имеет прямое отношение к воспитанию, соединяется с детской душой, является частью их жизни. Жизни, не соединимой с моим рационалистическим дидактизмом, убивающим первозданность детской гармонии.

Это противоречие требовало разрешения, поскольку детство нуждается в одухотворении не только силами природы, но и силами культуры. В игре я вдруг увидел могучее средство, способное объединить духовное и природное начала. Игра на вольном просторе обнаружила самое разное в детях: ловкость и сноровку, раскованность и бесстрашие, нежность и беспощадность. Они состязались в благородстве. Здесь не было скидок на возраст, силу или слабость. Здесь властвовал закон игры: диктаторский, вольный, справедливый.

Но в игре было что-то еще, чего я не мог понять. Что-то манило и исчезало, необыкновенно прекрасное, не просто притягательно-красивое, а истинно прекрасное, которое уже обозначилось, но сторонилось меня, потому что истинно прекрасное чуждо суетливой шумности, бездумной сварливости и жадной рекламности. Я потом у Блока где-то вычитал, что истинно прекрасное не взять силами той любви, которой люди любят красивое, или умное, или доброе, или правдивое, которой они любят закат солнца, красивую женщину или стройную диалектику. Так вот эти два начала, манившие меня в общении с детьми, я не мог взять силами той эгоистичной любви, которая развивала во мне бесовские свойства, отчуждала в конечном итоге и от детей и от взрослых.

Потом, много лет спустя, понял: объединить эти два начала — игру и жизнь, игру и духовность — значит приблизиться к познанию самых глубоких тайн воспитания.

Когда там, четверть века назад, в северном поселке, в соленинской чистоте, состоялось это мое первое сближение с игрой, я будто прозрел. И новая струя осветила и очистила мои искания. И новая радость появилась. И это произошло так.

Летом, в каникулы, я заехал в пионерский лагерь, где начальником был физрук нашей школы Александр Васильевич Сердельников, а его заместителем, то есть старшим вожатым,— мой университетский товарищ Михаил Бирхов.

Терпеливо прождал я почти весь день, пока Миша Бирхов проводил планерку, бегал в стройуправление, получал какой-то инвентарь, на ходу писал программу «Вечера сказок». Вокруг меня все кипело. Я чувствовал себя так, точно был вписан в кадр комедийного фильма, где дети с ошалелым смехом и гомоном, напоминающим птичьи базары, пробегают мимо стороннего наблюдателя. В порядке самоутверждения стал критически всматриваться в их суету.

В двух шагах от меня прошел отряд. Возглавляла колонну совсем уже немолодая женщина в пионерском галстуке. Она делала отчаянные попытки придать своим движениям бодрую приподнятость: пела и размахивала рукой (другая рука была занята огромной хозяйственной сумкой). Изредка оглядывалась на мальчишек и выкрикивала:

— Барыкин, не выходи из строя! Чалый, подтянись!..

В Барыкине я узнал ученика нашей школы. Он, должно быть, наслаждался тем, что дразнил воспитательницу: то и дело выскакивал из строя, зачерпывал ладонью воду из речки и похлопывал себя и товарищей по спине. Потом отряд «приставил ногу». Воспитательница раздраженно обратилась к девочке, очевидно председателю отряда:

— Таня, дальше так работать невозможно! Барыкин и Чалый ведут себя безобразно. Надо принять меры.

Таня строго приказала:

— А ну, Барыкин, выйди из строя! И ты, Чалый!..

Когда оба вышли из строя, отряд рассмеялся: Барыкину вздумалось строить гримасы, а Чалый стал подтягивать штаны. Тогда воспитательница предъявила ультиматум: или дисциплина, или она сейчас же отправит Барыкина домой.

Я не знаю, чем кончился этот эпизод, потому что тут же ушел: неловко стало наблюдать за развитием конфликта.

Вскоре я повстречал изгнанного из отряда Барыкина, которому не преминул сделать внушение:

— Нельзя, брат, школу подводить, нехорошо.

Может быть, оттого, что я назвал его «братом» а может, и еще по какой причине, Барыкин вдруг погрузился. И глаза его, так мне показалось, увлажнились. Я обнял его за плечи, а он будто ждал этого, уткнулся в мою грудь и заплакал. Я был в растерянности и не знал, как быть. Рубашка моя становится горячей от его слез.

— Вы расскажете отцу? — вырвалось у Барыкина.

— Не собираюсь ничего говорить твоему отцу.

Барыкин просветлел. Слез как и не бывало. И я снова удивился этим переменам.

В это время меня позвали к Бирхову. Он сказал, что первый отряд остался без воспитателя, и показал мне заявление той самой женщины, которая несколько времени тому назад отчитывала Барыкина.

По договоренности с Сердельниковым Бирхов решил отдать в мое распоряжение ребят, заверив, что через неделю придет новый педагог.

Когда Бирхов объявил в отряде, что я буду у них вожатым, ребята захолопали в ладоши, закричали «ура». В моей душе что-то всколыхнулось, и появилось ощущение, ранее мне неизвестное.

Я остался с отрядом один на один.

— На рыбалку поедет? — спросил Толя Барыкин.

— И мы хотим! — закричали девчонки.

Обвел глазами ребят. Где-то поодаль от нас стояли малыши. Среди них узнал Васю Чалого.

— И ты хочешь?

— Плот не выдержит,— заметил Барыкин.

— Сделаем еще,— сказал я.— Бревен полно кругом.

— Флотилию построим! — рассмеялся кто-то.

Так естественно родилась ролевая игра.

К нам на верфь пришел Сердельников.

— Это уже не лагерь, а лесозаготовки,— сказал он.— Запрещаю!..

— Александр Васильевич,— взмолился я,— это же игра!

Сердельников шуток не любил. Не глядя в мою сторону, он отчеканил:

— Какая это игра? Рабский труд! Малышей заставить бревна таскать. Что нам родители скажут?

— Никто бревен не таскает. Ребята скатывают их с обрыва, а потом по реке сплавляют сюда. Это же интересно.

— Что вы мне сказки рассказываете! Посмотрите лучше, как мальчонка над- рывается.

Навстречу нам Вася Чалый тащил бурлацким способом бревно. Начальник подо- шел к нему, расслабил ляжку и потрогал оставшиеся на плече следы.

— Больно?

— Совсем нет,— улыбнулся Вася.

Сердельников смягчился. Он сказал:

— Вы говорите, что игра и труд слиты воедино. Вот и поиграйте завтра на прополке.

Вечером я собрал отряд.

— Работать — не то слово,— сказал я.— Мы должны доказать, что умеем не только играть. Поедут два отряда. За все будут отвечать командиры, а я пойду рядо- вым матросом на корабль «Гром». Примете?

Утром пришла совхозная машина. Не успел Сердельников и двух слов сказать водителю, как ребята по сигналу Чалого влетели в кузов.

— Здорово вы их вымуштровали,— сказал шофер.— Я думал, что часа два про- собираетесь.

Сердельников довольно улыбнулся.

..Соседний отряд все еще отсчитывал и пересчитывал капустные ряды, а наши «экипажи» как врезались с ходу в поле, так и пошли не останавливаясь. Вася Чалый то и дело переставлял отрядный вымпел.

К 12 часам мы закончили свой участок и вышли навстречу второму отряду.

Вожатая второго отряда отчитывала подростка, который отказался работать.

— Вы только посмотрите на этого пионера.— обратилась она к Сердельникову.— Не хочет помогать совхозу, говорит: «Я не трактор, не железный». Посмотри, как в первом отряде трудятся.

— У них интересно,— ответил подросток.— Они на плотках в поход собираются.

— А кто же вам не дает сделать плоты? — неожиданно для меня сказал Сер- дельников.

Подросток искоса посмотрел на педагога и уныло склонился над своим рядком. Мы не стали ждать машину. Ушли на свою верфь пешком. А вечером на линейке Сердельников на все лады расхваливал наш отряд. И тогда вышел из строя Толя Барыкин и отчеканил во весь голос:

— Товарищ начальник лагеря, завтра наша флотилия «Морской лев» отпра- вляется в двухдневное плавание и приглашает вас на борт флагманского корабля «Варяг»!..

Вечером я с Бирховым в гостях у Сердельникова.

— Какие ребята! — восторгался я.— Столько такта, мудрости. А что, прав был Толстой..

— Только через игру и можно почувствовать детей,— отвечал Бирхов.

— Детишки ничего,— соглашался Сердельников.— Обижаем мы их в школе. Ходу не даем — гыркаем!

— А какой Барыкин организатор!

— Атаманства в нем хоть отбавляй,— засмеялся Сердельников.— Порода..

Узнаю, что Барыкин приходится дальним родственником Сердельникову, что Сер- дельникову по душе эта вольная жизнь с детьми. Поражаюсь и тому, что Сердель- никова так любит и ценит Бирхов, а я никак не увидел там, в школе, его до- стоинств.

За окном поздняя ночь, и мне так радостно сидеть здесь в комнате и говорить о том, что беспокоило меня раньше. И Сердельников кажется мне самым лучшим человеком на этом свете. И думаю о том, как же прекрасно, что Бирхов меня при- строил в лагере.

Это потом я стал заниматься теорией.

Это потом узнал об игровом космосе Платона, эстетическом состоянии игры у Канта, концепции игры Шиллера, утверждавшего, что человек, собственно, только тогда является человеком, когда играет. И позицию культуролога Йохана Хейзинги, противопоставившего *homo sapiens homo ludens* (играющий человек).

Это потом читал Плеханова, увидевшего связь между игрой и трудом в культурно-исторической эволюции человека, и Маркса, рассматривавшего игру физических и интеллектуальных сил как высшую меру духовной развитости, как способ преодоления отчуждения, различных форм дегуманизации и профессионального идиотизма.

Это сейчас мы повсюду — в искусстве, педагогике и культуре — видим связь между игрой и творчеством, игрой и формированием человека. Игра становится способом преодоления стандарта, зауженного мышления.

Многие исследователи игры отмечают, что в игре, как и в поэзии, вещи, люди, явления связаны иными, не логическими связями. Высказывается и такая мысль. Чтобы понять игру, нужно обрести детскую душу и облачиться в нее, как в волшебную рубашку. Игра тяготеет к естественному. Она первозданна и продолжает себя в сегодняшнем дне развития культуры. Прогрессивное человечество будто осознало утерю игрового потенциала. И решило наверстать упущенное. Срочно разрабатываются различные вариации использования игры в деловой жизни человека, в промышленности, в научно-техническом прогрессе, в обучении и воспитании детей, взрослых.

Наступает новая эра игры. Игровой космос сейчас вышел на новый виток своего развития. Естественно, четверть века тому назад я, начинающий учитель, всего этого не знал и шел на ощупь.

Возвратившись из пионерского лагеря в школу, я поделился с Парфеновым своими соображениями относительно возможного переноса некоторых игровых методов в практику школы.

— Надо непременно попытаться объединить игру и учебу, — убеждал я директора. — В игре преобладает добровольность, азарт, интерес. А учение чаще всего строится на долге, на выполнении обязательных требований, которые не всегда ребенку интересны. Игра способна увлечь детей, снять усталость...

Я убеждал Парфенова, а он хоть и сказал: «Что ж, попробуйте», а все равно несколько раз предупредил:

— Нельзя соединять игру с учением. Несоединимые это вещи.

А я стал играть.

И не знал, кто больше был увлечен игрой, я или дети. Мы соединили фантазию, сказку, спортивное усилие, поэзию, труд, соревнование, сочинительство рассказов и стихов — все было в новой игре, которую придумали мы с детьми. И эти наши занятия вызвали у руководства школы сопротивление. Что делать, как спасти игру? Показываю Парфенову программу, где описываю простенький сюжет: двум играющим классам вручаются пакеты, а в пакетах задание — придумать сказку, сочинить стих, изготовить пять табуреток для детсадика, подготовить команду по волейболу. Затем новые пакеты. Один из них прячут в лесу. Классы ждут команды и только по сигналу жюри игры могут отправиться на поиски пакета.

— Отвлечет от занятий в школе, — сказал Парфенов, выслушав меня.

— Как же отвлечет, когда все задания связаны с повторением пройденного материала.

— Ладно. Посмотрим, — сказал он мрачновато.

И мы играли.

С Ваней Золотых и Аней Клейменовой отправились в лес, оставляя после себя у тропы знаки-указатели: где и как искать пакет. Ваня изощрялся: он ставил на коре едва заметный штришок или прятал веточку с ниткой под листья, лишь кусочек нитки торчал из-под листа, или лез на дерево и там завязывал узелок на сосновых ветках. Я сказал:

— Ваня, такие знаки невозможно найти.

— Найдут, еще как найдут.

А потом был дан старт. И тут-то я впервые понял, что значит настоящая школа, настоящее детство.

Ребят как ветром сдуло. Без единого звука. Такой ловкости, такой силы и смелости в жизни своей не видел. Они шли по лесной тропе так, что за ними было

невозможно поспеть. Сообразительность их поражала. Мне хотелось установить, каким же образом отыскивали они поставленные метки и знаки.

— Очень просто. Смотрите, на земле лежат кусочки коры и паутина сбита.

Лица детей, освещенные игрой, ни с чем не сравнишь. Я понял: их зрение острее, их выносливость бесконечна, их разум более гибок, чем мой. И подлинная раскованность. Раньше я говорил себе: мне никогда не разбудить их. А здесь было коллективное пробуждение. Важно было сохранить эту энергию и в классе. Интуитивно уловил: лучше всего энергию сохранять в маленькой группе — группе единомышленников. Поэтому в самом начале сказал:

— Разбейтесь на группы. Строго по желанию.

Командиром одной из групп назначили Аню Клейменову.

— А почему не Ваню Золотых?

Ребята засмеялись. А Ваня сказал:

— Она шустрее.

Чтобы энергия сохранилась в группе, нужно ее не только оберегать и подпитывать. Важно, чтобы энергия курсировала от одного ученика к другому. Поэтому ввели правило: самое меньшее количество очков тем группам, в которых кто-то выпадает из игры. Тогда в моде были дополнительные занятия с учениками. Под видом этих дополнительных занятий мы стали повторять пройденное в виде игровых состязаний. Девятый класс сочинял для десятого класса задачки, сложные предложения, в которых следовало расставить знаки препинания, готовились ребусы и шарады по иностранному языку. Прежде чем выйти на состязание, группа обучала своих участников. И если был слабенький в группе, с ним занимались до тех пор, пока он не усваивал материал. Самое же главное — в игре ребята усваивали материал в три, а то и в четыре раза быстрее, чем на обычных занятиях. У меня были и свои консультанты. Ваня Золотых по физике, Алла Дочерняева по литературе, Коля Лекарев по истории, Зина Шугаева по иностранному языку.

Я упивался властью над детьми — и это был мой главный педагогический промах. Мне казалось, что я все могу. И ученики благодаря игре всего могут добиться.

Заглядывая в свое прошлое, я мечтаю о школе будущего. Ее очертания в сегодняшней практике это прежде всего гармоническое развитие личности средствами труда и игры, учения и разнообразного творчества, искусства и спорта. Совсем недавно я выступал на Всесоюзном совещании критиков детской и юношеской литературы. У меня спросили:

— Какой видится вам школа будущего?

— В школе будущего, — сказал я, — должны сотрудничать счастливые учителя, счастливые дети и счастливые родители. Их объединит общий метод, который даст возможность каждой личности идти по линии своих наклонностей. Только всесторонне развитый педагог способен практиковать методы, воспитывающие коллективиста, творческую личность. Для нашей педагогики нет дилеммы: личность или метод. И то и другое. А точнее, необходим сплав — богатство личности и совершенство методов. И все же есть свои внутренние связи между личностью учителя и методом обучения. Метод обогащает личность, но влияние личности значительно шире и не исчерпывается одним применением метода. Я знаю десятки случаев, когда один и тот же прекрасный метод давал в руках некоторых педагогов, в чем-то даже способных и талантливых, отвратительные результаты. Учителю нельзя навязывать метод. Когда мы говорим, что учитель должен быть личностью, мы подчеркиваем и его нравственное право на выбор метода.

Но вместе с тем есть система средств, без освоения которых учитель значительно сужает диапазон своего влияния. К ним относятся и методы развития детской самостоятельности, и методы, связанные с использованием технических средств, и (этот метод ставлю в один ряд с наиглавнейшими!) метод игры. Я делаю акцент на игре еще и потому, что все прочие способы получили должное освещение в педагогике. Игра же на нашей педагогической карте оказалась белым пятном. Игра создает раскованность, снимает многие противоречия, ставит ученика в необходимость выкладываться до конца.

Игра заставляет ребенка изнутри отдавать все силы уроку: ум, сердце, физическое напряжение. Но насколько она прекрасна, настолько и опасна. Игра рождает

дух соперничества, стремление во что бы то ни стало достигнуть успеха: и это безудержное стремление способно подмять нравственную норму. Игра, как и многие другие динамические средства, хороша тогда, когда демократизирует общение, когда выводит слабого ученика из состояния незнания, когда вызывает в каждом преодолимую потребность учиться, увлеченно работать. Для ребенка плохая отметка — большое горе. А что такое плохая отметка?

Двойка действительно губит, давит, принижает, ущемляет. Но и тройка — штука абсолютно тупиковая. Ребенок-троечник поистине в трагическом положении. Ведь двоечник свыкся с положением, некуда деться — все запущено, и он компенсирует себя в чем-то другом: утверждается в грубости, дебоширстве и прочее. А троечник тих и слаб. У него нет надежд. Он влачит жалкое существование; постоянно дрожит, всего боится, скован. Как важно снять это гнусное состояние с детской души! Как важно дать ему почувствовать хоть однажды радость творчества, радость своей смысленности. Главное, «зацепить» ребячью пытливость — и игра выполняет эту функцию самым блестящим способом.

Замечу: игру я рассматриваю как один из элементов в системе неигровых действий. Сводить учение к игре ни в коем случае нельзя, но и совсем исключать игровой момент из урока вредно.

Работая долгие годы над игрой уже после соленгинского периода моей жизни, я то и дело обращался к методу Дьяченко, который в свое время был описан В. Тендряковым в романе «За бегущим анем». В этом романе метод назывался «оргиалогом». И суть его заключалась в тенденции преодолеть некоторые просчеты сложившейся классно-урочной системы за счет внесения в урок более совершенных форм общения, то есть подлинной коллективности. Ведь на уроке что происходит? «Не подсказывай!» — а следовательно, не помогай товарищу. «Сиди тихо!» — а следовательно, не проявляй активности. И усредненный темп продвижения вперед — сильного придавят, а слабого недотянут. Какая уж тут коллективность, если не учитывается принцип: от каждого по способности или один за всех и все за одного!

У меня нередко спрашивают: «А кто такой Ривин?» И я отвечаю: был на Руси в двадцатые годы такой замечательный педагог. Свой метод, этот «оргиалог», он назвал «талгенизмом». От слов «талант» и «гений». Вот на что был нацелен метод! В те двадцатые трудные, голодные годы по-ломоносовски мечтал учитель о том, что может российская земля рожать талантов и гениев!

Я вспоминаю слова Герцена о том, что будущее России в сегодняшних мальчиках, что они — зародыши... Всей своей личностью, всем арсеналом средств учитель не просто учит, но и развивает дарования. Богатство страны в богатстве дарований. Богатство страны (пусть не покажется читателю этот вывод дерзостью) в богатстве педагогических талантов, педагогических методов, развитых форм общения.

В конце 50-х и начале 60-х годов я понял, что игра может мне и моему коллективу педагогов, которым я руководил, помочь решить многие проблемы педагогического мастерства и организации жизни детей. Мы стали разрабатывать и проводить длительные ролевые игры. Детская активность вспыхнула и увлекла нас. Уроки стали творческими. Появилась необходимая потребность участвовать в игровых урочных состязаниях. Мне удалось программу по русскому языку и литературе пройти на шесть месяцев раньше положенного срока. Причем инспекторская проверка установила (акты проверки заверенные печатью, у меня до сих пор хранятся), что большинство учащихся усвоили программный материал на «4» и «5». Но радоваться было рано. На моем пути вдруг встали две грозные фигуры: инспектор и «ученый педагог». У каждого из них были свои доводы

— Если каждый станет менять программы, что тогда будет? — спрашивал инспектор.

Я оправдывался:

— Но результат налицо?

— Это еще ничего не значит. Не положено.

— Дети при игровых формах преподавания усваивают в два раза быстрее.

— А вот этого как раз и не требуется...

— Как это не требуется?

— А позвольте вас спросить, что вы будете делать с оставшимся свободным временем?

— Свободное время, как вы знаете, по Марксу, фактор всестороннего развития...

— Эх куда загнул! Я ему про Фому, а он мне про Ерему. При чем здесь Маркс? Маркс — это методология. Нельзя его куда попало совать.

Инспектор был неприступен. Впрочем, он мне предложил: если кто-нибудь, может, из Академии, а может быть, из министерства даст бумагу на проведение игр, тогда он закроет глаза на это... — хотел бы он, видно, сказать, безобразие, но сдержался.

Начались мои хождения по мукам. Министерства, методические кабинеты, академические лаборатории, педагогические институты. Публика, с которой я столкнулся, была неоднородной. Первая категория — киты, маститые ученые — при слове «игра» морщилась.

— Чепуха! Чепуха, молодой человек! — говорил мне один из них, впрочем, говорил весьма и весьма доброжелательно. — Учение — дело серьезное. Нельзя сводить его к игре. Об этом еще Ушинский говорил.

— Но Ушинский говорил, что вся деятельность педагога должна быть пронизана игрой. И Макаренко об этом говорил, и Крупская, и Шацкий... Еще Коменский писал о том, что надо учить весело, как бы играя...

— Вот-вот. И читать-то книжки надо по-разному. Читать-то читаете, а классовую сторону не берете в расчет. У Коменского и Ушинского свои методологические ошибки. Нельзя их переносить на нашу почву. Идеологически неверно. Игра и учение несовместимы.

— А игра и труд?

— Тем более...

— А как же Плеханов, говоря об эволюции человека, на первое место ставит труд и игру.

— Идеализм. Чистейший идеализм. Вы же должны знать об ошибках Плеханова. Что касается эволюции человека, то человек сформировался в труде, так учат нас основоположники...

— Но основоположники учат нас и тому, что идеал человека так или иначе связан с игрой физических и интеллектуальных сил, с игрой воображения, с общением, а коммунизм и есть производство развитых форм общения...

И вдруг однажды в одном из методических кабинетов Министерства просвещения мне сказали:

— Есть такой человек, который поймет вас, Виктор Ефимович Гмурман.

Было шесть вечера, конец рабочего дня. Я позвонил ему тут же. До 12 часов мы с ним проговорили в тот вечер. Впервые я нашел человека, который согласился помочь мне.

Я стал искать истоки игровой деятельности. Меня интересовала та глубина, на которой бурлят живые родники педагогической увлеченности.

Интуитивно осознав необходимость обращения к познанию природы детства через свои первоначальные ощущения, я стал анализировать содержание этих источников и родников. Стал исследовать, пытаюсь установить, почему я тянулся к детям и почему они стремились ко мне. Мое мышление крутилось вокруг прошлого, и я неожиданно обнаружил, что моя потребность фантазировать неразрывно связана с самыми глубинными и тайными пластами моих переживаний.

А что такое эти тайные пласты переживаний? Какое они могут иметь отношение к игре? Какая тут связь — прошлая моя жизнь, когда не было у нас угла и жил с мамой в каморке без окон, затем осевшие в душе тайные пласты — никому не скажешь, что ты жил в каморке? Бедность — всегда позор! Ее стыдятся люди: так принято, такова жизнь, жизнь без игры. Впрочем, если нет в ней игры, тогда и жизни нет. И маму помню: не робей, сыночек, будем живы, будет все — и дом с окнами и стол, как у людей. А так даже лучше — без окон, говорю я, как в сказке! И я в этой сказке наслаждался, читая Толстого, Достоевского, Белинского, да и кого только не перечитал в этом жилье без окон, и всякий раз вспыхивала в душе надежда, теплился и разгорался в душе поэтический огонек — а это уже игра, подлинная игра! И какая же связь этой игры с будущей моей жизнью, когда выпорхнул я из каморки и кинулся искать себя в этом игровом и неигровом потоке жизни.

Стоп! Тема крайне важная, и я хочу разъять живую связь игры и неигры. Попробую, воспользовавшись сравнительным анализом нескольких ситуаций, обозначить источники рождения педагогических начал, в том числе и на игровой основе.

1. Фрагменты ситуаций «Жизнь как материал для игры».

Помню двор на Грековской, 34 города Харькова, где я в студенческие годы жил в маленьком флигелечке (снял угол у Александры Николаевны Злобиной, ах, какая это была величественная женщина, и ее дочь — Ефросинья Федоровна, врач, и ее сын, мой ровесник, Володя: я ушел от них, потому что «угол» как таковой кончился, потому что никак не мог оплатить ту доброту, какую мне дарили эти люди, я даже не знаю, кого они больше любили — своего внука и сына Володю или меня), этот флигелечек, красный, кирпичный, когда-то длинный, принадлежавший Злобиным, а после революции расчлененный на три части: в первой — Григориха с делом-маразматиком и с тремя детьми, во второй — Киля с ребенком, а напротив деревянная пристройка двухэтажная — на первом дядя Вася, отчим Толины, а на втором Козины с дочерью Викторией, красавицей, а внизу Синюхин с дебильным сыном, а потом сарай — ничьи, а за ними надворные уборные.

Меня все во дворе знают, и мне с каждым интересно перекинуться словом.

— Ну как жизнь, Григорьевна? — останавливаю Григориху, которая потепала к бельевой веревке с тазом под мышкой.

— Какая у нас, старух, жизнь! Не жизнь, а жистяночка. Это вам, молодым, жить, а нам..

Я думаю о том, что Григориха была когда-то иной. Муж ее сидит сейчас в сером засаленном плаще (даже в жару летом в плаще, в кепке, непременно с палкой, непременно смотрит в одну точку; в прошлом счетовод, потом разнорабочий, он целыми днями в беседке, ничего не говорит, только слова: «Таке, таке»... Что значит эти «таке, таке» — непонятно, только мука застыла на его лице, землистым, чуть-чуть вспухшем, точно от водянки, кажется, нажмешь — брызнет затхлая жижа).

— А что, Матвейч был, наверное, в молодости красив. — Действительно у него приметные черты лица.

— Да ведь офицером был, — и Григориха преображается, будто хлынула из далекого прошлого на нее волна. — Знаете, как на лошадях ездил, переворачивался... Однажды обомлела: скачет, а потом раз — и голова вниз: убился, думаю, а он снова как ни в чем не бывало на коне, скоморошничал, проклятый, — и в глазах у Григорихи солнце воспоминаний. Почему сейчас нет солнца, почему сейчас изо дня в день белье, уборка, дед больной, на ладан дышит?

Вот дядя Вася выходит в майке: грудь у него — бронза, и руки — покажи их в отдельности — не поверишь, что они принадлежат нормальному человеку: массивный скульптурный слепок модернистской работы; все смещено; ладонь как три моих ладони, мускулы — сроду таких не видел. Говорю ему:

— Дядя Вася, правда, будто полторку подымеешь одной рукой?

— А ты поставь мне литру — посмотришь, — улыбается Василий Иванович. А через некоторое время он вдруг умрет. вот так однажды ляжет в постель и не встанет дядя Вася, а пока он улыбается, зовет Толину, своего пасынка: — Толька, неси домино, сидай, черный, — это он мне, потому что есть еще Володя белый, — я вам сейчас козла заделаю.

Для дяди Васи игра в козла несказанное наслаждение. Он весь преображается в игре, становится ребенком, злится, что я не так камнем хожу, и радуется, когда удается ему закончить тремя камнями сразу.

...Так я воспринимал двор. Жителей двора, у которых были дети, с которыми играл. Дети знали жизнь своей семьи. Эта жизнь их питала, холила, давила, комкала, приподнимала, радовала, обижала. За дверьми, обитыми пожелтевшим дерматином, крест-накрест тесемки с ржавыми гвоздиками, дети читали книжки, хлебали щи, следили за тем, как взрослые ладили и не ладили друг с другом. Они видели больную Григориху: господа, хоть бы скорее на тот свет отправиться! Видели старика: беда, беда! И какой же прекрасной казалась им Виктория, когда по утрам непричесанная, розовая (где же такой цвет лица взяла — не красится!) шла по двору, развешивала белье. Видели они злого Синюхина, уважали силу и широту души дяди Васи. Я любил всех этих людей, проживших в этих домах всю жизнь. Мне нравились их судьбы. И хотел, чтобы и дети однажды посмотрели на взрослых и моими глазами. Это потом я думал: а для чего это делал? Для чего оценивал? Для чего привлекал взоры детей к тому прекрасному, что было в этих простых людях, которые по-доброму ко мне относились и которых я искренне любил? Какая неожиданная сила настраивала меня на игровое общение с детьми, материалом которого ока-

звалась эта причудливая жизнь двора на углу Грековской и Заиковской? На эти вопросы я не берусь ответить. Это крайне сложно. Непосильно. Могу только сказать одно: если игровое общение не захватывает самый главный пласт человеческой жизни, если не раскрывает детям самые главные ценности нравственного плана, то такая игра неизбежно обращается в развлекательство, в забаву. Игра без высокого духовного содержания всегда обречена на вырождение. Это правило, мне кажется, распространяется на все игры, в том числе и на деловые игры, которыми сейчас увлекаются многие ученые.

2. Ситуации, где посредством игры соединяются тайные пласты внутреннего мира взрослого и детей.

Я выношу в беседку эмалированное ведро с водой, картошку и ножик: сегодня моя очередь варить суп, и ребятишки сбегаются, и я начинаю им рассказывать истории, которые делятся на сказочные и настоящие. Сидит не шелохнется Толина, Катя маленькая, потом она попадет под трамвай, и ей отрежет ножки, и будет она на тележке развезжать, и станет женщиной, а потом сопьется, и Гришка из соседнего двора — сын рецидивиста, с которым мы играем в домино, и совсем здоровый хлопец — Коля, племянник Григорихи, — все они застыли передо мной, замороженные моим рассказом. А я картошкой хлоп в ведро так, что брызги в разные стороны, и маленькая Катя прямо съежилась, и губки у нее поджалась, и горячий румянец выступил на пушисто-персиковой коже щек.

— Не нужна мне ваша помощь, я сам добьюсь всего! — этот мой рассказ о мальчишке достиг кульминации. О мальчишке, который жил в доме, где даже не было окон. Но мальчишка так был чист и прекрасен, что его сердце светило, и благодаря этому свету он мог читать и писать, и этот свет никому не был виден, а мальчишке придавал столько сил, что он мог поднять две полуторки сразу.

— Как дядя Вася! — серьезно и совсем приглушенно-отрешенно встала Катя, и Толина опустил глаза.

— Как дядя Вася, — сказал я, — и даже сильнее, потому что тот свет был волшебным. Так вот мальчишка сел на коня, а навстречу снаряд летит, и мальчишки не стало. Глядят враги, и нет на коне человека, только голова вниз болтается: убит, значит. А оказалось, мальчишка сразу, как только снаряд полетел, обхватил лошадь ногами и кубыркком вниз — трюк такой он знал.

— Есть, я знаю такой номер, — говорит племянник Григорихи, и все смотрят в сторону деда Матвевича.

— Так вот, — продолжаю я, — увидели враги, что снова мальчишка на коне, и стали злиться так, что у них ноги от злости стали деревянными: ни согнуть, ни разогнуть, ходят как истуканчики, а мальчишка мечется, пока вдруг не вспыхнул в его душе свет, и он почувствовал, что увидит сейчас маленькую Нелли, которую похитили враги на одеревеневших ногах. И действительно, на дороге вдруг появился отряд деревянных истуканов, к этому времени у них и головы стали деревянными, и даже опилки сыпались из ушей и ноздрей, и дорога от них стала рыжая, вон как у того ящика, — и я показываю на опилки у плотниковых дверей, — а позади отряда карета, и в ней Нелли, которая издали увидела свет родного человека и заплакала от счастья и еще оттого, что испугалась: сейчас отряд схватит мальчишку и казнит. А мальчишка сидел тем временем в кустах и на ромашке высчитывал: чет — нечет, чет — нечет. Если чет, то вступит он в бой с врагами, если нечет, то обождет. И когда он сорвал предпоследние несколько лепестков, из груди его полился свет, только этот свет не светом полился, а человеческим голосом: «Как тебе не стыдно раздумывать — спасать или не спасать человека!» Заплакал мальчик от стыда, ринулся он на отряд, а все в отряде стоят по стойке смирно, потому что у них все одеревенело, и хотя бы они схватят мальчишку, а руки не подымаются, толкают его туловищем своим, а ничего не выходит. Тогда они сообразили — у них кое-что в мозгах осталось, так, затерялось между опилками — и стали теснить мальчишку, и сдавливать, и коней натравливать, чтобы копытами растоптать мальчишку. А мальчишка схватил карету одной рукой, а Нелли успела выпрыгнуть из нее, и стал он этой каретой размахивать, как бельевой веревкой: кони ржут, оглобли стучат по деревянным вражеским туловищам, карета в щепки, так что из нее можно было сделать только ящик для инструмента. И схватил мальчишка Нелли, усадил ее на своего коня, и посакали, а Нелли спрашивает: «А откуда ты узнал, что я в карете?» — «Почувствовал. Когда очень веришь, тогда всегда правильно чувствуешь». — «А как ты почувствовал?» — «А у

меня сердце заколотилось сильно, и тепло в груди стало. Думаю: «Обязательно встречу сейчас Нелли!».— «А я тоже подумала, что как доедем вон до того камня, так обязательно встречу тебя».— «Это всегда так бывает, когда очень любишь»,— сказал мальчишка.

Я говорю так серьезно, что у ребят на глазах навертывается блестящая пелена, и персиковый румянец Кати будто оживает, она придвигается ко мне и говорит: — А я тоже угадываю. Вот задумываю, и такое же получается.

И мальчишки смотрят на Катю, не перебивают ее и ждут моего дальнейшего рассказа, а мамы и бабушки уже кричат: «Толя, Коля, пора домой!»— и подергиваются плечики моих маленьких единомышленников, и ответные их голоса: «Еще немножечко! Да сейчас!» И глядят на меня глаза Григорихи и дяди Васи...

Позволю сделать вывод. Поэтические состояния накапливаются человеком. И именно эти состояния способны обнаружить новыми гранями в игре. В жизни эти состояния могут быть рождены страданиями, а в игре в новом свете они обертываются эстетическими обновлениями, катарсисом. Педагог не может жить без поэзии. В нем гибнет его человеческая сущность, когда он не имеет возможности даже свое страдание чуть-чуть подкрепить игрой, чуть-чуть сберечь себя мажорно-эстетической интонацией. Игровые начала тоже не исчезают бесследно. Их духовная сила и потом в жизни долго согревает человека. Ибо в игре сконцентрирована надежда. Ожидание. Предчувствие и предугадывание удовольствия.

Я наблюдал за мастерами педагогического труда. Много беседовал с ними. Это были люди, за плечами которых стояла напряженная жизнь, поиски, удачи и неудачи в общении с детьми. Их объединяли широта интересов, любовь к человеку, неодолимая потребность творчества. И как часто этим людям противостоял чиновник, по ошибке, волею случая и обстоятельств ставший маститым ученым, собравшим все необходимые регалии,— сложнейшая игра: присвоить чужое, защищать это присвоенное, зубами держать и не отпускать от себя. Я не стал бы о них писать, если бы они, эти бездуховные ничтожества, и поныне не засорили педагогику. Я пересмотрел некоторые педагогические издания — груды макулатуры. Здесь нет игры ума, фантазии, творческого воображения. В свое время я взял несколько «лучших» книг НИИ общих проблем воспитания Академии педагогических наук (кто-то из сотрудников института назвал свое учреждение «НИИ общих пробелов воспитания») и на страницах журнала «В мире книг» показал безграмотность, в частности, коллективной монографии под громким названием «Проблемы теории воспитания». Руководители этого НИИ прочли мою статью и возмущались. Я им предложил: «Давайте обсудим». Обсуждать отказались и не явились в Дом журналиста, где собрались для разговора ученые, представители издательств, двух комитетов по печати, деятели культуры, образования. Спрашивал у руководителей Академии: «Не могли бы вы назвать хотя бы одну-две книги по вопросам воспитания, которые вы считаете интересными, творческими?» Ответа не последовало.

И самое страшное даже не в этом. А в том, что иные так называемые маститые киты не дают возможности практическим работникам создавать творческую педагогику. Мешают. На моих глазах шла оскорбительная возня вокруг наследия Сухомлинского, о чем я в свое время писал на страницах «Правды» и журнала «Коммунист». На моих глазах проходила в самых разных видах несправедливая критика талантливых педагогов — Ш. А. Амонашвили, Б. П. Никитина, М. П. Щетинина, В. Ф. Шаталова и многих других. Кстати, что примечательно, у названных педагогов на одном из первых мест стоят игровые формы общения с детьми. И конфликт у педагогов с Академией педагогических наук происходил, может быть, потому, что сталкивались не только разные подходы, теоретические посылки, но и разные мироощущения, разные эмоциональные восприятия детства.

Я пристально всматривался в педагогического чиновника, стоявшего на моем пути. И зрела мысль: а не сыграть ли мне с ним в какую-нибудь игру.

Признаюсь, решил пойти на обман — заменить слово «игра» чем-нибудь другим. И об этом написал Виктору Николаевичу Терскому, которого А. С. Макаренко назвал гением внеклассной работы. Он мне ответил: «Дорогой Юрий Петрович, спасибо за хорошее, веселое, бодрое письмо, за верное понимание игры. Ваши соображения интересны и здравы. Но практически это выходит не совсем так. Новое слово вместо слова игра вообще произвести можно, но не надо. Лучше дать понять, что

игры бывают разные: очень нужные и важные, бесполезные и даже вредные, забавные, которые тоже в известной мере, в нужной тональности, в определенное время, в конкретных условиях нужны. Вопрос об игре большой, очень важный и очень сложный. Игра очень многое вмещает, но она должна оставаться именно игрой, а не чем-то иным, ее нельзя лишать прелести детской радости, присущей именно игре. Искать новое всегда полезно. Я за это.

Играть с «китами», конечно, можно, но, во-первых, они не весьма игривы и могут обыгрывать с ангельским безразличием, во-вторых, мне лично некогда этим заниматься, а в-третьих, в целях экономии времени и с точки зрения интереса добиться победы всегда вообще лучше и продуктивнее бить покрепче в лоб всякое недомыслие. Но у меня в этом отношении возможности пока что ограничены.

Конечно, нужна какая-то тактика и стратегия, надо обходить неодолимые препятствия. Все это так. Но если долго обманывать вопросы в обход, то времени не хватит, можно уйти от главного, и вообще надо гнуть к правде, к тому, что нужно, а если не хватает сил, то собирать больше друзей и жить общими силами. Сила тут не в обходах, а в людях, не в тактике, а в правде. Мы в 20-х годах заявили: «Вся сила в игре, хотя игра — далеко не все». Нам многие не поверили. Зря. Такие пыхтели и сопели, из кожи вон лезли, чтобы выехать кто на чем: кто на завиральных теориях, кто на палке принуждений, кто на хитроумных педагогических маневрах и т. д. Не вышло. И не выйдет толком. Ни за что не выйдет. Зачем мне бить «китов» или играть с ними? Их побьют без меня, потому что они обязаны делать все хорошо и их заставят делать все хорошее. И жизнь заставит их обратиться ко мне, к таким, как я. И тогда они будут слушать внимательно, и я скажу им все, что надо. А если они сообразят сделать это, когда мы умрем, то их заставят найти все найденное нами, и тогда им придется поработать побольше. Только и всего. А попытка «китов» отбориться умными словами не пройдет. Уже сейчас, поскольку настойчиво требует уже жизнь и ЦК не слов, а дел».

Почти четверть века прошло с тех пор, как были написаны В. Н. Терским эти слова. Изменилась ситуация в стране. Изменился климат в педагогической науке. Сейчас созданы даже специальные подразделения, которые исследуют игру. Защищаются диссертации по теории и практике игровой деятельности. Но жизнь и сейчас не стоит на месте. Требуются иные шаги, чтобы игру сделать действительной союзницей школы, детей, общества, государства. Для этого необходимо безбоязненно выходить за пределы ограничений. Выходить на иные, ранее неведомые стыковки. Требуется вести анализ игровой деятельности на глубинных пластах человеческого «я», а это значит, надо знать не только психологию и социологию, философию и генетику, теорию управления и системный подход, но и то, как специфически детское (это касается психологии) соединяется со специфически взрослым, как энергетика порыва, если можно так сказать, перерастает в целенаправленное осознанное творчество, как интимно-личностное, синкретическое, нерасчлененно-феноменальное, что есть в самой жизни, ведет к рождению игровых побудительных сил. Ведет к образованию игровой энергии, захватывающей все жизненные артерии человеческого организма, общения.

Проблема развития игровых форм — это проблема развития культуры личности. В педагогике, как и поэзии, человек может творить (об этом говорил А. С. Пушкин) тогда, когда духовные силы достигают полного развития. Именно в эти минуты и секунды приходят подлинные открытия.

Педагог воспитывает всей своей личностью, всей своей способностью любить. Педагогика — это любовь. И все, что есть лучшее в любви человеческой, делает игру настоящей игрой. Только высокая игра духа может приблизить педагога к детскому сердцу. Порой педагог не осознает, что именно потребность чистоты сближает его с детьми.

И вот здесь я коснусь, может быть, самого главного. Оговорюсь: понимаю всю возможную бестактность моего анализа, и тем не менее у меня нет выхода. Мой мучительный поиск истоков игры загнал меня в те глубины, где таилось самое лучшее из того, что было нажито моей душой: мои мечты, мои надежды, моя любовь.

Об этом я и расскажу.

3. Ситуация «Жизнь — материал для игры».

...И я остаюсь один и вспоминаю тот удивительный день, когда был дождь и я промокший пришел домой и услышал добрый голос Александры Николаевны: «Чайку горяченького?»

— Нет, нет, пойду, тороплюсь.

— Куда же в такой дождь?

— Нет, нет, пойду. Мне надо.

Выхожу в тот вечерний дождь, и в груди моей тепло, ибо я решил, что непременно встречу Олю, вот здесь за углом, где по утрам Зейда сидит (был такой старичок крохотный с таким странным именем, он мне папироски в долг давал, лоточник). И где-то изнутри совсем слабые сопротивления: «Что за ерунда, Оля не знает, где я живу. Оля никогда меня не любила, Оля просто из другого мира: она никогда не жила в доме без окон, что же я выдумываю...» Но это сопротивление совсем слабое, а вера в то, что Оля будет здесь за углом, где Зейда сидит обычно по утрам, крохотный такой, в зеленой накидке, когда дождь моросит, напротив парикмахерской, где парикмахер мне тоже что-то предсказал, и очень точно предсказал: «У вас столько счастья впереди». С чего это он взял? Я спросил у него тогда: «С чего вы это взяли?» А он сказал: «Вот увидите». И вот я подхожу к забору — это угол Рыбной и Грековской — и замедляю шаг. Вот сейчас за углом Оля идет, светлее пальто, высокий мех воротника, и бесконечно прекрасное лицо, и необыкновенный разрез глаз, и душистость волшебного света, в котором тонет все, и ты растворяешься — и нет тебя, ибо ты слился с тем счастьем, какое она излучает. И действительно я медленно переступаю тот метр земли, на котором уже начинается новая улица, поворачиваю за угол, и навстречу мне идет Оля.

Я не могу и двух слов сказать. Совсем ошеломлен, придавлен, разбит. Она чувствует мою потерянность, она не видит, слава богу, моих глаз: темно.

— Я вышел тебя встретить, — говорю.

— Прекрасно.

— Немыслимо так чувствовать!

— Я тоже знала, что непременно ты встретишь меня.

Вижу разрез ее глаз — бывают же такие, с такой точностью очерченные глаза. Вижу ее руку, хотя она у меня в кармане. Будто в руке этой вся ее душа стынет и нежится. На этой руке я и сломался полгода назад. Как вложила она однажды свою бесконечность в мою ладонь, как только я прикоснулся к ее крохотным пальчикам — и не то чтобы сжал, а так слегка, чтобы ощутить, сдавил, так ее косточки ладонные в живую трубочку свернулись. И мигом я руку свою расслабил, чтобы ее живому теплу не больно было, и так в расслабленности держал ее руку, а это тепло живое точно крылышками бьется, тонко касаясь ладони моей, отчего все тело таким радостным страданием опьянилось, что мне подумалось: за этим прикосновением я готов на любые костры всю жизнь идти. И ей эта моя готовность в одно мгновение передалась. И что-то зацепилось в ней, чего раньше никогда не трогалось, какая-то частичка ее, может быть даже против ее собственной воли, потянулась ко мне, навсегда потянулась, по-рабски пристала, вошла в мою плоть и больше ей не принадлежала.

Меня шатало. От всего шатало. От чего больше — бог весть.

Еще два дня назад были съедены последние остатки лапши — с крохами и нитками от сумки. Александры Николаевны не было, что и дало нам право с Маркелычем совершить великий грех — надрезать тончайшую пластиночку от ее хлеба, незаметную крохотную пластиночку. Но это было два дня назад, и наверное от того супа с хлебом уже ничего в животе не осталось. Потому и шатало меня. Потому и остроты прибавилось к счастью. И глаза мои (я их вижу сейчас, мои глаза, как вижу тогдашние глаза моего друга, сухие и стерильно чистые) горели не той роскошной радостностью, которая сверкала в дождевых городских разливах, а тем единственным огнем, который рождается последним отречением от плоти, тем огнем, который выдает последние тайны души человеческой.

Оля рассказывает мне о дирижере каком-то, о концерте, в котором она была, и еще о чем-то, а я плыву в разливах голоса, и я счастлив, потому что я еще не могу оправиться от моей проклятой интуиции. Я не помню, как Оля говорит, что мы пришли. И мы поднимаемся по лестнице. И я стою на половичке, а с моих ног стекает вода. Мне дают чаю. Мне говорят, что я приглашен на день рождения. Я засыпаю на диване и когда просыпаюсь, вижу: в углу стоят мои ботинки. Жалость пронизывает меня от их вида: огромные язычки торчат, белыми пятнами изошли, и так нехватают они в этой комнате, словно снял их с себя тот, с репинского холста «Не ждали». И брюки мои с оборванными штанинами внизу и носки! Господи, я

прячу ноги мои, ступни точнее, черные пальцы, крашенные, что ли, носки были?.. Чувствую, как в глазах моих застыла такая искромсанная беззащитность, такой провал моих иллюзий, что мигом все опустилось во мне, смялось, снигло. И самое жуткое: знаю, Оля чувствует, что я чувствую, ей больно оттого, что я знаю, что она знает, что мы вместе почувствуем, и уходит. Я схватываюсь, торопливо надеваю ботинки.

— Тебе нельзя,— говорит Оля.— Температура.

— Нет, пойду.

Оля меня провожает. И за домом поворачивается ко мне. Я тону в ее сиянии. В ее матовой молочно-белой душистости — такой аромат может принадлежать ребенку, я тону в нем, мое тело будто теряет опору, оно становится невесомым. Что-то говорю, о чем-то прошу. А Оля спрашивает:

— А что дальше?

Не знаю, что дальше. Приду домой. Александра Николаевна предложит чайку горяченького, я возьму два ведра и пойду в соседний двор за водичкой, и маленькая крохотная противная собачка будет гнаться за мной, буду говорить ей «кыш». А она все же воспользуется тем, что обе мои руки заняты (это такая противная собачка — меня все собаки любили всегда — дети и собаки, собаки, кроме этой черной, противной), она все же меня схватит за икру. И зло посмотрит на меня: сделала свое черное дело, виляет обручком хвоста, эта собачка того чертова рецидивиста, который в домино играет в нашем дворе и глядит своими керосиновыми глазами, схваченными коричневой синевой. Боль пронзительная: прокусила икру и мои штаны надорвала, когда я ее, мерзавку, сбрасывал с себя, и как-то кручено, боком она семенит и полаивает визгливо, как карикатурный глумящийся бес.

Буду долго стоять возле этих самых ведер, пока Александра Николаевна не выйдет и не скажет: «Что с вами?» А мне и говорить больно, потому что у меня нет ничего, кроме этих рваных ботинок, которые стояли в Олиной комнате. И Олина мама какую-то чепуху несла, и Олин папа, длинный, седой: «А вы, молодой человек, с Григом не знакомы? Сыграй, Олечка, Грига».

— Пропадите вы пропадом со своим Григом! — говорю я и выхожу из оцепенения. Какая-то буйно-ослепительно прекрасная сила вливается в мое брэнное тело, и мой голодный дух перестает чувствовать голод, и Маркелыч пришел с переводом и с буханкой под мышкой, и набросился на нее, на эту буханочку, как сумасшедшие, и молча, кто быстрее, но честно, не обгоняя друг друга, в общем-то строго пополам, я знаю Маркелыча, он ест медленно даже после нескольких дней воздержания, а я глотаю не прожевывая, в три раза быстрее, чем Маркелыч, но я иду с ним вровень: я корочку — он корочку, я мякиш — он мякиш, я крошки — и ему половинку этой хлебной сытности. А потом я крикну Маркелычу те самые гоголевские слова:

— Не робей, воробей, гляди орлом.— И Маркелычу страсть как нужна моя энергия, моя, черт побери, чего-то да стоящая жизнеспособность.

И снова замечу. Каков человек в жизни, таков он и в игре. Только жизнь и способна обогатить игру. Уроки жизни отслаивают в человеке что-то самое главное, что составит его духовность. И именно эта духовность и станет стержнем нравственной силы игры.

И там, в северном поселке, думал: раньше я нес детям то самое лучшее, что было во мне. Здесь же, в школе, будто оборвал связи, которые должны были соединить мою и их глубину души.

...Но вернемся к нашим ситуациям.

4. Ситуация «Игра как выход на оптимистический рубеж в жизни».

И выйду я на крыльцо, поздороваюсь с милым Матвеем, кивну Григорихе, ■ ватага ребятишек кинется ко мне:

— Дорасскажите ту сказочку.

— Давайте, только все приходите. Сегодня особенно интересно!

И как заведенные мои воробышки слетаются ко мне, и я им начинаю рассказывать о том, что Нелли как узнала, что ее друг жил в комнате без окон, что у него даже на трамвай не было денег, обняла его и крепко поцеловала. А потом сказала ему: «Прощай. Мы с тобой никогда не увидимся. Потому что я не могу дружить с тем, у кого даже окон нет в доме».

— Вот и все,— говорю я.

Молчат мои пенечки. Такого никогда не было, чтобы мои сказки так нелепо заканчивались. Толина смотрит на меня, точно я его обобрал, да, вот схватил у него

все его имущество, самое ценное: две гайки, поломанный выключатель, новую резинку для рогатки и жесточку, которой он одной ногой набивал по пятьдесят раз. Коля молчит: ничего не понял, точно придавлен моей неожиданной грустью. Все молчат. И Катя молчит, а потом все же скажет:

— Плохая сказка!

— Неправда,— говорю я.— Что же, вся сказка плохая?

— Нет, сначала была хорошая.

— Это все из-за этой Нелли сказка испортилась,— скажет Толяна.

— Нет, это из-за черта,— скажет Коля.

— Из-за какого черта? — спрошу я.

— А тот, что за ногу укусил.

— Нет, и сказка хорошая и Нелли хорошая,— скажу я.— Просто она, эта Нелли, была околдована одним из тех с деревянными ногами и головой с опилками. А в следующей сказке я ее расколдую.

— Обязательно расколдуйте! — сказала Катя и захлопала в ладоши.

...И снова я думал: как развивалась эта потребность общения с детьми? Почему такое наслаждение я испытывал от соприкосновения с их душами?

Может быть, потому, что они были ближе мне в чем-то, чем взрослые? Может быть, им можно было поведать этак в косвенной форме о себе? Или захватывал меня их чистый мир, как захватывает нас чистота неба, прозрачность морской воды, бесконечная живость костров — вроде бы ничего и нет, а можно смотреть часами, — и тянет, тянет тебя к той немеркнущей живой силе, и от соприкосновения с ней ты оживаешь, — это называется отдыхом. Чем больше ты пролежишь на зеленой траве у реки, на песке, чем больше прошлепаешь по морской кромке, по песочной отмели, упругой и прохладной, тем больше счастья испытаешь, того счастья, которое будет жить в тебе целый год до следующей травы, следующего песка, следующего прошагивания по морской прохладе.

Или склонность к фантазированию, которая жила все-таки у меня, могла реализоваться лишь в детской среде: они принимали любую выдумку, лишь бы в ней похлала живая мысль.

Это потом я уже стану размышлять над загадкой потребности общения с детьми, когда вся твоя суть сама по себе переключается на страстное потребление чистоты детской, и возникнуть-то это чувство может только в одном случае — если сам отдашь ему самое праведное, что есть в тебе. И никаких других чувствований не требуется, кроме абсолютно возвышенных, чтобы между гобой и детьми никаких прокладок не было, чтобы ты говорил с ними, как если бы ты с богом разговаривал, чтобы великим грехом считалось в сердце твоём, если ты самое заветное и самое сильное чувство отдал чему-то другому, что никакого касательства к детству не имело.

Нет. Не самопожертвование! Скорее радостное открытие самого себя. Точнее, новых начал в себе. Хотелось верить, что этим началам ничто не может угрожать, что они всем доставляют наслаждение. И этот пласт чистой праведности и составляет главную основу педагогической личности. И когда я почувствовал это и когда понял, что если рядом стоящая, а точнее, противостоящая педагогическая школьная правильность угрожает этой моей главной основе, то я и стал выражать эту свою основу где только возможно, сначала в сказках, а потом и во всех делах своих.

Игра — это свобода. Она противостоит сковывающей дисциплине. В первый мой солонгинский учебный год моя радостно-трепетная потребность в общении с детьми была придавлена внешней школьной дисциплиной, которая противостояла игре. Школа без игры парализовала взрослых и детей. Угнетала. Возводила в абсолютную протivoестественную серьёзность, что сродни скуке, томлению, уродству. Помню эти состояния.

Я иду по коридору — прямо, лишь глазом одним кошу, этак сверху вниз: кто там еще шумит! И все под моим взглядом, как и у других учителей, трепещет: страх. И в класс я захожу, замораживаю своей пристальностью. Открываю журнал, не глядя в него, а сам взгляд не свожу с Ромуськова, что на последней парте. И так, для общего порядка, собачьим павловским рефлексом через зубы: «Ромуськов, опять нарушаешь...» Ромуськов робко и быстро поправляет книги, и без того ровнехонько лежавшие, недовольно что-то лепечет про себя. А я уже раскрыл журнал и снова, не глядя на Ромуськова, медленно и спокойно «Встань, Ромуськов!» И он встает, в

классе тишина: дисциплина. Порядок. Работать можно. И скажут мне через некоторое время учителя: «Что же, вы добились самого главного: вы овладели классом».

И мое неверное ухо воспринимает это «овладели» как чарующую музыку, как победу. В этом «овладении» (ведь неприлично говорить это слово по отношению к человеку, к женщине, к общности человеческой — допустимо лишь к вещным явлениям: автомобиль, профессия, где овладение выступает в качестве средства!) был прикрытый культ насилия, — не приручить по Экзюпери, не прихотить по Толстому, не разбудить по Чернышевскому, а овладеть, что значит взять силой, подчинить себе чью-то волю, желания — и прочее. Так, по крайней мере, по словарю русскому. Это потом я уже заметил: педагогическое состояние может развиваться по двум направлениям. Первое — авторитетное, вот такое, какое у меня было, когда рассказывал детям истории, то есть раскрепощающее, свободное, когда духовная ценность становится средством общения, единения и сближения, когда открываются пути для свободы человека, для игры духовных и физических сил личности.

И второе, авторитарное, когда акцент делается на закреплении, на сковывании, на усилении зависимостей от личности учителя. Назовем условно первое — свободой, а второе — несвободой.

Свобода человеческая не исключает свободу поступка, самочувствия, самореализации. Мне кажется теперь, что свобода, в частности, воли, характеризующая сущность личности, точнее, ее сущностное основание, развивается, точнее, должна развиваться по законам красоты, по законам гармонии.

Иная логика у несвободы. Здесь авторитарные элементы (они более живучи, более приспособлены к среде, более стойки), зарождаясь, сразу же производят мириады себе подобных образований, которые и составляют бездуховный климат школы. Ведь каждый учитель знает, что его вроде бы ничего не значащее «опять, Ромуськов!» действует не только на Ромуськова (принижает, выбивает из колеи, попробуйте ощутить на себе это «опять» трижды сряду, чего бы это ни касалось, даже преподавание в дружелюбных тонах, как вы взбеленитесь, станете агрессивны и прочее). Это «опять» создает отвратительное самочувствие в коллективе.

Я задумывался: почему многие великие писатели так тянулись к детям?

Чем вообще можно объяснить, что Толстой, не артиллерийский офицер Толстой, а философ, написавший уже «Войну и мир», так тянулся к ребятишкам, возился с ними. («А ну грязь достань с дна реки, ваше сиятельство», — предлагает ему крестьянский мальчишка, и Лев Николаевич, убененный сединой, ныряет, повинуется, достает грязь, показывает ее Петькам и Ванькам, а потом кто-то крикнет «мала куча!», и все повалится на графа!) И получал великий мыслитель несказанную радость от этих восторженных детских прикосновений.

А как можно считать случайным такое явление, что известный продолжатель гуманистических традиций Достоевского Уильям Фолкнер был скаут-мастером, создал что-то вроде воспитательной колонии. Часами по вечерам рассказывал детишкам волшебные истории, на чем, собственно, и держалась дисциплина свободы, дисциплина совместного духовного взаимообогащения.

Мне кажется, чем значительнее мыслитель, тем он глубже понимает детство, тем сильнее в нем потребность быть с детьми. Собственно, потребность эта является мерой культуры, мерой прогресса и развития общества. Такая формула может показаться несколько парадоксальной, но даже самый общий взгляд на историю развития цивилизации подсказывает именно такой вывод: Спарта, Афины, Рим, средние века, эпохи революций, войны — это борьба за детские души, за их развитие в соответствии с укреплением нового строя, новых социальных взглядов, установок, тенденций.

Игра живет в формальных и неформальных объединениях. Игру по-разному использовали в воспитании. Иногда — во зло: жизнь детских фашистских организаций была пронизана игрой. Дети учились предавать и убивать сначала в игре, а потом в жизни.

Прогрессивная педагогика всех стран создает игры с гуманистической направленностью. Н. К. Крупская ратовала за то, чтобы разрабатывались игры, воспитывающие качества будущего гражданина и работника. Ей принадлежит мысль о том, что у нас игра чаще всего расценивается с точки зрения того или иного вида деятельности, физкультуры или технического творчества, но нет анализа игр, которые бы **слачивали** детей, духовно обогащали и развивали коллективность.

И снова замечу, игра может стать действенным средством влияния, если соеди-

вятся с самыми высокими нравственными ценностями. Наша педагогика — за сильную личность в воспитании. За идеал человека, способного противостоять любому злу. Игра всегда формировала сильные черты личности: выносливость, выдержку, терпение, мужество, решительность, способность к риску, преданность коллективу, стойкость, нравственное благородство, честь.

В игре есть еще и неучтенные резервы, которые Макаренко называл емким словом «мажор». Шарль Фурье, размышляя о всестороннем развитии при строе Гармония, выдвинул идею социального очарования — это когда все очарованы друг другом. И именно это общество социального очарования создаст, размышлял великий утопист, человека, главным качеством которого будет энергия. Игра великолепно решает именно эти две главные проблемы человеческого бытия. Она создает очаровательную коллективность, если можно так выразиться, следуя лексике утописта, она рождает в человеке неумную энергию, расширяет физические и духовные возможности человека.

К игре я шел эмпирическим путем. Определил: чтобы приблизиться к духовному миру ребенка, надо всегда помнить то лучшее, что было в твоём детстве. И то, что ты хочешь преподнести детям, надо соединить с тем лучшим, что было в твоём детстве. Мы забываем те потрясения и те открытия, какие случались, когда были детьми. Мы предаем нередко то сокровенно чистое, что было в нашем развитии. Мы топчем и иной раз стыдимся тех прекрасных искренних мгновений, какие вспыхивали в нашем детстве. Мы не воскрешаем тех состояний, какие сопровождались детскими слезами. Это и слезы радости, и слезы обиды, и слезы очищения.

Когда педагог обращается к своему детству с тем, чтобы вызвать в себе состояние детскости, с тем, чтобы приблизиться к детям, он так или иначе повторяет, проигрывает на новой основе жизненные ситуации. Он использует игровой элемент. Он идет к цели игровыми средствами. И опять здесь некоторая языковая неточность, ибо процесс соединения игровых и неигровых действий основан на искренности, где всякая рациональность противопоказана. И снова неточность. А точнее, противоречивость. С одной стороны, выдвижение всякой педагогической цели уже рациональность, а с другой стороны, требование искренности, предельной чистоты, гражданственности и культуры снимает момент рациональности. Игровое действие живет по законам искусства. Здесь любые парадоксы, любые алогизмы могут выявить самое главное в содержании и развитии отношений. И еще одна мысль. Занимаясь с детьми, там, в северном поселке, театром и живописью, я обнаружил, что связь игровых и неигровых начал бывает крайне сложной там, где содержанием общения является искусство. Прикасаясь к жизни детей посредством высокого искусства, я думал, что совершаю открытия. А на поверку было совсем не то. Точнее, изъяны и противоречия обозначились совсем по-иному.

Об этом я и расскажу.

Там, в северном поселке, во мне шла постоянная борьба. Борьба с самим собой. Борьба за мою собственную душу. На каком-то кусочке своего развития я почувствовал, что мое призвание — в школе, что мое спасение — дети. Вместе с тем в меня введалься школьный педантизм, вселялась какая-то чуждая мне инородность: командовать стал, покрикивать на детишек, подражал бытующим в школе стандартам. И ощущал: теряюсь как человек. Во что бы то ни стало захотелось отделиться от вкравшейся инородности, от уже травмированного в чем-то моего «я». Острая потребность сберечь себя, по крайней мере то лучшее, что досталось мне и от моей мамы, и от студенческих лет, и от увлечений искусством, нарастить на это сохраненное еще какую-то новую силу — вот задача, которая не давала мне покоя. И я видел эту силу в детской чистоте, в тех людях, какие жили рядом. Я стремился создать в себе самое ощущение новизны, чтобы эту новизну прокричать детям. Мне нужно было на каком-то материале рассказать детям о том самом главном, что тревожило меня. И я обратился к искусству. Обратился к своему детству. Я разворачивал свой крохотный запас духовной наличности: ворох репродукций, вырезок из журналов да несколько коробок открыток. Открытки мне были особенно дороги: это была моя детская игра — собирать их стал, когда мне и девяти лет не было. Выменивал их у знакомых ребят на что угодно, на перышки и старинные монетки, на книжки и пистолетки. И какое счастье было, когда однажды мне подарили целую пачку открыток, перевязан-

ных тесьмой, открыток, на которых все было фантастично: боги, нимфы, ангелы, го-рода. (Позднее, когда стал студентом, установил, что на этих открытках запечатлена самая высокая классика: Рафаэль, Боттичелли, Леонардо.)

И когда я в детстве болел и неделями не выходил на улицу и доктора уже ска-зали маме: «Все», я просил мои картиночки, и мама со слезами на глазах (не понимал, почему она плачет) доставала картонную коробочку, и я раскладывал свои картиночки и часами рассматривал таинственные изображения.

Лишь много позднее стал различать сложный живописный язык эпох, и мои картиночки обрели иной смысл. Имена художников звучали таинственным звуком, и их картины увидел я в прекрасных репродукциях и в подлинниках. Но все равно то раннее мое видение сохранилось, осело во мне, оставалось основой, на которую наслаивалось новое представление.

Готовясь к встрече с моими солонгинскими детьми, я попробовал вложить свои открыточки в привезенный директором эпидиаскоп — и ахнул... На стене в темной классной комнате вдруг вспыхнул свет Рембрандта, кроваво-глубинный, в отблесках которого мерцали выхваченные из умбро-краплаковой густоты озаренные, сияющие лица, и пейзажи Васильева, так схожие своей живой влажностью со здешними солонгинскими, и репинский крестный ход с раскаленной пыльной дорогой и икононошением застыл на этой стене рядом со школьной доской, на которой еще оставались мелом начерканные уравнения и сбоку большими буквами: «Зад. на дом», и, конечно же, Боттичелли, которого я не без рисовки назову детям полным именем: Алессандро ди Мариано Филиппи, и десятки портретов Франса Гальса, где запечатлен челове-ческий смех, от робкой улыбки до клокочущего смеха, и святая Инесса Хусепе де Риберы, застывшая в своей удивительной чистоте, и страшные гориллоподобные осли-ные физиономии в работах Франсиско Гойи, и, конечно же, покажу Врубеля, которого я так любил, и Серова, и Андерса Цорна, и Борисова-Мусатова... И планы — мгновенно, как всегда (в этом моя слабость), фантастические: непременно ребятам надо дать всю исто-рию живописи, всю историю искусств!

Задумываю серию игр («Дрезденская», «Третьяковка», «Тайна одного шедевра»), в которых дети разобьются на экипажи, отправятся в экспедиции, вступят в поедин-ки друг с другом, отстаивая свои взгляды, суждения, вкусы. За внешней интригой игры я уже различаю тайные пласты их страстей, мои вмешательства, разрешение многих противоречий их личной интимной жизни.

Я уже вижу Ваню Золотых с широко раскрытыми глазами, замершего от чудной боттичеллиевской мелодии, и Аллу Дочерняеву, с лица которой сошли вдруг скепти-ческие тени, и она забылась, покоренная необычностью представшего перед ее глазами дивного миража, и Зину Шугаеву, всю сжатую в комочек, — как же вдруг такое по-казывает учитель ей, секретарю комсомольской организации, и Ромуськова вижу, оша-рашенного обнаженностью чистоты, и Присмотрова вижу, вдруг проснувшегося, ожив-ленного — а то вечно подремывал, откинув голову назад и вытянув через вторую парту длинные ноги в коричневых валенках. А мои открыточки на стене еще лучше самых изысканных репродукций; и то, что они поистерлись от времени, даже интереснее, точно древность отпечаталась на них и подлинная старина проглянула, и даже те тре-щинки на открыточках так встали, и затерпшиеся уголки и разлом посреди трех гра-ций так уместен. И что-то возвышенно-нежное перекатывается от меня к детям, к их чистым лицам, и от этого и у меня на душе становится легче и светлее.

И я переносюсь в мир античности, рассказываю о Лукреции, Горации, Овидии, откуда Боттичелли почерпнул поэтическую силу философии любви, философии челове-ческих отношений. Привожу слова молодого Маркса, который писал: «Смерть и любовь являются мифами отрицательной диалектики, потому что диалектика есть внутренний простой свет, проникновенный взор любви, внутренняя душа, не подавляемая телесным материальным раздроблением, сокровенное местопребывание духа. Итак, миф о ней есть любовь; но диалектика есть также бурный поток, сокрушающий вещи в их мно-жественности и ограниченности, ниспровергающий самостоятельные формы, погружаю-щий все в едином море вечности»¹.

И рассказывая о Меркурии, подчеркиваю, что у каждого должен быть этот про-стой свет, что он есть и у Вани Золотых, есть и у Анечки, и у Аллы Дочерняевой, и открывается этот свет в юности, и нельзя его обращать в разменную монету, снижать

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 40, стр. 116—117.

его достоинство, обесценивать. Меркурий — сама мужская красота, вершина смелости, чистоты, покоя душевного, силы неумемной.

...И вдруг Ваня Золотых подойдет ко мне, покраснеет и станет невпопад лепетать, называя Меркурия Меркуловым.

— А почему у Меркулова тапочки с дырками?

— Какие тапочки? — всполошусь я.

— А у него вроде бы как носки или сапоги, только без подметок, и все пальцы видны. А все остальные босиком.

«Неужели, — думаю я, — он все время рассматривал, кто в чем обут?» А я действительно не замечал до этого, что все босые, а этот «Меркулов» в дырявых сапогах. И я смотрю на репродукцию и говорю Ване Золотых, что это обувь была такая и что он не босой совсем, что есть и подметка под ступней и ее не видно.

— В том-то и дело, — говорит Ваня. — Нет подметок. Я долго смотрел.

Я пытаюсь увидеть низ обуви, и не вижу, и в конце концов говорю Ване:

— Да разве в этом дело?

Ваня глядит на меня, а я на него, а он при своем: «Нет подметок» — и глаз своих не сводит с меня.

Теперь убежден: вопрос Вани Золотых о тапочках как клапан приоткрывал мир человека, мир ценностей, будто расчищая место для новых ценностей. Я говорю об этом, потому что это принципиально важно, потому что это составляет суть педагогики, суть альтернативы, от чего идти. От первичных потребностей, доступно постижимых и осязаемо-осязаемо-живых, или же красивым покрывалом укутывать головки детей до полного мрака и неведения? Потребность и должна привести к тому великому мучительному поиску познания, без которого не может быть души человеческой. И путь здесь один — не приобщение к культуре, а воссоздание культуры в каждом человеке, в каждой индивидуальности через мир первичных потребностей, через иерархию ценностей...

Позднее я прочту у Крупской о симбирском директоре Ульянове, который, увидев детское сочинение, оцененное самым низким баллом, переправил оценку на самую высокую. В этом сочинении ребенок писал, что самое интересное, что он узнал в школе, так это то, что директор (Ульянов) такой большой, а не может говорить «р», вместо «гривенник» говорит «г'ивенник». Этот «г'ивенник» — те же тапочки Меркурия, та же непосредственность, та же великая простота, которая лежит в основании и нравственного чувства и так недостающей нашему учению искренности. Тогда, в мой первый солонгинский год, я этого не понимал. Этот принцип воссоздания в маленьком человеке культуры является всеобщим, ибо логика движения — от чувственно-наглядного, живого, доступного, яркого, увлекательного к чувственно-абстрактному, к широкому интеллектуально-эстетическим обобщениям и от развитых форм мышления, соединенных с наслаждением, с игрой физических и интеллектуальных сил, к живой практике, то есть к сочинительству, в чем бы оно ни проявлялось — в математике или биологии, в живописи или труде, литературе или театральных импровизациях. Этот путь восхождения к вершинам возможной культуры никак не может противоречить восхождению от абстрактного к конкретному, который назван основоположниками одним из основных путей научного познания мира.

Первое время я упиался своими открытиями. Казалось, что я нашел способ тончайшего прикосновения к человеческим душам. Не то чтобы исподволь, как это рекомендовалось во многих книжках, совсем незаметно, под сурдинку, а во весь голос, чтобы самое главное в душу запало, заставило долго и мучительно разрешать противоречия и, конечно же, самостоятельно выходить на оптимистические рубежи. Мне казалось, если я вхожу в духовный мир ребенка, если внутренне принимают меня, то и результат моего влияния неизбежно становится положительным.

И только много позднее мне в голову пришла мысль об иезуитах. Вот те самые профессиональные иезуиты, которые что угодно превращали в средства: людей, искусство, ценности. В одно какое-то мгновение мне показались чудовищными те интонации, в которых была подана мною нежная вибрация чувств Меркурия и трех граций. Сам ход моей логики показался мне безнравственным уже в том, что искусство я подчинил узкоутилитарной задаче, а следовательно, уничтожал его самоценность. Больше того, превращая высокое искусство в некую заземленность, я лишился той нравственной силы, которая таилась в искусстве. Неожиданно я поставил себя на

место моих меркуриев и граций. И понял: рожденная наспех, моя игровая педагогика была внешне привлекательной, но она не была праведной.

Пожалуй, самая сложная задача — как соединить раскованную веселость, озорной порыв и безоглядную смелость, какие непременно всегда присутствуют в игровых элементах, со сдержанной мудростью, необходимостью внутреннего покоя, нераздробленностью и непрерывным движением к цельности?

А этот сплав крайне необходим, потому что развитие всех богатств игры зависит от ее наполненности нравственным содержанием, созидательным творчеством.

В свое время я написал книжку «Игра и труд», в которой проследил связь игровых элементов с неигровыми. Нашел ее после того, как придумал и провел с детьми сотни различных игр, драматизаций, игровых ситуаций, длительных ролевых игр, permanently развивающихся на протяжении ряда лет. Помнится мой первый, совсем необычный успех в педагогике. Я выступил с докладом «Игра как средство развития детской самостоятельности». Выступил перед директорами школ в Центральном институте повышения квалификации учителей. Участники совещания собрали деньги и перепечатали мой доклад в ста экземплярах. Из доклада я сделал по просьбе различных педагогических редакций несколько статей. Но ни одна из них не была напечатана. Игра объявлялась делом несерьезным. Сейчас так уже никто не считает. Время требует использовать все неиспользованные ресурсы.

В течение нескольких лет я работал с коллективом 79-й рижской школы. Тема нашего исследования звучала так: «Всестороннее и гармоничное развитие школьников». Вот один из игровых уроков в первом классе, который вела искусствовед Светлана Ивановна Хаенко.

Занятия по теории живописи проходили в форме игры «Выставка». Десятки детских работ. Дети должны назвать жанр рисунка. И называют: «Автопортрет», «Двойной портрет», «Пейзаж», «Натюрморт» — и каждый рисунок на определенное место, получается сразу несколько тематических выставок. И говорит Светлана Ивановна:

— Ах, как прекрасно стало сразу в классе.

И действительно класс преобразился — пастельно-голубые, нежно-коричневые, светящиеся салатные тона.

— А как назовем мы юного художника, который написал этот морской пейзаж? — спрашивает Светлана Ивановна.

— Маринистом, — отвечают дети.

И сидит юный маринист Саша Лапченков — он очень взволнован тем, что его работа выставлена в экспозиции и записана в каталог (еще два слова усваивают первоклассники!).

— А что нужно сделать, чтобы все знали о выставке?

— Надо нарисовать афишу... и обложку для каталога, — отвечают дети.

И рисуют афиши. И решения оригинальные: ведь афиш столько, сколько жанровых выставок.

Собственно, афиша — это и есть подготовка к «деланию плаката», здесь прикладной элемент обязателен: ведь искусство не самоцель, оно должно всесторонним образом обогащать личность школьника, готовить к жизни. И здесь развитые формы детского воображения выступают в сплаве с полезным утилитаризмом. И какие неожиданные решения дают дети в своем плакате. Эдик Давыдов к выставке маринистов нарисовал плакат, на котором изобразил выплскивающуюся из морских пучин рыбу, жонглирующую огромной кистью на носу! А маленькая Байба Путите сделала обложку для каталога: разноцветные женские (фиолетовые, голубые, розовые) пальцы у палитры с оранжевой кистью. И мне очень хочется выпросить этот рисунок Байбы, и не решаюсь. И пораженный гармоничностью детского рисунка, я спрашиваю у учительницы первого класса, для которой присутствие на уроках Светланы Ивановны — огромная радость, что она может сказать о Байбе. И снова поражаюсь краткой и лаконичной оценке:

— У нее необыкновенное чувство красоты! Байба очень добрая.

Я не удержался, встал из-за своей последней парты и вышел в класс: так захотелось мне заглянуть в ребячьи лица. Сидит маленькая Байба — вся в движении, лицо одухотворенное, и язычок прикушен, и плечико так завернуто, будто всем телом она выражает себя в рисунок, и быстро-быстро работает восковым мелком, точно боится не успеть запечатлеть эту найденную цветовую гамму, которая вспыхнула в ней.

И совсем иной Саша Лапченков, обстоятельный, сосредоточенный — мужчина! Вот уже десять минут он сидит, ничего не делает. И не торопит его Светлана Ивановна, замечает: «У него особая медлительность. Он логичен, несколько рационален. Но вот посмотрите — он выдаст оригинальное решение...» И малыш знает, чего от него ждут в классе, потому и не спешит. И как важно это уважение к детской сосредоточенности, к детскому своеобразию! Наконец пришла долгожданная мысль! Нет, не возьмется Саша за цветные восковые мелки. Не притронется он и к акварели! У него свой почерк: его увлекает тонкая строгая линия остро отточенного карандаша. Светлана Ивановна поощряет развитие индивидуальности первоклассника:

— Да, я думаю, что он будет работать в своей манере. А к цвету придет. Только на своей основе. Будет шкарябать по высохшей гуаши обратной стороной остро заточенной кисточки.

И вот эта забота о развитии детского таланта меня особенно трогает.

Передо мной стопка документов, в которых излагаются некоторые направления разработки деловых игр. Здесь приказы Министерства высшего и среднего специального образования, рекомендации НИИ проблем высшей школы, решения отраслевых министерств, предприятий, методические и теоретические разработки проведения игр, подготовленные ведущими учеными страны.

Названия игр — «Эпос» (экспериментальное планирование ограниченных средств), «Астра» (административно-структурный анализ), «Назначение» (рассматривает процедуру подбора и назначение на должность руководителя определенного уровня). Деловые игры, межотраслевые, заводские, цеховые, участковые комплексные, функциональные, ситуационные, игры реальные, условные, абстрактные разрабатываются и внедряются во многие отрасли народного хозяйства.

У нас в стране, как и во всем мире, разрабатываются игровые формы и методы подготовки различных специалистов, углубления их знаний, повышения уровня квалификации. В мире произошел любопытный парадокс. Игра, рожденная детством, взята взрослыми для решения абсолютно взрослых задач. Настало время вернуть игру в первую очередь в школы и профессионально-технические училища. Вернуть обогащенную уроками ее «повзросления», уроками проверки ее эффективности в различных отраслях народного хозяйства, культуры.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Н. ХОХЛОВ



ПАКИСТАН: КРИВАЯ НЕЗАВИСИМОСТИ

Пакистан — почти наш сосед: советский Памир отделен от пакистанской территории двадцатикилометровой полосой афганской земли. Только и всего! Крупная азиатская страна, население которой перевалило за 80 миллионов. «Страна двух крыльев», как до недавнего времени называли Пакистан, осталась с одним, когда на месте Восточного Пакистана, отделенного от Западного расстоянием в 1600 км, возникло самостоятельное государство Бангладеш.

Создание Бангладеш можно сравнить с шоком, последствия которого, живя в Пакистане, нельзя не чувствовать и до сих пор. Дело в том, что Мусульманская лига, выступившая в свое время еще в колониальной Индии инициатором создания обособленного государства на религиозной основе, усиленно проповедовала лозунг: «Одна религия, одна нация, одно государство; один язык». А пример с Бангладеш опрокинул подобные теоретические построения: общность религии не удержала людей в рамках единого государства.

Тем не менее официальная пропаганда Исламабада не признает существования в стране различных народностей и племен: для нее любой житель — пакистанец и все! Национальность и вера тонут в этом обобщенном понятии, которое, конечно же, никак не отражает многонациональный состав населения. Доходит до того, что иностранных ученых, которые в своих исследованиях рассматривают пенджабцев, синдхов, пуштунов, белуджей и т. д. как самостоятельные народы, в Пакистане резко критикуют и обвиняют их во вмешательстве во внутренние дела.

О Пакистане не скажешь, что о нем написаны горы книг: исторических, страноведческих исследований мало. Это объясняется сравнительно недавним «двойным разделением» Пакистана — от английского колониального владения и от Индии. Само слово Пакистан является искусственно скомпонованным, и до 40-х годов нашего столетия его не было на картах мира. В 1940 году студент Чаудхури Рахмат Али опубликовал брошюру под названием «Государство ислама», в которой излагал соображения в пользу создания трех мусульманских провинций, объединенных в единое целое. Потом число регионов разрослось: Пенджаб, Афгани, то есть Северо-Западная пограничная провинция, Кашмир и Синд, а от Белуджистана было взято окончание «стан». Так образовалось название Пакистан, ранее никому не известное. Сессия Мусульманской лиги, состоявшаяся в Лахоре в марте 1940 года, получила известность как Пакистанская. Новое словообразование входило в политический обиход и означало курс на создание самостоятельного исламского государства.

Лингвистическое новшество считалось удачным еще и потому, что слово «пак» на фарси и урду, который стал потом государственным языком, означает «чистый». Сама страна, таким образом, представляет собой «детище исламских, чистых принципов». Основатели Пакистана разъясняли, что это будет государство идеологическое, но не теократическое, отнюдь не разновидность «азиатского Ватикана». Мусульманская лига выступала за создание светского, гражданского правления, что и было осуществлено 14 августа 1947 года: независимый Пакистан был образован на день раньше суверенной Индии.

Мусульманские тенденции стали внедряться во всех сферах: вместо Карачи, города с многомиллионным населением, или Равалпинди, старого центра английской

колониальной администрации, столицей было избрано пустынное местечко у подножия Гималайских гор и названо Исламабадом — «Городом ислама». Туристического типа городок за отсутствием ассигнований никак не вырастет в столицу: многие правительственные учреждения и ведомства до сих пор размещены в соседнем Равалпинди, в Лахоре и Карачи.

Вот в такой «полусоседней» с нами стране мне и пришлось прожить несколько лет.

Естественно, приходилось много ездить по стране, знакомиться с историей, литературой, жизнью народа в городах и сельской местности. Скажу, что было чем интересоваться: упомяну лишь кое о чем. В Лахоре жили Бабур и Редьярд Киплинг; последний пропел гимн всесветной владычице Великобритании, но не увидел заката и полного крушения колониальной империи. В деревне Нандана, что в округе Джелум, останавливался, говорят историки, Абу Рейхан Бируни. В далеком прошлом на территории нашей Средней Азии и Индии, в состав которой входил и нынешний Пакистан, зачастую действовали одни и те же исторические личности — ученые и поэты, путешественники и врачи.

Помимо всего прочего, Пакистан для меня был привлекателен и тем, что он родина двух крупнейших поэтов Азии — Икбала и Фаиза Ахмада Фаиза, лауреата Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Родина обоих — город Сиапкот, в котором я провел несколько дней и беседовал с людьми, знавшими и того и другого.

А Мохенджодаро! Нижний Инд, юг Пакистана. Занесенный песками город был открыт археологами: он существовал 4500 лет тому назад. Водохранилища на Инде, вроде Суккурского, орошающие сотни тысяч гектаров, ирригационные каналы, равные крупным рекам азиатского континента...

Странное впечатление производило то обстоятельство, что многомиллионные города не угодили в столицы: ею стал двадцатидвухтысячный городок при склонах Гималайских гор — Исламабад. Это уже не какой-то археологический, а самый новейший парадокс, каковых немало в Пакистане.

Но самое главное, о чем я и намерен рассказать, относится не к чисто географической или же исторической экзотике, чем поистине богат Пакистан, а сводится к описанию ступенек той причудливой лестницы, которая называется становлением независимости. По этой условной лесенке можно подниматься вверх, а можно и спускаться вниз. Политическая надстройка во многих развивающихся странах напоминает крышу сельского домика, которая легко сносится ураганом событий. В Пакистане эта «крыша» менялась несколько раз.

Откровенно говоря, порой кажется, что жил не в одной, а в разных странах: настолько резко и неожиданно менялся политический климат Пакистана! Я еще застал гражданское правление во главе с Зульфикаром Али Бхутто. Оно пришло на смену военному режиму генерала Яхья Хана 20 декабря 1971 года. А до Яхья калифствовал Айюб Хан. Переход от диктатуры к правительству, избранному гражданами страны, создавал совершенно новую атмосферу, вызывал у народа оптимизм, развешивал его активность. Все это было весьма ощутимо.

После трехлетнего пребывания появилась определенная уверенность, что страна уже мне знакома. Вроде бы все стабилизировалось. Пакистанская народная партия, лидером которой был Бхутто, не имела достойных себе соперников. Народные массы встречали премьер-министра Бхутто восторженно. Он любил разъезжать по стране в костюме пакистанского крестьянина и выступать перед толпами в десятки тысяч человек. На местах он широко общался с простым народом, принимал у себя рабочих, интеллигентов, земледельцев, которые высказывали ему претензии на действия властей. Случалось, что тут же, на месте, он наказывал провинившихся чиновников. И тогда все газеты писали о справедливой, внимательной и карающей руке правительства, избранного народом. Эффект был поразительный. Одно дело, когда законность восстановит тихой сапой никому не известный провинциальный чиновник, другое, когда это делает перед всей страной глава правительства. Резонанс назидательности, остратки и — высокая степень реакции на несправедливость.

Мы, иностранные корреспонденты, были весьма довольны тем обстоятельством, что премьер-министр каждый месяц приглашал нас на пресс-конференции в Равалпинди. Беседы проходили в непринужденной обстановке. Взять интервью у Бхутто не составляло труда: выслушав просьбу корреспондента, он тотчас же назначал время

встречи и отвечал на все вопросы. Он неоднократно бывал в Советском Союзе, повидал место, занимаемое нашей страной в мире, и высказывался за расширение советско-пакистанских контактов во всех областях. Его супруга, Нусрат, руководительница женских организаций Пакистана, также посетила Советский Союз.

Заметно было, что Пакистан отходил от узкоблоковой политики, на которую его обрекли военные режимы, связавшие страну с СЕАТО и СЕНТО. Исламабад выходил на широкую дорогу международного общения, придерживаясь, как неоднократно подчеркивалось в официальных заявлениях, одинакового отношения к Советскому Союзу, Китаю и США. На практике декларируемая одинаковость далеко не всегда и во всем соблюдалась, но показательной была общая тенденция.

Определенные сдвиги наблюдались и во взаимоотношениях Пакистана со своими соседями — Индией и Афганистаном: и с той и с другой страной Исламабад вел переговоры по спорным, еще не решенным проблемам, обменивался правительственными делегациями. Все это положительно сказывалось на политической ситуации в регионе.

Отметим и такой немаловажный факт: сам З. А. Бхутто причислял себя к социалистам и был связан с рядом видных деятелей международного социалистического движения. Что ж, звание и положение обязывают: будучи крупным синдским землевладельцем, то есть помещиком, он передал в пользу безземельных крестьян часть своих угодий. Можно по-разному толковать такой жест, однако на фоне прошлого военнорежимного времени действия Бхутто представлялись совершенно необычными. Особенно красноречивыми оказывались лозунги Пакистанской народной партии, когда речь заходила о внутренних делах: она рекомендовала себя «народной, избранной народом, служащей народу, правящей во имя блага народа».

Безусловно, на всем этом ощущался налет демагогии, но нельзя забывать, что в Пакистане более двух третей населения не умеет читать и писать! Народ в большинстве своем воспринимал призывы ПНП как вполне закономерные и справедливые. Трудящемуся люду импонировало то, что во многих правительственных документах, в выступлениях членов кабинета речь шла о намерении установить более справедливый порядок распределения доходов, о шагах, которые содействовали бы уменьшению разрыва между богатыми и бедными. Естественно, такой прогрессивный курс находил понимание и поддержку со стороны большинства населения.

В стране была проведена так называемая выборочная национализация — она коснулась лишь некоторых крупных предприятий, но охватила всю банковскую и страховую систему. Началось укрепление государственного сектора в экономике, о чем свидетельствует первенец тяжелой индустрии — металлургический завод около Карачи, возведенный при технической и финансовом содействии Советского Союза.

Пакистан — аграрная страна, и для ее социально-экономического развития ключевым является вопрос о характере землепользования и земельных преобразований. Размер частных земельных владений был сокращен с 500 до 150 акров орошаемой площади. Правительство освободило значительную часть крестьян от уплаты поземельного налога. Нельзя сказать, не погрешив против истины, что решительно все нововведения властей нашли свое полное и повсеместное воплощение.

В Пакистане феодал всесилен. Это с особой силой подтвердилось событиями в провинции Белуджистан. Если сардару в чем-то «не угождало» центральное правительство, то он сколачивал вооруженные отряды и уводил их в горы, в пустыню, откуда совершались нападения на представителей властей. Мероприятия федерального правительства игнорировались начисто.

Своеобразное равновесие сил, когда правительство не в состоянии было претворить в жизнь свои решения из-за противодействия реакционных элементов, не могло продолжаться долго. Правительство нуждалось в одобрении своих дальнейших мероприятий: были назначены всеобщие выборы. Однако именно в этот момент действия центральных властей оказались блокированными оппозицией.

Пакистанский национальный альянс, в который вошло девять весьма разнородных группировок, развернул небывалую активность и бросил вызов правительству Пакистанской народной партии.

Обстановка в стране накалилась до предела. Во всех крупных городах вспыхнули волнения, которые перерастали в настоящую резню между «правверными» и «социалистами», как именovali сторонников ПНП. Против сабли, символа Пакистанской народной партии, был выставлен плуг — знак новосозданного Пакистанского национального альянса. При этом альянс намеревался использовать плуг не для обработки

крестьянских полей, а чтобы «перепахать и похоронить» всю внешнюю и внутреннюю политику правительства Бхутто.

События, парализовавшие нормальную экономическую жизнь, унесшие много жизней, сыграли роковую шутку с пакистанскими партийными вождями: никто из них не одержал победы, а их распри расчистили путь, подготовили почву для возникновения нового военного режима. 5 июля 1977 года генерал Мухаммед Зия-уль-Хак взял власть в свои руки. В тот же день было приостановлено действие конституции. Вскоре генерал Зия-уль-Хак объявил себя президентом Пакистана.

Бхутто по обвинению в нарушении законности взяли под стражу, заключили в одиночную камеру. 4 апреля 1979 года Бхутто, правительство которого находилось пять с половиной лет у власти, был казнен. Он похоронен около города Ларканы, в синдской деревне Гархи Худабаکش, где родился. На его могиле развевается лоскут материи с надписью: «Вождь народа, Зульфикар Али Бхутто, мученик».

Казнь законно избранного премьер-министра — случай из ряда вон выходящий. В Пакистане помнят о Бхутто, о том, что он успел сделать полезного для упрочения независимости страны. Трагический исход его политической карьеры еще более осложнил (и надолго!) и без того крайне сложную обстановку в Пакистане, заложил мины замедленного действия под все сооружение военного правления.

Английский философ Фрэнсис Бэкон, призывая всех пишущих не лишать права на суждения Время, позволить и ему выносить окончательный приговор по поводу тех или иных событий, сказал на этот счет следующее: «Истина — дочь Времени, а не Авторитета». Эта «дочь Времени» заявила о себе и в современном Пакистане. Покойный Бхутто называл оппозицию «союзом девяти кошек, связанных за хвост». Он предупреждал, что оппозиция играет с огнем. Теперь это стало очевидным. Национальная народная партия, Джамиат-уль-Улема-и-Пакистан, Техрик-и-Истикляль, Мусульманская лига, Джамаат-и-ислами, Национальная демократическая партия, Мусульманская конференция Джамму и Кашмир, Движение хаксаров (исламская «Армия спасения») и отщепенцы из ПНП, составлявшие оппозиционный блок, стали искать контактов с вдовой Бхутто — Нусрат, которая взяла на себя обязанности лидера ПНП. Со значительным опозданием, но прозрение наступило. Военные власти запретили деятельность всех политических партий включая и те, которые входили в альянс оппозиции. Показательно, что ни одна, даже самая реакционная, партия не поддерживает военный режим. Это следствие не только пересмотра тактики разноидейными и разнокалиберными партиями, но и характеристика военного правления. В интервью газете «Франкфуртер рундшау» генерал Зия-уль-Хак сказал: «Я называю себя военным диктатором, я не представляю никого вне моего собственного избирательного округа, то есть вооруженных сил». С этим следует согласиться.

Военный путч в Пакистане заставил теряться в догадках иностранных наблюдателей, ибо он отличался, если судить по заявлениям генералов, от других военных переворотов. Общеизвестно, что военные, как правило, надолго задерживаются у руля правления, подтверждением чего служат подобные события в странах Азии, Африки и Латинской Америки. В Пакистане же было объявлено, что всеобщие выборы состоятся 18 октября 1977 года, после чего приступит к выполнению своих функций гражданское правительство. На своем посту оставался и президент Пакистана Фазал Илахи Чоудри (он подал в отставку 15 сентября 1977 года).

В западной прессе военный переворот в Пакистане выдавался за «джентльменский». Затем начались «поправки» к ранее провозглашенному курсу военной администрации. Как и следовало ожидать, военные не передали власть в руки гражданских лиц ни в 1977, ни в последующие годы. Вопрос остается открытым и по сей день!

В Пакистане ныне происходят процессы, обратные тем, которые составляли суть внутренней жизни при правительстве Бхутто. Проведена денационализация, к тому же тотальная: решительно все промышленные предприятия (даже мелкие, полукустарного типа) возвращены бывшим владельцам. Открыты двери для иностранных вкладчиков. Представители военной администрации не перестают делать заявления о твердом намерении культивировать прищип частного предпринимательства. Все время раздаются призывы соблюдать Коран: военные используют мусульманскую религию, стараясь выдать себя за «чистых, истинных» хранителей мусульманских догм, обвиняя свергнутое ими правительство в отходе от предписаний Корана.

Возрождение «старых традиций», следование «чистоте» учения мусульманского пророка приводит к освящению ничем не прикрытого средневекового мракобесия.

Глава военной администрации издал приказ, согласно которому правонарушители подвергаются порке плетью. Публично!

При этом все ссылки делаются на Коран. Введены «исламские налоги» — ушр и закят, что открывает широко двери полнейшему произволу в налогообложении. Комиссия по определению размера налога включает местного муллу, представителя провинциальных властей и помещика. А последний всеми правдами и неправдами скрывает доход, показывает уменьшенную земельную площадь, намеренно запускает отдельные участки и объявляет их бросовыми, прибегает к услугам родственников, которым передает наделы. Бывают и такие случаи: на поля вышла представительная комиссия по земельному вопросу, а помещик, оказывается, скрылся в неизвестном направлении, прихватив с собой все документы. Происходит оттяжка, волянка, своеобразный саботаж, а сделать ничего нельзя. Это не крестьянин, которого можно согнуть в бараний рог. Помещик откупится, найдет и общий язык с муллой.

Кстати, в стране, охваченной внутренними раздорами, нет единства и в религиозной сфере: шииты, ахмадийцы, исмаилиты, кадиане выражают свое несогласие с тем, как военные интерпретируют многие исламские положения. А так называемые религиозные меньшинства составляют почти 30 миллионов населения! Суннитское большинство требует, чтобы все другие ответвления ислама безоговорочно признали только его понимание сур Корана и руководствовались ими как в мечети, так и в повседневной жизни. Распри в теории, игра в «правоверных» и «неверных кафров» приводят к открытым столкновениям и человеческим жертвам.

Кампания тотальной исламизации преследует две цели: военный режим, не имея поддержки в народе, делает ставку на реакционное духовенство и наиболее отсталые и забытые слои населения. Не менее важно и другое: нынешние власти Исламабада, куря фимиам исламу, хотя этим привлечь на свою сторону мусульманские арабские страны, казна которых существенно пополнилась за счет доходов от продажи нефти.

А на займах и живет Пакистан: страна не сводит концы с концами, все более влезая в иностранные долги, сумма которых перевалила за 10 миллиардов долларов. Дефицит торгового баланса, этого важнейшего показателя состояния национальной экономики, составил в последнем финансовом году почти 2,5 миллиарда долларов.

В Пакистане два вида бакшиша — уличный и государственный. Первый выпрашивают нищие, обездоленные, калеки, прокаженные, от которых нет отбоя. Второй выколачивают военные правители. Заключат сделку с той или иной страной, получают свободно конвертируемую валюту или оборудование для промышленных предприятий либо вооружение, а потом начинается нудный и затяжной торг об отсрочке платежей, о снижении первоначальной процентной ставки, а то и вообще о списании долга.

...Избавившись от прямого правления Англии, Пакистан встал на путь самостоятельного развития. В этом своем поступательном движении молодую азиатскую страну ждали тяжелейшие испытания, с которыми, как правило, сталкиваются чуть ли не все новые государства, возникшие на развалинах колониальных империй. Пакистан обратил на себя внимание целым комплексом неразрешенных проблем — и внешнеполитических и внутренних.

А время не ждет. Население увеличивается. Всем нужен кусок хлеба. В провинциальных населенных пунктах встречаешь нанкаров — тех несчастных людей, которые рады ухватиться за любую работу за один прокорм. Даже мелкие монеты редко попадают в карманы подобных батраков. Неустроенность сельской жизни порождает отлив населения из провинции в города, где эта деревенская прослойка не нужна, не может быть обеспечена работой и обрекается на положение люмпена — на несколько социальных ступенек ниже обычного, городского, сформировавшегося раньше и более приспособившегося к обстановке. Можно представить, какова жизнь крестьянина у помещика, если он очертя голову бросает родные места и становится вольным или невольным обитателем городских трущоб!

Как-то я побывал в Бахавалпуре, небольшом городке в среднем течении Инда. Длительное время он был центром независимого княжества, а всеми делами вершила наваб Бахавалпура, или набоб, лицо, олицетворяющее и типично азиатскую роскошь и ни с кем не разделяемую власть. Все свое: круг избранных, приближенных, составлявших нечто вроде консультативного совета при владыке, свои земли, войско, свои законы и даже свои поэты, музыканты, танцоры. Свой придворный фимиам: многочисленная челядь явно переусердствовала в восхвалении достоинств бахавалпурского наваба, сравнивая его со светилом..

Несколько лет назад княжество как самостоятельная административная единица было ликвидировано. А земельные владения, составляющие десятки тысяч гектаров, остались за навабом. И это не единичный случай! В двух провинциях из четырех вся жизнь держится на системе сардари: мы имеем в виду Белуджистан и Северо-Западную пограничную. Это даже не классическое «государство в государстве», а множество «государств» в едином Пакистане, которым нет никакого дела до того, что происходит в Исламабаде.

Административным центром Белуджистана является Кветта — настоящая сардария. Именно здесь было объявлено о ликвидации системы сардари. Указ бывшего, гражданского, президента Пакистана возвестил об отмене всех привилегий, которыми пользовались сардари. «Наихудший пережиток эпохи феодального гнета», как называли эту хитросплетенную, укоренившуюся систему пакистанские газеты, был наконец объявлен незаконным и подлежащим ликвидации. Началось освобождение людей, заключенных сардарами в свои тюрьмы.

Все это происходило весной 1976 года. И тогда нам, иностранным наблюдателям, представлялось, что величайшая из реформ будет осуществлена. Общественное мнение было настроено против засилья сардаров. Губернатор провинции Белуджистан Акбар Хан Бугти, крупнейший земельный собственник, подал в отставку. Бизенджо, его предшественник, находился под арестом. Обоих обвинили в деспотизме. Генерал Мохаммед Акбар Хан, вновь назначенный глава военных властей в Кветте, поспешил заявить, что в провинции «больше нет никаких проблем».

А они были, перерастая из сложных в сложнейшие. Восстание полукочевых племен началось еще в 1973 году. Повстанцы наносили чувствительные удары по правительственным войскам и уходили в горы. Вожди племен мари и мангал были схвачены и обезврежены. В октябре 1974 года правительство опубликовало «Белую книгу» о положении в Белуджистане. Приведя данные о потерях в живой силе и технике, «Белая книга» утверждала, что мятеж в Белуджистане потерпел поражение. Во всех ключевых местах провинции стояли регулярные части армии. Руководители Пакистана приносили публичные клятвы на Коране, что помилуют повстанцев, если они добровольно откажутся от дальнейшего сопротивления, сложат оружие. Несколько сот человек приняли это условие и вернулись к мирным занятиям.

Белуджистан же был и остается мятежным. Эта обширная провинция с населением всего полтора миллиона человек занимает важное стратегическое положение, гранича с Ираном и Афганистаном. Внутренний пакистанский вопрос перерастает границы одной страны. Белуджи раздроблены, разбросаны: в Иране их более 600 тысяч, в Афганистане — более полумиллиона. Выходит, что за пределами Пакистана проживает немногим меньше белуджей, чем в самом Белуджистане! На «защиту» и покровительство белуджей появлялось и теперь появляется немало охотников за пределами Пакистана. Бывший шах Ирана в интервью с дипломатическим обозревателем газеты «Нью-Йорк таймс» дал понять, что в случае чего Иран вынужден будет занять Белуджистан.

Здесь мы сталкиваемся с болезненной для Пакистана угрозой дальнейшего расчленения страны. Дело же, как представляется, в отсутствии отработанной и одобренной народом системы взаимоотношений между федеральным правительством и провинциальными властями. Сложнейший вопрос управления страной, населенной многими национальностями: степень присутствия центра в провинции — и наоборот, учет специфики каждой национальности, каждого племени. То, что одной только силой, пусть и внушительной, одними грозными приказами из столицы этот вопрос не разрешить, показала ситуация в Белуджистане. Военная администрация, восстановив все прежние права сардаров, ничего не сделала для урегулирования положения в Белуджистане: просто старая болезнь загнана внутрь. Говорю об этом потому, что взаимоотношения между сардарами и власть предержащими не исчерпывают все силы, которые должны и несомненно будут решать внутренние дела в Белуджистане. Эта удобная линия «сардар — власти» полностью игнорирует демократическое движение в провинции, направленное на ликвидацию сардаризма на принципиально иных условиях. Если раньше центральное правительство меняло неугодных сардаров на более покладистых, то решительно настроенные демократы Белуджистана выступают за создание системы правления, которая бы представляла все слои белуджистанского общества.

Действительность Пакистана убеждает в том, что центральные власти не успели

еще навести порядок в собственном доме, не вовлекли все народности в общенациональный процесс создания единого и прочного государства. В бывших гималайских княжествах Гилгит, Хазара, Мари и Сват, вошедших в состав Пакистана, сильны сепаратистские тенденции, как и в районах Читрал, Амб и Дир. Даже в пакистанской конституции сохранилось деление на «районы расселения племен, управляемых федерацией», то есть центральными властями, и «районы расселения племен, управляемых провинциями», то есть местными органами. Верховный и Высокий суды, говорится в конституции, не имеют юрисдикции над районами расселения племен, за исключением тех районов, на которые распространилась их юрисдикция до вступления в силу конституции.

Бесконечно переплетение международных и внутренних проблем — их предостаточно, а жизнь подбрасывает все новые и не менее легкие. В экономическом и финансовом отношении Пакистан зависит от Запада, а это значит, что он разделяет все потрясения буржуазного мира. Ничто не обходит стороной эту азиатскую золушку: инфляция, рост безработицы и, естественно, энергетический кризис.

В пакистанском бюджете расходы на импорт горючего составляют солидную сумму: за последние годы они возросли в несколько раз и в настоящее время перевалили за 3 миллиарда рупий. Цены на нефть и нефтепродукты непрерывно идут вверх, создавая дополнительные трудности. А интересы развивающейся страны требуют все больше и больше различного горючего. Надо учесть и то обстоятельство, что значительная часть сельского населения использует для освещения керосин, а с ним перебои...

И в этом мы сталкиваемся с вопросом мусульманская религия и... нефть! Вот как она выглядит в пакистанской пропаганде. Статьи, посвященные экономическим вопросам, положению на международном топливном рынке, последовательно и довольно настойчиво придерживаются мысли о том, что нефтедобывающие страны, особенно мусульманские, должны четко различать своих потребителей по религиозным признакам, установив разные цены для единоверцев и неверных, то есть западных клиентов.

С этой, правда узенькой, точки зрения, все обстоит вроде бы логично: сбрось пару-тройку долларов за баррель, когда его берет свой брат, к тому же находящийся в тяжелых финансовых условиях, а надбавку сделай западному бизнесмену, которому легче перенести любое новое повышение цен. Но такая религиозная агитация ни к чему конкретному не приводит. Страны, в том числе и дружественные, не внемлют пакистанскому гласу, и советливыми доводами их урезонить невозможно: Пакистан расплачивается за горючее по единым международным ценам. Богатые, так называемые нефтедолларовые страны ссужают Пакистану займы, и он все больше и больше влезает в долги, а вот на горючее одинаковость цен сохраняется.

Не менее остро стоит вопрос об эмиграции. Журнал «Геральд», издающийся в Карачи, ссылаясь на официальные данные, сообщил, что в 73 государствах мира работает около 700 тысяч пакистанских специалистов и рабочих, которые выехали для трудоустройства с разрешения пакистанских властей. В действительности, отмечал журнал, число пакистанцев, выезжающих в другие страны и оседающих там, значительно больше указанного: в стране существует нелегальная сеть вербовочных бюро и контор. В одной Англии проживает свыше 350 тысяч пакистанцев. Лахорский еженедельник «Вьюпойнт» писал, что полтора миллиона пакистанцев используются за границей на наиболее трудоемких, опасных и низкооплачиваемых работах. Основной поток пакистанской рабочей силы устремляется в ближневосточные и североафриканские мусульманские государства.

Большой отток трудовых ресурсов из страны вызван низким жизненным уровнем населения. Завербованный рабочий, оставив в Пакистане нищенствующую семью, тешит себя надеждой, что поправит ее положением высылкой иностранной валюты. Иногда такие расчеты оправдываются, разочарованные тоже не возвращаются обратно к родным пенатам, а перебираются в другие страны. Почему же военные власти идут на это?

Давая согласие на официальный или неофициальный выезд, правительство рассчитывает тем самым сбить волну безработицы. С другой стороны, поступлениями иностранной валюты Пакистан пополняет казну. Рабочие посылают своим семьям твердую европейскую или американскую валюту. Банки оставляют эту выручку у себя, выплачивая семьям местные, изрядно обесцененные рупии. Ежегодные поступления

ния от эмигрантов составляют сотни миллионов долларов. Важная статья дохода. Валюта, переведенная в Пакистан из различных районов мира, составляет главный источник накопления и выражается суммой почти в два миллиарда американских долларов! Чтобы представить размер этой сознательной и целенаправленной эксплуатации собственных граждан, попавших под двойной гнет — зарубежный и отечественный, отметим, что поступления иностранной валюты от «заморских» пакистанцев превышают половину стоимости всего пакистанского экспорта.

Как и во многих других сферах, в делах вербовки не обходится без взяточничества и махинаций. Изготавливаются фальшивые паспорта, за определенную мзду подделываются визы. Рабочий, еще не выехав за пределы своей страны, влезает в долги.

Пакистан отличается еще одной особенностью: молодостью, цепкостью и ненасытностью национальной буржуазии. До провозглашения независимости на территории, ставшей Пакистаном, все банковские и промышленно-экономические операции производились либо англичанами, либо индийцами. После образования Пакистана англичане в своей основной массе покинули страну, а индусы были переселены в Индию, так же как многие индийские мусульмане переехали на свою новую родину. В финансах, торговле, промышленности и крупном землевладении образовался временный вакуум, который и стал заполняться разного рода нуворишами. Новое государство, объявившее частную собственность священной и неприкосновенной, нуждалось в своей национальной буржуазии. Всячески поощрялось накопительство, бизнес любого толка. Ловкие и дальновидные дельцы пошли в гору. Их преимущество состояло в том, что они не имели серьезных опытных конкурентов: дорога к процветанию была открыта. Внутренний рынок, почти избавившись от английских и индийских товаров, с жадностью поглощал продукцию местных производителей, которая уступала по качеству привозным, но зато являлась своей, чем и гордились пакистанские власти. «Покупай только пакистанское!» — эти призывы и на щитах перед городскими магазинами и на страницах газет.

Это было по-своему уникальное явление. Богатели быстро. Все, кто располагал денежными накоплениями, ринулись в бизнес. Домами, сдаваемыми в аренду, магазинами, торгующими серебром, золотом и камнями, земельными участками обзаводились преподаватели университетов и колледжей, врачи, помещики и военные. Все высшее офицерство пакистанской армии держится на дрожжах частной собственности. Как правило, генерал является владельцем большого земельного участка. Идеал военнослужащих — иметь свой магазин, свой гараж, мастерскую, свою землю, свои дома.

Мне пришлось наблюдать за жизнью семьи пакистанского военного, не специально, конечно, а в силу сложившихся обстоятельств: просто мы на какое-то время оказались соседями, а наши участки разделял невысокий каменный забор.

Я жил на самой окраине Исламабада: за моим и генеральским домиками начинался пустырь, переходящий в крестьянские поля. На этом пустыре и развернул свою деятельность военный. Он скупал участок за участком — так, впрок, отлично понимая, что земля становится дороже и дороже. Приобретенное застольялось, обносилось колючей проволокой. Все это делали солдаты, приезжавшие на грузовых автомашинах. Ночами меня нередко будил совсем близкий рокот моторов: солдаты сгружали мешки с цементом, кирпичи, проволоку, доски, бревна, щебенку. Оказалось, что генерал решил построить еще один особняк, чтобы сдавать его в аренду. Ранним утром появлялись солдаты и принимались за рытье котлованов под фундамент. За какие-то три летних месяца, наилучших для строительства, перед моим жилищем выросло превосходное здание.

Вскоре на воротах появилась дощечка с объявлением: «Сдается в аренду». Через несколько дней в особняке поселился представитель Организации Объединенных Наций. Сосед-генерал приступил к строительству нового дома. Потом я узнал, что старший его сын — владелец гостиницы и нескольких домов в Пешаваре. Жена генерала занимается торговлей тканями и обувью в Равалпинди. Брат военного — известный помещик в Пенджабе, участвует в политической жизни провинции...

Такова типичная картина жизни пакистанского военнослужащего соответствующего ранга. Младшие по званию во всем подражают своим командирам: рано или поздно они тоже получают повышение по службе, тоже обрстут недвижимой и движимой собственностью. Выйдя в отставку, пакистанские военные занимаются биз-

несом.

Пакистанское общество — одно из самых частнособственнических в мире. Нет

ни законодательного, ни морального ограничения на предпринимательство. Генерал, сдающий в аренду сомнительным путем построенные дома, его супруга, владеющая магазинами, оборотистый сынок — все это нормально, и это не только не мешает карьере военного, а, наоборот, способствует его преуспеванию. Преподаватель колледжа с лекций направляется в собственный магазин, который торгует свежими овощами, курами и фруктами, щетками всех родов, кока-колой и жвачкой. Он сам становится за прилавок и любезно обслуживает посетителей, в том числе и своих студентов. Врач наживается не только на плате за прием больного, за консультации, но и на перепродаже импортных лекарств. Командир пехотного батальона снабжает велосипедами младших офицеров; нигде больше они и купить не решатся — тогда обидится их непосредственный начальник.

Коррупция, кумовство, подкуп в Пакистане встречаются на каждом шагу. Наглость и бессовестность оправдываются выручкой, продвижением в среду людей состоятельных. Ну, а допущенные грехи легко замалывать: богатые устраивают бесплатные обеды для сотен нищих и обездоленных. Плотнo поев, все они восхваляют их добродетели...

Есть в Пакистане пословица: «Подаяние нуждающемуся смывает грех». Вот так и соткана жизнь пакистанского делового человека из смывания и наживания грехов. Он столько потратил сил, чтобы взмыть над ординарным жителем и обзавестись капиталом, что все разглагольствования о социальном равенстве совершенно не воспринимает. Вот почему пакистанская национальная буржуазия ликовала, когда было разогнано правительство Бхутто и в руль правления вцепилась военная хунта. Состоятельные люди не тревожили себя вопросами: законно и оправдано все, что направлено на сохранение их интересов. К тому же военные обладают не только мечом, но и золотом. Пакистанские военные — наиболее влиятельная часть буржуазии. В этом состоит классовая сущность военного режима, который поставил страну перед новыми испытаниями, в том числе и в области внешнеполитической.

Военная администрация дала «вмонтировать» себя в «дугу нестабильности», как на Западе называют обширный регион от Каира до Карачи. Последствия «втягивания» Исламабада в орбиту американской зависимости сказались на отношениях пакистанского режима с его соседями, и в первую очередь с Афганистаном. С благословения и помощью Вашингтона прилегающие к афганской территории районы Пакистана покрылись густой сетью подрывных антиафганских центров, спецлагерей. Именно отсюда совершаются разбойничьи набеги в ДРА контрреволюционных банд, обучаемых и щедро оснащаемых американскими и другими инструкторами-«наставниками». Так Пакистан оказался на одной стороне с теми, кто вознамерился силой, вооруженным вмешательством во внутренние дела лишить народ Афганистана его революционных завоеваний. По существу, мы имеем дело с вопиющим нарушением международного права: соседнее государство не должно укрывать у себя, а тем более поддерживать преступные элементы из соседней страны. И пусть не обольщаются лидеры Пакистана тем, что афганских басмачей радушно принимают в Вашингтоне, что сам американский президент обращается к ним с посланием, позорным и насквозь фальшивым: все спорные вопросы между Афганистаном и Пакистаном могут быть решены, конечно же, не в Белом доме, а за столом переговоров в одной из азиатских столиц.

Стратеги Пентагона с поразительной поспешностью, беспринципностью и вероломством ринулись к Пакистану, ища в нем замену шахского Ирана. А ведь еще в 1979 году в Пакистане прокатились массовые антиамериканские выступления, в Исламабаде было сожжено здание посольства США. В американской прессе дебатировался вопрос о наказании Пакистана. Как вдруг... Пакистану были прощены «прошлые недоразумения», а военный режим стал объектом повышенного внимания со стороны высокопоставленных персон из американской администрации. Знатные визитеры вроде Бжезинского так и лезли в пакистанскую Северо-Западную пограничную провинцию, где свили гнездо афганские контрреволюционеры.

Действия США обострили всю обстановку в Южной и Юго-Западной Азии. К чему это приводит, подтверждают факты последнего времени. Генералы-теоретики из Исламабада заговорили о «необходимости выравнивания баланса сил на субконтиненте». Как это похоже на стратегию НАТО о «довооружении» в Европе!

Пакистан принимает военную помощь с Запада. Судя по авторитетным источникам, он располагает технологией по производству ядерного топлива из природного урана. Мечта пакистанских военных — во что бы то ни стало обзавестись секретом

изготовления собственного ракетно-ядерного оружия. Пакистан тратит, как сообщали газеты, более 53 процентов общих расходов «на оборону и поддержание законности и порядка».

В настоящее время почти полумиллионная армия Пакистана реорганизуется, то есть она возрастет за счет провинциальных ополчений и народной милиции. По Каракорумской дороге, имеющей исключительно военно-стратегическое значение, снуют иностранные советники, доставляется вооружение. Военные Пакистана призывают население быть готовым к «отражению внешней агрессии», к защите «мусульманского отечества»....

Между тем то, что в Пакистане причисляют к «национальным катастрофам», имея в виду поражения в военных конфликтах с Индией и отделение Бангладеш, было подготовлено близорукой политикой военных правителей, их спекулятивным противопоставлением своей страны другим государствам Азии, упованием на помощь из-за океана. И нынешний альянс Пакистан — США складывается не на почве каких-то естественных интересов, подсказанных самим ходом исторического развития этих стран. Один политический деятель США выразился так: «Исключите Пакистан, и вы не найдете ни пяди земли от Турции до Вьетнама, где Америка могла бы пользоваться влиянием». А влиятельный американский журнал «Ньюсуик» некоторое время тому назад задавался вопросом: «Насколько надежен Зия-уль-Хак?»

В этих высказываниях так и проглядывает двойственность официального американского взгляда на Пакистан: с одной стороны, Пакистан понадобился не столько всей Америке, сколько Пентагону в качестве ни более ни менее как «прифронтового государства» в пресловутом «крестовом походе» против Советского Союза и стран социализма, как фактор раздоров и конфронтации в Азии. Несомненно, что стратеги Пентагона исходят и из того, что Пакистан имеет выход в Индийский океан и располагает портами, от которых, что называется, рукой подать и до Персидского залива и до Индии. Таким образом, «стратегическая дуга» американских интересов, проходящая по странам Ближнего Востока, заменяет и восполняет выпавшее «иранское звено» Пакистаном.

С другой, довольно скептической и на сей раз более реалистической точки зрения, возникает вопрос о степени надежности так внезапно обретенного союзника. Конъюнктура, следует признать, все же дает кое-какие дивиденды военному правлению: продажность оплачивается на временной и мутной волне внешней политики, но в результате подачек внутреннее экономическое состояние Пакистана все больше зависит от иностранных источников.

Американская дирижерская палочка, ставшая благосклонной к Пакистану, может, как показывают факты, заставить раскошелиться Консорциум помощи Пакистану, Международный валютный фонд, Азиатский банк развития и другие международные финансовые органы, подключить к помощи Японию, а также некоторые западные страны, но все это не может служить экономической стратегией на длительный срок. Займы «покупным странам» кончаются, когда они становятся действительно независимыми или же когда они перестают быть объектом особых интересов США в их великодержавной политике с претензией на управление всеми мировыми процессами.

В настоящее время в Пакистане запрещены все политические партии, и разница состоит лишь в том, что сторонников одной посажено под арест значительно больше, чем другой. И все же оппозиционные силы сумели создать Движение за установление демократии, которое требует немедленного возврата к конституции 1973 года, уважения законных прав народа, проведения всеобщих демократических выборов, отмены драконовых, карательных законов военного времени, текст которых изобилует выражениями: запретить, распустить, не допускать, предупредить, строго наказать и т. д. и т. п. И в этой стране, где придавлено все живое и прогрессивное, находятся лагерь «борцов за свободу» — контрреволюционного отребья из Афганистана!

И как уже бывало в прошлом, за амбиции военных расплачивается пакистанский народ. Гонка вооружений стоит денег — и налоги растут, как и цены на промышленные и продовольственные товары. Бесшабашное стремление догнать Индию то в танках, то в авиации, то по числу военных кораблей приводит к астрономическим расходам на военные нужды, которые ложатся тяжелым бременем на население. В выколачивании средств на военные цели Исламабад не брезгует ничем. Видимо, не

без основания некоторые зарубежные газеты сообщали о том, что пакистанские власти присваивают часть выручки от нелегальной торговли наркотическими средствами. В этом деле пакистанский союзник оказывает Вашингтону поистине медвежью услугу: четыре пятых всего героина, переправляемого в США, поступает из «дружественного» Пакистана...

И все же есть основания говорить об оппозиции режиму Пакистана. Так, более тысячи пакистанских юристов единодушно приняли резолюцию с требованием немедленной отмены военного положения и восстановления демократических институтов. В неимоверно тяжелых условиях действуют запрещенные политические партии, в том числе и религиозного толка. На смену арестованным, без суда и следствия брошенным в застенки, приходят новые лидеры. Не прекращаются студенческие волнения. Повсеместно бастуют учителя.

Особенно сильно карательная машина военного режима наносит удары по интеллигенции. Жалкий вид приобрели пакистанские газеты: все они, правда довольно уныло и крайне однообразно, перечисляют «достижения» военного режима, курят фирмам одному и тому же лицу.

Исламабадская газета «Муслим» избрала для себя довольно оригинальный девиз, с которым и выходит: «Пресса и нация вместе возвышаются и гибнут». Ну, это когда как, позволим заметить. Все же представляется, что категоричность этого выспренного выражения уже изрядно поколеблена всем ходом событий в Пакистане, плачевным состоянием прессы в целом и газеты «Муслим» в частности. Бесспорно то, что военному режиму по силам скрутить журналистику в бараний рог, заставить прессу дудеть под свою дудку, а вот с нацией, с пакистанским народом дело обстоит гораздо сложнее.

В августе месяце этого года Пакистан отметит 36-летие своего суверенитета и одновременно своего выхода из состава уже не Британской, а независимой Индии. За этот срок на гражданское правление падает лишь десять лет. На этом фоне строглись и развивались советско-пакистанские связи. При анализе их бросается в глаза один весьма существенный фактор: ухудшение отношений между нашими странами неизменно наступало с приходом к власти в Исламабаде военных. Точно такая же закономерность просматривается и в индо-пакистанских отношениях. Напряженность, связанная с авантюризмом и ориентацией военных на Соединенные Штаты и другие западные державы исключительно в военных целях, в какой-то мере всегда снималась с установлением гражданского правления. Наиболее наглядным примером служит соглашение в Симле, подписанное в июле 1972 года сразу же после падения военной диктатуры в Исламабаде между Индией и Пакистаном, в котором обе страны заявили о своей готовности положить конец конфликтам и способствовать развитию дружественных, гармонических отношений, установлению прочного мира на субконтиненте. Выход на арену военных в Исламабаде снова затормозил начавшийся процесс нормализации. Индия не может не видеть прямую угрозу своим национальным интересам в бурно растущей милитаризации Пакистана, выделения Исламабаду 3,2 миллиарда американских долларов в основном на военные цели. «Каждый раз,— заявила премьер-министр Индии Индира Ганди,— когда США поставляли оружие Пакистану, он применял его против нас».

В совместном советско-пакистанском коммюнике, подписанном в Москве в октябре 1974 года, обе стороны выразили надежду, что все нерешенные вопросы между Индией и Пакистаном будут урегулированы в интересах прочного мира в этом регионе, во всей Южной Азии. Советский Союз всегда исходил из того, что коренным национальным интересам пакистанского народа более всего способствует политика добрососедства, а не конфронтации со своими непосредственными соседями. Нарочитое, конъюнктурное отключение от такого миролюбивого курса неизменно приводило Пакистан и к внутренним и к международным осложнениям.

Для Советского Союза небезразлично, какие события происходят в Пакистане, во что они выливаются и какое влияние оказывают на положение и в Азии и в мире. С самого начала существования независимого Пакистана наша страна прилагала усилия, направленные на установление равноправных и добрососедских отношений. Были свои трудности, даже критические моменты, но взятый реалистический курс оставался неизменным в межгосударственных отношениях. Советский Союз и Пакистан накопили, например, значительный опыт в торговле. Были годы, когда Пакистан по-

ставлял Советскому Союзу свыше 60 процентов готовых изделий, предназначенных на экспорт. Торговля велась на сбалансированной основе путем взаимных поставок товаров. Советские станки, тракторы «Беларусь», оборудование и материалы для разведки нефти и газа, телевизоры, стальные заготовки, медикаменты пользовались в Пакистане большим спросом.

При техническом содействии и финансовой помощи Советского Союза в Пипри Нала (окрестности Карачи) сооружен металлургический завод — первенец пакистанской индустрии. Немало полезных и взаимовыгодных контактов было установлено в области науки и культуры.

Бесспорно, нынешний внешнеполитический курс Исламабада в серьезной степени осложняет советско-пакистанские отношения, наносит ущерб деловому сотрудничеству, выгодному народам наших стран. Надо со всей определенностью сказать, что оздоровление этих отношений зависит от характера и направленности дальнейших практических шагов Исламабада по пути установления дружбы и сотрудничества со всеми странами субконтинента и в первую очередь со своими соседями.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

УРАН ГУРАЛЬНИК,
доктор филологических наук



КЛАССИКА НАША, СОВЕТСКАЯ

Последнее время богато литературными юбилеями. Причем я имею в виду не только памятные даты, связанные с жизнью и творчеством выдающихся писателей дооктябрьской эпохи. Все чаще и чаще мы всенародно празднуем юбилей классиков советской литературы, ее основоположников и первопроходцев. Так, в сентябре прошлого года общественность торжественно отмечала девяностолетие со дня появления в газете «Кавказ» рассказа «Макар Чудра», подписанного псевдонимом Максим Горький. Щедр на литературные юбилеи и нынешний год: сто двадцать лет тому назад родился А. Серафимович, сто лет назад — А. Толстой, Д. Бедный, Ф. Гладков, девяносто — В. Маяковский..

Даты эти напоминают о целой эпохе литературы, рожденной Октябрем. У нее сложились свои традиции. Накоплен огромный опыт, который надо по-хозяйски беречь, умело пропагандировать, творчески умножать.

Сочинения классиков живут живой жизнью в памяти народа. Уходя своими корнями в историю и становясь частью истории, творческое наследие больших художников слова продолжает активное существование в наши дни — их идеи и образы воздействуют на формирование подрастающих поколений, оказывают благотворное воздействие на духовно-нравственный климат общества.

И празднование литературного юбилея — не только дань признательности и уважения, не только повод сказать высокие слова в адрес классика. По сложившейся у нас доброй традиции юбилей, как правило, стимулирует новые исследовательские поиски, мобилизует литературную науку и критику на более глубокое и многогранное осмысление творчества большого писателя. В свете актуальных задач и насущных потребностей современного

этапа социального развития по-новому осознаются уроки, преподанные юбилеем.

Как тут не вспомнить Маяковского, настаивавшего на том, что «для нас юбилей — ремонт в пути, постоял — и дальше гуди». С высоты сегодняшнего дня, в условиях общества развитого социализма, когда перед деятелями художественной культуры встают задачи особо высокой сложности, представляется возможным и необходимым более точно, нежели раньше, судить об истинных масштабах и подлинной ценности каждого литературного явления, его идейно-эстетическом своеобразии, судить о том, что в нем неизбежно отмирает, а чему предстоит бесконечное будущее.

Тот же Маяковский более полувека назад указывал на серьезную опасность, с которой мы и по сей час сталкиваемся, интерпретируя наследие классиков, особенно в торжественные юбилейные дни. Возмущенный тем, что на Пушкина «навели хрестоматийный глянец», он подчеркивал, что любит великого поэта, «но живого, а не мумию».

Положа руку на сердце признаемся, что и по сей день не редки «мумизации» классической литературы, дореволюционной и советской. Достаточно полистать некоторые ученые монографии, школьные учебники, вузовские пособия. И недаром Даниил Гранин, выступая в Тбилиси на конференции, созванной в связи с горьковским юбилеем, с горечью говорил о том, как много теряет классик, когда он захрестоматизирован..

Это проблемы, представляющие отнюдь не только академический интерес. Нередко встречаешь литераторов, особенно из числа молодых, которые весьма приблизительно знают историю советской литературы довоенных лет, имеют смутное пред-

ставление о творчестве своих предшественников, об их художественных открытиях. Есть такие и среди критиков, в работах которых сталкиваешься с высокомерным, чтобы не сказать с откровенным пренебрежением к наследию советской классики, к ее завоеваниям. Чего стоит в этом смысле уже подвергшаяся справедливой критике статья М. Лобанова «Освобождение» в журнале «Волга» (1982, № 10).

Авторы иных широковещательных, мнимоаналитических историко-литературныхopusов, рассуждая о литературном процессе наших дней, его тенденциях и перспективах, сплехом и рядом забывают о накопленных за десятилетия (и какие десятилетия!) духовных сокровищах. А посему то и дело открывают давно открытое. Поднимая фундаментальнейший теоретико-литературный вопрос о положительном герое в искусстве социалистического реализма, его характере, будничных делах и устремлениях, развертывая очередные многоголосые дискуссии о его эстетическом идеале, о народности, мы должны быть вооружены всей мудростью прошлого. Чтобы не начинать с нулевого цикла, чтобы обсуждения, дискуссии, «круглые столы» не закатывались ничейным счетом, а проблемы, поднятые в ходе длительных прений, не повисали в воздухе.

«Литературная газета» права, когда в статье «Бытие как деяние» напоминает: выдвигающийся сегодня на первый план разговор о положительном герое советского искусства, о пафосе социального оптимизма, присущем литературе социалистического реализма, имеет свои давние и глубокие традиции, поскольку и эти вопросы не раз поднимались на писательских съездах и пленумах, становились предметом принципиального обсуждения на страницах литературной печати. Но, пожалуй, еще важнее, добавим мы, что нашей литературой, в первую очередь ее классиками, накоплен бесценный практический опыт в решении этих сложнейших идейно-художественных задач! Наши классики в своих романах и повестях, поэмах и пьесах показали, что есть красота человеческая, в чем именно проявляются лучшие черты советского человека.

Заботясь о дальнейшем укреплении связи литературы и искусства с жизнью народа, с практикой коммунистического строительства, мы не можем не испытывать тревоги по поводу чрезмерной погруженности иных сочинений в бытовщину, их ограниченности мелкотравчатой проблематикой. Мировоззренческая узость авторов

подобных произведений неминуемо предопределяет их уход от главных социальных задач современности. И школа классиков — одно из действительных противоядий от болезней подобного толка!

Органическая, кровная связь с жизнью народа, с его героической созидательной деятельностью, боевой наступательный дух, бескомпромиссность в отношении ко всему, что тормозит движение вперед, чуткость к росткам нового в обществе и в душе человека, исторический оптимизм — качества, изначально присущие советской литературной классике: от Горького до Фадеева, от Алексея Толстого до Федина, от Серафимовича до Шолохова... Именно эти качества и определили мировое значение нашей литературы, ее роль в художественном развитии человечества. Об этом, отдавая ей дань уважения и признательности, говорили крупнейшие мастера «искусства живописания словом» XX века.

Так Генрих Манн, например, писал о Горьком — но слова эти характеризуют и советскую литературную классику в целом: «Горький расширил область литературного творчества, открыл новые пути и перспективы для мировой литературы. Он дал новые темы и нового читателя». Советская литература, утверждал Анри Барбюс, воплотила «новый тип — тип подлинного революционера, который своим умом, своими руками героически совершил революцию и теперь с еще большим героизмом отстаивает ее завоевания». Широтой социальных обобщений, психологической правдой характеров, запечатленных в классических произведениях советской литературы, восхищались Шоу и Роллан, Драйзер и Лу Синь, Нексе и Фейхтвангер.

Надо ли удивляться тому, с каким радушием у нас встречают каждое новое серьезное сочинение — о жизни и творчестве советских писателей из поколения первооткрывателей. О Горьком и Маяковском, Д. Бедном и Фурманове, Фадееве и Шолохове, Федине и Макаренко, Катаеве и Эренбурге, Тихонове и Твардовском, Леонове и Погодине написано немало содержательных книг. Лучшие из них по заслугам оценены взыскательным читателем. Однако время идет, и не все ранее выдвинутые концепции выдерживают его испытание. Обнаруживаются новые материалы. А главное — исторический опыт народа вносит коррективы в понимание определенных явлений художественной культуры первых пооктябрьских десятилетий, побуждает к более точной и взвешенной рас-

становке акцентов. Меняются представления о масштабах явлений. С другой стороны, самый опыт классиков литературы зачастую открывается своими неожиданными гранями.

С этой точки зрения небезынтересно взглянуть на недавние книги, посвященные корифеям русской советской литературы. Я имею в виду жизнеописание Александра Серафимовича, составляющее большую часть книги Виктора Чалмаева в серии биографий «Жизнь замечательных людей»¹, и вошедшую в том «Избранного» Б. Брайниной работу «Талант и труд» — критическое раздумья о Ф. Гладкове². Обе вышли в канун славных дат, связанных с именами, за которыми знаменитый «Железный поток», не менее знаменитый «Цемент».

О Серафимовиче за прошедшие десятилетия (преимущественно в 50-е годы) вышло несколько солидных монографий: А. Волкова, Г. Гая, Г. Гладковской, А. Поляк, Р. Хигерович, а также сборник академических исследований. Том воспоминаний современников Серафимовича увидел свет в 1977 году. Опираясь на своих предшественников, В. Чалмаев написал хорошее, во многом оригинальное биографическое повествование. Современность этого издания сказывается прежде всего в объективности оценок и, что не менее важно, в стремлении рассмотреть жизнь и творчество писателя в четко обозначенном социально-историческом и историко-литературном контексте. Стиль изложения привлекает своей свободой, раскованностью. Через всю книгу проходит лейтмотивом мысль, выраженная Михаилом Шолоховым в известной статье «Писатель-большевик»: «Какая подкупающая, мужественная старость у этого человека!.. Мы знаем и ценим Серафимовича как одного из тех писателей-большевиков старшего поколения, которые сумели пронести сквозь тьму реакции всю чистоту и ясность своей веры»...

Конечно, отдельные конкретные суждения автора книги можно и оспорить. Если бы мы писали рецензию на работу В. Чалмаева, то обязательно наряду с ее достоинствами указали бы на очевидные недостатки, особенно заметные в последних главах, посвященных жизни и творчеству Серафимовича в советскую эпоху.

Да, конечно, А. Серафимович вступил в литературу задолго до революции — его

первый рассказ «На льдине» появился в далеком 1888 году. Октябрь он встретил маститым писателем с определенной репутацией в демократических кругах, имея за плечами несколько томов рассказов и очерков, известный роман «Город в степи». Автор жизнеописания подробно и неторопливо, мы бы сказали со вкусом, повествует об этих десятилетиях. Однако стоит напомнить признание самого Серафимовича: «Я пришел в Октябрьскую революцию после полувека жизни, но счет своим годам веду с ее начала». Большим писателем он становится именно в советскую эпоху, свою «главную книгу» он написал после революции.

О послеоктябрьском периоде жизни и деятельности А. Серафимовича автор биографической книги написал с хорошим знанием и времени, и литературы. Однако здесь не всегда достаёт основательности, местами В. Чалмаев как бы переходит на скороговорку. Точно охарактеризован РАПП и его «идеологи», раскрывается роль Серафимовича в борьбе против плоского, антиисторического понимания задач и целей литературы в эпоху строительства социализма. Тем не менее автор, как представляется на отдельных страницах, уделяет чрезмерное внимание гримасам внутри литературной жизни тех лет и именам, давно и прочно забытым. Зато глава «Бессмертный эпос революции» — о «Железном потоке», книге, составившей эпоху в истории литературы, — глава, в принципе верная и не без таланта написанная, все-таки производит впечатление беглого экскурса: собственно самому роману, его проблематике, его поэтическому строю уделено недостаточно пристальное внимание. А жаль!

Скупое использован и материал, позволяющий судить об эстетическом кодексе Серафимовича, его художественных привязанностях, симпатиях и антипатиях. Впрочем, по-видимому, жанр сочинения диктовал непреложные требования. И все же думаешь: когда мы сегодня обращаемся к советской классике, одним из видных представителей которой является Серафимович, следует более охотно и решительно привлекать суждения признанных мастеров искусства социалистического реализма для объяснения основных закономерностей развития нашей литературы, ее неизменно острых проблем.

Что же касается «Железного потока», этого героического эпоса революции, то и сегодня сохраняет свою непреходящую актуальность его идейно-нравственная пробле-

¹ В. Чалмаев. Серафимович. Неверов. М. «Молодая гвардия». 1982.

² Б. Брайнина. Избранное. М. «Художественная литература». 1982.

матика, нашедшая свое отражение во всей структуре романа, его композиции, образном строе. Роман поражает прежде всего своей эпической масштабностью: автор сознательно ставил перед собой задачу как можно шире захватить историческую реальность. Далее. Через весь роман проходит красной нитью, подчиняя себе всю образную систему «Железного потока», противопоставление стихийному началу (романтизированному во многих книгах о гражданской войне, например, в «России, кровью умытой» Артема Веселого) — поэзии осознанного героизма, непреклонной большевистской воли, сознательности, твердого руководства, целеустремленности действия. Эти качества писатель выше всего ценил в тех, кому история доверила возглавить движение самих масс.

Да, «Железный поток», помимо всего прочего, утверждает идею сознательной дисциплины, олицетворяющей преданность общему делу, направлен против всякого проявления необузданной стихии, своеволия, бесконтрольного разгула страстей.

В утверждении и поэтизации исторической сознательности народных масс и негибкой воли их авангарда — коммунистов ленинского закала — одно из выдающихся достижений искусства социалистического реализма, в том числе творчества Серафимовича, Фурманова, Гладкова, Фадеева. Советская литературная классика исходит из доверия к человеку труда, к его созидательным потенциям, веры в его творческие возможности. Это прежде всего и питает исторический оптимизм нашей литературы. Примеров, доказательств тому множество. В данном случае сошлемся опять-таки на А. Серафимовича, олицетворявшего глубинную связь традиции передовой демократической литературы дооктябрьской поры и литературы социалистического реализма. Невзирая на беспрецедентную кампанию травли и клеветы, которую обрушили на маститого писателя в первые же дни после октябрьского переворота иные вчерашние коллеги по литературному цеху, видевшие во всем одни ошибки и развал, А. Серафимович (в декабре 1917 года!) призывал обращать внимание в первую очередь на «колоссальные, невиданные до того в мире созидания народной власти».

Большие задачи поставлены перед страной XXVI съездом, ноябрьским (1982) Пленумом ЦК КПСС. Литература призвана принимать самое деятельное участие в их реализации. Критика должна более активно осваивать наши идейно-художественные богатства, подвергнуть взыскательному ана-

лизу имеющиеся еще проблемы и трудности.

Партия ведет бескомпромиссную борьбу против любых проявлений расхлябанности, недисциплинированности, благодушия во всех сферах хозяйственной и духовной жизни общества. Советская литература всегда утверждала кодекс трудовой чести, воспитывала в людях социалистические отношения к общему делу. Вместе с тем сохраняет свою силу утверждение Горького, высказанное в связи с «Цементом» Федора Гладкова, что «современность в полне требует, чтоб автор, художник, не закрывая глаз на явления отрицательные, подчеркивал — и тем самым — романтизировал» положительные явления».

Федор Гладков умел, не закрывая глаз на тяжкое и отрицательное, рассмотреть в действительности начала положительные, явления жизнеутверждающие. Это качество особенно ценил в нем Горький. «На мой взгляд, — писал он Гладкову, прочитав его роман «Цемент», — это — очень значительная, очень хорошая книга. В ней впервые за время революции крепко взята и ярко освещена наиболее значительная тема современности — труд. До Вас этой темы никто еще не коснулся с такою силой. И так умно».

Автор «Цемент» вступил в литературу на пороге XX века: в 1900 году был обнародован его первый рассказ с характерным названием — «К свету». Жизнь не баловала сына крестьянина-старообрядца. Он служил мальчиком в лавке, учеником в аптекарском магазине, был учителем начальной сельской школы в глухом Забайкалье. Затем последовали арест и ссылка за революционную деятельность. В годы гражданской войны, когда на Кубани свирепствовали белогвардейцы, Гладков находился в большевистском подполье. Добровольцем ушел в Красную Армию. Впоследствии, рассказывая о друзьях своей юности, соратниках по революционному подполью, писатель скажет: «Цельные люди, монолитные, проникнутые большой идеей. Гордое, непреклонное племя».

До революции Гладков опубликовал в провинциальной печати немало рассказов из жизни рабочего люда, крестьянской бедноты, каторжников, босяков... Но профессиональным литератором он стал и завоевал признание читателя в советское время. Советской литературе писатель-коммунист Федор Васильевич Гладков, человек неумеренной энергии, отдал сорок лет жизни.

О своем старшем современнике, создателе «Железного потока», Гладков писал:

«Александр Серафимович был для нас олицетворением лучших традиций русской литературы как беззаветного общественного служения и образцом личного поведения как человек и гражданин... Никогда в нем не было ни тени самообольщения, ни свое нравного желания показать свое величие или снисходительность как мэтра». Этим качеством отличался и сам Gladkov, до конца дней своих сохранивший «юношеское любопытство к человеку».

Впечатляющий образ писателя-гражданина, неутомимого труженика встает со страниц работы Б. Брайниной «Талант и труд». Автор «Критических раздумий о Ф. Gladkove», по собственному признанию, выступает здесь не только научным исследователем, но в какой-то мере публицистом и беллетристом. Первостепенное значение для критика, прибегающего к «синтетическому методу», имеют личные наблюдения. О документальной ценности иных живых зарисовок говорить не приходится: Б. Брайнина часто встречалась и подолгу беседовала с Gladkovым. Дополняют картину письма из архива критика.

Примечательно, что работа «Талант и труд» родилась по инициативе Константина Федина, который в начале 50-х годов посоветовал автору написать о Gladkove: «Уникальный писатель. Выходец из самых глубин народной жизни». То, что создано Б. Брайниной, представляет серьезный интерес прежде всего для осмысления объективной логики историко-литературного развития, места крупнейших художников слова, ныне признанных классиками, в этом процессе. Как известно, перу критика принадлежит выдержавшая несколько изданий и отмеченная Государственной премией СССР монография о Константине Федине. Перечитывая обе работы, думаешь о том, как же не сходны были между собой Gladkov и Федин — происхождением, жизненным опытом, эстетическими предпочтениями, художественными возможностями, писательским почерком. И как благотворно сказало на их творчестве обращение к важнейшим темам нашей истории и нашей современности. Каждый шел своим путем, преодолевал свои трудности, но шли они к одной цели. Писательство для них было святым ремеслом. Свое дело, дело всей жизни, они любили самоотверженно и самозабвенно. И в этом тоже один из заветов советской классики.

Работа о Gladkove хорошо названа: «Талант и труд». Классики умели и любили работать. Отсюда их неприязнь к тем, кто надеется на легкий успех, невзыскателен к

себе и другим. В этом смысле примечателен разговор Gladkova со студентом Литературного института (директором этого института Федор Васильевич был в 1945—1948 годах). «А зачем вам заниматься литературой? Вы ее не чувствуете и не уважаете, — выговаривал он ленивому молодому человеку. — Кроме того, вы не хотите работать. Никакого писателя из вас не получится. Писатель должен работать десять часов в день, да-с, именно десять часов».

«Каков гусь! — сказал он присутствовавшему при этом Владимиру Лидину, когда студент вышел из кабинета. — Посмея сказать: это в старину, Федор Васильевич, по десять часов просиживали за столом... сейчас другое время, нужны другие темпы. Темпы... понимаешь ли, темпы».

Отмечая сегодня несомненные успехи в разработке темы труда, нелишне, думается, при этом и оглянуться назад. Не только для того, чтобы отдать должное тем, кто новаторски решал эту задачу еще на первоначальном этапе становления нашей литературы, — многое в их опыте не потеряло своего практического значения, и мы по праву наследуем лучшие духовные традиции.

Вспомним, как глубоко волновала Gladkova проблема изображения внутреннего мира рабочего человека. В одном из его писем к Б. Брайниной сказано: «Начиная с «Цемент» и кончая «Мятежной юностью», я прежде всего, по мере сил моих, конечно, стремился и стремлюсь раскрыть психологию человека, внутренний мир рабочего-революционера до Октября, и новое, более сложное качество его интеллигентности в советское время. Неумные книжки, где передовой рабочий представлен неким бездумным здоровяком, одним лишь мышечным напряжением добывающим сказочные рекорды, звучат глупо и фальшиво... Все это не только комически наивно, эмоционально неграмотно, но и политически вредно».

Ф. Gladkov был едва не первым в литературе, кто, обратившись к человеку труда, по верному слову Б. Брайниной, совершил «своего рода открытие нового эстетического материка в искусстве», создал образ советского рабочего класса. А потому и «Цемент» и «Энергия» — несмотря на ныне видимые и невооруженным глазом издержки, исторически объяснимые, — книги долговечные. Б. Брайнина имела все основания утверждать, что герои Gladkova не ограничены первыми десятилетиями, «живы и для всех нас. Сегодня, в век технической революции, когда интерес к жизни и тру-

ду рабочих с новой силой волнует советскую литературу, писатели вновь и вновь обращаются к первому советскому роману о рабочем классе — к «Цементу» Федора Гладкова. Это роман-поэма о созидательной энергии советского рабочего класса — горячая тема нашей современности».

О романе «Энергия» (1932) спорили по выходе его из печати, но одно несомненно: в нем с незаемным знанием жизни запечатлен пафос первой пятилетки — героического этапа в истории советского общества, во многом определившего дальнейший ход нашего развития. Б. Брайнина особо подчеркивает, что Гладков подолгу бывал на строительстве Днепровской электростанции. жил здесь как свой, входя во все сложности строительства. Его знали в те годы и на Сельмаше в Ростове, и на челябинских и московских стройках.

Можно сказать, что тот добрый опыт классика-первопроходца множат сегодня писатели, установившие тесную связь со стройками XI пятилетки, взявшие шефство над БАМом и КамАЗом, нефтепромыслами Западной Сибири, атомными электростанциями.

Обратившись к двум книгам о классиках советской литературы, написанным опытными критиками, убеждаешься в непреходящем значении того вклада, что внесли начинатели советской литературы в духовную

жизнь общества. Об этом, кстати, красноречиво говорят и другие работы, вошедшие в «Избранное» Б. Брайниной.

Так, исследование о связях К. Федина с западными литераторами рождает насущную мысль: чтобы по-настоящему понять и по достоинству оценить советскую классику, ее следует рассматривать в контексте всемирного историко-литературного развития XX века. В этом контексте особенно рельефно обрисовываются ее вершины, ее новаторство, смысл и направление творческих поисков. «Связи, контакты, дружба писателей мира сложны, многогранны и при всех условиях плодотворны», — делает вывод Б. Брайнина, всесторонне исследовав материал, касающийся личных контактов и творческих связей автора «Братьев», «Необыкновенного лета», «Костра» с писателями многих стран. «Федин умел слышать голоса мира, и мир прислушивался к его голосу».

К голосу советских писателей прислушивается все человечество. Тем ответственной их творческая миссия. Они — признанные летописцы нашей эпохи, истории общества развитого социализма. Литература призвана формировать в людях активное гражданское самосознание, социальную и жизненную активность, высокое нравственное отношение к своему делу. Овладеть этим тонким искусством писателям наших дней помогает опыт классиков — у них есть чему учиться.



СТ. РАССАДИН

★

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ

Сценическая судьба Пушкина — самая крупная театральная неудача русской драматургии. Пушкин единственный великий драматург России, все еще не нашедший пути на сцену.

Неприятно произносить эти категорические фразы. Но что делать? Факты, факты...

У «Бориса Годунова» нет сколько-нибудь богатой сценической истории. На подмостки он был допущен цензурой в 1866 году, а главное, немногие решались ставить эту странную трагедию. Правда, среди немногих — молодой Художественный театр и Мейерхольд 30-х годов, но тем очевиднее печальная судьба трагедии: «художественники» уж никак не числят постановку «Бориса» среди своих побед, а интереснейшие режиссерские наброски Мейерхольда так набросками и остались.

Не более удачливы маленькие трагедии. История театра сохранила имена артистов, блеснувших в той или иной роли, например, Щепкина — Барона или Качалова — Дон Гуана, да и на нашей памяти Николай Симонов в роли Сальери или Иннокентий Смоктуновский, сыгравший Моцарта (правда, в телефильме по опере Римского-Корсакова, которая отнюдь не идентична пушкинскому первоисточнику). Уверен, что можно вспомнить и еще кого-то: возможно, кто-нибудь даже назовет спектакль, с его точки зрения вполне или во многом удавшийся (я, увы, этого не могу), — но вряд ли найдется человек, готовый опспорить общеизвестное: то, что драмы Пушкина только ждут достойного театрального воплощения. Ждут разгадки своей сценичности. И это — даже сегодня, когда пересмотрена сама природа сценичности, когда инсценируются поэмы и письма, дневники и протоколы.

Ждут разгадки... В том-то, однако, и беда, что тщета поисков создала иллюзию, разделяемую многими. А именно — что разгадывать попросту нечего, ибо пуш-

кинская драматургия от природы не сценична. Она — то, что называется *Lesedramen*, поэзия, всего лишь записанная в форме театральных пьес, поэзия, может быть, и великая, но...

Впрочем, из почтения к классику эту формулу можно перелицевать: дескать, конечно, это не годится для сцены, зато — какая поэзия!

Так когда-то утешал бесповоротно «устарелого» Пушкина Игорь Северянин:

Да, Пушкин мертв для современья,
Но Пушкин — пушкински велик!

И маловероятно, чтоб Пушкина, надеющегося совсем на иную память, на душу живу («жив будет хоть один пиит»), устроило бы такое бессмертие — всего лишь мемориальное, то есть мнимое. В северянинских строчках само почтительное «велик» означает не величие поэта, а величину памятника.

Однако не путаю ли я понятий? Одно дело — живое бессмертие, другое — проблема сценичности, проблема, что ни говори, специфическая.

Думаю, что нет.

«Вспоминается, — писал несколько лет назад В. Непомнящий, — спектакль «Маленькие трагедии», поставленный в Театре имени Евг. Вахтангова к 125-летию со дня смерти Пушкина.

Несмотря на очень хороший актерский состав, среди которого блистал Дон Гуан — Н. Гриценко (та же история. — Ст. Р.), в целом это было в полном смысле слова мемориальное зрелище. Пролог этого спектакля, как и его эпилог, когда все исполнители, стоя полукругом, в почтительном молчании взирали на большой мертвенно-белый на черном фоне жест автора, придавал зрелищу ярко выраженный оттенок гражданской панихиды».

Конечно, возможно выразиться и мягче (многие бы именно так и выразились, ибо

спектакль даже в сильно обновленном и, к сожалению, далеко не улучшенном составе охотно посещался на протяжении многих лет), но, полагаю, ни создателей, ни старых и новых участников спектакля не шокировало бы определение «мемориальный». Судя по всему, таким он и замышлялся — как дань благодарной памяти великому поэту.

Великому, но...

О, разумеется, проблема сценичности во многих отношениях специальна. И, безусловно, существуют произведения, написанные для сцены, однако именно с ее точки зрения тяжелые на подъем. Но, повторяю, в сегодняшнем театре с его многообразием сценических форм, в театре, опровергающем еще недавние и столь, казалось, категорические представления о том, что сценично и что несценично, в театре со спектаклями-протоколами, публицистическими драмами, пьесами-монологами и романами, которые, перейдя на сцену, так и остаются романами, произведениями прозы, почти не инсценированными, — в этом театре проблема сценичности при всех поправках, оговорках и неизбежных сложностях есть прежде и больше всего проблема сегодняшней жизнеспособности произведения. И зрительный зал, заворожено внимающий тому, что еще недавно никто бы просто не стал смотреть, ежевечерне доказывает реальность этого критерия.

Но если в литературном (и даже внелитературном) материале, о пригодности которого для сцены вчера еще и вопрос бы не встал, сегодня отыскивается органическая возможность успешной театрализации, то относительно пушкинской драматургии тем более не стоит прикидывать: настоящая? не настоящая? сценичная? не сценичная? Речь должна идти совсем о другом: какая именно? В чем индивидуальная ее особенность? Та, понимание которой и должно в конце концов открыть «трудной» драматургии победный путь на сцену...

К счастью, кажется, можно быть обнадеженным. Наш театр стал к этому пониманию подвигаться, и довольно заметно: появились спектакли, ставшие событием, по меньшей мере предметом оживленного обсуждения (тоже немало).

Правда, пока театр телевизионный, что, впрочем, естественно и по-своему закономерно: молодое телеискусство с особенным упорством ищет средства, которые не повторяя бы, но развивали родительские — то есть собственно театральные — традиции, возможности, приемы.

Что ж, тем важнее выяснить: почему

именно оно, телевидение, вырвалось в этом смысле вперед? И, главное, что именно углядело оно в глубинах драм Пушкина? Что открыло — не только для себя, но, может быть, и для театральной сцены, которая недаром присматривается к своим младшим собратьям — кинематографу и телевидению?

Не знаменательно ли, что одна из признанных и заметнейших побед телеискусства (спектакль по «Борису Годунову») была одержана малыми средствами — вынужденно малыми, ибо больших просто не предоставили?

Постановщик Анатолий Эфрос вспоминал позже, что еще давно, работая в Центральном детском театре, пробовал поставить пушкинскую трагедию как «простой» спектакль, не загроможденный привычной театральщиной, «хламом», «сундучностью», — на это его подвигнул тогда «Гамлет» Питера Брука. Но в ту пору преуспел не слишком.

Однако именно эта неосуществленная — или недоосуществленная — идея привела его на телевидение:

«Я пришел в пустой павильон и стал фантазировать. Конечно, прежде всего я отменил возможность больших декораций, палат, церквей, куполов и т. д. Ведь тут-то идея простого спектакля и могла быть улучшена. Течение ясного смысла вместо тяжелого сундука с будто бы историческим бараклом».

Заметим: театральный режиссер не скрывает, что ищет на телевидении продолжения замысла, родившегося на театре и для театра.

«В отношении «Годунова», — продолжает Эфрос, — что-то нужно было «уменьшить», что-то сделать гораздо скромнее, чтобы мысль перестала быть скромной и почти незаметной за общей помпезностью стиля. Казалось, вместо ложной фантазии нужен только рассудок...

А этот прекрасный маленький ящик будто требовал усмирить фантазию и успокоить бурное воображение. Как хорошо, что не было денег на постройку кремлевских палат или ступеней собора.

Как хорошо, что можно было по смете взять только трех-четыре статистов на роли бояр, поляков, немцев и русских воинов. Как хорошо, что было так мало возможностей!..»

Сосредоточенность телекамеры? Дань современной манере актерской игры? Все так. Но и соответствие поэтике Пушкина, ибо именно обращение к ее авторитетному ла-

конизму завершает эфросовскую похвалу бедности:

«У Пушкина в третьей, кажется, сцене три мужика говорят, что даже главы церковей народом облеплены, и вот в кино спешат показать нам эти главы. Но у Пушкина есть только три мужика, которые о том лишь говорят»

Положим, здесь дело не только в том, что Пушкин воплощал какой-то особый свой замысел, но и в простой заботе о постановочности: в труппах той поры народу было поменьше, чем в академических Художественном или Театре имени Моссовета. Однако что правда, то правда: тяготение драматурга Пушкина к сжатости, что было свойственно уже «Борису», осуществилось полностью в маленьких трагедиях, а в «Сценах из рыцарских времен» дошло до предела, до художественной формулы, до сюжетного костяка, на котором не то что лишнего, но, кажется, и лишнего нет, только суть, только мысль,— оно и продиктовало Пушкину, в частности, этот третий эпизод трагедии: «Девичье поле. Новодевичий монастырь». И именно внимание к замыслу и характеру «Бориса Годунова» привело когда-то к весьма схожему решению режиссера, который вовсе не был стеснен ни рамками малого экрана, ни ограниченностью средств,— Всеволода Мейерхольда.

Он говорил (запись А. Гладкова):

«...надо расставить на сцене простые фигуры, как на полотнах Питера Брейгеля, поискать для них хорошую композицию, освободить сцену от всяких тяжелых построек, дать свет только на крупный план композиции, и тогда это будет наше решение массовых сцен пушкинской трагедии...

У нас на сцене будут только корифеи толпы. Всякое иное решение народа будет буффорией, лжетеатром...»

То, что было результатом пронизательности режиссера (и отчасти результатом полемике с традиционно-рутинными, «оперными» постановками «Годунова»), «прекрасный маленький ящик» выдвинул как неперемное условие. И это стало началом проникновения в структуру пушкинской трагедии.

Она относится к поэзии во всяком случае не меньше, чем к сценической литературе. И, разумеется, не потому, что написана стихами (отчасти и прозой): тут иная концентрация смысла и действия, иная соотнесенность вещиности и сущности, чем в стихотворных пьесах Шекспира, Грибоедова или Алексея Константиновича Толстого. Говоря об особенностях пушкинских

драм — правда, не о «Борисе», а о маленькой трагедии «Моцарт и Сальери», совершившей от него еще один шаг к всебольшей плотности языка.— Валерий Брюсов заметил, что если бы ее персонажи беседовали в реальной жизни, они «обменялись бы при этом гораздо большим числом слов, но Пушкин сохранил только сущность их речи».

Да, сущность, существо, эссенцию — то, что отличает мышление Пушкина-лирика; пушкинисты давно и недаром заметили, что в языке его драм идет свой счет. Тут единица измерения не фраза, как бывает у «чистых» драматургов, если даже их герои изъясняются в стихах, а именно строка, стих, «музыкально-смысловая единица».

К спектаклю Эфроса все это, увы, относится не вполне по той неискоренимой причине, что многие занятые в нем актеры, даже если их дикция не так причудлива, как у Николая Волкова, играющего Бориса, возвращены на современной скороговорке, а не на классических цезурах, и лишь изредка стих звучит как стих,— звонче всего в диалоге Марины и Самозванца, а если продолжить отбор, то в устах Марины — Ольги Яковлевой. Что ж, тем характернее, что и за этим — весомым — вычетом телевизионный «Годунов» воспринимается не «трагедией в стихах», но «поэтической трагедией» (как определял ее сам постановщик). То есть присутствие автора-поэта, не всегда явное в границах одной строки или целого монолога, его организующая, преобразующая воля реально осязательна в пределах «большой структуры», всей телеверсии того странного сочинения, которому Пушкин всерьез подумывал присвоить титул: «Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве писал раб божий Александр сын Сергеев Пушкин в лето 7333, на городище Ворониче».

После только один русский писатель отважится так подписать собственное сочинение о «беде Московскому государству» — А. К. Толстой:

Худый смиренный иннок.
Раб божий Алексей,—

да и то это будет иронически-озорная «История государства Российского».

Рискуя остаться одиноким в своем сожалении, и все-таки жалко, что Пушкин не решился так наименовать любимое детище (хотел, на худой конец, короче и проще: «Комедия о царе Борисе и Гришке Отрепьеве», но и эту мысль оставил), ограничившись вполне обезличивающими и названием и определением жанра: через несколько

лет к той же эпохе обратится бездарнейший Михаил Лобанов, и тоже озаглавит свое неуклюжее создание: «Борис Годунов», и тоже добавит: «трагедия».

Конечно, невелико дело название, но все же — вот, и простая память об отброшенных вариантах сберегла для нас след пристального авторского приглядывания к собственному сочинению, будто оно им самим еще до конца не разгадано; сберегла его понимание, что — «ай-да Пушкин, ай-да сукин сын!» — написано нечто, не укладывающееся в существующие рамки (до сих пор не уложилось, как эти рамки ни растягивались и ни коржились). А главное, сама громада этой трагической комедии или комической трагедии — вся, целиком, от внушительных монологов и сцен, самостоятельных в своей завершенности, до мелкой мелочи: дат, ремарок, имен действующих лиц — не затвердевший, «металлов тверже», камень, гордый своим изваянным совершенством, а полузастывшая, еще не переставшая двигаться лава. И это нестройное, сбивчивое течение, этот сюжет, то пунктирно стремительный, то вальяжно неповоротливый, эта композиция, способная едва-едва приоткрыть какое-нибудь важнейшее событие, но зато предочесть и развернуть что-то, казалось бы, весьма маловажное, живо хранят в себе отпечатки направляющей руки, непрекращающегося поэтического соучастия, проступающего сквозь события и организующего их ход, как бы ни были они исторически реальны. (Сейчас поневоле приходится быть голословным, да и повторяться не хочется, так как об этом — и о композиционной «странности» «Бориса Годунова», и о влиянии специфически поэтического мышления на законы драмы и т. д. и т. п., вплоть до ремарок и дат, я писал в своей книге «Драматург Пушкин».)

В спектакле Эфроса вмешательство учтено. Даже материализовано, и легко догадаться, что эта таинственная материализация — фигура Ведущего, ставшего телетрадицией уже в ту пору, в начале 70-х годов. Вот и здесь он делает свое привычное дело: лишь отзвучит камертон передачи — яхонтовский голос, тягуче ведущий песенку Юродивого, Ведущий явится собственной персоной, дабы сообщить словами пушкинского письма к Вяземскому: «Трагедия моя кончена» — и затем исправно исполнять роль склейщика-монтажера, здесь совершенно необходимому: играется не вся трагедия по порядку, но «сцены».

Однако ведет себя этот обычный персонаж необычно.

Во-первых, он вглядывается и слушает — как соглашаются и бранятся персонажи, как они клянутся и отчаиваются, возвышаются и гибнут; слушает с той причастной сосредоточенностью, которая никак не позволяет счесть его сторонним соглядатаем: так, вероятно, и писатель, драматург должен жадно вслушиваться в голоса пробуждающихся в его воображении действующих лиц будущей драмы...

Так, может быть, это и есть драматург? То есть попытка изобразить и сыграть самого Пушкина?

Нет, хотя режиссер не дает оснований и для категорического отрицания: даже во внешности артиста С. Жирнова таится намек на сходство с Пушкиным, намек, который очень легко было бы подхватить с помощью грима, — однако зачем? Важно, что нет противопозитивных таким допущениям (не Калягина же выбрали, не Табакова!).

Тут сама уклончивость — это, во-первых, точное понимание того, что есть телевидение, именно оно с его «просвечиванием» личности актера-современника сквозь исполняемую роль. Но, во-вторых, это вновь урок, который телевидение дает театру и который театр может и, вероятно, должен воспринять — разумеется, не буквально, по-своему, с учетом собственных средств. Это догадка, в чем вообще необычность «Бориса», мешающая его сценической, театральной судьбе.

Ведущий — не Пушкин, но, очень возможно, он знак его (их) присутствия: автора, поэта — в собственной трагедии, режиссера — в спектакле, любой творческой личности — в своем роде творчества. Даже то, что Эфросом выбраны для осмысления только «сцены», выглядит как бы подключением к пушкинскому освоению исторического материала, к его высокому произволу художника, который проводит свою мысль с решительностью, способной шокировать автора университетского курса истории, — впрочем, Пушкин вызывал возражения не то что у присяжных ученых историков, но даже у друга и эстетического единомышленника, у Вяземского, который недоумевал по поводу странной стремительности сюжета, находя, что «иные сцены, в особенности из последних, недостаточно развиты, и только разве des sommaires des scènes». В переводе: краткое содержание, оглавление сцен.

Эфрос вольничает еще больше — но в направлении, указанном Пушкиным. Он развивает эту, так сказать, эстетику краткого содержания, уплотняет плотность, умножает

пунктир. Твердо рассчитывая, что каждый школьнически знает фабулу «Бориса», пусть хотя бы в грубейшем приближении, пусть в оперном варианте, он отказывается демонстрировать и то, каким образом будущему Самозванцу является мысль объявить себя таковым, и то, как он удирает от приставов: знаете, слышали, обойдетесь.

Ведущий — он же взглядывающийся, вслушивающийся, вдумывающийся, вопрошающий — словно пришелец к нам изнутри творческого процесса, результат которого — трагедия «Борис Годунов», однако и мы невольно вручаем ему, этому молодому человеку в корректном современном костюме, полномочия нашего посла там. Этот юноша с живым взглядом, соединение «типа», то есть условного образа творца, автора, и «типажа», московского актера, значащегося в титрах, обеспечивает и олицетворяет наш контакт с «Борисом Годуновым» как произведением телеискусства и — через него — с «Годуновым» пушкинским, наше соучастие в судьбе трагедии, в продолжении ее жизни.

«Эфрос сделал вещь удивительную, — отметил Ираклий Андроников, — показал только головы говорящих».

Еще одно указание на строгую самоограниченность спектакля? Да, хотя любопытно, что подобное решение при постановке «Бориса Годунова» еще давно было принято совсем другими художниками совсем другого искусства, театрального.

30 августа 1907 года Владимир Иванович Немирович-Данченко сообщал в письме о ходе репетиций:

«Кто знает, что выйдет из «Бориса»!.. Есть вещи очень оригинальные и смелые. Например, первые народные сцены. Они поставлены Симовым и Лужским в небольшие рамки и могут походить на иконописные — с головами толпы».

Здесь словно предвосхищена эстетика ведущего телеискусства: ведь «небольшие рамки» — это экран телевизора!

Но задачи, которые режиссеры поставили перед этими мизансценами с «головами говорящих», с «головами толпы», различны. Немирович-Данченко видел в этом интересную стилизацию; Андроников прочитал замысел Эфроса таким образом: «Люди разговаривают на телеэкране, как живые люди сегодня».

Это связано: избежав дотошной стилизации под «тогда», почти ограничившись крупными планами, «головами», глазами, лицами, режиссер выявил не то, что различает людей отдаленных эпох (костюмы, быт, пластику), а то, чем они близки. Веч-

ное. «Как сегодня» — это важно, и дело не в осовременивании, а в том, чтоб способ театрализации или экранизации, физически воплощенный в посредничестве Ведущего, присутствующего и «там», и «здесь», и «тогда», и «сейчас», исключил мемориальность спектакля и не мог не наделить героев старого произведения частицей нашего сознания, нашего опыта.

Замечательно, что и это подготовлено и спровоцировано самой поэтикой «Бориса Годунова».

Для восприятия экранизации весьма существен Шуйский (Леонид Броневой), словно бы претендующий на роль еще одного ведущего, второго, малого, и эта странность его претензий — одна из странностей пушкинской трагедии, на которую традиционно не обращают внимания, возможно, и оттого, что смысл ее для многих и многих заглушен оперой Мусоргского, произведением гениальным, но совсем другим. И про другое — настолько, что именно характернейшие черты поэтической первоосновы композитору понадобилось искоренить.

...Первые четыре сцены «Годунова» — пушкинского — сцеплены, почти как крохотная трагедия классицизма. Тут все знаменитые единства — действия, времени, места: действие, избрание Бориса на царство, быстро протекает во времени и, начавшись в кремлевских палатах, в это же место и возвращается.

Но Пушкину трех единств мало. Он изобретает еще одно.

Эти сцены вмонтированы внутрь диалога Шуйского и Воротынского — именно так! На протяжении всей первой Рюриковичи обсуждают и прогнозируют происходящее, в конце четвертой — подытоживают его. Это цельно и слитно, как маленькая пьеса, вросшая в большую, а беседующие князя — ведущие этого микроспектакля, поднимающие и опускающие его занавес.

(Между прочим, какие возможности для театра, именно для него!)

Впрочем, Воротынскому с Шуйским не тягаться: он в основном спрашивает и слушает. Шуйский отвечает и объясняет.

Уже самые первые слова его — краткое и точное изложение всего, что произойдет в течение четырех сцен. Конспект, опередивший появление того, что надобно конспектировать:

Чем кончится? Узнать не мудрено:
Народ еще повоеет да поплачет,
Борис еще поморщится немного,
Что пьяница пред чаркою вина,
И наконец по милости своей
Принять венец смиренно согласится...

Протяжно-иронический голос Броневого здесь как-то особенно, устало ироничен — и верно, как не устать от этого брезгливого всезнания? Так ведь оно и выходит: народ ведет себя в точности по предсказанному, — Пушкин прямо иллюстрирует правоту Шуйского ремаркой: «Вой и плач»; Борис «морщится», о чем в подобающих выражениях докладывает народу думный дьяк Щелкалов; и наконец принимает шапку Мономаха — как и ожидалось, «смиренно»:

Вы видели, что я приемлю власть
Великую со страхом и смиреньем.

Зачем это Пушкину? Чтобы похвалить прозорливость Шуйского? Но и этому вопросу можно послать вдогонку еще одно «зачем». А главное, ведь таким образом у читателя и зрителя заранее отнимают интерес к исходу трагедии..

Однако в том и суть. Интересы к исходу не должно быть. К чему, скажите, игра в неизвестность, коли все и вправду пред-
решено и Борис ломает — не трагедию, а комедию, «смиренно» приемля отбитую им в кровавой борьбе корону?

Нам и не нужно следить, куда движется действие. Нам важно, как оно протекает. И с первых сцен Пушкин объясняет, как именно; с первых сцен упорно внушает свое отношение к событиям; внушает до того, как мы сами станем их свидетелями.

Свое ли, впрочем? Авторское? Если в самом деле так, то почему оно вложено в уста персонажу, бесконечно далекому от нравственных представлений самого Пушкина? Но некогда роиться этим вопросам в наших головах: как ни ворчи и ни сомневайся, восприятие наше уже неотделимо от восприятия Шуйского.

Можем ли мы сочувственно слушать Щелкалова, утверждающего, будто согласие Бориса венчаться на царство зависит лишь от усердных молитв московского люда? Разумеется, нет: это парадная, лицевая сторона фарса, изнанку которого Пушкин не замедлит обнажить в следующей, третьей сцене, где московские граждане, сиясь заплакать, спрашивают друг у друга луку и трут глаза «слюней».

Точно так же мы не сумеем всерьез внимать Борису, который объявит о страхе и смиренье; его патетический монолог обесценен с первой строки, вернее, еще до нее: отношение Пушкина к происходящему внушено нам с той убеждающей силой, которая естественна для лирики и для поэмы, но как будто противопоказана драме?

Да, первые сцены «Бориса», задающие тон, щедро окрашены скорбной иронией. И тут весьма сгодился князь Шуйский:

Пушкин эксплуатирует его язвительный ум, то, в чем ему никак не откажешь.

Но — недолго. Вот четвертая сцена, последняя в маленьком фарсе, вживленном в большую трагедию, и кончается она тем, что Пушкин рвет свой непрочный союз с персонажем:

Воротынский
(останавливая Шуйского)
Ты угадал.
Шуйский
А что?
Воротынский
Да здесь, наемни.

Ты помнишь?
Шуйский
Нет, не помню ничего.
Воротынский
Когда народ ходил в Девичье поле.
Ты говорил...

Шуйский
Теперь не время помнить.
Советую порой и забывать.
А впрочем, я злословием притворным
Тогда желал тебя лишь испытать,
Верней узнать твой тайный образ мыслей..

Все. Шуйский скомпрометирован — тем очевиднее, что эта ситуация зеркально отражает буффонную ситуацию мольеровского «Дон Жуана», где пройдоха Станарель честит перед приятелем своего барина, но, завидя его, спешит откреститься: «Я был с тобой окровлен, как-то неволью все сразу выложил, но если что-нибудь до него дойдет, я прямо так и скажу, что ты соврал».

Рюриковича уподобить лакею и хаму — это, знаете ли..

Циник и хитрец, Шуйский как никто иной из персонажей «Годунова» годился для создания трагифарсовой атмосферы первых сцен, ибо кто, кроме циника, мог так хладнокровно обнажить фальшь Борисова лицедейства? Но вот и он сам включен в этот фарс, умный и еще недавно сторонний наблюдатель торопится примкнуть к рядам приближенных царя, и, надо полагать, с согласия автора скажет ему в спину Воротынский: «Лукавый царедворец!»

Эфрос чутко и охотно уловил особенность роли Шуйского, гот и дальше будет выступать профессиональным угадчиком: когда он вновь предскажет, что худо будет, ежели весть о Самозванце дойдет до народа, или просто, наблюдая за царем, подаст реплику «а парт»: «Он покраснел: быть буре!..», каждый раз наше внимание на этом будут задерживать чуть не силой, — и многозначительность неспроста Всеведенья Шуйского, кажется, заразило собой и прочих действующих лиц спектакля. Впечатление таково, что финальная ремарка о народном безмолвии отлично

ведома персонажам с самого начала, и ее неминуемость заранее ввергла их в какое-то нравственное оцепенение.

Уже в сцене «Девичье поле», подтверждающей презрительное пророчество Шуйского, мы видим только крупные планы молчащих людей. Отчужденный, невоодушевленный голос Ведущего будет читать за кадром реплики: «Что там за шум?.. Послушай! что за шум?.. Нет ли луку? Потрем глаза. Нет, я слюней помажу...» — а на лицах не отразится даже таких забот, и в отсутствии мимики, в медленном переглядывании — безнадежная безучастность.

И Борис будет подавлен уже в первом, коронационном монологе, которому, кажется, пристало бы звучать бодрее, — тронную речь будто перепутали с поздним подытоживанием, веччающимся горестным признанием: «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста».

Даже лихие старцы Варлаам и Мисаил не больно веселы. Даже хозяйка корчмы — в опере развеселая меццо-сопрано — сидит ровно окостенелая.

Что ж, может быть, они, как и царь, предчувствуют поход Самозванца, смуту, разор? То есть их печалит предвидения вполне осязаемые, подсказанные тем, что всякий день у них на глазах, для чего не нужно семи пядей?

Но и сам грядущий победитель, Самозванец, в минуты, когда ему надо кипучестью и верой заражать тех, кого он собирает под свои знамена, так же молча и с тем же необъяснимо невеселым взором обходит строй таких же молчаливых шляхтичей, — кадры эти нам повторяют не раз, не два. А уж знаменитое «народ безмолвствует», подготовленное всем строем спектакля (или, наоборот, на него, на этот строй, ретроспективно бросившее свою угрюмую тень), затопит собой все, и даже заключительные титры пойдут при полном молчании, которое и в собственном доме, возле собственного телевизора нарушить боязно. Неловко.

Разве лишь Ведущий, отдаленный аналог Поэта, да Юродивый, которому не писаны законы, нарушат это как бы звучащее молчание: первый позволит себе печально пошутить: «ай-да Пушкин, ай-да сукин сын!» — да, печально, совсем не так, как ликовал, ударяя в ладоши, сам Пушкин над неостывшей последней точкой «Годунова», а второй вновь заведет закадровым яхонтовским голосом: «Месяц светит, котенок плачет...» И два этих голоса сделают безмолвие еще ошутимее: для определения масштаба всегда нужен какой-то посторонний предмет.

Замечательно, что и это воплощение знаменитой ремарки, казалось бы, только исключительно телевизионное, тоже было предвосхищено театральным режиссером, все тем же Мейерхольдом в пору работы над его неродившимся спектаклем.

Вот воспоминания артиста Н. Голубенцева:

«„Народ безмолвствует“... На сцене из глубины движется тьма. Она постепенно заполняет всю сцену. Наконец освещенными остаются отдельные (опять отдельные! — Ст. Р.) фигуры из толпы, пораженные ужасом. Но вот и они поглощены тьмой. И на сцене воцаряется непроглядная ночь. Надвинулась эпоха долгих и кровавых потрясений смутного времени...»

Все это — проявления нашего опыта, опыта людей, с осмысленной горечью оглядывающих на прошлое, ясно видя закономерность его и сожалея, что народная судьба не могла в ту пору сложиться иначе. И этот-то опыт не мог не внушить пушкинским героям режиссер, используя возможности телеискусства, но и доводящая то, что он искал, работая над «Борисом Годуновым» еще в театре. Уточняя сценические свои поиски. Впрочем, как видим, не только свои.

Спектакль с подзаголовком «Сцены...» далеко не все сберег из пушкинского первоисточника, в том числе не все важное. Ушла из него смеховая стихия, а это, как ни самоутешайся, серьезная потеря для произведения, которое его автор подумывал определить как «комедия о настоящей беде...». И все-таки счет в искусстве идет не на потери, а на приобретения.

Приобретено же нечто важное.

Удача Эфроса, удача, я думаю, решающая, в том, что он воспринял незадавшегося на сцене «Бориса Годунова» как явление столько поэзии, сколько и драматургии, вернее, понял: то, что здесь от поэзии, есть неотъемлемая часть драматургических достоинств, их основа и стержень, что это именно «поэтическая трагедия», которой руководит не только рок истории, но активная, преобразующая, неустраивающаяся воля поэта-автора, его не желающий растворяться в героях и событиях монолог.

Эта удача, это понимание оказались разительными.

Когда через несколько лет — уже совсем недавно — Михаил Швейцер будет экранизировать для телевидения «Маленькие трагедии», он тоже отправится, так сказать, на поиски их автора. Тоже материализует, а

главное, конкретизирует и индивидуализирует его фигуру.

Причем тут дело не обойдется условной фигурой Ведущего; нет, сочинитель маленьких трагедий вполне реален, как только может быть реален человек, возникший под пером прозаика-реалиста. Это персонаж «Египетских ночей», но не Чарский, в котором видят автобиографические черты, а импровизатор-итальянец.

Он настолько выдвигается вперед и настолько по праву займет центральное место, что телевизионный диктор не ошибется, когда на второй день показа экранизации начнет пересказ вчерашней части словами:

— В первой серии рассказывается о судьбе неаполитанского художника...

Естественно, ведь он сочинил «Скупого рыцаря» — это его импровизация, это он произносит вместо Герцога и вместо Пушкина финальное резюме: «Ужасный век, ужасные сердца!» Он сочинил и «Каменного гостя» «Моцарта и Сальери» он, кажется, не сочинил, прямого указания на это, во всяком случае нет, но разве только потому, что сам как бы метит в герои этой трагедии являясь откровенным и настойчивым аналогом Моцарта.

«Что ж, хорошо?» — спрашивает итальянец (на телеэкране), симпровизировав для Чарского стихотворение «Поэт идет. Открыты вежды...», и тот отвечает: «Удивительно».

У Пушкина импровизатор спрашивает одобрения в других словах и замена их моцартовским вопросом неадекватна. Как уже совсем неадекватно то, что, когда Чарский, распростиаясь с итальянцем и выйдя на набережную петербургского канала, станет размышлять о странной уникальности дара импровизации, он вдруг увидит на водной ряби рядом с отражением собственной головы другую, в парике XVIII века. И услышит:

Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет — и выше.

Появление Сальери — невольный отклик на размышления Чарского а сам он — его родич ибо и Чарский словес бы завидует импровизатору отказываясь понять возможность легкого дара длющегося не «усильным напряженным постыничеством...»

Однако кто он, итальянец на которого режиссер возложил обязанности и право стать автором пушкинских шедевров?

В «Египетских ночах» бедность его одежды сразу бросается в глаза — но кому? Аристократу Чарскому, который стоит перед смущенным импровизатором в золоти-

стом китайском халате, опоясанном турецкой шалью, как воплощенный символ их неравенства. На телевидении она бросилась бы в глаза и бедняку. Опустившийся бродяга, голодранец, лаццарони — вот каков на вид посетитель, проникающий к Чарскому без доклада, обманув лакея, который этим потрясен и напуган; да, такого и впрямь не пустили бы в приличный дом — и не только в часы, когда барин изволит заниматься делом.

«Чарский подумал, что неаполитанец собирается дать несколько концертов на виолончели и развозит по домам свои билеты. Он уже хотел вручить ему свои двадцать пять рублей...»

Так у Пушкина: хотел, не более того, и хотел не подать милостыню, а купить билет, которым, конечно, не воспользовался бы; купить, дабы не оскорбить артиста подаянием

У Швейцера Чарский небрежно подает ассигнацию, ни о чем не спрашивая, только глянув на облик прищельца, и тот берет подачку с поклоном, ничуть не смущаясь ролью нищего. У Швейцера слуга, удрученный своей промашкой, вносит курильницу и обкуривает одежду итальянца, спасая барина от вони или от насекомых, а итальянец ничего, герпит, и Чарский за этим наблюдает безучастно.

Разница? Еще бы! И осознанная. Сергей Юрский и играет своего импровизатора — играет, к слову сказать, отлично, в рамках режиссерского задания почти совершенно — бродягой и оборванцем не с точки зрения Пушкина и Чарского, а с нашей, демократической, опуская его по имущественной и общественной лестнице сразу на несколько ступенек. Происходит четкое снижение образа с прилачей ему черт комических — вплоть до расхожих: «О, мадонна!» и «Грация!», без которых итальянцев в комедиях не бывает, до падений с размаху на колени перед распятием и прочих ужимок и прыжков подсмотренных у Альберто Сорди.

Да и стихотворная импровизация исполняется с узнаваемой «истощенностью» (вероятно, кивок в сторону детей Политехнического, поэтов, которых числят адептами «эстрады» и которые в самом деле создали «эстрадную» манеру чтения своих стихотворений).

Возможно, всем этим преследуется цель, понятная и приятная публике: показать, что гении суть вполне земные создания. «Так же, как все, как все, как все, я по земле хожу, хожу», — популяризирует ту же мысль Алла Пугачева, и, возможно, по этой причине полубогатый Фауст и совсем

легендарный Мефистофель появляются у Швейцера в виде парнишек с набедренными повязками, неотличимыми от плавок, и шалат, обнаруживая знакомство с приемами самбо.

Еще вероятнее, что цель была серьезна: проиллюстрировать слова Пушкина о вдохновенном и безвдохновенном состоянии поэта: «...и меж детей ничтожных мира... Но лишь божественный глагол...» и т. д.

В прозе «Египетских ночей» есть бытовой перифраз этих строчек: «Трудно поверить, до каких мелочей мог доходить человек, одаренный, впрочем, талантом и душой. Он прикидывался то страстным охотником до лошадей, то отчаянным игроком, то самым тонким гастрономом; хотя никак не мог различить горской породы от арабской, никогда не помнил козырей и втайне предпочитал печеный картофель всевозможным изобретениям французской кухни. Он вел жизнь самую рассеянную; торчал на всех балах, обедался на всех дипломатических обедах и на всяком званом вечере был так же неизбежим, как резановское мороженое.

Однако ж он был поэт, и страсть его была неодолима: когда находила на него такая дрянь (так называл он вдохновение), Чарский запирался в своем кабинете и писал с утра до поздней ночи. Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастье».

Таково «ничтожество» (и таково воспарение от него) Чарского, которому Пушкин передал некоторые свои, по-современному выражаясь, комплексы: «ничтожество» в пушкинском, личном, понимании, отнюдь не в смысле того нравственного состояния, когда можно, как итальянец, явиться за покровительством и не стесняясь говорить о выручке (уж не говорю: с поклоном принимать милостыню и благодушно сносить лакейское хамство). И потому импровизатор, которому дивится Чарский, существо, бесконечно далекое и от пушкинского круга и от пушкинских взглядов, в том числе — на искусство.

Чему же удивляется Чарский? И завидует ли?

«— Удивительно, — отвечал поэт. — Как! Чужая мысль чуть коснулась вашего слуха и уже стала вашею собственностью, как будто вы с нею носились, лелеяли, развивали ее беспрестанно. Итак, для вас не существует ни труда, ни охлаждения, ни этого беспокойства, которое предшествует вдохновению?.. Удивительно, удивительно!..

Импровизатор отвечал:

— Всякий талант неизъясним».

Вот о чем речь: об удивительности и странности для поэта таланта и импровизатора. Не более и не менее того. Самого Пушкина также занимала эта недоступная ему способность (которой обладал, между прочим, его друг Мицкевич, обладал помимо поэтического дара, и вовсе не нужды думать, будто «Олешкевич» или «Свитезянка» не были сперва задуманы, выношены и только после того рождены). Недаром Пушкин пошел на озорной парадокс — блистательному оформителю «чужих мыслей» Чарский дает такую тему для импровизации: «поэт сам избирает предметы для своих песен: толпа не имеет права управлять его вдохновением».

После чего импровизатор вопреки тому, что для Чарского — очевидность, берет избранный другим человеком предмет (на этот раз избранный поэтом, а скоро предоставит выбор светской гостиниой, «толпе»), и его управляемое вдохновение создает знаменитое: «Затем, что ветру и орлу и сердцу девы нет закона!» Замечу: создает в телеэкранизации и в печатном варианте «Египетских ночей», но не в рукописи: этого своего создания Пушкин итальянцу все же не подарил. За него это «по смыслу» сделали издатели.

На телевизионном экране импровизатору приписана способность создать «Каменного гостя» и «Скупого рыцаря», поэзию редчайшей сложности; неведомому чужеземцу дано право стать автором произведений, полных для Пушкина очень индивидуального, биографического смысла, — биографического если не в житейском отношении (хотя и в нем тоже), то в отношении самоощущения поэта, такого, каким его родила и воспитала эпоха, столбового российского дворянина, решающего вопросы, насущно важные для его сословия, его государства, его народа, его всечеловеческой сущности; вопросы чести, личного достоинства, «рыцарства», любви и ее защиты.

Выходит, что импровизация заняла место поэзии. После чего самой поэзии, представленной Чарским, за которым угадывается Пушкин, той, что искренне не в силах понять, как это «чужая мысль» может стать твоей собственностью, приходится уступить и отступить, попав даже под подозрение. И удивление, что для импровизации, ремесла иной, вульгарно говоря, писательской технологии, «не существует ни труда, ни охлаждения, ни этого беспокойства...», невольно начинает казаться подозрительно сальерианским (нет, вольно, ибо

нам это внушают прямо — многозначительным соседством Чарского и Сальери):

Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений — не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет голову безумца.
Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!

Импровизатор занимает место «гуляки праздного», Моцарта. Чарский — усердного и завистливого труженика, Сальери. Разумеется, заодно с ним на эту роль обречен и Пушкин, лишенный маленьких трагедий.

Серьезнее, впрочем, что у них, у трагедий, отнят Пушкин. Они выглядят отвлеченной иностранщиной, безхозными произведениями, которые мог бы сочинить кто-то иной, да, по сути, просто кто угодно, — был бы талант. Условие, что говорить, немаловажное, но тут, при таком предпочтительном противопоставлении, сам талант кажется чем-то универсально-незборчивым: вы только дайте гему, подскажите мысль, а уж мы вам исполним в лучшем виде.

Картина знакомая.

Благожелательно допускаю, что Михаил Швейцер и тут исходил из пушкинского: «И бога глас ко мне воззвал». Или из тютчевского: «Ты был богов орган живой».

Но пророк, чутко отзывающийся на глас свыше, в традиционном христианском понимании (в каком, естественно, и Пушкин избрал его как аналог поэту, то есть себе) отличается, допустим, от магометанских пророков тем, что в Коране сам бог говорит их устами, они лишь медиумы, рупоры, передатчики. — библейский же пророк всегда говорит от своего имени. В пушкинской оде пророк-поэт проникся волею господина, но сердца жжет собственным глаголом.

Такова одна из традиций русской поэзии. Традиция духовной самостоятельности и ответственности.

Уж не знаю, насколько сознательно здесь поэт-исполнитель, или, выражаясь лояльнее, поэт-мастер, предпочтен поэту-пророку; важно, что иначе это воспринимать трудно — при том значительном давлении, каким вопрос поэтической «технологии», живо заинтересовавший Чарского, «просто» поэта, подмечен вопросом, так сказать, идеологическим. Еще важнее, что все это не осталось на уровне отвлеченного размышления или хотя бы отдельных сюжетных ходов, удачных или неудачных. Да и не могло остаться, вторглось в самую плоть маленьких трагедий.

Столь сложные произведения не могут быть «ничьими», как фольклор, — а тут вдо-

бавок речь о том их качестве, о котором спотыкались лучшие театры и лучшие режиссеры: о поэтической структуре трагедий, воплощенной и в их необыкновенно сжатом языке, где сама характерность обращена в сгусток, в слиток, и в особенностях строения характеров, и в колоссальной доле авторского «монологического» участия в диалогах. Если же «поиски автора» обернулись тем, что он из трагедий попросту изъят, если безразличие к его участию в них дошло до такой степени, что на его место оказалось возможным назначить кого попало, хоть заезжего итальянца, человека, для Пушкина чужого во всех отношениях, в социальном, в психологическом, в профессиональном, в национальном, в языковом, наконец, — тогда все становится условным: и структура, и стиль, и трактовка персонажей или целых трагедий. Поэтому «Сцена из Фауста» вполне может — отчего бы и нет? — перейти в прозу «Египетских ночей», а та, в свою очередь, будет переложена кусочком из «Гробовщика»: три разных стиля и, можно сказать, три разных автора, во всяком случае, три его модификации, отдаленных одна от другой. Сверхлаконический язык маленьких трагедий перемежается длинными периодами светских разговоров из прозаических отрывков «Гости съезжались на дачу» и «Мы проводили вечер на даче». Чарский встречается с Сальери. Моцарт, которому Пушкин, руководимый не «чужой мыслью», а своим отважнейшим замыслом, дал минимальное количество строк и суждений и вопреки иерархии, принятой в кругу искусств, выдвинул вперед Сальери, — этот Моцарт, нет, уже не этот, другой, получает куда больше простора и простор всю использует: по-приятельски общается с актерами, репетирует «Волшебную флейту», сам поет обаятельным голосом телевизионного Бумбараша, хохочет, прыгает, куролесит, задирает ноги...

Я против режиссерских вольностей? Упаса бог, нет: уж на что не похож на испанского гранда Владимир Высоцкий, выбранный на роль Дон Гуана! В нем скорее что-то солдатское, именно солдатское, рядовое; не офицер, а ландскнехт, привыкший с бою брать и крепости и сердца красоток, и когда он ухарски заламывает поля шляпы, то манерами испанских дворян, Дон Сезаров и Дон Хуанов тут и не пахнет. И голос, прославленный совсем иным: «Ой, Вань, гляди, какие карлики!» — словно охрип на зыбких походных ночевках и на горячих штурмах. А поди ж, захватывает, забирает этот непохожий Дон Гуан, и страсть

в нем настоящая, и стих звучит у него как стих, являя свои особые красоты!

Являя отчасти контрастно, потому что к стиху отнеслись как раз не слишком бережно. По-видимому, он воспринят как всего лишь одна из возможных форм речи, не более того, а порою даже как досадная условность, пережиток, архаизм, который лучше бы преодолеть и сделать незаметным, что и удается: например, Иннокентий Смоктуновский, играя Барона, не хочет читать стихов. Он перебивает стих паузами, повторениями слов, у Пушкина отсутствующими, глубокими вздохами, одышкой, старческим кряхтением. Торжествует характер, зрелищность, — поэзия, естественно, отступает.

Нет, глупым педанством было бы протестовать против вольностей, тех, которые тебя сделали своим невольником, убедив и победив. Но есть вещи невозможные.

Невозможно, когда Альбер из «Скупого рыцаря», то есть Николай Бурляев, с удивительным сходством загримированный под самый знаменитый из автопортретов Дюрера (как, добавлю, и Наталья Белохвостикова, играющая Дону Анну, искусно сделана буквальной копией леонардовской головки Джиневры деи Бенчи), этот захудалый, но все же рыцарь, всегдашатай и доблестный победитель турниров, только что не стерпевший клеветы от собственного отца, жадно хватая ключи с его трупа, делая это при Герцоге, при феодальном созерцании, а не на коммунальной кухне, не в рассказе Зоценко... Впрочем, если допустить, что Пушкин тут в самом деле ни при чем, что и Альбер, и Барон, и Герцог — плоды мгновенной и чужевнушенной фантазии нищего итальянского импровизатора, ничуть не скрывающего, что приехал в Россию зарабатывать, — опять-таки: отчего бы и нет?

Или: Моцарт так значительно поглядывает на Сальери, подавая ему позабытые четки (в которых — а не в традиционном перстне — хранится заветный яд), будто знает, что решает сейчас свою судьбу. Откуда знает? Почему? Неизвестно.

Или: произвольно перестроены монологи самого Сальери. Появление слепого скрипача, над ужасной игрой которого хохочет Моцарт и негодует его суровый друг, эпизод, который и заставил будущего убийцу поставить смертную точку, убедив его, что так ой Моцарт недостоин ни самого себя, ни права существовать, идет уже после того, как сказано: «Так улетай же! чем скорей, тем лучше». А вдобавок решение убить Моцарта приходит в минуты, когда Сальери слушает его игру, на ее звуковом

фоне, — то есть он отнюдь не упоен, он и в этот момент холодно-рассудочен, он не музыкант, не артист, он только приписал себе страсть к искусству, и не его, не искусства, интересы служат оправданием злодейства.

И тогда — о чем речь? Зачем Пушкин писал про это, не слушая предостережений и упрямо доверяя слухам о Сальери-отравителе?

Во всем этом, вероятно, есть логика зрелища, которое Михаил Швейцер честно и старательно разнообразил, но логика того, кто когда-то и зачем-то все это сочинил, не догадываясь, что его маленькие трагедии будут превращены в большое телешоу, трещит по швам — и весьма наглядно.

Может быть, нагляднее всего в экранизации «Пира во время чумы».

Отзвучала песня «погибшего, но милого создання», Мери, о чуме, некогда посетившей ее родную Шотландию, и о девушке, которая даже на краю могилы думает и заботится только о своем любимом. Пренебрежительно осудила эту северную сентиментальность Луиза: «Не в моде теперь такие песни!» Безмянный Молодой человек обратился к Председателю пира Вальсингаму с просьбой спеть что-нибудь другое — «буйную, вахическую песню, рожденную за чашею кипящей».

Вальсингам отвечает:

Такой не знаю, но спою вам гимн
Я в честь чумы. — я написал его
Прошедшей ночью, как растались мы.
Мне странная нашла охота к рифмам
Впервые в жизни. Слушайте ж меня:
Охрипый голос мой приличен песне.

И... и ничего. То есть это на телеэкране ничего; у Пушкина пирующие встречают такое решение приветственным «bravo!», и Председатель поет. У Швейцера все не так: обещание Вальсингама повисает в воздухе, все почему-то пускаются в пляс, который прерывается приходом Священника, пытающегося их усюветить страданием окружающих. И только уже потом, в финале, под занавес этого длинного зрелища, прозвучит наконец Гимн Чуме — победно, как символ обретения Вальсингамом душевных сил, было пошатнувшихся, когда несносный пастырь вздумал напомнить ему о похороненной жене. По мере чтения голос Вальсингама обретет твердость, он, что называется, возьмет себя в руки. На устах Мери, прижавшейся к его плечу, засияет улыбка. Зазвучит музыка апофеоза. И возникнет пушкинский портрет, как знамя, осеняющее победителя...

Нельзя сказать, чтобы столь запоздалое

исполнение давно обещанного гимна выглядело очень складно, — тем более, значит, Швейцер знал, на что шел, столь явно ломая фабулу и оправданность, даже закономерность ломки драматургического смысла охотно принял критик Я. Варшавский: «...ведь в самом деле дерзновенная песня Вальсингама выражает поэтическую мысль Пушкина и «сцепляет» ситуации, возникающие во многих его произведениях».

Поправка к Пушкину, которую сделал режиссер и которая понравилась критику, имеет свои корни, довольно протяженные: гимн Вальсингама давно уже читается в концертах наряду с лирикой, читается с самозабвенной (если удастся) страстью и с простодушной верой, что таким образом выражаются пушкинские и ничьи более мысли.

Все, в общем, понятно: в гимне звучат чуть не самые знаменитые строки Пушкина, и, главное, пушкинские: «Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю...» И это так прекрасно, что в тени хрестоматийного не слишком заметно другое — те самые «восславим» и «хвала», пропетые дерзновенным Вальсингамом среди трупов, рыданий и всеобщего ужаса.

Здесь не вредно отвлечься — ненадолго и совсем недалеко.

В том же 1830 году, когда был сочинен «Пир во время чумы», Пушкин написал и стихотворение «Герой» Маленькая трагедия была закончена 6 ноября, стихи предположительно датируются октябрем, и обстоятельства их создания едины. О том, как конкретно переживал ситуацию драмы Пушкин, запертый в Болдине холерой, потогдашнему чумой, говорить нечего. А «Герой» прямо навеян известием о приезде императора Николая в холерную Москву.

Впрочем, Николаю оставлена роль почти-тельной аналогии, речь же в стихах о Наполеоне, всем торжествам и падениям которого предпочтен один эпизод — посещение чумного госпиталя в Яффе, бесстрашие перед «царицею болезней»:

...Он,
Не бранной смертью окружен,
Нахмуясь ходит меж одрами
И хладно руку жмет чуме,
И в погибающем уме
Рождает бодрость... Небесами
Клянусь: кто жизнью своей
Играл пред сумрачным недугом,
Чтоб ободрить угасший взор,
Клянусь, тот будет небу другом,
Каков бы ни был приговор
Земли слепой...

«И хладно руку жмет чуме... кто жизнью своей играл пред сумрачным неду-

гом...» — будто цитаты из гимна Вальсингама. Или могли быть ими. И совсем другое дело: «...чтоб ободрить угасший взор». Ничего подобного в гимне нет и, что важнее, не может быть. Это иная нравственная позиция, попросту противоположная.

Разумеется, в какой-то миг, притом не случайный, значительный, Вальсингам чувствует заодно с Пушкиным — или Пушкин заодно с ним. «Есть упоение в бою...» — да, есть, но оно не застилает пушкинского взора, не уведит поэта от мысли о предназначении человека для людей. А упоение персонажа превращается в самоупоение, бесстрашие перед лицом царицы болезней перерастает в циническую хвалу ей, в хвалу беде, ужасу, торжеству дисгармонии.

В то, что для Пушкина ненавистно...

Что же до операции, произведенной Швейцером над «Пиром во время чумы», то она как будто может быть оправдана с точки зрения серьезного авторитета — Марины Цветаевой:

«Пушкин, как Гёте в «Вертере», спасся от чумы (Гёте — любви), убив своего героя той смертью, которой сам вожделем умереть. И вложив ему в уста ту песню, которой Вальсингам сложить не мог...

Почему я самовольно отождествляю Пушкина с Вальсингамом?..

Лирический поэт себя песней выдает, выдаст всегда, не сможет не заставить сказать своего любимца (или двойника) на своем, поэта, языке. Песенка в драматическом произведении всегда любовная обмолвка, нечаянный знак предпочтения. Автор устал говорить за других и вот проговаривается — песней».

Начнем, однако, с того, что Цветаева не совсем права. Случай с Вальсингамом не единичен, напротив: особенность драматургии Пушкина, и прежде всего маленьких трагедий, в том, что самые антипатичные автору герои, отвратительный скупец барон Филипп или убийца Сальери, могут быть наделены и наделяются не только изобразительной силой пушкинского стиха, не только высотой его прозрений, но даже порою глубиной лирического откровения.

А впрочем, ведь Цветаева, кажется, говорит не просто о стихах, вложенных в уста персонажу? Она ведет речь о «песне», о «песенке», — Сальери же и Скупой рыцарь не поют и не могут запеть. Стало быть, все же...

Но дело в том, что рядом с такими утверждениями у Цветаевой (в статье «Искусство при свете совести») есть фразы, в которых она словно спохватывается и вспо-

минает, что Гимн Чуме не просто обособленное самоизлияние (Пушкина или Вальсингама), но — часть драмы, часть ее действия, ступень сюжетного восхождения:

«Самое замечательное, что мы все эти стихи любим, никто — не судим. Скажи кто-нибудь из нас это — в жизни, или, лучше, сделай (подожги дом, например, взорви мост), мы все очнемся и закричим: «Преступление!» Именно, очнемся — от чары, проснемся — от сна, того мертвого сна совести с бодрствующими в нем природными — нашими же — силами, в который нас повергли эти несколько размеренных строк».

Вот оно! Цветаева как бы не учитывала, не хотела учитывать и вдруг — учла, что гимн Вальсингама не стихотворение само по себе, что от него можно очнуться, да и нельзя не очнуться в атмосфере, где эти стихи не только «любят», но и «судят», в среде объемных, движущихся, сталкивающихся персонажей, в драме, где слово обязательно разрешится действием.

Как и сам Вальсингам в конце концов очнулся, пробудился от «мертвого сна совести», понимая или начиная понимать свою «преступность»...

Когда актер на эстраде читает Гимн Чуме, ему естественней — согласно суждению Марины Цветаевой — воспринять его как лично пушкинскую «обмолвку», как пушкинское слово: гимн вынут из драматического контекста, перестал быть звеном неразрываемой цепи. Но и то «неподходящие» строчки обычно выпадают и выпирают, не очень согласовываясь с пушкинской и только пушкинской мыслью, — внутри же трагедии, как часть ее, гимн неприкосновенен. Что, в частности, доказала еще одна телеверсия «Пира» — спектакль Марка Захарова, о котором тоже стоит поговорить.

Доказала от противного — по отношению не к Пушкину, а к швейцеровской экранизации.

Постановка Швейцера красочна, шумна, буйна. Реплики подкреплены активнейшим действием, и, допустим, когда Луиза оспаривает сентиментальность Мери, она вскочит на пиршественный стол, задерет юбку и учинит форменный канкан, по всем парижским правилам демонстрируя красные чулки и панталоны в обтяжку. Канканирование заразит прочих, начнется общий пляс, и даже негр, управляющий телегой с чумными трупами, будет, ухмыляясь, пританцовывать на козлах.

Как уже говорилось, пляшут — с гиком, с визгом — вместо обещанного Вальсингамом гимна, и когда явится Священник, ему

придется истощным воплем перебивать веселье: иначе не перекричишь.

По плотской конкретности, по житейской однозначности, с какой здесь даны герои и обстоятельства, это ближе не к «Пиру во время чумы», но к «Городу чумы», или, переводя точнее если не по смыслу заглавия, то по смыслу произведения. «Чумному городу», — к драме Джона Уилсона (Вильсона в пушкинском произношении) «The city of the plague». К первоисточнику, переводом которого — притом, на первый взгляд, переводом точным, порою даже буквальным — и является пушкинская маленькая трагедия.

Точность, однако, обманчива — и не только потому, что у Уилсона нет ни песни Мери, ни, главное, гимна Вальсингама. Вынув из многонаселенной, пестрой бытовой драмы всего один фрагмент, Пушкин путем переделок, казалось бы, малозначительных создал произведение принципиально иной структуры, не историческую драму, а маленькую трагедию.

О направлении, в котором шла переделка, точно сказал пушкинист Н. Яковлев:

«Мы видим, образы Пушкина отнюдь не лишены конкретных черт. Но то, что дано им, дано по принципу строжайшей художественной экономии. Нельзя не видеть, какой громадной обобщающей силой наделяет их через это Пушкин. Под его рукой флотский капитан Вальсингам превращается именно в «Председателя Пира» Имьярек — викарий или пребендарий прихода Oldgate church — именно в «Священника»... Перед нами прежде всего — Председатель безбожного пира и христианский священник в о б щ е».

И не «чумной город», реальный Лондон в реальном 1665 году, а Город Чумы, по которому — чудится — разгуливает не просто страшный недуг, но сама Царица Чума, воспетая Председателем.

Слова старого пушкиниста будто нарочно обозначили границу между работами Швейцера и Захарова.

Что у последнего?

«В кадре — замшелая, при определенных поворотах камеры ощутимо круглая земля, над которой низко стелется дым. На этой пустой земле-планете — одинокий стол пирующих: красная скатерть, отблески свечей на позеленевших уже лицах. Здесь много выразительных мизансцен, изобретательная символика оживших апокалипсических видений, вроде прозрачных людей в хороводе».

Не шумное многолюдье, а пустота, опустошенность; не энергичная динамика с короткими паузами молчания, а «застывшая»

статика с мгновениями взрывов; не телесная реальность бражников и гулящих девиц, а фигуры-знаки, фигуры-символы — последовательно утверждаемая поэтика общенности.

Не во всем, правда, последовательно, как считает Т. Шах-Азизова, автор и предыдущих строк:

«Но в актерской игре нет и тени той «космической» тревоги, поэтической отчужденности, обобщенной лепки образа, что предписаны этой эстетикой спектакля. Актеры играют внешне, плоско; лица их обыденны; контакта с вечностью не происходит».

К сожалению, справедливо считает, и я понимаю Марка Захарова, сказавшего, что началом своей подлинно телевизионной работы он признает более поздние «Двенадцать стульев»; именно в этом фильме, прекрасно начатом, но несколько выдохшемся к финалу, стал рождаться стиль телережиссера (или — телестиль режиссера), который привел его к «Обыкновенному чуду» и «Тому самому Мюнхаузену», произведениям блистательным. Именно в сериале по Ильфу и Петрову пришла освобожденность от ученического грепета перед классикой, каковой уже стала шварцевская комедия, или перед классическими типами, каковым является знаменитейший из вралей, — допускаю, что к этому подтолкнул сам текст романа об Остапе Бендере, растасканный на остроты и хохмы, ставший малой энциклопедией бонтона, знакомство с которой должно свидетельствовать о причастности к интеллектуальным кругам.

Мейерхольд как-то заметил, что очень любит Оскара Уайльда и терпеть не может тех, для кого Уайльд самый любимый писатель. Любя ильфопетровские романы, трудно восхищаться помешанностью на броской лексике Бендера, и не зря Захаров освежил свою экранизацию иронией — не только по отношению к персонажам, но как бы и к самому роману, к его примелькавшейся плоти, к его навязшим в зубах знаменитым шуткам. Это освобождение от временного и неглавного — ради постоянного и главного, ради самого романа.

И все же я побоялся бы — на всякий случай, из перестраховки — отдать тот, ранний «Пир во время чумы» на переделку более искусственному телережиссеру Захарову: мне там и относительная робость, проявившаяся в непосредственности, по-своему дорога — как пусть незрелый, но явный плод серьезного, пристального, бескорыстного интереса к тому, что, как и зачем сочинил Пушкин.

Впрочем, о малом опыте телевизионной работы больше говорит, может быть, нехватка навыков этого специфического ремесла, — главная черта зрелости, которая и превращает ремесло в искусство, уже сказала. Захаров не проявил ни малейшего соблазна шумно демонстрировать то, что нажил за уже довольно долгую к тому времени жизнь театрального режиссера; напротив, сумел от многого отказаться, сосредоточиться и самоограничиться, ясно ощутив, что имеет дело совсем с иным родом искусства.

В кинематографическом фильме «Прошу слова» есть озадачивающий кадр: семейство Уваровых в полном составе сидит, естественно вытянувшись в шеренгу, фронтально и разговаривает друг с другом, глядя в сторону кинозала. Потом озадаченность сменится улыбкой: это не экзерсис оператора, просто они сидят перед экраном телевизора.

В телеспектакле «Пир во время чумы» фронтальность расположения персонажей использована вполне серьезно — и как вполне серьезный прием телевизионности. Действие начнется — а по большей части так и будет продолжаться — с того, что глаза сидящих за длинным столом устремлены вперед, на нас. И спорят они и ссорятся, тоже глядя в нашу сторону. Мери поет свою печальную песню для нас. И Вальсингам исполняет гимн, обращаясь прежде всего к нам — глаза в глаза.

Странность этого пира почувствована с первого кадра.

У пьесы Уилсона и у маленькой трагедии Пушкина есть неотвязная и естественная аналогия — «Декамерон», где Боккаччо сурово отзываясь о тех флорентинцах, которые среди ужасов и смертей «утверждали, что вином упиваться, наслаждаться, пить, гулять, веселиться, по возможности удовлетворять свои прихоти, что бы ни случилось — все встречать смешком да шуткой, — вот, мол, самое верное средство от недуга. И они заботились о том, чтобы слово у них не расходилось с делом...».

Сказано будто прямо про тех, кто пирует в Городе Чумы. Но это только на первый взгляд. Слово — да, звучит. Но что касается дела...

Только в самом начале Молодой человек предложит выпить за покойного собутыльника «с веселым звоном рюмок, с восклицаньем». И то Председатель его поправит: «Пускай в молчанье мы выпьем в честь его». После чего все «пьют молча».

А происходящее дальше уж совсем мало напоминает пир, хоть такой.

Согласно ремаркам, которые для Пушкина никогда не были случайны, больше вообще никто не пьет, даже молча. Не тем головы заняты: люди разговаривают о серьезных вещах.

Ни в одном из своих произведений Пушкин не был так близок к тому, что мы теперь называем интеллектуальной драмой. Или драмой идей — кстати сказать, весьма прижившейся на современном театре (вот еще один залог возможности театральных пушкинских постановок) И пир, хотя он и дал маленькой трагедии заглавие, здесь скорее диспут во время чумы. А сам Вальсингам, дающий слово, пресекающий и подытоживающий его, не столько Председатель Пира, сколько председательствующий на диспуте.

У каждого диспутанта свой голос. Своя позиция.

Песня Мери — это голос милой и, увы, наивной гармонии, надеющейся на то, что страшная болезнь не превратит мир в хаос и, поразив тела, не тронет душ.

Голос Луизы — резкое неприятие этих вековечных надежд, требование «модного», нынешнего, «жестокоего», как определит ее нрав Председатель.

Есть еще голос Молодого человека, любителя вакхических песен, дважды пытающегося вернуть пир к веселью, сделать его не диспутом, а пьянкой, честь по чести.

Наконец, голос Вальсингама. Его гимн — тоже слово в споре, и это слово Пушкин явно опровергает.

В давнишнем «Декамероне» героини-сказчицы, уединившись подале от заразы, отстаивали радость и самооценку жизни вопреки чуме. И в забвении печалей доходили до полудетского эгоцентризма, даже не вспоминая о страданиях тех, кого косила или скосит чума, — нормальное противоречие Возрождения, воспламенившего свободу личности во что бы то ни стало (потом, позже это обернется крайностями индивидуализма).

Пушкин знает начала и уже видит концы.

Его Вальсингам кажется себе и другим прекрасно свободным от страха смерти, от связей, от памяти об умерших жене и матери, — но свобода мнима, она рухнет, как только в нем эту память пробудят. И хуже: она жестока, так как добыта даже вопреки, а благодаря чуме; на ее мрачнейшем фоне сияет его бесстрашие и красуется вольный дух: «Итак, — хвала тебе, Чума...»

Чтобы поставить точку, Пушкину нужен еще один оппонент. И он является: «Входит старый Священник».

У Швейцера он сыгран Иваном Лапиковым: полукарикатурный фанатик, аскет, подобие инквизитора, — недаром в его вопле «Ступай за мно-о-ой!!» звучит истерика приказа, исключающего неповиновение и боящегося с ним встретиться.

Можно предположить, что идея изобразить Священника таким родился очень просто. С одной стороны — Вальсингам, свободный и дерзновенный, с другой — какой-то церковник, ханжа, Тартюф, которому и положено душить вольные порывы и приставать со своим поповским занудством:

Я заклинаю вас святою кровью
Спасителя, распятого за нас:
Прервите пир чудовищный, когда
Желаете вы встретить в небесах
Утраченных возлюбленные души.

А коли так, то уже не покажется невыносимым исправить Пушкина, который, может быть, только по цензурным соображениям побоялся изобразить посрамление попа. Можно переделать финал, в котором Вальсингам (пушкинский, не телевизионный) сперва сурово гонит святого отца, потом упрасивает не беречь душу: «Отец мой, ради бога, оставь меня» — и, наконец, после ухода Священника уже не поет и не говорит, но — думает. «Пир продолжается. Председатель остается погружен в глубокую задумчивость».

«Пир продолжается» — то есть с диспутом, надо полагать, покончено. Участники его воротились к посильному веселью, все, кроме Вальсингама. Он пировать не станет, не до того, и дискутировать ему уже не о чем.

Что делать! Для людей пушкинской эпохи надежда на встречу в небесах с родными душами еще не казалась смешной, а священник, внушающий пастве идеи христианского сострадания, по одной этой причине еще не заслуживал обличения.

Идея, слово, дух тут, как и всюду, важнее для Пушкина, чем оболочка, чем тело, — тут даже важнее, чем всюду, если учесть поэтику «Пира во время чумы», ее движение от сугубой конкретности драмы Джона Уилсона, от житейски осязаемой фигуры vicария церкви у Старых ворот к «священнику вообщем», интересному и важному, стало быть, смыслом своей проповеди. И Марк Захаров имел право не учесть упоминание о возрасте и отдать роль Олегу Янковскому, молодому, красивому, сдержанно-одухотворенному, который и изъясняется с пирующими не приказным криком, а тоном увещевания, голосом души и духа.

Можно понять: даже то, что он — Свя-

щенник — не самое существенное для режиссера, актера и современного зрителя: молодой гуманист объясняет заблудшим азы гуманизма, а то, что в ответ в лицо ему глумливо швыряют объедки, только закрепляет нужную ассоциацию. То ли лермонтовский пророк, в которого его ближние «бросали бешено камня», то ли Джордано, Гус — и «святая простота», подбрасывающая в мученический костер полешко. Те проповедники истины тоже носили священническую одежду.

И когда этот Священник уйдет, сказав все и в последний раз глянув на Вальсингама взором, в котором нет укора, но есть ожидание, тот попробует: пойти за ним — и пойдет, почти побежит на коленях, в чем и попытка покаяния (традиционная, от древнейших времен до «хромого барина» из Алексея Толстого) и невозможность выпрямиться.

Вернее, он выпрямится, поднимется во весь рост, но только тогда, когда поймет: не уйти, не догнать.

Он, физически поднявшийся, повержен духовно — сокрушительной правотою сказанного и осознанием своей безвыходности. И снова, во второй раз, зазвучат строки Гимна Чуме, в первый раз, естественно, пропетого там, где положено, только прежде они распевались победно и лихо, теперь поются с отчаянием и сарказмом:

Как от проказницы З и мы,
Запремся также от Чумы,
Зажжем огни, нальем бокалы,
Утопим в е с е л о у м ы...

Два эти слова Николай Караченцов, играющий Вальсингама, выделит с сознанием такой безнадежности, что станет ясно: вопреки всему, что утверждал дерзкий гимн, Царица Чума не чета «могущей Зиме», от нее не запрешься, а веселье трагически не удалось.

Тоже режиссерская вольность, но из тех, которые хотя и вдумчиво уловить мнولوجическую мысль автора.

Да, спектакль вдумался в Пушкина и многое понял в нем: именно поэтому он прозвучал как произведение современное. Современное — сегодня.

Тут не только ни тени парадокса, но напротив: связь между первым и вторым самая обыкновенная. Режиссер почувствовал новизну, которую Пушкин внес в ситуацию, затронутую еще Боккаччо. — Пушкин с его лично-прикосновенным ощущением мировых катастроф, когда смерть всего двух человек, пусть даже Наполеона и Байрона, осознается с такой преувеличенной глобальностью: «Мир опустел...» До

него в русском искусстве этого не было, а после него осталось навсегда: есть нравственные и психологические открытия, устареть которым уже не дано.

Случился такой разговор:

— Скажи, если бы ты вдруг узнал, что через пятнадцать минут погибнет мир, что бы ты делал?

— Не знаю... Наверное, постарался бы делать, что делал, и жить, как жил.

Ответить много легче, чем исполнить, но люди задумывались над подобным и не в столь экстремальные эпохи, как наша; задумывался Пушкин — в частности и в особенности в «Пире во время чумы», — задумывались до него. «Если только мне это удастся, — говорил Монтень, оговоркой обнажая всегдашнюю нелегкость такого намерения, — я постараюсь, чтобы смерть моя не сказала ничего такого, чего ранее не сказала моя жизнь».

Да, исполнить труднее, чем ответить, в житейски-реальном смысле и попросту невозможно, но у искусства другого ответа нет.

Рассказывает Стэнли Креймер:

«Мой девятилетний сын учится в школе — это в Калифорнии. В один прекрасный день приносит мне из этой самой школы письмо с вопросом: «Как, по Вашему мнению, будет лучше в случае атомного нападения — чтобы Ваш сын оставался в школе? Или Вы предпочитаете забрать его сразу после объявления тревоги домой?» Когда получишь письмоцо вроде этого, то остается только одно: снять такую картину, как «На берегу»...»

Художник и поступил как художник.

Продолжать жить, как жил, несмотря ни на что, любя, дружа, сострадавая, — эта прекрасная и трудная норма куда как злободневна в наши дни, и, кажется, у современного режиссера просто не было возможности — или, по крайней мере, права — прочесть «Пир во время чумы» вне забот и тревог века, в котором мы продолжаем жить. Впрочем, возможность-то как раз была и, наверное, будет, мы в этом убедились вполне наглядно: вот он, Вальсингам, победитель (ч е г о?), в котором только что болезненно пробудили память о гибели близких, патетически декламирует: «Итак, — хвала...» — и торжествует свою выморочную победу (на д ч е м? Над Чумой? Но победы нет и не предвидится, и восславляет он Царицу Чуму так, как беспардонно или в опьянении самообмана льстит покорителю покоренный).

Это не по-современному, не «по-нашему»; это и не по-пушкински, наперекор драма-

тургической структуре маленьких трагедий, которая содержит не внешние конфликты, легко доступные зрелищности, но конфликты внутренние, душевные, духовные, трудно воплощаемые (тем, однако, соблазнительнее это вожденное и возможное воплощение). В который раз скажу: надо искать, надо найти автора, надо ощутить и каким-то манером выразить ум и волю создателя пушкинской драматургии. Каким манером? Как? Как угодно, по-всякому: вовсе не обязательно столь телевизионно-конкретно, как это сделал Эфрос; эту необязательность, кстати, и доказал Захаров, обошедшийся — даже на телевидении — без Ведущего, но понявший законы, по которым живут драмы Пушкина, и, стало быть, его самого почувствовавший и воплотивший.

Итак...

Но вовсе не для того, чтобы итожить, написал я эту статью. Ни права у меня такового нет, ни желания, ни объективной возможности.

Вполне сознавая скромный практический результат моих «размышлений и разбора», я понимаю, что итог тут может быть только один, не от меня зависящий: долгожданный успех пушкинского спектакля, сценическое решение мучительной «пушкинской проблемы». Успех и решение, которые, можно надеяться, приближены, а не отдалены поучительными удачами и неудачами телеверсий «Бориса Годунова» и маленьких трагедий, ибо тут сказалась не только специфика телевидения, какую бы роль ни сыграла она в воплощении «Годунова»; «маленький ящик» не отобрал успех у сцены, а всего лишь обнажил возможность живой театрализации неподатливой пушкинской драматургии.

Не зря я неоднократно замечал и как мог

подчеркивал совпадение или хоть близость театральных и телевизионных решений и догадок. Не зря, впрочем, и то, что удачи на телевидении достигли режиссеры театральные, не совсем отрясшие со своих ног прах сцены.

Мне кажется, вообще дело не только в естественной обиде за то, что гениальные произведения, писанные для сцены, пока еще не нашли на ней достойного приема. Предполагаю другое: сценический успех пушкинских драм нужен не одному Пушкину, даже не одним зрителям, — он нужен самому театру, дабы тот более четко осознал себя, более трезво и в то же время возвышенно оценил свои действительные возможности.

Потому что когда на сцене имеют заслуженный успех произведения, той или иной своей стороною заставляющие вспомнить об особенностях именно драматургии Пушкина, о ее форме и ее смысле (допустим, поэтические спектакли, драмы-диспуты, пьесы неоднородной, сложной структуры и т. д. и т. п.), возникает коварное, но, вероятно, небезосновательное соображение: коли так, то, может быть, наиглавнейшая причина рокового неуспеха — это сама по себе гениальность «Годунова» или маленьких трагедий? Нагруженность их высочайшим — и потому непременным — смыслом? Концентрация достоинств, которой театр боязливо сторонится?

Но искусство, которое хочет совершенствоваться, не может ставить себе подобных ограничений. И, если на то пошло, судьба драматургии Пушкина в какой-то степени и судьба самого театра. Его путей, его развития, его ресурсов.

Вряд ли я преувеличиваю. Просто — конкретизирую...

ЖИЗНИ И ЖИЗНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Мэлор Стура. Вся рать советологии. — Татьяна Иванова. Одна земля, одна любовь. — В. Каверин. Проза Пастернака.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Ю. Орфеев. Ложные метафоры и компьютер.

Литература и искусство

ВСЯ РАТЬ СОВЕТОЛОГИИ

А. Белаяев. Идеологическая борьба и литература. Критический анализ американской советологии. Изд. 3-е, дополненное. М. «Советский писатель». 1982. 462 стр.

В центре Вашингтона неподалеку от белокаменного конгресса США, где-то на границе между севером и югом американской столицы, стоит здание из потемневшего от времени кирпича. Своей архитектурой — в особенности круглыми башенками — оно сильно напоминает средневековые шотландские замки. Но, несмотря на подобную внешность, его населяют не рыцари, а ученые мужи. Замок — снаружи, храм науки — внутри. Под его сводами помещается Вильсоновский центр, нареченный так в честь президента Вудро Вильсона.

В течение почти шести лет я был усердным посетителем открытых чтений, симпозиумов, коллоквиумов, семинаров и так далее, которые здесь проходили под эгидой института Кеннана. Естественно, меня в первую очередь интересовали те программы, которые так или иначе были связаны с Советским Союзом — его политикой, историей, искусством, литературой, образом жизни. Надо сказать, что эти программы явно преобладали среди других и отличались удивительным разнообразием. Их амплитуда была на редкость всеохватной — от внешнеполитических установок XXVI съезда КПСС до фольклора Севера России, от советской военной доктрины до, скажем, способов вышивания в дореволюционной Астраханской губернии. Но вот что

показательно: о чем бы ни шла речь — о советских ракетах или о допотопных прялках, о наших дипломатических демаршах или о старославянской грамматике, — выступавшие умудрялись-таки сводить свои, казалось бы, сугубо научные и даже начисто отвлеченные от злобы дня доклады к неперемнным резюме, звучавшим парфразой знаменитого изречения Катона. Как известно, сей древний римлянин все свои выступления в сенате независимо от их содержания заканчивал одним и тем же рефреном: «Карфаген должен быть разрушен».

То же самое происходило и с американскими катонами, витийствовавшими под сводами Вильсоновского центра. Даже лекцию о разнице в покрое платья у половцев, живших на Кавказе и в своих степях, они ухитрялись подытоживать призывом: «Советский Союз должен быть разрушен». Я, конечно, преувеличиваю, но ненамного, лишь настолько, чтобы лучше оттенить пафос докладов, их магистральную направленность. А были они вполне однозначными. Слушая иногда сообщения о самых что ни на есть заоблачных материях, я думал про себя: «Любопытно, удастся ли автору и на этот раз спланировать с далеких эмпирей на грешную землю антисоветизма и антикоммунизма?» Как правило, это господам советологам и кремленологам удавалось,

правда, в ущерб логике, даже элементарной, и здравому смыслу. Но это мало кого заботило. Искусство клеветы, как и любое другое искусство, требует жертв. А на антисоветский алтарь в Вашингтоне их приносят воистину в раблезианском изобилии. Что там логика и здравый смысл! Закланию подвергается все и вся...

О бдениях в Вильсоновском центре, весьма поучительных, хотя и однообразных в своем разнообразии, я вспомнил невольно, но мгновенно, читая книгу А. Беляева «Идеологическая борьба и литература», снабженную подзаголовком «Критический анализ американской советологии». Вспомнил буквально с первой страницы и не только потому, что там приводится цитата из Вудро Вильсона, имя которого носит замок антисоветских крестоносцев. А цитата весьма примечательная. Президент Соединенных Штатов, явно охваченный паникой, вызванной победой Великого Октября, говорил, вернее, заклинал: «Мы должны дать себе ясный отчет о том, что весь мир охвачен революцией... направление умов во всех странах таково, что может вызвать падение правительств, если мы не успокоим мир... Каждый день мое сердце обливается кровью, когда я думаю о том, что делается в России: та же опасность грозит и всему миру. Мы должны позаботиться о том, чтобы форма «народного правления» не привилась у нас или где-либо в другом месте».

Книга А. Беляева интересна и ценна тем, что она вскрывает абсолютный параллелизм в действиях различных отрядов сил мировой реакции, пытавшихся и продолжающих пытаться задушить, говоря словами Черчилля, «гидру революции». Буквально с первых же дней провозглашения советской власти в Питере, когда Антанга начала свой крестовый поход против молодой Советской республики, вместе с пушками четырнадцати империалистических государств заговорили и «музы» оруженосцев антисоветизма. Если первые били по нашим городам, по Красной Армии, то вторые вели огонь по нашей идеологии, включая не в последнюю очередь литературу. И те и другие — и пушки и музы — стремились каждый в своей сфере выполнить задачу, поставленную Вудро Вильсоном: «успокоить мир», задержать распространение социализма. Мы знаем, как выглядело «успокоение мира» огнем и мечом. Знаем мы и то, как его добивались методами клеветы и идеологических диверсий. Именно об этом, о последнем — книга А. Беляева.

Выше я упомянул о параллелизме. Быть может, это не совсем точно. Ведь параллельные линии не пересекаются, а вот идеологический крестовый поход против социалистической культуры тесно переплетается с иными, включая силовые — агрессивные и подрывные, формами борьбы мировой реакции против нас. Иногда это переплетение носит даже персонифицированный характер: вчерашние палачи перекалифицируются в сегодняшних магистров «изящных искусств». Не счастье, сколько рыцарей «плаща и кинжала» — сотрудников ЦРУ и других западных спецслужб — носят одновременно и профессорские мантии...

Автор рецензируемой книги убедительно вскрывает общие корни социального заказа американских советологов начиная от ветхозаветных патриархов Макса Истмена и Глеба Струве до новозаветных апостолов, имя которым — легион, в отличие от двенадцати библейских. Каждый этап в жизни нашей страны, а следовательно, и в жизни нашей литературы — военный коммунизм, нэп, первая и последующие пятилетки, Великая Отечественная война, послевоенный период: «холодная война» и полоса разрядки, новое усиление международной напряженности — трактуется, точнее, искажается советологами с целью подорвать веру мировой общественности в идеи социализма, скомпрометировать и похоронить их. В чисто литературной сфере, как показывает автор, речь идет о борьбе против коммунистической идейности и партийности художественного творчества, против подлинно народной культуры, формирующей политический и нравственный облик человека нового, социалистического общества.

Впрочем, определение «чисто литературной» следует понимать в весьма узком смысле слова. Советологи, ратующие на словах за «чистое искусство», проповедующие его «деполитизацию», «дейдеологизацию» и так далее, в действительности хотят добиться нашего морального и идейного разоружения. Но сами-то они держат свой порох сухим. И пахнет этот порох отнюдь не розами, над которыми рассыпаются трелями и истекают слезами канонические соловьи.

Кстати, на современном этапе, в особенности после знаменитой речи, произнесенной президентом Рейганом прошлым летом в английском парламенте, крестоносцы-советологи сбросили и без того обветшалые одежды «дейдеологизации» и занялись усиленной «реидеологизацией» своей деятель-

ности, которая так же сопрягается с подлинной культурой, как крылатые ракеты с соловьями.

Вот один пример для иллюстрации. В книге А. Беляева имеется глава «Советская литература в кривом зеркале журнала „Проблемы коммунизма“». В ней рассказывает о малопочтенной деятельности этого ведущего антикоммунистического листка, издающегося Информационным агентством США. В частности, автор уломинает о тщетных попытках редактора журнала Абраама Брамберга, между прочим, кадрового разведчика, «наводить мосты» — привлекать к сотрудничеству в своих «Проблемах...» советских авторов. Было это в период так называемой деидеологизации. А вот нынешний редактор журнала — отчаянный «реидеологизатор» Смит — говорил мне, резко, озлобленно, даже кровь прилиwała к его лицу, что ни один советский автор не будет допущен на его страницы, ибо «вы занимаетесь пропагандой, а не наукой или культурой». Вот так-то! Конечно, времена меняются, но и «наведение мостов» и взрыв оных — лишь различные формы одного и того же — попыток антикоммунистической рати подорвать наши идеологические тылы, посеять разброд и шатание в умах людей, чтобы пожать плоды крестового похода против социализма и первой страны, построившей его, — Советского Союза.

Несмотря на то, что книга А. Беляева носит характер исторического экскурса, каждая ее глава, каждая страница — животрепещущи. Выход ее в свет крайне своевременен. В Вашингтоне, в том числе и в Вильсоновском центре, буквально каждый день устраиваются те или иные сборища идеологических крестоносцев — антикоммунистов, такие, как, например, конференция «Новые направления во внешней политике США», организованная Информационным агентством Соединенных Штатов (ЮСИА); провозглашается идеологическая диверсионная операция «Истина»; принимается, освещенная государственным департаментом и Белым домом, «Программа демократии и публичной дипломатии», которую правильнее было бы именовать программой реакции и публичного поношения социализма и коммунизма; инсценируется еще одна конференция, на сей раз «по свободным выборам», и так далее. И везде и всюду из-под академических шапочек советологов и кремленологов торчат длинные уши ЦРУ, а их профессорские мантии от-

тощивают не столько стило, сколько стилет.

Книга А. Беляева — глубокое научное исследование и одновременно образец боевой публицистики — показывает, откуда дуют все эти ветры, крылья каких мельниц движут они и какие зерна мелют их жернова. Автор убедительно разоблачает псевдообъективистские концепции о том, что якобы революция «погубила русскую культуру, уничтожила великую литературу России», опровергает затасканный тезис о враждебности Октября художественному творчеству, показывает, как правда жизни, опрокидывая ложь советологов, прорывает интеллектуальную блокаду, возведенную вокруг социалистического содружества наряду с блокадой военной и торгово-экономической.

...Один из американских советологов старшего поколения, Марк Слоним, в своей работе «Русская советская литература. Писатели и проблемы» назвал Союз советских писателей «литературным Пентагоном». Делая это броское сравнение, Слоним писал его с натуры, но только не с советской, а... американской. Это видно хотя бы уже из контекста. Послушайте и убедитесь сами: «...Союз писателей — литературный Пентагон — направлял дела точно так же, как любой совет управляющих руководит промышленным концерном». Характерная оговорка, или, как говорят фрейдисты, «срыв с языка»! Ведь советы управляющих промышленных концернов не наша, а американская действительность. Литературным, или скорее идеологическим, Пентагоном как раз и являются советология и кремленология. Такое сравнение тем более правомерно, что идеологический Пентагон, подобно своему реальному прообразу на берегах Потомака, проповедует идеи членовеннавистничества, а не гуманизма, идеи войны, а не мира, идеи вражды между народами, а не дружбы. Нет, это не социалистический реализм опустил «культурный занавес», это реакционный романтизм обитателей «средневековых замков» вроде Вильсоновского центра пытается опустить занавес лжи и клеветы между народами, их культурами и литературами.

Таковы выводы книги А. Беляева, которая привлекает и убеждает не только разоблачением сил вчерашнего дня, но и утверждением сил дня завтрашнего, коммунистического.

Мэлор СТУРУА.

ОДНА ЗЕМЛЯ, ОДНА ЛЮБОВЬ

Михаил Колосов. И себе и людям. Повесть. «Октябрь», 1982, № 7.

Повесть невелика. В ней показана жизнь одной семьи в рабочем поселке. Как принято говорить, «время действия — наши дни». Страстей особых нет, о любви еще надо суметь прочитать, потому что само слово «любовь» не произносится, жизнь идет трудовая, обыкновенная, будничная...

Повесть «И себе и людям» начинается с уютных картинок.

Вот сидит на низенькой скамеечке Иванова мать (Иван — это главный герой) Марфа Романовна. Масло сбивает. А вокруг нее расположились внук и внучка, рядом кот подремывает. Масло ждут. Романовна всех угостила, кот не забыла. «Она отщипнула мякишу, обмазала его тонким слоем масла — разве что для запаха только, бросила в угол. Кот, мурлыча, принялся за еду».

Все это в самом начале. Дом у главного героя — неперделанное дело, бесконечное. Потому что и огород, и корова, и поросенок. А настоящий работник он один. Жена больная совсем. Мать старая. Да ребят двое, малых. Ну, все, конечно, работают по хозяйству, так принято, так заведено. По пословице «на этом свете не доработаешь, на том не отдохнешь». По привычке, по обыкновению: так было положено у отцов, у дедов, у прадедов — работать, вести на земле хозяйство, трудом добывать хлеб свой насущный, пока есть силы. По нравственному чувству: праздность в будние дни постыдна русской душе. По необходимости, наконец: на зарплату железнодорожного рабочего, пожалуй, невозможно досыта кормить семью мясом, маслом, сметаной, овощами, салом, соленьями и вареньями. Законы арифметики — из самых незыблемых земных законов...

Работают в этой повести спокойно, без надрыва — но непреложно и беспрерывно. И все жалеют друг друга и берегут как могут. И городская родня любит ходить сюда со своими ребятишками.

Писатель решает трудную задачу: на коротком пути повести он проживает со своими героями долгие годы. Повествование сжато, конспективно. Но конспективность эта оправдана еще и характерами его героев. Они не умеют рассуждать о своих чувствах, изливать душу, вслух горевать и терзаться. Они немногоречивы и просты.

...Через год после смерти жены Иван приводит в дом Нину. Новую жену? Другую невестку? Молодую хозяйку? Это бы

все полбеда. Мачеху. Мачеху он приводит, вот что страшно.

«С детьми поздоровалась — не за руки, а так, потрогав их: Гришку за плечо, а Зинке пригладила челочку. И остановилась посреди комнаты, обращая ко всем сразу: — Вы простите... — Она развела пустые руки в стороны. — Мы прямо с работы. Даже не переделась, без гостинцев... Ваня настоял вот... Привез на смотрины...»

Потом Иван на двое суток сменился и перевез Нину в новый дом насовсем. Она подарила Грише — старшему сыну — приемник, а Зине куклу.

«Нина покачала куклу, та запищала. Зинка заулыбалась, прижала куклу к груди.

— Что надо сказать? — напомнила бабушка.

— Спасибо...

— Ну, вот и вся свадьба, — заключил Иван.

— Дай бог вам счастья, — Романовна перекрестила Ивана и невестку. — Живите».

И стали жить. Тяжко, всем тяжело... Но только эскизом, намеком, двумя-тремя словами Колосов рассказывает нам о сердечной муке каждого... Маленькая Зинка убежала из дому. Иван пытается ее почему: «Она тебя ругала, била?» — «Не...» — «Есть не давала?» — «Давала...» — «Ну, что она тебе сделала такого, что ты обиделась на нее?» — «Ниче...» — «Почему же ты убежала?» — «А почему она у нас живет?» Иван в ответ только крякнул».

Иван едет по своему поселку и видит соседа Неботова за каким-то странным занятием. Что-то возится он со стожком прошлогоднего сена и с какими-то несуразными стропами, узкими и высокими, будто собирается ладить крышу на немецкий манер. Покурили, разговорились потихоньку. И Неботов открыл соседу секрет своей необычной постройкой: «Корову хочу спрятать... Сделаю маленькую клуныку и замаскирую ее под стожок... Стожок и стожок... А внутри — она... Кизяки по огороду буду разбрасывать... Ночью стогню в поле, попасу, а к утру опять сюда».

Писатель не пускается в рассуждения о том, что этот «стожок» произведет в душах тех, кто будет знать о нем. Всякий, кто будет это читать, рассудит и перечувствует все по-своему. Исходя из своего жизненного опыта.

Так же по-своему каждый прочувству-

ет и историю любви Ивана и Нины. А что же, думаю я, это было, если не любовь?.. Прожита вместе жизнь, выросли дети, для которых родной дом остался родным домом, Иван — отцом, а Нина родным человеком... Как-то ведь это сумели они, нашлись у обоих душевные силы, терпение, жизненная мудрость, теплота. Вот они старые оба, повесть к концу и жизнь к закату — а стоят у крылечка вместе Иван, седой и сильный человек, и Нина с ним рядом, немногословная, застенчивая, худенькая. Улыбаются, детей и внуков встречают. Что же помогло людям пройти вместе такой путь, что, кроме любви, что, если не она?

У любимых героев Колосова очень тверда нравственная основа, предельно развито чувство долга. Нет, никто в повести не говорит красивых слов о смысле жизни. Но назовите это как хотите: высокие идеалы, стремление выполнить свое земное предназначение, праведность — такие черты усматриваю как читатель в главном герое повествования. Сттого и хочется быть с этим человеком вместе, хоть погостить, если уж нельзя пожить, в его доме. Хочется работать с ним, дело делать. Потому что веришь: все надежно, все по-человечески в нем.

...Сегодня у всех у нас на устах слова «Продовольственная программа». Что-то сдвинулось на нашей земле и пошло, и пошло, задевая постепенно, по очереди, но неизбежно всех, всех, всех. Какую роль в выполнении Продовольственной программы может сыграть писательское слово? А немалую. Видимо, в честном и ясном взгляде на окружающую жизнь, на ее проблемы, в изучении этой жизни и ее проблем — первая задача писателя. Колосов написал свою повесть раньше, чем слова «Продовольственная программа» прозвучали, но

будто бы угадал, предвидел, что именно таким словам предстоит материализоваться.

Главный герой повести Иван Павлович, которого не зря так искренне любит писатель, через все испытания прошел, сохранив основу своей натуры: неспособность к бездельной, ленивой жизни, отвращение к праздности. Разве можно так, как у иных, — и в будни и в праздники одно домино! Вот навстречу идет уполномоченный, говорит, что надо бы скотину разводить, давай, мол, Иван Павлович. Голова у Ивана Павловича теперь вся белая, «жизнь прошла», сил мало, сын его Гришка, которому когда-то корова для красоты лизала чуб, теперь ни про какую корову и слышать не хочет, я, говорит, лучше в очереди за молоком постою... Но уполномоченный говорит «надо», и Иван Павлович отвечает: «Да я ж понимаю, что надо».

И он берет за дело, Иван Павлович. И своим спокойствием, надежностью, уверенностью в том, что на земле надо дело делать, трудиться сколько хватит сил, будто всех вокруг заражает. Верная Нина рядом, они ведь всегда вместе. Вот и доминошники, кажется, немного смущены, стыдно сидеть сложа руки рядом с трудящимся людом. И маленький внук крепко держит деда за руку: не хочется уезжать из дедова дома, из сада, от простора.

Герои повести Михаила Колосова «И себе и людям» не разлюбили, да и не смогут никогда разлюбить землю. Их любовь, как всякая настоящая любовь, деятельна. И земля, живая и добрая наша земля, на эту любовь отзывается. Она цветет и плодоносит в ответ на их труд и заботу. Она одаривает их не только плодами, но и здоровой усталостью, сладким отдыхом. А главное, ощущением правильности жизни.

Татьяна ИВАНОВА.



ПРОЗА ПАСТЕРНАКА

Борис Пастернак. Воздушные пути. Проза разных лет. М. «Советский писатель». М. 1982. 495 стр.

Издательство «Советский писатель» выпустило в свет сборник прозы Пастернака, составленный из очерков, воспоминаний, рассказов и из эссе, посвященных французским, английским, грузинским поэтам. Последовательность текстов основана на хронологии. Вступительная статья

принадлежит одному из глубоких историков литературы — Д. С. Лихачеву. Иллюстрации, простые и изящные, принадлежащие отцу поэта, известному художнику Л. О. Пастернаку, умело распределены по тексту.

Проза Пастернака сложна, трудна для

чтения, полна своеобразных мыслей, заставляющих задуматься над основными чертами русского искусства. Она не похожа на любую другую прозу. Прежде чем попытаться рассказать о ней, стоит, мне кажется, рассказать то небольшое, что мне запомнилось о ее авторе. Впечатление от личности Пастернака может дополнить и углубить впечатление от книги.

Мы были знакомы еще в 20-х годах, но только в послевоенные годы, когда, живя в Переделкине, мы стали встречаться у Всеволода Иванова или на прогулках, у меня появилась драгоценная возможность разобраться в нем или, по меньшей мере, в своих впечатлениях. И я сразу должен признаться, что это была почти непосильная для меня задача. В любом обществе — а у Ивановых бывали первоклассные писатели, художники, артисты — между Пастернаком и каждым из нас было необозримое пространство, нечто вроде освещенной сцены, на которой он существовал без малейшего напряжения. Неизменно веселый, улыбающийся, оживленный, подхватывающий на лету любую мысль (если она того стоила), он легко шагал к собеседнику через это пространство, в то время как собеседник еще только примеривался, чтобы сделать первые робкие шаги. Видно было, что каждый день для него — подарок, а каждая минута, когда он не работал, — не пустая трата времени, а отдохновение души. «Озверев от помарок», — написал о нем Маяковский. Мне же думается, что Пастернак радовался помаркам, которые слетались к нему, как птицы. Праздничность была у него в крови, а так как он не был похож ни на кого другого, эта праздничность принадлежала только ему, хотя он охотно делился ею со всеми.

Признаюсь, что, встречаясь с ним случайно, на прогулках, и как будто продолжая давно (или недавно) прерванный разговор, я уже через пятнадцать минут почти переставал понимать его — мне не под силу было нестись вслед за ним без оглядки, прыгая через пропасти между ассоциациями и то теряя, то находя ясную (для него) и лишь чуть мерцающую (для меня) мысль.

Он всегда был с головой в жизни, захватившей его в этот день или в эту минуту, и одновременно — над нею и в этом «над» чувствовал себя свободно, привольно. Это не противоречило тому, что сказала о нем Ахматова: «Он награжден каким-то вечным детством...»

Начало этого вечного детства изображено в повести, показавшей ту черту его да-

рования, которой он почему-то почти не воспользовался в прозе, — способность к преображению. Я говорю о «Детстве Люверс». В этой ранней повести он каким-то чудом сам как бы становится тринадцатилетней девочкой, переживающей сложный переход к отрочеству и первый проблеск женского существования. Там впервые переживание соединилось с размышлениями о нем, а впечатление — с поисками своего места в жизни. Там «внутри» и «над» пересекаются в мучительном росте детского сознания. Это пересечение, или, точнее, скрещение, впоследствии стало, мне кажется, характерной чертой Пастернака. Трудно доказать это на примере. Но вот случай, который, кажется, может подтвердить мою мысль.

Однажды у Ивановых после веселого ужина с тостами, шутками, с той свободой общения, когда собеседники любят и уважают друг друга, все стали просить Бориса Леонидовича почитать стихи. Он охотно согласился — в этот вечер он был особенно оживлен. Не помню — да это и не имеет особенного значения, — что он читал своим глуховатым, гудящим голосом, который, как и все связанное с ним, был единственным в своем роде. Важно то, что он забыл на середине свое длинное стихотворение и, несколько не смутившись, стал продолжать рассказывать его, так сказать, в прозе. Но это были уже не только стихи, но и то, что он думал о них. Это было скрещение «над» и «внутри», особенно прелестное, потому что ему было еще и смешно то, что он забыл свои стихи и теперь приходится пересказывать их «своими словами».

...Однажды, когда я проходил мимо его дачи, он как раз вышел из калитки, мы поздоровались, и он сказал с оттенком извинения:

— Я не могу с вами гулять, доктора велели мне ходить быстро.

Ничего не оставалось как проститься и расстаться. Я прошел дальше, вдоль так называемой Неясной поляны, и, возвращаясь, снова встретил Бориса Леонидовича. По-видимому, он уже забыл, что доктора велели ему ходить быстро, и, остановившись, разговорился со мной. Помнится, мы почему-то заговорили о музыке, долго гуляли, ни медленно, ни быстро, а когда расставались, упала звезда, и он спросил меня:

— Загадали желание?

— Нет, не успел.

— А я успел, — с торжеством сказал Борис Леонидович. — А я успел! Она же долго падала, как же вы не успели?

Пастернак десятилетиями почти безвыездно жил в Переделкине, но жил так, как будто сам создал его по своему образцу и подобию. В 1935 году в Париже, на Всемирном конгрессе «В защиту культуры», он вел себя, по словам Эренбурга, очень странно: «Он сказал мне, что страдает бессонницей... Он находился в доме отдыха, когда ему объявили, что он должен ехать в Париж. С трудом его уговорили сказать несколько слов о поэзии. Наспех мы перевели на французский язык одно его стихотворение. Зал восторженно аплодировал» («Люди, годы, жизнь»).

Илья Григорьевич подробнее рассказал мне о Пастернаке в Париже. Борис Леонидович был всем недоволен, даже распорядком дня, привычным для любого француза. Восторженные аплодисменты раздались не только после, но и до его речи, едва он открыл рот, прогудев нечто невнятное, я знал этот глухой звук, которым он прерывал себя, находясь в затруднении.

— Этого было достаточно, — сказал Илья Григорьевич, — чтобы почувствовать поэта.

Вот что сказал тогда Пастернак:

«Поэзия останется всегда той, превыше всяких Альп прославленной высотой, которая валется в траве, под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли; она всегда будет проще того, чтобы ее можно было обсуждать в собраниях; она навсегда останется органической функцией счастья человека, переполненного блаженным даром разумной речи, и, таким образом, чем больше будет счастья на земле, тем легче будет быть художником».

— Он вел себя так, как будто сперва должен был создать свой Париж, а потом жить в нем по-своему и уж во всяком случае не так, как живут французы, — рассказывал мне Эренбург.

Однако пора оставить воспоминания и вернуться к долгожданной книге, изданной так заботливо. Д. С. Лихачев в своей статье неопровержимо доказал, что «поэзия Пастернака тоскует по прозе, по прозаизмам, по обыденности». Но как явление искусства проза эта осталась непроясненной в статье, и развитие ее от блистательных открытий молодости до «неслышанной простоты» в зрелые годы еще ждет своего исследователя. На концепцию еще трудно решиться. Вот почему все дальнейшее претендует лишь на догадки и предположения.

Сюжета, в смысле движения скрещивающихся мотивов, в прозе Пастернака нет. Единственное исключение — «Воздушные пути», рассказ о событиях, смело состав-

ленных из двух картин, между которыми проходит пятнадцать лет. Содержание «Воздушных путей» можно изложить своими словами. Здесь есть если не сюжет, так по меньшей мере мотив: мост, переброшенный через пропасть. Изложить «Охранную грамоту», «Апелесову черту» — невозможно.

Герой Пастернака является перед нами со всей панорамой того, что его окружает, причем они — панорама и действующее лицо — то и дело не прочь поменяться местами. «А песчаные вихри все не унимались, дождя не предвиделось, и все мало-помалу к этому привыкли. Стало даже казаться, что это все тот же, теперь на долгие недели застоявшийся день, которого тогда вовремя не отвели в участок. Вот он и взял силу и до смерти всем осточертел. А теперь на улице его всякая собака знает. Так что если бы не ночи, еще дышавшие какими-то призрачными различьями, то следовало бы сбегать за понятиями и наложить сургучовые печати на иссякший календарь» («Повесть»).

Так фон, обильный подробностями, пропизанный ассоциациями, точный, изумляющий сравнениями, вмешивающийся в жизнь, накрепко связан с нею и одновременно живет сам по себе. Каждая картина, в сущности, стихотворение, написанное свободным стихом.

Так же изображает он не только внешний, но и внутренний мир. Разница в том, что на месте поездов, фонарей, полушубков, убранства комнат, чуда природы возникают мысли и чувства. Читатель видит весь внутренний мир героя — и то, что невнятно мелькает в сознании, и то, что запоминается навсегда.

Если несходство может дать хотя бы приблизительное представление о предмете — нет ничего более противоположного прозе Пастернака, чем детектив или театральной.

Я не хочу сказать, что Пастернак намеренно отказывается от приема, которым в течение двух последних столетий широко пользуется реалистическая проза. Герои подлинные, не придуманные, написаны без умопомрачительных ассоциаций, напротив — с трезвостью увеличительного стекла. Так «рассказан» Маяковский — со всей сложной историей отношений. Читая страницы, посвященные ему, невольно вспоминаешь знаменитое стихотворение Цветаевой:

Превыше крестов и труб,
Крещенный в огне и дыме,
Архангел-тяжелоступ —
Здорово в веках, Владимир!

Но отношение Цветаевой к Маяковскому выразилось в блестящем, «объективном» портрете. А для Пастернака поэзия и личность Маяковского — это полнота безусловного признания и столь же безусловного противостояния. Спор и примирений. Сознания полной бездарности по сравнению с ним и столь же полного отрицания многого из того, что Маяковский написал в 20-х годах. Тут уж ничего не было «над». Тут не до неожиданных ассоциаций. Не до чуткого прислушивания к «чужому». Тут уж все было кровное, свое. Тут надо было представить Маяковского в той степени вещественности, которой никто, кроме него, не был достоин. «Он существовал точно на другой день после огромной душевной жизни, крупно прожитой впрок на все случаи, и все заставляли его уже в снопе ее бесповоротных последствий. Он садился на стул, как на седло мотоцикла, подавался вперед, резал и быстро глотал венский шницель, играл в карты, скашивая глаза и не поворачивая головы, величественно прогуливался по Кузнецкому, глуховато потягивал в нос, как отрывки литургии, особенно глубокомысленные клочки своего и чужого, хмурился, рос, ездил и выступал, и в глубине за всем этим, как за прямою разбежавшегося конькобежца, вечно мерещился какой-то предшествующий всем дням его день, когда был взят этот изумительный разгон, распрямлявший его так крупно и непринужденно».

Именно так — крупно и непринужденно — был разгадан этот характер гениального поэта, разгадан, потому что для Пастернака жизненно необходимо было его разгадать. Он сделал это, охватив на трех страницах громадный душевный мир, существование которого долго не давало ему покоя. Он написал о его жизни и смерти, напомнив нам краткостью и содержательностью этого текста древние русские летописи, авторы которых думали не о причинности «дела», а о его сущности и свершении.

Смертью Маяковского кончается «Охранная грамота», и последние ее страницы заставляют одним взглядом охватить все написанное Пастернаком в прозе. Ее можно разделить так: написанное о себе и написанное о других. Но написанное о других и по-иному тоже полно догадок, мыслей и вдохновения автора. Он не в силах уйти от себя, и, может быть, именно это было самой характерной чертой его дарования. Читатель для него — прежде всего корреспондент, от которого он ждет ответа. Форма письма — для него, может быть,

самая легкая и деятельная форма. Он оставил сотни, если не тысячи писем к отцу, к грузинским и русским друзьям, к двоюродной сестре Ольге Фрейденберг, к случайным и неслучайным знакомым. Если бы погибла вся его стремившаяся запомниться наизусть поэзия — он остался бы в истории литературы и философии как автор этих ни на что не похожих писем.

Но пора наконец сказать, как менялся всегда остававшийся самим собою поэт. Он стремился к простоте, и в поэзии простота удалась. В молодости поэзия Пастернака была так сложна, изящна, точна, разнонаправленна, так разговорна, что простота далась ей сравнительно легко. У нее было то, что можно было переступить, и, отказываясь от своей сложности, она только выигрывала. Другое дело — проза. В ней не было ничего, что заслуживало бы преодоления. Почти не было придуманных, составленных и тем не менее «живых» характеров, не было обдуманного сюжета, не было энергичной связи отношений. Отдельные удачи были сильны новизной, не стремившейся к развитию. Герои рассказа «Воздушные пути» только названы и как будто намеренно не избражены. Проза рвалась на клочки, оставалась незаключенной, не писалась («Три главы из повести», «Начало прозы 1936 года»). Вот почему так важен очерк «Люди и положения», заключающий книгу. Зачем написан этот очерк? Для того, чтобы доказать себе, что проза, которую Пастернак ставил выше поэзии, должна быть простой, как правда.

Пастернак всегда ссорился с собой — это и было сущностью его поступательного движения. «Люди и положения» — свидетельские попытки поссориться с собой всерьез. В первых же строках Пастернак отказывается от «Охранной грамоты». Теперь ему кажется, что она «испорчена ненужной манерностью, общим грехом тех лет». Но положите рядом страницы этих двух автобиографических очерков — вам сразу станет ясно, что в ранних воспоминаниях с волнующей силой выражена любовь к Скрябину, любовь к музыке, которой были отданы шесть лет, а в поздних — дана лишь информация об этой любви. Можно указать много подобных примеров.

Трудно отказаться от мысли, что, упрекая себя в «манерности», с которой написана «Охранная грамота», Пастернак с волей выплескивает ребенка. Опустить историю любви, подсказавшую «Марбург»,

стихотворение, которое любил цитировать Маяковский?

...В тот день всю тебя, от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму

Шекспинову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.

Нет, с этим согласиться нельзя. «Охранная грамота» рассказывает о смерти Маяковского с вещественной полнотой, с новым, глубоким пониманием значения поэта в литературе и жизни.

Второй автобиографический очерк не отменяет первого. Он дополняет его. И это естественно — между ними прошло без

мало тридцать лет. Но простота правды не может заменить размаха молодости, набирающей силу.

Книга прозы Пастернака повидается своевременно. Она энергично вмешивается в наши споры. Школа прозы, которую он учился писать всю жизнь, ясно показывает, что скороспелость, которая свойственна многим произведениям, — прямая причина их столь же быстрого забвения. Впрочем, можно, усердно поработав два или три десятилетия, ничему не научиться. Но стоит рисковать.

В. КАВЕРИН.



Политика и наука

ЛОЖНЫЕ МЕТАФОРЫ И КОМПЬЮТЕР

Дж. Вейценбаум. Возможности вычислительных машин и человеческий разум. От суждений к вычислениям. Перевод с английского. М. «Радио и связь». 1982. 368 стр.

Автор этой книги — профессор Массачусетского технологического института, один из ведущих специалистов в области искусственного интеллекта. Он стал широко известен в компьютерном мире благодаря тому, что разработал очень сложную программу для вычислительной машины, способной «беседовать» с человеком (причем не на условном, машинном языке, а на обычном английском). Эта машина, как и Элиза из знаменитого «Пигмалиона», могла обучаться «говорить» все лучше и лучше.

«Элиза» Вейценбаума вела разговор о варке яиц, ведении счетов в банке и даже имитировала психотерапевта, да так, что больные после диалога с «Элизой» чувствовали себя лучше и не хотели верить, что они беседовали с машиной. Разумеется, ЭВМ не понимала ни ответов, ни вопросов, которые ей задавали, — она просто искусно «играла роль» человека благодаря сложному программному обеспечению, которое вложил в машину ее создатель.

«Элиза» приобрела популярность в США, и, по свидетельству Вейценбаума, ряд практикующих психиатров всерьез поверили, что программа «Доктор» (как ее стали называть) может перерасти в почти полностью автоматизированную форму психотерапии. Тем не менее успех программы озадачил ее автора, поскольку люди, разговаривающие с «Доктором», вольно или невольно вступали в эмоциональный контакт с вычислительной машиной. Большинство из тех,

кто имел доступ к этой программе, знали и понимали ее ограниченность и все же надеялись ее человеческими качествами. Более того, реакция на «Элизу»-«Доктора», как считает Вейценбаум, «показала, что даже высоко образованная публика способна и стремится приписывать не понимаемой ею технике чрезвычайно преувеличенные возможности».

Антропоморфизация компьютеров имеет глубокие корни в природе самих компьютеров, так как сущность их работы нелегко представить по аналогии с работой других машин, так как трудно ответить на вопрос, что же делает ЭВМ, когда она работает. Например, пишущая машинка пишет буквы, самолет летает подобно птице, стиральная машина стирает белье и т. п. А что делает компьютер? Способен ли он думать, как человек (хотя бы в принципе)?

Иногда инженер, раздраженный романтизацией компьютера, может сказать, что он лишь складывает числа. Но такая характеристика не полна. Компьютер в состоянии перерабатывать не только числа, числами же лишь кодируется то, что он перерабатывает. Компьютер выполняет любое преобразование символов, которое можно описать эффективной процедурой, то есть алгоритмом. Однако это определение, в свою очередь, мало что проясняет в отношении человека к ЭВМ.

Подобные проблемы заставили Вейценбаума всерьез заняться философскими и соци-

альными аспектами искусственного интеллекта, системного анализа и компьютеризации человеческой деятельности, следствием чего и явилась потребность написать данную книгу. Но в отличие от многих своих коллег, на все лады рекламирующих успехи искусственного интеллекта, системного анализа и выдвигающих тезис, что человеческое мышление — всего лишь процесс манипуляции символами, который легко воспроизвести на ЭВМ, автор доказывает, что компьютер, каким бы «умным» он ни был, не моделирует реальный механизм человеческого мышления. «Даже самый искусный создатель часов семнадцатого века никогда не смог бы открыть законы Ньютона, создавая все более причудливые и замысловатые часы», — считает Вейценбаум, проводя аналогию между доньютоновским часовщиком и послевоенным программистом.

В целом автор стремится показать, что сравнение ЭВМ с человеческим мозгом метафорично, что между человеческим мышлением и машинным существует принципиальное различие.

Как и почему в науку проникают ложные метафоры? Какова эвристическая функция метафоры? Это сложные и актуальные в наше время вопросы. Возможно, ложные метафоры приходят в науку из научно-популярной или научно-художественной литературы. Возможно также, что на первых порах та или иная метафора в науке играет продуктивную роль и лишь позднее становится тормозом для более глубокого понимания явлений. Так, метафора французских материалистов XVIII века «человек-машина», вне сомнения, была продуктивна для науки того времени. Но в современной психологии и физиологии данная метафора, я бы сказал, исчерпала свою эвристическую функцию и служит питательной средой для неомеханических концепций мышления и поведения человека.

Наиболее характерным случаем применения метафорической лексики в научной, а также научно-популярной литературе является ситуация, когда необходимо объяснить, описать какое-либо новое явление, феномен. О нем, конечно, можно рассказать строго научным языком, но из дидактических соображений часто используется арсенал художественных средств. Такие метафоры, замелькавшие в газетах и журналах 50-х годов, как «электронный мозг», «думающие машины», «управлять — это перерабатывать информацию», привели в конечном счете к своеобразной системно-кибернетической мифологии, поистине ставшей основой новой религии индустриального общества.

Можно, мне кажется, даже утверждать, что миф в своем развитии прошел три стадии — от зооморфизма (поклонение животным) к антропоморфизму (боги Древней Греции) и, наконец, к машиноморфизму (искусственный интеллект, думающие машины) в наше время. Именно против этих третичных мифов, рожденных, как полагает Вейценбаум, экспансионизмом инструментального мышления, направлена леволиберальная критика автора, близкая по своей эмоциональности и ценностной ориентации к контркультурному нигилизму с его постоянной апелляцией к «нерациональным способам познания», с его гневным осуждением «бесчеловечности современной науки».

Основные социально-критические темы, получившие развитие в книге, уже достаточно четко намечены автором в главе «Наука и одержимый программист». В ней дан портрет «технаря», для которого создание хитроумных программ превратилось в разновидность интеллектуальной наркомании. Одержимый программист верит, что все проблемы, встающие в человеческой деятельности, можно переформулировать на язык машинных программ, считает, что в состоянии заставить ЭВМ делать все что захочет, не понимая, что есть проблемы, к которым ЭВМ не имеет никакого отношения. Нарисованный мною портрет, пишет Вейценбаум, наверняка опознается «в любой точке мира, где есть вычислительная машина. Он (одержимый программист. — Ю. О.) воплощает разновидность психопатологии, значительно менее расплывчатую, чем, например, слабовыраженные формы шизофрении или паранойи. В то же время это чрезвычайно сильно выраженная форма расстройства, поразившая большую часть нашего общества».

Итак, автор ставит убийственный диагноз властолюбивым притязаниям технократии в лице специалистов по ЭВМ, системному анализу и искусственному интеллекту, находя затем убедительные параллели между болезненным желанием все запрограммировать на ЭВМ и маниакальным пристрастием к игре, столь убедительно описанным Достоевским в романе «Игрок». Теперь эта мания хорошо известна современной психиатрии. Действительно, многое роднит одержимого программиста с одержимым игроком, в частности отношение к неудачам. «Чтобы объяснить свое «незавезение» в определенный день, игрок может, например, сослаться на то, что он не завязал шнурки на ботинках... Объяснения такого рода формально эквивалентны предположению одержимого программиста, что его программа

не работает исключительно из-за технических ошибок, допущенных при программировании». Образ одержимого программиста-маньяка, мастерски нарисованный автором, предстает в разных ипостасях в последующих главах. Это и специалист по искусственному интеллекту и моделированию психических функций человека, не понимающий метафоричность аналогии между информационными процессами, воспроизводимыми на ЭВМ, и человеческим мышлением. Это и системный аналитик, разрабатывающий имитационную модель для анализа альтернатив при выборе решений в социально-экономической и политической сфере, но выносящий при этом за скобки этические, эстетические и психологические аспекты любого решения.

Системный дальтонизм такого рода можно иллюстрировать анекдотической историей: сотрудники одной организации жаловались, что не успевают вовремя занять свои рабочие места, так как по утрам у лифтов возникают большие очереди. Администрация поручила рассмотреть этот вопрос специалистам по исследованию операций. Те, разработав формальную модель ситуации, рекомендовали установить два дополнительных лифта. К счастью для бюджета организации, в ней работал «несистемный» психолог, который предложил существовать более простой выход — установить в вестибюле два зеркала. Когда мужчины спешили к лифтам, женщины поправляли у зеркала прически, и конфликт был исчерпан к удовлетворению как сотрудников, так и администрации.

Радикальное изменение точки зрения на проблему нередко позволяет увидеть другое ее решение, которое не следует из системной точки зрения. Этот вывод вполне серьезен и применим ко многим действительно сложным проблемам.

Нужно также всегда помнить, что истинность заключений и рекомендаций системного анализа весьма часто не может быть подтверждена экспериментом в отличие от привычной проверки практикой различных теорий в естественных науках. Быть может, это звучит несколько парадоксально. Но в прогнозировании и в перспективном планировании хорошо известен так называемый эффект самоорганизации или самоосуществления прогноза или плана. Например, накопление каких-либо ресурсов в связи с предполагаемой их нехваткой может привести именно к их нехватке, о которой говорилось в прогнозах. Банк терпит крах потому, что вкладчики, опасаясь возможного краха, изымают из банка свои вклады.

Этот коварный эффект иногда называют эффектом Эдипа (не путать с фрейдистским комплексом Эдипа). Суть его состоит в том, что предсказание реализуется благодаря самому предсказанию. Оптимальный план, полученный системным аналитиком, может выступать как фактор, организующий свою собственную оптимальность. Иначе говоря, любой план, удовлетворяющий ограничениям по ресурсам, мог бы быть оптимальным, если в его оптимальность поверят исполнители. В этих условиях системный анализ не отличается от древних псевдонаук, когда вера клиента (а точнее — доверчивость) была обязательным условием для успеха лечения или предсказания судьбы страждущих.

В практической жизни человек то и дело принимает решения и предпринимает действия еще до проведения полного анализа их последствий. К примеру, человек бреется, ориентируя бритву по зеркалу и не производя предварительного анализа ее положения в трехмерном пространстве. Подобный анализ нужен в этом случае только роботу, если он заменит нам брадоброя (что, впрочем, вряд ли). Для овладения проблемной ситуацией в процессе бритья у человека имеются более эффективные механизмы, нежели вычисление положения бритвы в трехмерном пространстве, и эти механизмы недоступны ЭВМ.

Мобилизуя системный анализ и ЭВМ для решения многих практических задач, мы сплошь и рядом забываем, что далеко не все они могут быть представлены дырками на колодах перфокарт.

Естественнонаучную, физико-математическую рациональность, механически примененную к решению собственно человеческих проблем, следует, по Вейценбауму, рассматривать «как наркотик, к которому уже выработалась привычка». В последней главе он показывает, как в условиях капитализма наука, техника превращаются в идеологию и утопию, как мощь ЭВМ, банки данных, системный анализ используются для укрепления власти правящей элиты. Криком Кассандры звучат слова автора: «...холодное и безжалостное использование «вычислительного мышления»... жестоко погубило, по меньшей мере, столько же людей, сколько пало жертвами специалистов тысячелетнего рейха. Мы ничему не научились. Сегодня цивилизация находится в такой же опасности, как и тогда».

Что и говорить, пророчество мрачное, пожалуй даже чересчур. Однако не прислушаться к нему нельзя.

Было бы, конечно, наивно думать, что

опасность, исходящая от компьютеров, о которой говорит автор, заключается в том, что в один прекрасный день умные машины порботят или уничтожат человека. Опасность, и вполне реальная, в другом — в том, что внедрение компьютеров в управление социальными процессами и благословляющая это внедрение системная идеология продуцируют в массовом сознании индустриального общества стереотипы вычислительного мышления, применение которого в решении социально-политических проблем в потенции может привести к серьезным ошибкам. Именно это должно быть понято и осознано в рамках любой формы технического мышления.

С другой стороны, как бы ни тревожила нас негативные последствия компьютеризации, они не могут заслонить то, что ЭВМ является исторически новым орудием опосредования интеллектуальных функций человека. С помощью ЭВМ человек бесконечно усиливает свои дискурсивные (то есть формально-логические) возможности. А как известно, использование новых инструментов, новых орудий, развивающих логическое мышление, преобразует и развивает и наше мышление вообще.

Ю. ОРФЕЕВ,
кандидат философских наук.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

МИХАИЛ ПАНИН. Матюшенко обещал молчать. Заводские истории. «Нева», 1982, № 8.

Читателю, вероятно, помнится сборник повестей и рассказов ленинградского писателя Михаила Панина «Чем сердце успокоится», журнальные публикации. Сейчас Панин опубликовал повесть с подзаголовком «Заводские истории». Она почти бессюжетна — если считать сюжетом развитие характеров и отношений в определенных временных границах, — эта повесть как бы собрана из действительно любопытных и, как явственно видится, памятных и дорогих автору историй его заводской молодости. Правда, сразу же надо отметить, что истории эти иной раз нарочито анекдотичны, не все увязываются друг с другом. Сплачивает же их своеобразный пафос отталкивания от любых проявлений односторонности, живое изобилие комических, философских, деловых, лирических ракурсов действительности. Этой полнокровностью восприятия жизни объясняется и пестрота сюжетов, и то, что Панин ситуацию даже нарочито обыденную умеет показать интересной, многоплановой и по-своему богатой. Чего стоит, например, история с женьбой знатного сталеваара Степана Гуци, начавшаяся с поддельного письма некоей влюбленной особы и окончившаяся ладной и крепкой семьей с тремя детьми! Во всех перипетиях Степановых мучений в одиночестве, и в долгих его мечтаниях о хорошей женщине, которая, конечно же, где-то томится и ждет его, и в юморе, которым согреты эти всем понятные мечты, читается искреннее авторское внимание к людям, утверждение полноты и радости будничного бытия.

И как бы ни были высоки трудовые успехи панинских героев, рассказ о них, лишенный всякой нарочитости и плакатного героизма, только укрепляет наше представление о настоящем рабочем достоинстве, каждодневном, по совести упорном труде.

Однако в том, что Панина равно привлекают своей колоритностью как характерные, так и случайные эпизоды жизни, есть некоторое ослабление сознательной авторской позиции, художественного осмысления верно схваченных подробностей жизни. Поневоле за пестрой мозаичностью ситуаций ждешь чего-то более глубокого, что родиться может из их внутренней взаимосвязи. А взаимосвязь у Панина, к сожалению, в «Заводских историях» чисто внешняя, рожденная добрыми его воспоминаниями

и очень понятным желанием написать портреты своих давних со товарищей не «сладкими», не приукрашенными. (Недаром историям этим предпослано предисловие с верными, конечно, словами: «...человек, как бы велик он ни был... как бы высоко он ни забрался — все равно человек этот большую часть времени, отведенного ему, ходит с нами по нашей милой грешной земле».) Хорошо, что Панин ни в одной из своих историй не навязывает читателю какой-либо ограничивающей однозначности, но в неотобранности деталей и событий, даже воспроизведенных с искусством, есть опасность созерцательности. А она явно противоречит его своеобразному дарованию.

Е. Щеглова.

Ленинград.

★

ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА А. М. ГОРЬКОГО В МОСКВЕ. Описание в двух книгах. Составители А. Смирнова, М. Пешкова, Р. Бейслехем. Книга первая — 412 стр., книга вторая — 228 стр. М. «Наука». 1981.

Личная библиотека всегда является своеобразным отражением художественного вкуса, интересов и привязанностей ее владельца. Личная библиотека писателя — это творческая лаборатория прошлых работ и будущих замыслов. Поэтому так живо воспринимается древний афоризм «Книги рождают книги», утверждающий преемственность на путях творчества.

Уникальное издание «Личная библиотека А. М. Горького в Москве» подготовлено Институтом мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР и Музеем А. М. Горького. В книге дается описание 12 тысяч томов (10 тысяч названий) библиотеки писателя, успешно сохранившейся и дошедшей до нас в своем полном составе. Поэтому, как справедливо отмечено на страницах книги, «последняя библиотека Горького представляет в едином комплексе всю книжную жизнь писателя, выявляет читательские интересы всех этапов его творчества». Тематические разделы библиотеки, озаглавленные самим Горьким, свидетельствуют не только о широчайшем диапазоне интересов писателя, но и о его подходе к систематизации различных областей знаний.

«Собиратель и любитель книг, Горький не был библиофилом» — эта мысль всесторонне доказывается в статье «Горький-читатель», которая, предваряя Описание биб-

лиотеки, скрупулезнейшим образом анализирует и восстанавливает процесс появления в библиотеке писателя различных изданий начиная с первых книг, составивших основу библиотеки, и до последних, в большом количестве присылавшихся Горькому издательствами и литераторами с дарственными автографами в разные годы.

Описание библиотеки показывает разнообразие интересов и творческих контактов писателя, фиксирует работу Горького с книгой, отмечая малейшие заметки на страницах произведений, сделанные рукою писателя. В этом плане плодотворной оказалась разработка принципов издания, выполненная А. Крюковой, работа авторского коллектива в целом. Различные указатели, сопровождающие Описание, позволяют не только найти ту или иную книгу в библиотеке, но и раскрывают то значение, которое придавал ей Горький.

Большой интерес вызывают различные автографы литераторов, чьи книги заняли свое место в библиотеке, воспроизведенные в Описании. По ним можно судить, с каким уважением и любовью авторы относились к мнению Горького, как трепетно ждали его отзыва на свои произведения, — а он, если судить по вышедшему в 1963 году далеко не исчерпывающему себя изданию «Горький и советские писатели. Неизданная переписка», долго не заставлял себя ждать.

В разные годы уже предпринимались попытки проанализировать читательские интересы, работу над книгой и творческие контакты Горького: статьи Н. Вишневской «Индологические книги в личной библиотеке М. Горького» (в книге «М. Горький и литературы зарубежного Востока». М. 1968), И. Касаткиной «О пометах А. М. Горького на книгах его личной библиотеки в Горках» («Горьковские чтения 1953—1957», М. 1959), книги А. Жиркова «У костра, зажженного Горьким» (Фрунзе: 1975), «Время, герой, литература» (Фрунзе. 1979). Но лишь в Описании во всей широте и с возможной полнотой предстал как Горький — читатель и писатель, так и Горький — организатор художественных сил советской России.

Бытие неиссякаемой горьковской мысли чувствуется буквально во всем: и в подборе книг, и в их систематизации, и непосредственно в чтении, процесс которого теперь можно с легкостью себе представить, так как отмечены даже такие детали, как наличие переплета или обложки («Горький сам отбирал книги для переплета») или состояние книги: «разрезана», «частично не разрезана», «не разрезана», — что для внимательного читателя также может представлять определенный интерес. Как замечают составители, Описание расширяет не только представление о книжных увлечениях Горького, его работе над своими произведениями, но и в самом широком смысле свидетельствует о воздействии Горького на становление и формирование советской литературы. Читатели и исследователи найдут в Описании интереснейшие факты, связанные с биографией и личностью Горького.

А. Кацев,

кандидат философских наук.

Фрунзе.



РОМАН БЕЛОУСОВ. Хвала каменам. М. «Советская Россия». 1982. 303 стр.

Книга эта сочетает в себе жанровые признаки эссе, литературоведческого портрета и популярного рассказа о времени, когда рождались книги Камюэнса, Пушкина, Стендаля и Флобера, Бальзака и Достоевского. Стержнем, объединяющим в книге рассказы о шедеврах мировой классики, стал вопрос соотношения в литературном произведении вымысла и факта, реальности и фантазии, художественного образа и его жизненного прототипа. Автор увлеченно пишет о том, как биографии классиков, опыт их жизни, преобразаясь, становились материалом произведений, обогативших русскую и западноевропейскую литературу. Интересно говорится о тех женщинах, которым художники бывали обязаны многими минутами вдохновения. О таких идеально-прекрасных женщинах, как инфанта донна Мария, которой Камюэнс посвятил почти все свои горестнозвучные сонеты. Госпожа де Берни — добрая наставница, друг, возлюбленная Бальзака. И о таких демонически-коварных, как Каролина Собаньская, кому бесспорно посвящено пушкинское стихотворение «Что в имени тебе моем?..», и о таких, как леди Элленборо, ставшая прототипом одной из героинь в «Лилии долины» Бальзака.

Не все главы книги «Хвала каменам» равно удачны, но безусловно нужно отметить те из них, где рассказывается о тернистом жизненном пути Собаньской — агента Бенкендорфа и самой способной ученицы мастера тайного сыска графа Витта («Демоница»), и особенно главы, где рассматривается своеобразие художественного мышления Стендаля и Флобера. Книга обогащает наше знание рядом неизвестных подробностей о судьбе стендалевского архива, рассказом как о творческой лаборатории автора «Мадам Бовари», так и о характере Гюстава Флобера — человека.

Похвально стремление Р. Белоусова воссоздать атмосферу эпохи, реальные условия, в которых работали герои его книги. Речь идет о Португалии Камюэнса, о Шотландии Вальтера Скотта, России Пушкина и декабристов. Перед читателем встает картина времени, противоборства социальных сил. Подробности литературные у Романа Белоусова неизменно соседствуют с подробностями историческими (война с горцами на Кавказе в 30-х годах XIX века, история Шотландии, характеристика периодических изданий в России времен Достоевского и др.).

Чередование литературоведческих и чисто исторических экскурсов — конструктивная особенность и «Хвалы каменам» и более ранних книг Р. Белоусова: «Тайна Ипшкренны» и «О чем умолчали книги». Правда, в этом увлечении подробностями автору порой изменяет чувство меры. На мой взгляд, слишком много внимания он уделил интимным сторонам отношений иных классиков и их возлюбленных (роман Флобера и Луизы Коле, детали трагической любви А. Бестужева-Марлинского, поименное перечисление «обожателей» Собаньской и т. п.).

К недостаткам книги я бы отнесла и весьма условную связь между отдельными главами, а также соединение автором не всегда соединимых (научных и бытовых) языковых пластов.

Но просчеты эти, думается, во многом окупаются достоинствами книги, которая привлекает синтезом научности и занимательности изложения. Привлекает заинтересованным и квалифицированным вниманием автора к ряду существенных, подчас запутанных обстоятельств, относящихся к истории отечественной и западноевропейской культуры.

Наталья Беккерман.



СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ. Очерки и воспоминания. М. Издательство АПН. 1982. 446 стр.

В трехмерном мире гению всегда тесно, и он добавляет свое измерение. Шагнув за черту обыденности, словно переместившись в иную физическую систему, он живет чуждо не так, как все. За ним тянется шлейф полузагадочных высказываний-головоломок, над которыми порой бьются, как над знаменитой теоремой Ферма, и почти каждое из них — та же теорема, доказываемая очередной неординарной судьбой.

Эйнштейн, человек из этой когорты, оставил после себя немало парадоксов. Его как-то спросили: «Кто делает открытия?» «Невежды», — ответил Эйнштейн и добавил: — Все знают, что этого сделать нельзя, но вот появляется тот, кто этого не знает. Он-то и делает открытие».

Вряд ли великий физик пытался поразить собеседника экстравагантностью, которой изобиловали как его жизнь, так и его теории. Скорее его слова могут стать шифром к разгадке тайны великих мудрецов науки.

«У каждого ученого своя судьба и своя слава. В 1934 году среди журналистов разнесся слух: в Москве находится Петр Леонидович Капица. Он больше не вернется к Резерфорду в Англию... «Что он там делал?» — «Работал... в Кембриджском университете. Кажется, исследовал атомное ядро»...»

Так начинается очерк одного из авторов сборника «Советские ученые» Федора Кедрова «Капица: жизнь и открытия». Этот сборник, собранный из очерков о выдающихся ученых и воспоминаний самих ученых, взрывает воображение читателя их особым складом ума, который, подмечая все непонятное и противоречивое, умел добираться до сути любого сложного явления. И оно становилось «простым». До такой степени, что порождало, у окружающих (чаще непрофессионалов) шальную мысль о легкости таланта. Однако эта иллюзия сродни той, что возникает при чтении прозы Чехова. Поразительная ясность мышления и доступность изложения провоцируют ощущение легкости письма классика, но... до первого пробного прикосновения пера к чистому листу бумаги.

Герой книги (а это и знаменитый Капица, и ставший легендой еще при жизни Ландау, и укротитель энергии расщепленного

ядра Курчатов, и патриарх физиологии Павлов, и чудо-хирург Юдин, и многие другие выдающиеся советские ученые) всегда находится на гребне волны, которую, по словам Резерфорда, сами и создают. Эта волна обрушивается не только на научные твердыни, но и на сознание людей, ломая тот психологический барьер перед непознанным, что заставляет застыть почти в былинной растерянности перед развилкой научных дорог.

В наш просвещенный век «безумство» идей хотя и не карается, как во времена Галилея и Джордано Бруно, однако все же требует стойческого характера их авторов, часто отлученных от науки со званием чудаков и признанных ею лишь впоследствии. Так, талантливый советский инженер-физиолог С. Брюхоненко, создавший еще в 20-е годы аппарат искусственного кровообращения, только в 1965 году, через пять лет после смерти, был удостоен Ленинской премии за свое изобретение. «Вот ведь какая судьба ожидает подчас исследователей, опережающих свое время!» — восклицает Е. Демушкин, автор очерка о сегодняшних творцах искусственных сердец. «Ересь» ученых типа Брюхоненко все реже теперь вызывает снисходительную улыбку или активное неприятие — мы стали мудрее в оценках таких людей.

Кто теперь осмелится назвать идею полета в космос безумной, а человека, осуществившего ее, фантазером? И все же он был им. На подвернувшемся под руку приглашительном билете он чертит траекторию спутника Марса Фобоса, все больше увлекаясь гипотезой о его искусственном происхождении, а значит, и возможностью встречи с остатками марсианской цивилизации. И это великий практик Королев! Он исключает из своего лексикона слово «невозможно». «Мы с тобой работаем в таких областях, где оно должно быть запрещено: ведь оно только мешает и ничего не объясняет», — вспоминает слова Королева в своем очерке о нем член-корреспондент АН СССР В. Емельянов.

Но вот перевернута последняя страница книги об удивительных людях, где они прожили кто жизнь, кто один день, значительный как жизнь, но рецепта открытий нет...

К разнообразным попыткам раскрыть тайну таланта можно отнести и гипотезу знаменитого Нильса Бора, объясняющую природу мышления квантовомеханической теорией, уже доказавшей свою истинность. Но и эта идея пока не в силах дать «рентгенограмму» того загадочного механизма мозга, один из режимов работы которого — гениальность. Однако всякий раз, когда мы почти наверняка знали, что «этого сделать нельзя», являлись Капица, Ландау, Колмогоров, Курчатов, Юдин, Павлов, Келдыш... и делали открытия.

А. Аванесов.



А. П. БАЖОВА. Русско-югославянские отношения во второй половине XVIII в. М. «Наука». 1982. 288 стр.

Интерес в России к народам югославянских земель давний. Особенно окрепли связи России со славянскими народами Балкан

в XIV — первой половине XV века. После захвата Константинополя в 1453 году и завоевания Балканского полуострова турками-османами Русское государство стало опорой и защитой для единоверных народов югославянских земель, насильственно разъединенных Османской империей, габсбургской монархией и Венецианской республикой.

Автор рассматриваемой монографии избрал для своего исследования вторую половину XVIII века, время зарождения торговых и культурных контактов России с югославянами, оживившихся после Кючук-Кайнарджийского мира, заключенного между Россией и султанской Турцией в 1774 году, время совместной вооруженной борьбы русских и югославян против общего врага. В результате русско-турецких войн 1769—1774 и 1787—1791 годов Россия получила право выступать в защиту православного населения Османской империи, что еще более укрепило отношения России с балканскими народами.

Испытывая тяжелейший экономический, политический и религиозный гнет, югославяне видели в России единственный оплот в борьбе за свое национальное освобождение. Показателем, в частности, такой исторический факт, как переселение 25 тысяч югославян в Россию. Переселенцы приобщались к русской культуре, а те из них, кто потом возвратился на родину, использовали полученные в России знания на пользу своему народу.

А. Бажова не идеализирует русско-югославянские отношения. Она показывает, что царская Россия помогала югославянам лишь в соответствии со своими корыстны-

ми интересами. Однако объективно такая помощь способствовала усилению освободительной борьбы балканских народов с иноземными захватчиками. Поэтому русский царь, писал Энгельс, кем бы он ни был вообще, для христианских подданных Порты был «естественным освободителем и покровителем». Влияние России ускорило процесс формирования независимых государств в Сербии и в Черногории.

В книге А. Бажовой увлекательно рассказано о взаимопроникновении и взаимообогащении культур братских славянских народов, о значении для югославян русской книги, помощи России в школьном строительстве, в подготовке национальных кадров интеллигенции. Освободительные идеи русского просветительства оказали большое воздействие на развитие общественной мысли не только в России, но и в югославянских землях. В свою очередь, югославянская культура, сербский эпос, сербские песни, воспевающие героическую народную историю, нашли своих ценителей далеко за пределами Балкан. Крупнейшие поэты мира — Гёте, Пушкин, Мицкевич — перевели эти песни...

Прочные дружеские связи народов СССР и Социалистической Федеративной Республики Югославии имеют давние и глубокие исторические корни. Об этом еще раз напомнила нам политически актуальная книга А. Бажовой, основанная на детальном изучении документов из советских и югославских архивов.

Л. Пушкарев,

доктор исторических наук.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. Антонов-Овсеенко. В революции. Воспоминания. 176 стр. Цена 45 к.

К. Боголюбов. Продовольственная программа СССР: содержание и пути реализации. 191 стр. Цена 85 к.

Н. Кузьмин. Рассвет. Повесть о Федоре Сергееве (Артеме). 454 стр. Цена 1 р. 50 к.
Ленинская аграрная политика КПСС. Сборник важнейших документов (август 1978 г.— август 1982 г.) 736 стр. Цена 1 р. 50 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Арбузов. Драмы. 480 стр. Цена 2 р.
Ч. Гусейнов. Фатальный Фатали. 463 стр. Цена 2 р.

Ю. Марцинявичюс. Жизнь, сладкий июль. Стихи. Перевод с литовского. 295 стр. Цена 1 р. 20 к.

И. Чигринов. За сто километров на обед... Рассказы. Перевод с белорусского. 271 стр. Цена 95 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

С. Антонов. Собрание сочинений. В 3-х тт. Т. 1. Рассказы. Повесть. 670 стр. Цена 2 р. 70 к.

Памятники литературы Древней Руси: вторая половина XV века. 688 стр. Цена 4 р. 10 к.

Ф. Таурин. Избранные произведения. В 2-х тт. Т. 1. Ангара. Роман. 525 стр. Цена 2 р. Т. 2. Каторжный завод. Партизанская богородица. Путь к себе. Романы. 592 стр. Цена 2 р. 30 к.

С. Цвейг. Собрание сочинений. В 4-х тт. Т. 1. Новеллы. 494 стр. Цена 2 р. 50 к.

«СОВРЕМЕННОИ»

С. Крутилин. Грехи наши тяжкие. Роман. 382 стр. Цена 1 р. 72 к.

А. Першин. Не измени себе. Роман. 317 стр. Цена 1 р. 40 к.

В. Шукишин. Я пришел дать вам волю 383 стр. Цена 1 р. 60 к.

А. Яшин. Границы души. Стихи из дневников. Стрфы. Лирические записи. Поэмы. 125 стр. Цена 55 к.

ВОЕНИЗДАТ

М. Барышев. Листья на скалах. Роман. повести. 368 стр. Цена 1 р. 60 к.

В. Кондратенко, Л. Беренштейн. Через черную топь. Повесть. 301 стр. Цена 1 р. 30 к.

Я. Хамматов. День рождения. Роман. Перевод с башкирского. 256 стр. Цена 1 р. 30 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

М. Ефетов. Тельняшка — морская рубашка. Повести. 415 стр. Цена 85 к

А. Власов. Верхний этаж. Повесть. 140 стр. Цена 50 к.

А. Крестинский. Мальчики из блокады. Рассказы и повесть. 143 стр. Цена 65 к.

К. Случевский. Стихотворения. Составление, вступительная статья В. Перельмутера. 238 стр. Цена 45 к.

Солнце вселенной моей. Стихи о первой любви. Составитель В. Берестов. 95 стр. Цена 45 к.

«ИСКУССТВО»

И. Вишневская. Трудовые будни в свете рампы. Пьесы и спектакли 70-х годов. 158 стр. Цена 95 к.

И. Лисановский. Реализм как система. Проблемы творческого метода в киноискусстве. 334 стр. Цена 1 р. 20 к.

«РАДУГА»

М. Делибес. Кому отдаст голос сеньор Кайо? Святые безгрешные. Романы. Перевод с испанского. 287 стр. Цена 1 р. 20 к.

Д. Джонс. Только позови. Роман. Перевод с английского. 445 стр. Цена 2 р. 60 к.

З. Ленц. Краеведческий музей. Роман. Перевод с немецкого. 527 стр. Цена 3 р. 90 к.

Современный румынский детектив. Перевод с румынского. 560 стр. Цена 3 р. 50 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

И. Зиедонис. Поэма о молоке. Перевод с латышского. Рига. «Лиесма». 166 стр. Цена 55 к.

А. Крашенинников. Отчий берег. Повести и рассказы. Пермь. Книжное издательство. 376 стр. Цена 1 р. 80 к.

Низами Гянджеви. Сокровищница тайн. Поэма. Ваку. «Язычы». 259 стр. Цена 1р. 30 к.

И. Сюмкин. Полдень следующего дня. Повести и рассказы. Челябинск. Южно-Уральское книжное издательство. 96 стр. Цена 25 к.

О. Хайям. Рубан. Переводы. Ташкент. Издательство ЦК КП Узбекистана. 123 стр. Цена 75 к.

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29

Сдано в набор 25.03.83 г. Подписано к печати 26.05.83 г. А 04100.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.печ. л.)
27,15 уч.-изд. л. Тираж 363.000 экз. (1-й завод 1 — 183.000 экз.) Зак. 1110.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1983, № 6, 1—272.